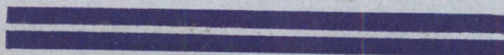


НОВОБЫИ МИР

3

НОВОБЫИ МИР

3



11979

11979



НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЮЛИЯ ДРУНИНА — Из новых стихов	3
ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ — Расплата, повесть	6
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Веков далеких отголосок..., стихи. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского	100
ЮРИЙ НАГИБИН — Два рассказа	106
ИРИНА ВОЛОБУЕВА — Их было тринадцать, стихотворение	118
ВЕРА ИГЕЛЬНИЦКАЯ — Та женщина, стихи	119
ДЖОН СТЕЙНБЕК — Заблудившийся автобус, роман. Перевел с английского В. Голышев	121
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
КСЕНИЯ НЕКРАСОВА — Баллада о прекрасном, стихи. Публикация Л. Е. Рубинштейна	181
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
АЛЬФРЕД КОЦ — Комаядировка на Западный БАМ, записки инженера	183
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
РАФАИЛ ХИГЕРОВИЧ — Бойцов не оплакивают. Окончание	196
В МИРЕ НАУКИ	
Б. КУЗНЕЦОВ — Сходящиеся параллели. Еще об Эйнштейне и Достоевском	224
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Д. ТЕВЕКЕЛЯН — День забот	236
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
Литература и искусство	259
Галина Трефилова. В поисках судьбы.— Вадим Сикорский. Беловой вариант.— А. Анастасьев. Своей дорогой.— Эрнст Генри. Судьбы западногерманской литературы.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

Политика и наука

273

Иг. Бубнов. Родство духа и близость форм.

КОРОТКО О КНИГАХ: А. Окладников.—Р. Г. Скрынников. Борис Годунов. ♦ Б. Розен.—Александр Гангнус. Тайна земных катастроф (Несколько вступлений к теме геопрогноза). ♦ О. Добровольский.—Н. П. Колпакова. Песни и люди. О русской народной песне. ♦ Т. Кохман.—Галактион Табидзе. Стихотворения. ♦ Виктор Гончаров.—Марина Тарасова. Световой день. Стихи и поэма. ♦ Светлана Соложенкина.—Марат Картмазов. Полярный снег. Стихи. ♦ И. Меттер.—Леонид Рахманов. Люди — народ интересный. ♦ В. Комиссаров.—Федор Колунцев. Утро, день, вечер. Роман. ♦ А. Журавлев.—Уроки Чили. ♦ В. Пронин.—З. И. Кирнозе. Французский роман XX века. ♦ Евгений Новиков.—Поэзия Новой Зеландии

280

КНИЖНЫЕ НОВИЦКИ

288

ЮЛИЯ ДРУНИНА



ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

СЕРГЕЮ ОРЛОВУ

Плечи гор плотно-плотно туман закутал,
Здесь бродил ты лишь год назад...
Хорошо, что тебя провожали салютом —
Ты был прежде всего

Солдат.

Море хмуро, вода отливает сталью,
Тих рассеянный странный свет...
Хорошо, что над гробом стихи читали —
Ты был прежде всего

Поэт.

Ах, как времени быстро мелькают спицы,
Как безжалостно мчится век!..
Хорошо, что так много пришло проститься —
Ты был прежде всего

Человек.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ МАЙ

...Я сказала плачущей: «Синьора!
Не могу ли чем-нибудь помочь?»
А она: «Убили Альдо Моро!» —
И ушла, не оглянувшись, прочь.
...Мраморные ангелы парили,
Плыли в небо храмов корабли.
Люди шли на площадь Синьории,
По призыву сердца люди шли.
Штор тяжелых опускались веки,
Магазины слепли как от слез.
Под ссутулившимся Понте Веккьо
Арно траурные воды нес.
А за Арно польхали горы —
Вспышки солнца били по глазам.
В тех горах компаньо Альдо Моро
Воевал в отряде партизан.
Потому Флоренцией, влюбленной
В древние соборы и дворцы,
Плыли партизанские знамена,
Шли Сопротивления бойцы.
Рядом с ними — молодые лица,
Изваяла скорбь их, высек гнев.

И шедевры гениев в Уффици
 Перед ними сникли, побледнев.
 Молча небо ангелы корили,
 И, не чуя под собой земли,
 Люди шли на площадь Синьории,
 Как судьба — неотвратимо — шли.
 Шли плечо к плечу, ладонь к ладони...
 И сквозь плотную завесу лет
 Долго кроткая мадонна Донни
 Им молитвенно смотрела вслед...

В КОРОЛЕВСТВЕ ДАТСКОМ...

Под ногами асфальта паркетная гладь,
 Даже клочья тумана стерильны, как вата.
 Чисто, словно в больнице... По правде сказать,
 Было мне в Копенгагене чуть скучновато.
 ...Славен датский народ. Честь и слава ему! —
 Работяги, вернейшие люди на свете.
 Что ж не по сердцу мне? И сама не пойму!
 Может, то, что к Русалочке ходят лишь дети
 И грустит над зеркальным каналом одна
 Та, в кого вся Россия моя влюблена?..
 И что Гамлет здесь смех вызывает — не боль,
 Что дворец в Эльсиноре — приманка туристов?
 Почему же так часто кончают с собой
 В этой мирной стране, до стерильности чистой?..

БЕГА

Сходят с круга лошадки —
 Эх, одна за другой!
 А, казалось бы, гладки,
 Да и шеи дугой.
 А казалось, казалось,
 Будто их в оборот
 Никакая усталость
 Никогда не возьмет.
 Гонг командует снова,
 Значит, снова скакать,
 Чтобы искры подковой
 На скаку высекать.
 И, на зрелище падкий,
 Валом валит народ.
 Сходят с круга лошадки —
 Чей черед, чей черед?..

* * *

А жизнь летит, летит напропалую,
 И я не стану жать на тормоза...
 Солонватый привкус поцелуя,
 Любви полузакрытые глаза!
 И городов мелькающие лица,
 Где каждый новый зал — как новый суд...
 И гул в крови — стихов грядущих гуд,
 И невозможность приостановиться,

Покуда жизнь летит напропалую,
Покуда я ей благодарна за
Солоноватый привкус поцелуя,
Любви полузакрытые глаза...

* * *

Рукописи не горят...

М. Булгаков.

Словно по воде круги от камня,
По земле расходятся слова,
На бумагу брошенные нами
В час любви, печали, торжества.
Те слова порой врачуют раны,
Те слова бичуют и корят,
И еще — как это и ни странно,
Рукописи правда не горят.
Потому-то сквозь огонь угрюмый
Всем святошам и ханжам назло
Яростное слово Аввакума
К правнукам из тьмы веков дошло...

* * *

Промчусь по жизни не кометой,
А просто искрой от костра —
Одной из многих, невоспетой,
Таких же искорок сестра.
Ну что ж: у искр и у комет
Один конец, другого нет...

ГОЛОС ИГОРЯ

Часть войска князя Игоря была конной — дружинники, а другая пешей — смерды, «черные люди».

«Как волков, обложили нас половцев рати,
Несть числа им, лишь кони дружину спасут.
Ну а пешие смерды?.. Тяжело умирати,
Но неужто мы бросим, предадим черный люд?»
Голос Игоря ровен, нет в нем срыва и дрожи.
Молча спешились всадники, предавать им негоже.
Был в неравном бою схвачен раненый Игорь
И порубаны те, что уйти бы могли...
Но зато через ночь половецкого ига,
Через бездны веков, из нездешней дали
Долетел княжий глас: «Нелегко умирати,
Только легче ли жить во предателях, братья?»



ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ



РАСПЛАТА

Повесть

Часть первая

1

В глубине дома номер шесть по улице Менделеева во втором часу ночи раздался выстрел. Дверь квартиры на пятом этаже распахнулась, из нее вырвалась растерзанная, простоволосая женщина с ружьем в руках, ринулась вниз по лестнице, кружа с этажа на этаж, задыхаясь в бормотании:

— Бож-ж мой!.. Бож-ж мой!.. Бож-ж-ж!..

Спящий город уныло мок под дождем, расплывшиеся фонари, держа на себе громаду холодной и сырой ночи, уходили вдаль, в черную преисподнюю. Женщина с ружьем, отбежав от подъезда, остановилась, дико оглянулась.

Дождь вкрадчиво шептал, дом уходил в небо черной глыбой (темней дегтярной ночи), лишь с дремотной усталостью тускло светились окно над окном по лестничным пролетам да высоко, на пятом этаже, горели ясно и ярко еще два окна. Выстрел никого не разбудил.

Женщина издала стон и, прижимая ружье, бросилась по пустынной улице под фонарями, по лужам на асфальте, в кухонном развевающемся халатике, в тапочках на босу ногу:

— Бо-ож-ж мой!.. Бо-ож-ж!..

Дверь квартиры, откуда выскочила женщина, стояла распахнутой, из нее на сумеречную лестничную площадку щедро лился ровный свет. В этот заполюночный час, когда все запоры замкнуты, одна семья старательно укрылась от другой, огромный дом от фундамента до крыши коченел в обморочной катаlepsии, разверстая светоносная дверь могла бы испугать любого — вход в иной мир, в потустороннее, в безвозвратность! Но пугать было некого, все кругом спали...

В дверях появилась тень по-теневому бесшумно, тонкая, угловато-ломкая — насильственные, неверные движения незрячего существа. Человек-тень остановился на пороге, ухватился рукой за косяк. Казалось, его, потустороннего жителя, страшил этот оглушающе тихий, спящий мир. Наконец он собрался с духом и шагнул вперед — долговязый парнишка в майке и узких джинсах, тонкие ноги с неуклюжей журавлиной поступью.

Посреди лестничной площадки он снова остановился, недоуменно оглядываясь — три двери были бесстрастно глухи. Парнишка судорожно вздохнул, двинулся дальше осторожно, робея, как слепой, вниз

ощупью по ступенькам лестницы, шорох его шагов срывался вниз, на дно лестничного колодца.

Он спустился всего на один этаж, толкнул себя к обитой черным дерматином двери и встал, тупо уставясь. Тишина, сковывающая весь дом, сковала и его. Он словно задремал стоя, минуту, может больше, не шевелился. Наконец с усилием выпрямился и нажал на кнопку. За обитой дверью, за глухой каменной стеной послышался вьедливо живой звук звонка. Парнишка зябко передернул голыми плечами и снова оцепенел. Ни шороха, ни скрипа, тяжелое молчание дома. Он вновь заставил подняться непослушную руку, на этот раз звонок долго сверлил закованную в бетон тишину.

Смачно дважды щелкнул замок, дверь приоткрылась.

— Кто тут?.. — сиплый со сна, недоброжелательный мужской голос.

— Это я... — с конвульсивным выдохом.

Досадливое короткое кряканье, выразительное, как ругательство, и обреченное. Дверь распахнулась — твердый подбородок в суточной щетине, насупленный лоб, но выражение длинного, помятого сном лица брызгливо-кислое и голос сварливый, нерешительный:

— Опять у вас кошачья свадьба?

— Василий Петрович, я... — У парнишки судорогой свело челюсти.

— Сами покою не знаете и другим не даете...

— Я отца убил, Василий Петрович!

Василий Петрович распрямился в дверях — в сиреневой трикотажной рубашке, узкоплечий, высокий, несладко костистый, с заметным животиком, выступающим над полосатыми пижамными брюками. Он втянул в себя воздух и забыл выпустить, мелкие глаза стали оловянными, стылými. А парнишка тоскливо отводил взгляд в сторону.

— Милицию бы вызвать, Василий Петрович...

И мужчина очнулся, рассердился:

— Милицию?.. Ты шуточки шутить среди ночи!.. Чего мелешь?..

— Я... его... из ружья.

За спиной Василия Петровича всплеснулся вихревой шум, вспыхнул яркий свет, мелькнули пружинно вскинутые тонкие косички, бледное лицо в болевой гримаске, тонкая рука, стягивающая ворот халатика у горла.

— Коля! Что?!

Василий Петрович попытался загородить собой парнишку:

— Марш отсюда! Без тебя!.. Без тебя!..

— Что, Коля?!

Коля молчал, гнул голову, прятал лицо.

— Сонька! Кому сказано — не суйся!

— Ко-ля!!

— Соня... Я — отца... Милицию бы...

— Папа, что он?.. Скажи, папа!

— Эдакое в чужой дом нести... Стыда у них ни на грош! — снова сварливо-бабье, беспомощное в голосе Василия Петровича.

Из глубины квартиры выплыла женщина в косо натянутом платье — спутанные густые волосы, лицо сглаженное, остановившееся, бескровная маска.

— Мама! — кинулась к ней Соня. — У них что-то страшное, ма-ма!

— Но почему он к нам? Что мы, родня ему близкая?

— Мама!!

И мать Сони слабо вступилась:

— Да куда же ему идти, Вася?

Парнишка глядел в пол, зябко тянул к ушам голые плечи.

— Василий Петрович, в милицию... позвоните.

За спиной Василия Петровича мелькнули пружинные косички, повеяло ветерком от разметнувшихся пол халатика, Соня кинулась в глубь прихожей, раздался мягкий стрекот телефонного диска.

— Алло! Алло! — высокая, на срыве колоратура.— Аркадий Кириллович, это я, Соня Потехина!.. Аркадий Кир-рил-лович!.. — Всклип со стоном.— У Коли Корякина... Приезжайте, приезжайте, Аркадий Кириллович! Скорей приезжайте!..

Соня звонила не в милицию, а их школьному учителю.

А по темному, мокрому, пустынному городу бежала женщина в халатике, прижимая к груди ружье. Слипшиеся от дождя волосы закрывали лицо.

— Бо-ож-ж мой... Бо-ож-ж!..

2

Аркадий Кириллович жил неподалеку — всего какой-нибудь квартал, — но как, однако, неуклюж и бестолков бывает внезапно разбуженный человек, за десятилетия мирной жизни отвыкший вскакивать по тревоге. Пока опомнился, осмыслил, ужаснулся, пока в суете и спешке одевался — носки проклятые запропастились! — да и резво бежать под дождем в свои пятьдесят четыре года уже не мог, вышагивал дергающейся походочкой.

Дом по-прежнему спал, по-прежнему вызывающе светились лишь два окна на пятом этаже.

Из подъезда выдвинулся человек — угрожающе массивный, утопивший в плечах голову, — полуночный недобрый житель. Приблизившись вплотную, он заговорил плачущим, зыбким голосом:

— Дети — отцов! Дети — отцов! Доучили!..

— Кто вы?

— Не узнали?

— Василий Петрович! Где тут узнать.

Отец Сони Потехиной в просторной дошке с меховым воротником, делавшей его внушительно плечистым.

— Все-таки помните — и на том спасибо. Я вот вас встречать вы бежал...

Натянутый на лоб берет, невнятный в темноте блеск глаз и то ли раздраженный, то ли просто раздерганный голос.

— ...встречать вы бежал, чтоб поделиться: был там, видел! Дети — отцов! Дети — отцов! Конец света!..

— «Скорую» вызвали?

— Нужна теперь «скорая», как столбу гостинец. В упор разнес... В самое лицо, паршивец... Сын — в отца!

— Пошли! Вдруг да помочь можно.

— Ну не-ет! С меня хватит. Не отдышусь... А вы полюбуйтеесь, вам ох как нужно! Авось да поймете, что я теперь понял.

— О чем вы?

— О том, что страшненькое творите. Такой хороший, такой уважаемый, тянутся все — советик дайте... Очнуться пора!

— Ничего не пойму.

— Конечно, конечно... Может, потом поймете. Сильно надеюсь! — Василий Петрович вцепился в рукав, приблизил к лицу Аркадия Кирилловича дрожащий подбородок, жарко дыхнул: — Ненормальными дети растут. Не замечали? И Сонька моя тоже ненормальная...

Аркадий Кириллович с досадой освободился от его руки:

— Отложим выяснения. Теперь не время!

— Не время, нет! Поздно вато. Случилось уже, назад не вернешь. Раньше бы выяснить!..

Последние слова Василий Петрович уже кричал в спину учителя. Темные лестничные пролеты выносили Аркадия Кирилловича на скупо освещенные площадки — первый этаж, второй, третий... Он поднимался, и росла неясная трéвога, вызванная неожиданной встречей с Василием Петровичем, — похоже, упрекал его, и с непонятым раздражением. До сих пор гнало одно — стряслось несчастье, нужна помощь! И спешил, не спрашивая себя — чем поможет, что сделает? Сейчас с каждым шагом наваливалось смутное ощущение — откроется неведомое, оборвется привычное. Впервые пришла оглушающе простая мысль — его ученик убил! Странно, что сразу не оглушило — его ученик! Не связывал с собой...

А с Василием Петровичем Потехиным он был в хороших отношениях, знал его даже не только как родителя одной из учениц, не так давно принимал участие в его судьбе, выслушивал жалобы, давал советы, направлял к нужным людям... Потехин раздражен — непонятно.

После крутой лестницы заколодило дыхание и сердце нервно билось в ребра. Аркадий Кириллович остановился на последнем этаже.

Перед ним распахнутая дверь, из которой щедро лился свет. Кусок паркетного пола с половичком, кусок стены, обклеенной бледными обоями, с какой-то журнальной картинкой — синее с красным, что-то сочное, но не разберешь издали. Кусочек обжитого мирка, каких больше сотни в этом доме, сотни в соседних домах, сотни тысяч во всем городе. И каждый наособицу. Семьи, как люди, не схожи друг с другом. Вход в мир? Да нет, этот мир уже рухнул. Он стоит в пяти шагах от катастрофы. И с новой силой охватило тяжелое, почти суеверное предчувствие — стоит шагнуть ему в эту распахнутую дверь, как его жизнь, налаженная, устоявшаяся, сломается. За этой ярко освещенной дверью его ждет не только покойник, а и еще что-то неведомое, опасное, от чего можно уберечься, только отступив.

Но что-то пригнало же его к этой двери, что-то властное, среди ночи. Отступить не может.

Отдышавшись, Аркадий Кириллович двинулся к двери, заранее испытывая и брезгливость и подмывающее возбуждение — окунается в атмосферу преступления, о какой много приходилось читать, но самому окунаться — ни разу.

Картинка, висевшая на стене против входа, — реклама, вырезанная из иностранного журнала: у синего моря, на оранжевом пляже красная, залезанная, устрашающе длинная машина с откидным верхом, возле нее улыбалась всеми зубами загорелая поджарая блондинка в предельно скудном купальнике.

В конце коридора у дверей в комнату — тоже распахнутых, входил! — валялась мужская туфля, нечищенная, поношенная, с крупной ноги. Аркадий Кириллович осторожно перешагнул через нее.

Он в свое время видел немало убитых — речка Царица в Сталинграде была завалена смерзшимися, скрюченными трупами в уровень своих обрывисто-высоких берегов. Но там мертвые — часть пейзажа искромсанного, изуродованного, спаленного и... привычного.

Здесь же ярко, заплочным бешеным накалом горела под потолком люстра с пылающими хрустальными подвесками и напоенный яростным светом воздух застыл в тягостной неподвижности. Парадно большой телевизор в сумрачной лаковой оправе взирал слепо и равнодушно плоской туманно-серой квадратной рожей. Широкая кровать бесстыдно смята, одна из подушек валялась на полу. И всюду по стенам сверкают осколки разбитой стеклянной вазы.

А под переливчатой накаленной люстрой через всю комнату наискосок — он, распластанный по полу, удручающе громоздкий. Тонкая, синтетически лоснящаяся рубашка обтягивает широкую мощную спину, голова в кудельных сухих завитках волос прилипла к черной, до клейкости густой луже на паркете. От нее прокрался под раскоряченные ножки телевизора столь же дегтярно-черный, вязко-тягучий ручеек. И торчащие крупные ступни в несвежих бежевых носках, и одна рука неловко вывернута в сторону, мослаковатая, жесткая, с изломанными ногтями — рабочая рука. Аркадий Кириллович почувствовал подымающуюся тошноту; в помощи этот человек уже не нуждался.

3

То была их вторая встреча.

Года три назад Аркадий Кириллович поднялся в эту комнату (тогда она выглядела обычно и совсем не запомнилась). Коля Корякин — еще шестиклассник — плохо учился, вызывая грубил учителям, часто срывался на истерику. И тогда-то в школе заговорили: у мальчика неблагополучная семья, отец пьет, скандалит, сыну приходится прятаться от него по соседям. Надо было принимать какие-то меры, и, как всегда, срочно. Меры, а какие?.. В распоряжении школы есть всего одна, прекраснодушно-ненадежная — поговорить с непутевым родителем, воззвать к его совести. Никакой другой силой влияния учителя не наделены.

За эту не сулящую успеха операцию никто не брался — взялся он, Аркадий Кириллович.

Он явился утром в воскресенье с расчетом, чтоб не напороться на пьяного отца. Перед ним предстал рослый мужчина, еще заспанный, в натальной рубаше не первой свежести, со спутанной соломенной волосней, с тем ошпаренным цветом лица, который бывает лишь у особого типа блондинов. Само же лицо, правильное, с твердым крупным носом, плоским квадратным подбородком, выражало затаенное безгловое страдание — след похмелья, — выбеленно-голубые, на парной красноте глаза были увиливающе-угрюмы.

Аркадий Кириллович сразу понял, что этого человека никакими увещеваниями не проймешь, вежливость он примет за робость, искренность — за желание обмануть, сострадание к сыну — за притворство. И потому Аркадий Кириллович заговорил со спокойной категоричностью, за которой должна была чувствоваться расчетливая агрессия, дающая понять — грубости не потерплю, возражений в повышенных тонах слушать не буду.

— Если в семье обстановка не изменится, — заключил он короткую и энергичную декларацию, — жизнь вашего сына окажется искалеченной. Хотите взять на свою совесть эту вину?

Темные губы скривились, белесые глаза убежали в сторону, упрямое, вызывающее выражение — видали мы таких праведничков! — не вызрев, скисло на воспаленной физиономии, лишь раздраженность прорвалась сухим скрипом в голосе:

— Мое дело — накормить и обути. Голодом мой сын не сидит, нагим не ходит. А воспитывать там — ваша забота. Вам за это держава деньги платит.

Спорить и доказывать бессмысленно, Аркадий Кириллович встал, стараясь поймать увиливающий взгляд, жестко произнес:

— Зарубите себе на носу: случится что с вашим сыном, нам даже не придется предъявлять особые доказательства вашей вины. Они слишком очевидны, так что — берегитесь!

Корякин-отец не взвился — стерпел, поверил в угрозу. Хотя какая там угроза, ни Аркадий Кириллович, ни школа ничем его не могли наказать. Детское воспитание подавляюще зависит от родителей, а родители же полностью независимы от педагогов. Но в ту минуту Корякин-отец был трезв, а значит, и не храбр.

Встретаться вновь нужда отпала — Коля Корякин вдруг резко изменился, из трудных учеников стал нормальным.

И вот — плашмя поперек комнаты, вязкая лужа крови на паркете... Сын — отца.

Аркадий Кириллович вздрогнул — в мертвой комнате неожиданно раздался хрип!.. Но хрип взорвался громopodobным звоном — бом-м! бом-м! бом-м! Часы на стене в черном длинном деревянном футляре отбили три часа ночи. Они одни втихомолку жили в этой комнате, в застекленном оконце мелькал ясный лик маятника. Сразу же стало слышно размеренное тиканье — скупые, вкрадчивые и неумолимые шажки времени.

И Аркадий Кириллович очнулся: а, собственно, почему он здесь? Зачем ему видеть этот труп, испытывать тошноту? Он же сорвался с постели ради того, кто пока жив, — Коли Корякина, своего ученика. Коля находится этажом ниже...

Страшный и простой факт, которому он все еще не осмеливается верить, — вот под яростно пылающей люстрой жертва... его ученика! Учил Колю Корякина не биному Ньютона, не далеким крестовым походом, а тому, как страдали за людей Пушкин, Толстой, Достоевский...

Оказалось, надо совершить усилие, чтоб отвернуться от убитого. Аркадий Кириллович, волоча непослушные ноги, двинулся прочь, старательно переступил через разношенную туфлю на пороге комнаты, прошествовал мимо соблазнительно улыбающейся блондинки у синего моря, но у распахнутой в спящий мир двери повернул... на кухню. Не готов к встрече. Надо пусть не понять — хотя бы обрести равновесие.

Кухня уютно-тесная, белая, оскорбительно покойная, прибранностью и порядком притворяющаяся — не ведает, что случилось рядом за стеной. Узенький столик у стены покрыт клеенкой с веселыми цветочками. Аркадий Кириллович тяжело опустил за него.

4

Женщина с ружьем оказалась почти на окраине города, в новом районе, где дома без конца повторяют друг друга, где фонари реже, дождь, кажется, сыплет гуще, закоулки темней, а ночь глуше, неуютней, безнадежней.

Женщина свернула за угол одного ничем не отличающегося от других пятиэтажного здания, тихо постанывая: «Бож-ж... Бож-ж...» — протрусила наискосок через просторный двор, оказалась у флигелька, каким-то чудом уцелевшего с прежних, дозастроечных времен, сохранившего среди утомительно величавого стандарта свою физиономию, облупленную, скривившуюся, унылую.

Женщина пробарабанила в окно, и оно, помешкав, вспыхнуло, вырвав из тьмы одичавшее, залепленное мокрыми волосами лицо, злое еще залоснившиеся стволы ружья...

Маленькая комнатка была беспощадно освещена свисавшей с потолка голой лампочкой. Переступив порог, женщина с грохотом выронила ружье, бессильно опустилась на пол, и сиплый, гортанный полукрик-полустон вырвался из ее горла.

— Тихо ты! Соседей побудишь.

Рослая старуха, впусившая ее, глядела сонно, недобро, без удивления.

— Ко-оль-ка-а!.. Отца-а!.. Насмерть!

Женщина надсадно тянула худую шею в сторону старухи, сквозь волосы, запутавшие лицо, обжигали глаза.

Старуха оставалась неподвижной — пальто, наброшенное на костлявые плечи поверх ночной рубахи, босые, уродливые, с узловатыми венами ноги, жидкие, тускло-серые космы, длинное, с жесткими морщинами, деревянное лицо — непробиваема, по-прежнему недоброжелательна.

— Евдокия-а! Колька же!.. Отца!.. Из ружья!..

Легкое движение вскосмаченной головой — мол, понимаю! — скользкий взгляд на двустволку, затем осторожно, чтоб не свалилось пальто, старуха освободила руку, перекрестившись в пространство, неспешно, почти торжественно:

— Царствие ему небесное. Достукался-таки Рафашка!

Всем телом женщина дернулась, вцепилась обеими руками себе в горло, забила на полу:

— В-вы!.. Что в-вы за люди?! Кам-ни-и! Кам-ни!! Он никого не жалел, и ты... Ты — тоже!.. Ты же мать ему — слезу хоть урони!.. Кам-ни-и-и бесчувственные!!

Старуха хмуро глядела, как бьется на полу рядом с брошенным ружьем женщина.

— Страш-но-о!! Страш-но-о среди вас!!

— Ну хватя, весь наш курятник переполошишь.

Тяжело ступая босыми искривленными ногами по неровным, массивным, оставшимся с прошлого века половицам, старуха прошла к столу, налила из чайника воды в кружку, поднесла к женщине:

— Пей, не воротись... Криком-то не спасешься.

Женщина, стуча зубами о кружку, глотнула раз-другой — обмякла, тоскливо уставилась сквозь стену, обклеенную пожелтевшими, покоробленными обоями.

— Дивисься — слезы не лью. Оне у меня все раньше пролиты — ни слезинки не осталось.

Минут через пятнадцать старуха была одета — длинное лицо упрятано в толстую шаль, пальто перепоясано ремешком.

— Встань с пола-то. И сырое с себя сыми, в кровать ляг, — приказала она. — А я пойду... прощусь.

По пути к двери она задержалась у ружья:

— Чего ты с этим-то прибегла?

Женщина тоскливо смотрела сквозь стену и не отвечала.

— Ружье-то, эй, спрашиваю, чего притащила?

Вяло пошевелившись, женщина выдавила:

— У Кольки выхватила... да поздно.

Старуха о чем-то задумалась над ружьем, потрянула укутанной головой, отогнала мысли.

— Кольку жаль! — с сердцем сказала она и решительно вышла.

5

Он считал: педагог в нем родился одной ночью в разбитом Сталинграде.

Кажется, то была первая тихая ночь. Еще вчера с сухим треском лопались мины среди развалин, путаная канитель пулеметных длинных и лающе-коротких автоматных очередей означала линию фронта, и дышали «катюши», покрывая глухими раскатами изувеченную землю, и на небе расцветали ракеты, в их свете поживались причуд-

ливые остатки домов с провалами окон. Вчера была здесь война, вчера она и кончилась. Поднялась тихая луна над руинами, над заснеженными пепелищами. И никак не верится, что уже нет нужды пугаться тишины, затопившей до краев многострадальный город. Это не затишье, здесь наступил мир — глубокий, глубокий тыл, пушки гремят где-то за сотни километров отсюда. И хотя по улицам среди пепелищ валяются трупы, но то вчерашние, новых уже не прибавится.

И в эту-то ночь неподалеку от подвала бывшей одиннадцатой школы, где размещался их штаб полка, занялся пожар. Вчера никто бы не обратил на него внимания — бои идут, земля горит, — но сейчас пожар нарушал мир, все кинулись к нему.

Горел немецкий госпиталь, четырехэтажное деревянное здание, до сих пор счастливо обойденное войной. Горел вместе с ранеными. Ослепительно золотые, трепещущие стены обжигали на расстоянии, теснили толпу. Она, обмершая, замороженная, подавленно наблюдала, как внутри, за окнами, в раскаленных недрах, время от времени что-то обваливается — темные куски. И каждый раз, как это случилось, по толпе из конца в конец проносился вздох горестный и сдавленный — то падали вместе с койками спекшиеся в огне немецкие раненые из лежачих, что не могли подняться и выбраться.

А многие успели выбраться. Сейчас они затерялись среди русских солдат, вместе с ними, обмерев, наблюдали, вместе испускали единый вздох.

Вплотную, плечо в плечо с Аркадием Кирилловичем стоял немец, голова и половина лица скрыты бинтом, торчит лишь острый нос и тихо тлеет обреченным ужасом единственный глаз. Он в болотного цвета, тесном хлопчатобумажном мундирчике с узкими погончиками, мелко дрожит от страха и холода. Его дрожь невольно передается Аркадию Кирилловичу, упрятанному в теплый полушубок.

Он оторвался от сияющего пожарища, стал оглядываться — кирпично раскаленные лица, русские и немецкие вперемежку. У всех одинаково тлеющие глаза, как глаз соседа, одинаковое выражение боли и покорной беспомощности. Свершающаяся на виду трагедия ни для кого не была чужой.

В эти секунды Аркадий Кириллович понял простое: ни вывихи истории, ни ожесточенные идеи сбесившихся маньяков, ни эпидемические безумия — ничто не вытравит в людях человеческое. Его можно подавить, но не уничтожить. Под спудом в каждом нерастраченные запасы доброты — открыть их, дать им вырваться наружу! И тогда... Вывихи истории — народы, убивающие друг друга, реки крови, сметенные с лица земли города, растоптанные поля... Но историю-то творит не господь бог — ее делают люди! Выпустить на свободу из чело- века человеческого — не значит ли обуздать беспощадную историю?

Жарко золотились стены дома, багровый дым нес искры к холодной луне, окутывал ее. Толпа в бессилье наблюдала. И дрожал возле плеча немец с обмотанной головой, с тлеющим из-под бинтов единственным глазом. Аркадий Кириллович стянул в тесноте с себя полушубок, накинул на плечи дрожащего немца, стал выталкивать его из толпы:

— Шнель! Шнель!

Немец без удивления, равнодушно принял опеку, послушно трусил всю дорогу до штабного подвала.

Аркадий Кириллович не доглядел трагедию до конца, позже узнал — какой-то немец на костылях с криком кинулся из толпы в огонь, его бросился спасать солдат-татарин. Горящие стены обрушились, похоронили обоих. В каждом нерастраченные запасы человечности. Историю делают люди.

Бывший гвардии капитан стал учителем и одновременно кончал заочно пединститут.

Школьные программы ему внушали: ученик должен знать биографии писателей, их лучшие произведения, идейную направленность, должен уметь по заданному трафарету определять литературные образы — народен, реакционен, из числа лишних людей.. И кто на кого влиял, кто о ком как отзывался, кто представитель романтизма, а кто критического реализма... Одного не учитывали программы — литература-то показывает человеческие отношения, где благородство сталкивается с подлостью, честность со лживостью, великодушие с коварством, нравственность противостоит безнравственности. Отобранный и сохраненный опыт человеческого общежития!

Ты возмутился хозяйкой Ваньки Жукова, жалующегося в письме к деду: «Взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать». Но не странно ли — ты совсем не возмущаешься, когда знакомый старшеклассник просто так, походя, ради удовольствия отпускает затрещину пробегающему мимо малышу. Сильный на твоих глазах обижает слабого потому только, что он сильный. Достойный ли ты человек, если относишься к этому равнодушно?

Вы прочитали роман Толстого «Воскресение», давайте пофантазируем: что, если бы Нехлюдов от внутренней трусости или стыда отвернулся от Кати Масловой? Как бы он жил дальше? Женился? Обзавелся семьей? Был бы спокоен?..

Литература помогла Аркадию Кирилловичу завязать в школе сложное соперничество за достоинство: кто чувствовал в себе силу, выискивал случай кинуться на защиту слабого; слабый гордился собой, если мог сказать нелестную правду в глаза сильному; невинный сносил наказание за чужие грехи молча, но горе тому, кто трусливо допустит, чтоб за его вину наказали другого...

Во всем этом, да, было много игры и много показного. Но можно ли сомневаться, что со временем у детей показное благородство не станет привычкой, а игра — жизнью? В последние годы даже инспектора гороно публично отмечали — ученик сто двадцать пятой школы своим поведением завидно отличался от учеников других школ.

Аркадий Кириллович верил, что от него идут в большую жизнь духовно красивые люди, не способные ни сами обижать других, ни мириться с обидчиками, не терпящие подлости и обмана, сознающие свое моральное превосходство. И те, с кем будут они сталкиваться, невольно начнут оглядываться на себя. В любом человеке таятся запасы человечности. Аркадий Кириллович ни на минуту не забывал перемешанную толпу бывших врагов перед горящим госпиталем, толпу, охваченную общим страданием. И безыизвестного солдата, кинувшегося спасать недавнего врага, тоже помнил. Он верил — каждый из его учеников станет запалом, взрывающим вокруг себя лед недоброжелательства и равнодушия, освобождающим нравственные силы. Историю делают люди. Он, Аркадий Кириллович Памятнов, рядовой педагог, вносит в историю свой скромный вклад...

Он верил сам и заставлял верить других. К нему тянулись, к его слову прислушивались, его совета искали не только ученики, но и их родители. И Соня Потехина в отчаянье бросилась звонить среди ночи не кому-то, а ему!

Сейчас Аркадий Кириллович сидел в кухне, подперев кулаком тяжелую голову. За стеной, в нескольких шагах лежал рослый мужчина с черепом, развороченным выстрелом из ружья. Его ученик убил своего отца! Его ученик... Один из тех, кто вызывал в нем горделивую веру.

Что это?

Случайная гримаса судьбы или же жестокое наказание за допущенную ошибку?

Если и сумеет тут кто-то подсказать, то только он — Коля Корякин. Если сумеет...

Тишина кругом. Аркадий Кириллович уже собирался подняться, чтоб идти вниз, как вдруг услышал крадущиеся шаги. Он вздрогнул, распрямился и... увидел в дверях кухни все того же Василия Потехина в натянутой на лоб беретке, в широкой дошке с меховым воротником,

6

— Не вытерпел. Пришел спросить: увидели?.. Ну и как?..

Прежнее необъяснимое недружелюбие в голосе и настороженная неприязнь в глазах.

Лицо Василия Петровича всегда поражало несогласованностью — крупный подбородок и под беретом обширный лоб мыслителя, а между ними суетно-нев्यразительные черты, вздернутый, вдавленный в переносье нос, дряблая бескостность на месте скул, маленький аккуратный женский рот, почти неприличный над крутым подбородком. Похоже, господь бог замыслил вылепить человека и умным и волевым, но сплеховал, измельчил, напугал, так и выпустил в свет недоделанным.

— Коля у вас? — спросил Аркадий Кириллович. — Я хочу его видеть.

— А зачем?

— Василий Петрович, что с вами?

— Прозрел.

— В чем?

— В том, какой вы опасный.

— Не очень-то удобно выяснять сейчас отношения, но уж раз начали — договаривайте.

— Все умиляются на вас, и я тоже, как все... — Василий Петрович качнул беретом в сторону комнаты, где лежал убитый. — Охладило. А вам... Позвольте вас спросить: вам ничего?.. Вас совесть не грызет?

Неужели этот человек разглядел со стороны то, что мучало смутными подозрениями? Аркадий Кириллович почувствовал зябкость в спине. Но волнения не выдал, спросил спокойно:

— Вы считаете — между убийством и мной есть прямая связь?

— Прямая? Да нет, кривенькая, с загибчиками...

— Докажите.

— Не смей мириться с плохим — требовали от ребят?

— Требовал.

— И будь хорошим без никаких уступочек — тоже требовали?

— Тоже.

— Так что ж выходит: поперек жизни становись, ребятки. Вникните — страшно же это! Малая щепка реку не запрудит.

— Считаете, что я как-то настроил Колю Корякина?

— Считаю — подвели мальчишку, как меня в свое время.

— Вас?..

Василия Петровича всего передернуло, даже голос у него сразу стал тоньше:

— А то нет! Был человек человеком, растущим инженером считали. Так стукнуло меня к вам сунуться — справедливости великой, видите ли, захотелось. А вы известный специалист по справедливости, апостол святой! И полез я с вашей святостью, как Иван-дурак с плачем на свадьбу, другим настроение испортил, а сам с помятыми бока-

ми за дверью оказался. Кто я теперь?.. Наряды выписываю на починку газовых плиток. К большому делу не подпускают — людей подвел.

— Так я виноват в том, что не отказал вам в помощи?

Василий Петрович резко подался вперед, словно сломался в пояснице — разлившиеся зрачки, задранный нос, кривящиеся губы:

— Не помогайте! Просить будут — никогда не помогайте! Откажитесь! — С жарким дыханием, шепотом: — Хуже людям сделаете.

И этот выпад, горячее до ненависти убеждение наконец-то возмутили Аркадия Кирилловича.

— Мне пятьдесят четыре года, — сказал он жестко и холодно. — За свою жизнь я многим помог, благодарностей слышал достаточно, а вот такие упреки — только от вас.

Василий Петрович откачнулся, сразу потускнел, стал просто мур.

— И я благодарил, если помните... Теперь вот опомнился, — проворчал он в сторону. — Да во мне ли дело? В Соньке... Дочь мне родная, боюсь за нее. Доучите вы ее — тоже на рога полезет... Ну-у нет! Не хочу! Переведу из школы...

В это время за темным окном, внизу, со дна ночной ямы, послышался шум моторов, скрип тормозов, хлопанье дверок, смутные голоса. Василий Петрович передернул плечами, подобрался:

— Милиция подкатила. Наконец-то!

Он боком двинулся к двери, но в дверях задержался, обернулся к Аркадию Кирилловичу, бросил:

— А Гордин-то прав! Во всем прав!

Бесшумно исчез.

Гордин?.. В свое время Потехин постоянно произносил эту фамилию, и каждый раз с выстраданным проклятием. Даже для Аркадия Кирилловича неведомый Гордин стал олицетворением нечистоплотности, лживости, безудержного корыстолюбия. Пока не забылся.

А по лестнице прибойной волной стали нарастать шаги. Чем ближе, тем, казалось, больше становилось идущих, словно на каждом этаже распахивались двери, присоединялись люди, росла толпа.

Аркадий Кириллович опоздал к Коле Корякину, сейчас милиция возьмет его под свою опеку, придется просить разрешения свидеться.

Аркадий Кириллович поднялся, чтоб встретить надвигающуюся процессию.

7

Невысокий человек с фатоватой выправочкой, в ладно сидящем темном плаще, в гляцеватой от дождя легкомысленной кожаной кепочке с намеком на козырек, лицо скуластенькое, несолидные усики и быстрые, цепкие черные глаза.

— Я инспектор уголовного розыска Сулимов, а вы кто? — спросил он чеканно. За начальственной строгостью пряталась молодая простодушная задиристость.

— Я учитель Памятнов, Аркадий Кириллович.

— И что вы здесь делаете?

— Пока ничего. Только переживаю.

— Гм...

Инспектор Сулимов оживленно ощупывал блестящими смоудиновыми глазами, явно оценивал столь неуместного возле преступления пожилого, представительного учителя с внушительным, иссеченным крупными складчатыми морщинами лицом.

— Это мой ученик... — выдавил Аркадий Кириллович.

— Вы здесь живете? Как вы сюда попали раньше нас?

— Здесь живет еще одна моя ученица. Она вызвала меня по телефону.

— И часто вас так... среди ночи?

— Впервые.

— Все-таки что же вы намереваетесь тут делать?

— Вот собирался встретиться с ним. И не успел.

— С преступником?

— Он для вас преступник, для меня — ученик.

— Надеетесь чем-то ему помочь?

— А вы считаете, что он не нуждается в помощи?

— Нет, не считаю.

— Ну так если кто-то и сможет помочь ему, то, думается, только я. Его матери самой, наверное, нужна помощь.

— Однако вы самонадеянны. Уж не думаете ли, что способны снять с него вину?

— Его виной займетесь вы. Я — им самим.

— Что это значит?

— Это значит, что он не случайно сорвался на столь ужасный поступок, заставило что-то страшное. И нетрудно представить, в каком состоянии он теперь находится. Кто-то должен понять его, кто-то, кому он может довериться. А мне он всегда доверял.

Сулимов задумался, отвел в сторону взгляд. Из комнаты, где лежал убитый, доносились озабоченные голоса, там уже действовали его помощники.

— А он нормален? — осторожный вопрос.

— Вполне.

— Тем хуже, — нахмурился Сулимов.

— Так вы разрешите мне сейчас поговорить с ним? — попросил Аркадий Кириллович.

— Аркадий Кириллович!.. — торжественно уставился прямо в глаза Сулимов, всем своим видом показывая, что не упустил из разговора ни одного слова, даже имя-отчество с лета запомнил. — Аркадий Кириллович, не лучше ли нам поговорить с ним вместе? Вы нам поможете что-то открыть, мы — вам.

— Я даже не уверен, товарищ Сулимов, что он распахнется и передо мной одним, а уж при вас скорей всего совсем замкнется.

— Я не могу допустить вас к нему, пока сам не допросил. Вообще до окончания следствия свидания не разрешены.

Аркадий Кириллович надолго подавленно замолчал. Сулимов пытливо косил на него острым глазом, наконец заговорил:

— Ему же будет легче, если первый допрос пройдет в присутствии учителя, которому привык верить. На меня он невольно станет глядеть — враг перед ним, и беспощадный. А если окажетесь рядом вы, значит, поймет — имеет дело не с врагами. Не лишайте его поддержки.

Аркадий Кириллович помедлил, навесив брови, деревенея тяжелыми складками, неуверенно согласился:

— Что ж... Выбора у меня нет. Пусть будет так. Мне прикажете ждать?.. И долго?..

Появился озабоченный офицер милиции, хмуро доложил Сулимову:

— Наповал... А ружья вот нигде не найдем.

— Не думаю, что долго, — ответил Сулимов Аркадию Кирилловичу. — Дело, по всему виду, ясное, петельки распутывать не придется... Пошли, Тищенко.

Аркадий Кириллович снова остался один в кухне. За стеной часы, висящие над убитым, хрипло пробили четыре раза — мрачный благовест.

8

Сулимов, однако, исчез надолго.

Вокруг шла непонятная толкотня. Появлялись и исчезали новые люди — некто, увешанный фотоаппаратами; растерянная и перепуганная пара: женщина в рабочем ватнике и небритый мужчина в коробом сидевшей кожмитовой куртке (должно быть, дворники); санитары в белых халатах о чем-то шумно заспорили с милицией, оставили после себя в прихожей громоздкие носилки. Мелькание людей, хлопанье дверей, душно и жарко, а перед глазами — под яростной люстрой рослый детина, прилипший соломенной головой к черной луже...

Все дико, чуждо, все нереально — не верится, что за окном в сырой тьме стоит знакомый город, что через несколько часов для всех начнется обычный день, люди проснутся, сядут завтракать, побегут на работу. Кошмарный сон...

Самым невнятным из всего, вызывающим сосущую тревогу был недавний разговор с Василием Петровичем Потехиным. Теперь на досуге Аркадий Кириллович с подозрительной придирчивостью перебирал все, что случилось прежде между ними.

А случилось, в общем-то, самое обычное. Однажды в школе после родительского собрания Потехин подошел к Аркадию Кирилловичу, глядя кроличьими глазами, стал рассказывать: работает в самом крупном СМУ города, руководит там газовым хозяйством, укладывает газовые трубы, когда дома уже стоят, а дворы и подъездные пути залиты асфальтом, пробивает через этажи дымоходы, когда стены оштукатурены, покрашены, полы покрыты паркетом, рабочие постоянно протаивают, чтоб их задобрить, приходится приписывать им взятую с потолка работу — словом, на стройке разнузданный шабаш, обходящийся государству во многие сотни тысяч рублей. Василий Потехин просил совета. Какой мог дать еще совет Аркадий Кириллович — терпи, участвуй и дальше в расхитительстве? Да, он настроил Василия Петровича, да, помог ему связаться и с обкомом и с городскими курирующими организациями...

То ли Василий Петрович Потехин оказался жидок для крупной войны, то ли слишком могущественным был его противник — некий Гордин, воровавший СМУ, но волна прошла, поднятая шумиха утихла, и Василий Потехин оказался не у дел.

Он и потом жаловался Аркадию Кирилловичу, строил перед ним планы возмездия — Гордин, баснословный растратчик, Гордин, бесстыдный очковтиратель, Гордин, мастер всучивать взятки и крутить интриги, Гордин должен быть упрятан в тюрьму, на меньшее Василий Петрович не соглашался. Но очень скоро смирился, притих и уже не встречался с Аркадием Кирилловичем. Эпопея забылась, у Аркадия Кирилловича хватало своих забот.

И вот сейчас Потехин снова вспомнил... Можно, пожалуй, как-то объяснить его обиду на советчика — на лихое толкнул! Но чем объяснить его признание — Гордин прав?..

Далекий Гордин вдруг странным образом связался с непоправимым поступком близкого Коли Корякина. В другое бы время Аркадий Кириллович отмахнулся: какая там связь — воспаленный бред! Но в эту ночь все странно, все чудовищно неправдоподобно, ничего не понятно, приходится с придирчивостью вглядываться и в то, что кажется бредовым.

Уже не раз из комнаты покойника раздавался сильный бой часов, всегда пугающе неожиданный, заставляющий вздрагивать, а Сулимов не появлялся.

9

Он вошел в кухню, но не один, за ним ввалилась рослая старуха в подпоясанном пузырящемся пальто, тепло укутанная платком. Позади старухи маячила милицейская фуражка.

— Не проси лучше, бабушка,— терпеливо убеждал старуху Сулимов.— Не для глаз матери картинка.

За время отсутствия он, видать, бурно действовал — плащ скинут, кепочка сбита на затылок, лицо запаренное, не утратившее энергичности, в щеголеватом, полуспортивного покроя костюме некая разлаженность, и галстук сполз в сторону, и сорочка под ним расстегнута на одну пуговицу.

— Я, милый, к страшному-то привыкла,— обрезала сурово старуха.— Не жалею меня.

— К такому не привыкают, мать. И потом, там сейчас работа...

— А я не уйду, покада его не увижу. Сын же он мне, сын родной, бесчувственные вы!

— Что ж, жди. Будут выносить — позовем.

— На улицу не пойду. Здесь останусь. Не молоденькая, чтоб на ногах...

— Усадите ее где-нибудь,— распорядился Сулимов.

Милиционер, маячивший за спиной старухи, выступил вперед, бережно взял за локоть:

— Я тебе, бабка, стульчик вынесу, у дверей подежуришь. А здесь не положено. Никак!

— Ну все. Ради бога простите,— обратился Сулимов к Аркадию Кирилловичу.— Сейчас мы поедем в управление.

За стеной вдруг раздался вой, хриплый, нечленораздельный, удушливый. Сулимов дернулся с места, но выскочить не успел — в дверях вырос смущенный Тищенко:

— Старуха эта вырвалась, перехватить не успели. Откуда только и резвость взялась.

— Голо-овуш-ка-а горька-ая-а! Жи-ызнъ моя-а распрокля-а-та-ая-а! — Хриплый вой обрел членораздельность.

— Упала на труп, вцепилась — не отдерешь! — Тищенко крутанул фуражкой.— Ага! Подняли... Ишь ты, на ногах не стоит, на ручках носи... Посадите на лестнице, пусть поостынет.

У Сулимова ошетинились усики, блеснули под ними мелкие зубы:

— Тищенко! Ты чем думаешь? Мать убитого сына увидела!.. Сюда ее! И повежливей!

— Будет вам морока — нанянитесь! — проворчал Тищенко, однако поспешно скрылся.

— Го-о-оспо-оди-и! За что невзлюбил?! Прежде дал бы мне-е помереть! На старости-то лет ви-идеть такое!..

Старуха вместе с сопровождающими втиснулась в кухню. Платок сполз у нее с головы, открыв седые неопрятные космы, изрубленное морщинами лицо слепо, открыт только провалльно-черный, без зубов рот. На минуту в кухне стало до духоты тесно.

Аркадий Кириллович вскочил с табуретки, усадил старуху. Она упала лицом на стол, стала кататься седой головой по клеенке с веселыми цветочками.

— Перед смертью-то уви-идеть такое!.. Гос-по-ди-и!..

Тищенко, пугливо оглядываясь, молчком выдавил из кухни сопровождавших, прикрыл старательно стеклянную дверь.

Сулимов морщился от крика, крутил головой в кепочке, словно повторял движения седой головы старухи. Аркадий Кириллович, в расстегнутом плаще, в свесившемся кашне, в косо сидящей шляпе, нависал над старухой своим крупным, пропаханным глубокими складками лицом.

— Чем я так не угодила, гос-по-ди-и?! За что про-о-кля-та?! Устал-ла-а! Устал-ла-а! Моченьки нет! И пожаловаться кому?! Кто услышит?!

— Мы слышим, мать,— обронил в седой затылок Аркадий Кириллович.

И старуха притихла, оторвалась от стола, все еще не разогнувшаяся до конца, сторбленная, судорожно пошарила рукой на груди, горестно высморкалась в конец платка и всхлипнула с содроганием, как всхлипывают успокаивающиеся дети. И это детское странно выглядело у седой дряхлой женщины с измятым, опухшим, столь тяжелым лицом, что его не смогло одухотворить даже и горе.

— Вы-то слышите, да что вам мое-то,— выдавила она.

Аркадий Кириллович опустил рядом с ней.

— Раз уж мы здесь, то, значит, есть дело и нам до твоей беды.

Старуха тупо взирала остановившимися глазами на цветочки, рассыпанные по клеенке, на запавшем виске под седым клоком билась толстая вена, пыталась выползти на морщинистый лоб, в такт ей еле заметно содрогались концы вздыбленных волос, отсчитывая натужные удары старого сердца. И снова вздох, но уже не детский, не со всхлипом, не прерывистый, а тягучий, сдавленный, вздох человека, изнемогающего от жизни.

— В беде родился, бедой и кончил.. — тихо и внятно произнесла старуха, замолчала.

Слышно было, как поскрипывали ботинки переминающегося над ней Сулимова.

— И пока жил, все-то времечко от него к другим беда шла.. Только беда.

— А его самого к беде никто не толкал? — спросил Аркадий Кириллович.

Старуха впервые подняла на него тусклые глаза, должно, вопрос чем-то поразил ее.

— Бог толкал, никто больше,— ответила с твердым убеждением.

— Ты его в детстве часто била?

— Не... В сердцах когда, покуда не подрос и совсем от рук не отбился.

— А любила ты его сильно?

Старуха грузно зашевелилась, выдавила стон:

— Он же мне жизнь вывернул.. Малой, на руках был, а уж из родной деревни погнал, это в голодные-то годы!.. И никто уж больше не сватался, никому из-за него не нужна была. Бобылкой так век и прожила. Некуды было от него спрятаться. И теперь вот... не спрячешься! По ночам блазниться будет...

По изрытым щекам старухи потекли слезы, скрюченные пальцы то сжимались, то разжимались на веселой, в цветочках клеенке. Сулимов достал пачку из-под сигарет, в сердцах скомкал, бросил — пуста! — сказал:

— Говорил же — не для тебя картинка. Не послушалась.

— Сатана толкнул... Как захватило за душеньку, так и не пускает, дай, думаю, одним глазком на непутевого... Всем-то он жизнь портил, всех-то он наказывал, за это его бог и наказал!.. А он и тут.. Он и

мертвый-то, мертвый пуще живого страшон!.. Люди добрые! Не дайте ему других губить! Он всему виноват, как перед господом говорю! О-он! О-он! Сатаной клейменный! В позорище зачала, в стыде выносила, в горестях вынянчила! До того еще, как на свет появился, бедой был. Со свету сгинул — добрых людей наказывает! Да кто же о-он, кого родила-а?!

Старуха сорвалась на кликушеский речитатив, морщины стянулись, глаза закатывались, губы прыгали, выбрасывая мятые слова. Сулимов ошарашенно стоял посреди кухни — кепочка на затылке, глаза навывкате со смятенным мерцанием, подрагивают несолидные усики. Аркадий Кириллович сидел возле старухи, устало распутив складки на лице, не шевелясь, пряча угрюмый взгляд под бровями.

Скрюченные пальцы старухи царапали клеенку, ее ломало — вот-вот свалится на пол, забьется в истерику.

Аркадий Кириллович тряхнул ее за плечо:

— Хватит, старая! — Обернулся к инспектору: — Распорядитесь, чтоб отвезли ее домой.

Сулимов очнулся от столбняка:

— Счас!

Сверкнул на трясущуюся старуху глазом, кинулся в прихожую.

10

Наконец-то они двинулись к выходу, Сулимов напористо впереди, Аркадий Кириллович поспевал за ним, Тищенко сзади.

Лестничная площадка сейчас была густо населена. В стороне от величавого, затянутого в шинельное сукно и ремни милиционера тесно сбились полуодетые перепуганные жильцы соседних квартир. И этажом ниже вперемежку — застегнутые на все пуговицы пальто и мятые пижамы, бледные лица, всклокоченные прически, вопрошающие немотно глаза. Дом проснулся, дом растревожен.

У плотно прикрытой двери своей квартиры стоял Василий Потехин в раскляустанной дошке, с бодливо выставленным на спускающегося Аркадия Кирилловича лбом: ну да, с начальством ходишь, никому невдомек, каков ты есть, один я насквозь тебя вижу!

Они вышли из подъезда, их встретило низкое, до безразличия спокойное небо, подпираемое дымчатыми домами. Аркадий Кириллович с наслаждением захлебнулся влажным воздухом, чувствуя, как тает в нем скопившаяся отравка, яснее голова.

Но он опустил взгляд с неба на землю и вздрогнул — перед ним стояла толпа угрожающе сбита, выжидательно молчащая, угрюмо-неподвижная. И желтые с голубым милицейские машины, и фургон «скорой помощи» с тревожно-красными крестами, и сумеречные шинели милиции, сдерживающей толпу. Под сглаженно-равнодушным небом, под морозящим освежающим дождичком, обычным утром, среди обычной улицы — странное людское скопление. Город, не успев начать день, прервал его, забыв о делах и заботах, сбежался, с настороженной праздностью замер перед сторонним бедствием, доказывая своим вниманием — не мелочь, масштабное событие!

Сулимов кивком указал на канареечную машину: туда! Возле машины все остановились, стали закуривать неспешно, сосредоточенно, словно исполняя необходимый ритуал. Аркадию Кирилловичу тоже протянули надорванную пачку. Он бросил курить лет десять назад, но сейчас взял сигарету, поспешно прикурил, осторожно затянулся, вместе с другими принялся разглядывать толпу.

В упор толпа выглядела иной — не слитной, не неподвижной, не угрожающей. В ней происходило робкое, подавленно-суетное шеве-

ление — задние протискивались вперед, передние недовольно теснились, с беспокойством и опаской оглядывались на сдерживающую милицию. Выныривали и исчезали лица, мужские и женские, старые и молодые — разные, но с одинаковой оскорбительной озабоченностью, как бы не пропустить чего, утолить любопытство. Аркадий Кириллович почувствовал — сотни жадных глаз ощупывают и его, он участник действия, таинственный мрачный жрец преступности, потому в нем все интригует: шляпа, натянутая на лоб, небрежно выбившееся кашне, допущенный плащ, сигарета в руке, сумрачное лицо, более сумрачно, должно быть, чем у тех, кто стоит рядом. Сулимов и его товарищи, верно, привыкли к такому вниманию, скучающе глядели на толпу, курили, молчали, чего-то ждали.

Неожиданно толпа вздрогнула, качнулась вперед и замерла. Аркадий Кириллович, повинувшись направленным мимо него взглядам, обернулся и увидел Колю Корякина. Массивный милиционер, что стоял на верхней лестничной площадке, вел Колю за локоть, красная лапища касалась бережно, с медвежьей лаской, шаг твердый, решительный, на всю ступню. Рядом с этим плотски грубым, туго налитым, багрово-жарким, стянутым ремнями милиционером Коля выглядел немочным до призрачности, не человек, а видимость — бескровное, с бескровными губами узкое лицо, гривка невнятно рыжих волос, рвущаяся вперед непрочно тонкая шея, короткое пальтишко нараспашку, нетвердая поступь нескладных ног в расклешенных джинсах — но убийца! И чем он беспомощнее, тем опаснее должен казаться толпе — зря, что ли, собрал столько милиции, и какая богатырская ручища держит его сейчас за локоть!

И все-таки Аркадий Кириллович с надеждой вглядывался в лица — мир не без добрых людей, не могут же совсем не сочувствовать, кто-то же охвачен жалостью. Но нет, всех оглушило samozабвенное — не пропусти момента, исчезнет, не повторится!

И лишь два лица выделялись из других, задержали на себе взгляд Аркадия Кирилловича. На них всеобщее «не пропусти!» утонуло в ужасе, смятении, паническом, недоуменном. Он и она, к нему прижавшаяся. Она, ищущая у него спасения, верящая в его силу, в его надежность. Но она, прижавшаяся, не замечала того, что было хорошо видно издали Аркадию Кирилловичу: он вовсе не чувствовал сейчас себя сильным — поражен, сбит, растерян. И они оба молоды, оба каждый по-своему красивы. В ее звучных тонких чертах изнеженность и врожденная ранимость. Он попроще скроен, крепче сшит, в нем та многообещающая грубоватость, которая обманчиво сулит самоуверенность, уравновешенность, всепобеждающую волю и никак не предполагает уязвленности. А именно он, плечистый, грубовато-сильный, сейчас поражен явно больше нее. Он и она — наглядно завидные представители рода человеческого. Он и она — убедительный образец доверчивости друг к другу. Если не им, то кому еще на земле доступно счастье? При виде их, молодых, обласканных природой, спянных чужим несчастьем, невольно испытываешь исцеляющую гордость — не столь уж плохи живущие рядом с тобой люди!

Но они-то чего страшатся? Какое им дело, что рядом случилось непоправимое — сын убил отца?! Их не заденет, пройдет мимо, они любят друг друга, будут любить детей, дети станут отвечать им любовью. Ничего не грозит.

Ой ли?.. Несчастье заразно. Люди так перепутаны между собой, что если рвется в одном месте, расплзается и в другом. Кто может разобраться в этом таинственном хитросплетении? Нет таких, но каждый чувствует его роковую ненадежность. Эта пара — тоже.

Забыв о том, что в десяти шагах медвежеватый милиционер усаживал в милицейскую машину Колю Корякина, Аркадий Кириллович любовался затерянными в толпе — им и ею. В жизни не только свары, грязь, кровь, есть, есть иное, восхищающее, обнадеживающее. За эту надежду он, отравленный, испытывал сейчас пронзительную благодарность, готов был мысленно произносить заклятье: не сотворись бессмыслица, не обрушья на этих двоих ни нужда, ни болезнь, ни сторонняя злоба, не пробегу между ними черная кошка, не помешай любить!.. Аркадий Кириллович, забыв обо всем, любовался..

Не она, тонкая и ранимая, а он, грубый, почувствовал его пристальный взгляд, перехватил его. Глаза их встретились. И на смело вырубленном лице его появилась смятенная тревога, почти испуг. Нет, все-таки этот парень не был еще настолько чуток, чтоб уловить — внимание незнакомого человека не таит вражды. Он не поверил Аркадию Кирилловичу, его тайную восторженность, его любование встретил смущением и неприязнью. На всякий случай — спроста ли пристальность? что за ней? Чужая душа — потемки! Остерегаться ближнего — в крови человеческой.

— Аркадий Кириллович! Товарищ Памятнов!..

Сулимов сидел уже в машине, приглашал садиться его.

Аркадий Кириллович отбросил потухшую сигарету. Его проводил спокойный, недоверчивый взгляд из толпы.

Взвыла сирена, толпа зашевелилась, начала тесниться, расступаясь перед машиной.

11

Милицейская машина, не задерживаясь у светофоров, визжа скаматами на поворотах, за двадцать минут доставила к дому старуху Корякину. За дорогу та успокоилась — «такая уж судьба Рафашке, против бога не попрешь», — вошла к себе с лицом измятым, хмурым, но таящим значительность: узнала такое, что другим неведомо.

На полу по-прежнему валялось ружье. Анна, лежавшая на койке, со стоном подняла навстречу голову с упавшими на лицо спутанными волосами.

— Ну?! — с нетерпеливой дрожью, блестя лихорадочным глазом сквозь волосы.

— Чего — ну? — огрызнулась старуха. — Уж не ждешь ли, что обрадую чем?

— Кольку видела?

— Кольку теперь от людей сторожат... А Рафаила... Ох, лучше бы и не видеть. Го-ос-по-ди! За все грехи свои сполна ответил!

Анна судорожно передернулась.

Старуха начала медленно разоблачаться, раскручивала шаль, угрюмо бубнила:

— Вот ведь, родился нечаянно и умер невзначай, отца не знал, от сына погиб... Жизны!

— Что с Колюхой сделают?

— Аль догадаться трудно? Судить будут, не без того... Парня жаль — тоже косо жизнь начинает.

Анна сбросила с койки босые ноги.

— Мать! А откуда кому известно, что это он?..

Старуха с подозрением покосилась:

— То-то что на другого не свалишь.

У Анны на бледном лице кривился темный рот, глубоко запавшие глаза — в суетливом горячечном мерцании, острые плечи напряженно приподняты, тонкие руки вкогтились в одеяло.

— Я, а не он в Рафаила-то из ружья... Откуда кому известно? Может, Колька наговаривает на себя, меня спасает?..

Долгим пасмурным взглядом старуха обвела невестку, с горькой пренебрежительностью ответила:

— Полно-ко, кого оманешь... Ни себя не морочь, ни других. Хоть бы похитрей была, спросят — на первом же слове запутаешься... Ты? Из ружья?.. Да ты на мышь не замахивалась.

— А вот довел, довел! Восемнадцать лет мучал, каждый вечер от него смерти ждала. Одно спасение — ружье! Не Кольку пусть судят — меня!

— Не тебе, голубушка, врать, не им слушать.

— А ты подтверди: мол, я не раз стращала — одно мне остается... Подтверди, спасем Кольку. Самой же парня жалко.

Старуха потерянно махнула узловатой рукой:

— Не блажи. На старости нелепицу плести, срамоту на себя брать...

Анна соскочила с койки, настрuppenно вытянулась, казалось, стала куда выше ростом, дрожащая, в жеваном халате, ведьмачьи патлатая, в синеву бледная, с одичалым бегающим взглядом.

— Кто-то должен ответить за Рафашку. Так — я! Я! Не он! Пробьюсь к кому нужно... Сейчас же! И заставлю, заставлю поверить! Ружье принесу... Из этого ружья — своими руками... Я! Я! А не он!..

— Иди, — сказала старуха. — В тюрьму, поди, не посадят, а в дурдом как раз попадешь.

— Достань мне пальто какое и на ноги обувку...

— Ты мои наряды знаешь, в любое влезай.

— У соседей попроси.

— Не путай, девка, хуже будет. Издалека даже на виновницу не похожа, а уж ковырнут чуть — и совсем поймут, из чьих рук ружье стрелило.

— Виновница?.. А кого еще и винить, как не меня! Уж Колюхи-то я куда виновней!

— Во-во! Еще чуток — и сама поверишь.

— Нет, виновна я, виновна кругом! Не я бы, жил Рафашка. Другая баба, вроде Милки хотя бы, давно бы скрутила его в бараний рог или бросила к чертям собачьим. А я терпела... И как терпела! Видела же, видела, что добром не кончится, а цеплялась. Зачем? Кто должен был Кольку оберечь? Кто как не я? В аду парнишка варился. Рафашка на пьяные глаза понять не мог, я-то всегда трезвой была. Я мать, потому сделай, освободи себя и сына. Нет! Нет! Ничего! Палец о палец не ударила, только терпела и еще муки свои сыну навязывала. Не вина ли это? Да неужель не поймут, что судить меня, меня нужно, не мальчишку!.. Докажу!.. Евдокия, мне надо идти! Сейчас!

— Поостынь, успеется.

— Евдокия, Милка же, верно, ничего не знает. Позвони ей, она и одежду привезет... Пуховым позвони, а я тут умоюсь, причешусь... Ради Кольки прошу, Евдокия!

И старуха испугалась неистовости в голосе Анны.

— Ошалела, девка. Вот уж воистину — в тихом омуте черти водятся. Да ладно, ладно, не стони. Мне-то что, позову Милку, пусть она нянчится.

Тряся сокрушенно головой, ворча, Евдокия стала натягивать пальто. Телефона во флигеле не было, при нужде звонить бегали через двор, в подъезд соседнего дома.

Прошло едва ли более получаса, как темно-зеленые «Жигули» резко затормозили прямо перед окном. Приехала Людмила Пухова,

подруга Анны еще с девических времен. Вызвав немотное удивление старичков и старушек, жильцов флигеля, она энергичной и решительной поступью проследовала к Евдокии Корякиной. Если Анна всегда выглядела потерянно и забито — стертое лицо, худа, болезненна, мала ростом,— то Людмила, где бы ни появлялась, привлекала к себе внимание. В последние годы она сильно расплнела, но не утратила прежней горделивой осанки, двигалась с напором, с достоинством неся пышную грудь и гладкое бровастое лицо, смущала взглядом сквозь приспущенные ресницы, поражала шальной модностью своих нарядов. И сейчас, сорвавшаяся впопыхах по звонку, она явилась с подведенными глазами, распространяя крепкий запах духов, но белые щеки ее дрожали, а губы кривились. Она накинута на Анну, прижала ее голову к груди, по-бабьи в голос запрочитала:

— Страдалица ты моя-а! Довел-таки бешеный, не остерегла я тебя!.. Горемычная моя!..

Попричитав, резко отстранилась, всхлипнула, платочком промокнула глаза, села попрочней, деловито сказала:

— Давай думать, что сделать можно.

— Уже придумала,— подсказала старуха,— вину на себя брать хочет.

— Зачем? — без удивления, скорей заинтересованно спросила Людмила.

— Поди знай.

— Так разве ж не виновата я? — слабо произнесла Анна.

— Ты?! Какая, к лешему, ты виновница! — Людмила Пухова когда-то, как и Анна, была простой барачной девкой, не стеснялась сильных выражений.— Ежели и виноват кто, так я, дура. Кто толкнул тебя к Рафашке? Я же! Думалось — тиха да покладиста, не посмеет обидеть такую, сживетесь куда с добром. Ой, ошиблась! Всю жизнь клянусь себя.

— Чего уж давнее ворошить,— поеживаясь, как от озноба, возразила Анна.— Все ошибались, все! А за наши ошибки один Колюха ответит. По-че-му?! По-че-му он, а не я? Справедливость-то где?!

— Разберутся. Не убивайся зря-то. Я Коле адвоката хророшего найду, сама его настрюню, все выложу что было. Возле закона тоже, поди, люди сидят — поймут.

Но решимость старой подруги не успокоила Анну:

— А мне что — сидеть да ждать? С ума же сойду!

— Не жди, сходи поговори — вреда не будет. Узнаешь что к чему, нам расскажешь,— согласилась Людмила, с затаенным страданием разглядывая Анну.

— Одежку-то мне привезла?

— Не знаю, подойдет ли. На скорую руку похватила.

— Лишь бы срамоту прикрыть. Вот оденусь и пойду сейчас.

— А куда? К кому — знаешь?

— Не,— растерялась Анна.

— Э-эх! Простота! — Людмила резко встала.— Одевайся, а я узнаю к кому... Где телефон-то тут? Евдокия, идем со мной, одежду захватишь, в машине она.

И только сейчас, когда двинулась к выходу, Людмила заметила лежащее на полу ружье, споткнулась, оглянулась на Анну. Та подавленно кивнула: из него.

— Обеспамятела — выхватила у парня и ну-ко сюда притащила,— пояснила старуха.

Только тепер, при виде лоснящегося черными стволами ружья, Людмила, должно быть, зримо представила картину убийства: сва-

лили Рафаила Корякина, здорового мужика, страшного в пьяном озверении! Бешеного Рафку, которого она, Людмила, знала с девчества!

— Анька... — обессиленно, с хрипотой произнесла, и лицо ее сразу увяло, на гладких щеках проступили вмятины. — Анька, молчишь, тихая? Да крикни же, прокляни — я сосватала, я! С моего слова начлось... Выругай, все мне легче.

Анна вяло отмахнулась:

— Своего ума не достало, что уж других корить.

И нарядная, пахнувшая духами Людмила грубо, по-мужицки выругалась, перешагнула через ружье, вышла.

Через пятнадцать минут Анна, одетая в слишком просторное, отливающее лягушачьей зеленью пальто из жатой кожи, в берете с кокетливыми вишенками, слушала Людмилу.

— Вот записала для памяти: Су-ли-мов... Старший лейтенант Сулимов: пятьдесят первая комната, Кольжино дело ведет. Я тебя доведу до управления, а там уж сама действуй.

Анна сунула бумажку в карман, поднялась, взяла с пола ружье.

— С ружьем на свидание, — криво усмехнулась Людмила.

— Снесу. Поди, ищут его.

Старуха напомнила:

— Скажи ей, чтоб себя зазря не оговаривала.

— Не сумеет, — хмуро обронила Людмила. — Для этого уметь врать надо.

Они ушли, старая Евдокия осталась одна, села на помятую койку, сложила на коленях мослаковатые руки и задумалась.

12

Необжито-чистый кабинет с несолидным письменным столом, солидным сейфом в углу и неистребимым канцелярским запахом эдакой легкой бумажной залежалости. Прочно усевшись за стол, Сулимов деловито разложил перед собой листы бумаги, бланки, блокнот, ручку, пачку сигарет и закурил.

— Так! — сказал он удовлетворенно. — Думаю, лучше без всякой подготовочки — сейчас и приступим.

— К чему? — не понял Аркадий Кириллович.

— К допросу Николая Корякина.

— В моем присутствии?..

— Процессуальный кодекс предусматривает присутствие педагога. Имеете право задавать вопросы, высказывать свое мнение, отказаться подписать протокол, если не согласен. Словом, вы, так сказать, законный участник.

Аркадий Кириллович, нахмурясь, задумался — выпирающий лоб, свалывшиеся, с проседью волосы, тяжелые опущенные веки, резкие складки от носа к углам решительно сжатого рта.

— Предупреждаю, — сказал он хмуро. — Я буду пристрастным.

— Вот и хорошо, — согласился Сулимов. — Значит, мне придется быть беспристрастным вдвойне. — Он снял с телефона трубку: — Приведите Корякина.

Ожидание показалось Аркадию Кирилловичу долгим и неловким — молчали, старались даже не глядеть друг на друга, словно боялись, как бы по нечаянности не возникло ощущение стоворенности.

Наконец дверь раскрылась, милиционер, молодой, с наивно-старательным выражением суровости на добродушно-губастой физиономии, впустил впереди себя Колю Корякина, солидно козырнул Сулимову, вышел.

Он встал перед ними, нескладно долговязый, оцепеневший, ноги, не успевшие сделать рассчитанный шаг, в неловком неустойчивом положении, и чувствуется — мешают повисшие руки. Поразили Аркадия Кирилловича светлые, широко распахнутые глаза, ни мысли в них, ни страха, никакого живого чувства, глядят прямо и, должно быть, ничего не видят. Своего учителя тоже.

— Садитесь,— пригласил Сулимов, указывая на стул.

С послушанием робота Коля шагнул вперед, сел на краешек стула, вцепился пальцами в острые коленки и снова замер — тонкая шея доверчиво вытянута, острый подбородок задран и под ним натужно пульсирует нежная ямка.

— Эй, мальчик, очнись! — окликнул Сулимов.— Не к людоедам в гости пришел. Даже знакомых не узнаешь.

Коля вздрогнул, взглянул на Аркадия Кирилловича, и в его сквозно-прозрачных глазах появилось смятение, в бескровных сплюснутых губах — кривой судорожный изгиб.

— Корякин Николай Рафаилович... Учащийся... Родился когда? — начал Сулимов допрос.

— В пятьдесят восьмом... Второго ноября,— тихо, с сипотцой ответил Коля.

— Еще нет и шестнадцати?

— Нет.

Сулимов бросил взгляд на Аркадия Кирилловича. Тот сидел прямой, неподвижный, из-под тяжелых век разглядывал неловко пристроившегося на кончике стула Колю, крупные складки на лице набрякли, обвисли. Нет еще и шестнадцати парню! Не вырос, несамостоятелен, за таких всегда кто-то отвечает. А он сам решил взять ответственность за родителей... Вытянутая шея, острый подбородок, бледная невнятная гримаса и сведенные пальцы на острых коленках. Некому отвечать за него, кроме учителя. Изрытое, неподвижное, темное лицо Аркадия Кирилловича... Сулимов невольно поежился.

— Скажи, давно ли твой отец стал приходить домой пьяным? — спросил он.

— Всегда приходил.

— То есть ты не помнишь, когда он начал пить?

— Он всегда пил.

— Но бывал же он когда-нибудь и трезвым?

— Утром... Пьяный только вечером.

— Так-таки каждый вечер?

Коля замаялся, взволнованный, еле приметный румянец просочился на скулах.

— Я... Я, кажется, не так сказал... Неточно. Не всегда. Нет! Бывали вечера, когда трезвый, совсем трезвый... Даже много вечеров бывало. Иной раз неделями и даже месяцами в рот не брал. И тогда все хорошо. Потом снова, еще хуже, тогда уж каждый вечер... Да!

— Приходил пьяным и бил тебя?

— Меня — нет. Не бил он меня. Он мамку бил... и посуду.

— Если даже под горячую руку ты подворачивался, ни разу не ударил?

— Когда я на него сам кидался, тогда ударял или за дверь вытаскивал, чтоб не мешал. Но не бил... так, как мамку.

— Ты кидался на него?

— Маленьким был — боялся, очень боялся, сам убежал... К соседям. К Потехиным чаще всего... А потом... потом ненавидеть стал. Что ему мать сделала? Как вечер подходит, она сама не своя. И не ругала его. Нет. А он все равно накидывался. Он же здоровый, никто из мужиков с ним не связывался, любого бы поколотил. Мамка совсем

слабая... Здоровый и бешеный. Он бы все равно ее убил. Мне смотреть и ничего не делать? Не мог же! Не мог! — Колин голос из тусклого, глухого до шепота стал тонким и звонким. — Я ему честно, в глаза — не тронь, убью! Но по-че-му?! По-че-му он не слушал?!

— Ты его предупреждал?

— Да. Только он плевал на мои слова.

— И что ты ему говорил?

— То и говорил...

— Какие слова?

Коля склонил голову, с трудом выдавил:

— Что убью... если мать тронет.

— И сколько раз ты его так предупреждал?

— Много. Он и не слышал словно...

Сулимов помолчал. Аркадий Кириллович сидел по-прежнему прямой и неподвижный.

— Мы не нашли ружье. Где оно? — оборвал молчание Сулимов.

— Мать выхватила. Когда... когда уже все... И убежала с ним.

— Но ты ведь не знал, что ружье было заряжено?

— Знал.

Сулимов, до сих пор участливо-сдержанный, неожиданно рассердился:

— Слушай, дружок, не бросайся так легко словами. Здесь каждое неосторожное слово подвести может. И сильно! Откуда ты мог знать, что висящее на стене ружье заряжено?

— Так я же его сам и заряжал. Мать разряжала, а я снова...

— Выходит, она знала, что ты собираешься убить отца?

— Так я же при ней ему говорил — слышала.

— И верила?

— Не знаю.... Но ружье-то разряжала...

— А почему она не спрятала его от тебя?

— Отец не давал.

— Что-о?

— Пусть, говорит, висит где висело, не смей трогать.

— Но сам-то отец почему же тогда его не спрятал?

Коля впервые вскинул на следователя глаза, обдал его родниковым всплеском:

— Он... он, наверно, хотел...

— Чего?

— Чтоб я его... убил,— тихо, с усилием и убежденно.

Сулимов и Аркадий Кириллович ошеломленно поглядели друг на друга.

— Что за чушь, Коля,— выдавил Аркадий Кириллович.

— Он же сам себя... не любил. Я знаю.

Слышно было, как за стенами кабинета живет большой населенный дом — где-то хлопали двери, бубнили далекие голоса, раздавались приглушенные телефонные звонки. Два взрослых человека, недоуменные и пришибленные, почти со страхом разглядывали мальчика.

— Себя не любил?.. — В голосе Сулимова настороженная подозрительность. — Он что, говорил тебе об этом?

— Никогда не говорил.

— Так откуда ты взял такое?

Коля тоскливо поежился.

— Видел...

— Что именно?

— Как он утром ненавидит.

— Ну знаешь!

— Просыпается и ни на кого не смотрит и всегда уйти торопится.

И пил он от этого. И мать бил потому, что себя-то нельзя избить. И часто пьяным ревел... Я бы тоже себя ненавидел на его месте... Он раз в ванной повеситься хотел... Не получилось — за вытяжную решетку веревку зацепил, а та вывалилась. И у открытого окна еще стоять любил, говорил — высота тянет. Умереть он хотел!

Коля неожиданно вытянулся на стуле, дрожа подбородком, едва справляясь с непослушными кривящимися губами, закричал вибрирующе и надтреснуто:

— Но зачем?! Зачем ему, чтоб я?.. Я!.. Тогда бы уж — сам! Не жди, чтоб я это сделал!.. — И захлебнулся, обмяк, похоже, испугался своего крамольного откровения.

Аркадий Кириллович подался всем телом:

— Ты лжешь, Коля! Выставляешь себя преднамеренным убийцей — готовился заранее, заряжал ружье на отца! Не лги!

— Заряжал! Заряжал! Да!

— Ты для того заряжал, чтоб отец видел, как ты его ненавидишь, а сам наверняка рассчитывал — мать разрядит, до убийства не допустит. Или не так?.. И в этот раз ты думал, что ружье разряжено.

Коля, выгнув спину, сцепив челюсти, глядел в сторону, ответил не сразу, с трудом:

— Я его зарядил за полчаса перед отцом...

— Не верю! — упрямо мотнул головой Аркадий Кириллович.

— Я знал... Да! Почти знал, что случится... Да! Готовился!

Сулимов беспомощно развел руками.

— Коля! Ты бредишь! — воскликнул Аркадий Кириллович.

— Я ждал отца... Каждый вечер мы с матерью ждали... Мать как полоумная из угла в угол начинала тыкаться. Легко ли видеть — спрятаться хочет, а некуда. Глядишь — и все внутри переворачивается. Каждый вечер... А тут — нет его и нет, мать совсем уж места себе не находит, я в углу с ума схожу. За полночь перевалило давно... И ясно же, ясно обоим — чем позднее приползет, тем хуже. После поздних пьянок мать неделями отлеживалась... Ждем, его нет и нет. Да сколько можно?.. Сколько можно грозить отцу и ничего не делать, тряпка я... Мать в кухню ушла, ну я — к ружью... Разряжено. А патроны у меня припасены, сунул в оба ствола, закрыл, повесил... Даже на душе легче стало... Я знал, Аркадий Кириллович, знал! Готовился! Не надо меня спасать.

Аркадий Кириллович ссутулился, слепым лицом уставился в пол.

— Не надо спасать... — повторил он. — Легко нам это слышать! Нам, взрослым и умудренным, которые не научили тебя, зеленого, как справиться с бедой — с крутой бедой, Коля! Твоя вина — наша вина!

— А что вы могли? — глухо возразил Коля. — Отца бы мне нового подарили?

— Что-то бы смогли... Да-а... Знали, что у тебя творится. Но издали... Издали-то не обжигает, а близко ты никого не подпускал.

Коля вскинул взгляд на учителя, секунду молчал, вздрагивая губами, и снова вибрирующим, рвущимся голосом стал выкрикивать:

— Вы же, вы, Аркадий Кириллович! Вы учили... Воюй с подлостью — учили! Не жди, учи, чтоб кто-то за тебя справился!.. Неужели не помните? А я вот запомнил! Ваши слова в последнее время у меня в голове стучали — воюй, воюй, не жди! А я ждал, ждал, тряпкой себя считал, медузой — мать спасти не могу!..

— Спас! — с досадой не выдержал Сулимов. — Куда как хорошо теперь матери будет — ни сына, ни мужа, одна как перст на белом свете.

— Зна-а-ю-у! Зна-ю-у! — вскинулся Коля. — Всех вас лучше знаю!

Она тоже видела на полу его кровь, тоже всю жизнь это помнить будет... А мне как? Как мне, Аркадий Кириллович?! Он, если хотите, даже любил меня! Да! Да! Я себя не жалею, и вы — не надо! Никто не смейте! И на суде так скажу — не жалеите!!

На тонкой вытянутой шее набухли вены, плечи дергались...

Сгорбившийся Аркадий Кириллович поднял веки, остро глянул на Сулимова, чуть приметно кивнул. Сулимов поспешно потянулся к телефону...

13

Дверь за Колей Корякиным закрылась. На скуластом лице Сулимова дернулись несолидные усики.

— Все-таки папино наследство сказывается! Папа, похоже, лез на смерть, сын рвется на наказание.

Нахохленный Аркадий Кириллович обронил в пол:

— Мое наследство сказывается.

— То есть? — насторожился Сулимов.

— Один из соседей Корякиных этой ночью мне бросил в лицо — ты виноват! Я вот уже четверть века внушаю детям: сейте разумное, доброе, вечное! Мне они верили... Верил и он, сами слышали — воюй с подлостью! Мои слова в его голове стучали, толкали к действию... И толкнули.

Сулимов кривенько усмехнулся:

— Уж не прикажете ли внести в дело как чистосердечное признание?

— А разве вы имеете право пренебречь чьим-либо признанием?

— Имею. Если оно носит характер явного самоговора.

— Да только ли самоговор? Мой ученик, оказавшийся в роли преступника, при вас же объявил это.

— При мне, а потому могу со всей ответственностью заявить: мотив недостаточный, чтоб подозревать вас в каком-либо касательстве к случившемуся преступлению.

— А не допускаете, что другие тут могут с вами и не согласиться?

У Аркадия Кирилловича на тяжелом лице жмурое бесстрастие. Сулимов иронически косил на него птичьим черным глазом.

— Многие не согласятся. Много-огие-е! — почти торжественно возвестил он. — Нам предстоит еще выслушать полный джентльменский набор разных доморощенных обвинений. Будут обвинять соседей — не урезонили пьяницу, непосредственное начальство Корякина — не сделали его добродетельным, участковому влетит по первое число — не бдителен, не обезвредил заранее; ну и школе, то есть вам, Аркадий Кириллович, достанется — не воспитали. Всем сестрам по серьгам. И что же, нам всех привлекать к ответственности как неких соучастников?.. Простите, но это обычное словоблудие, за которым скрывается ханжество... Принесите, товарищ Памятнов, себя в жертву этому ханжеству. Похвально! Даже ведь капиталец можно заработать — совестливый, страдающая душа.

Аркадий Кириллович все с тем же рублено-деревянным лицом, лишь с трудом приподняв веки, уставясь на Сулимова исподлобья, заговорил медленно и веско:

— Готов бы, Сулимов, склонить голову перед вашей мудростью. Готов, ежели б уверен был — знаете корень зла, не пребываете в общем невежестве. Но вы же несколько не проникательнее других. Даже мне, непосвященному, заранее известно, как поступите: мальчик убил своего отца — очевидный факт, значит, виноват мальчик и никто больше. Конечно, вы учтете и молодость и смягчающие вину обстоятельства, я же видел, как вам хотелось, чтоб ружье самозаря-

дилось... Нет, Сулимов, вы не желаете мальчику зла, но тем не менее не постесняйтесь выставить его единственным виновником этого тяжелого случая. Ищите статью кодекса. А потому — отметай все подряд, даже признания тех, кто чувствует свою ответственность за преступление.

Сулимов вскочил из-за стола, пробежался по тесному кабинету, навис над Аркадием Кирилловичем, спросил:

— Вы ждете, чтоб я выкопал корень зла?

— Наивно, не правда ли?

— Да, детски наивно, Аркадий Кириллович! Злые корни ой глубоко сидят, до них не докопались академии педагогических и общественных наук, институты социологии, психологии и разные там... Да высоколобые ученые всего мира роются и никак не дороятся до причин зла. А я-то всего-навсего рядовой работник милиции. Ну не смешно ли с меня требовать — спаси, старший лейтенант Сулимов! Что? Да человечество, не меньше! Пас, Аркадий Кириллович! Признаюсь и не краснею — пас!.. А того, кто меня станет уверять — мол, знаю корень, — сочту за хвастуна. Пожалуй, даже вредного. В заблуждение вводит, воображаемое за действительное выдает, мутную водичку еще больше мутит. Так что уж не обессудьте — мне придется действовать как предписано.

— То есть выставить пятнадцатилетнего Колю Корякина ответственным за гримасы, которые нам корчит жизнь?

— Конечно, я же бездушный милиционер, за ребрами у меня холодный пар, могу ли я жалеть мальчишку?..

— Не надо скоморошничать, — оборвал Аркадий Кириллович. — Я видел, как вам хотелось получить козырь в руки в виде не заряженного руками Коли ружья. Жалели его, но это не помешает обвинить его.

— Вы сами сказали: мальчик убил — очевидный факт. Не станете же вы от меня требовать, чтоб я его скрыл или выгодно извратил.

— Хотел бы, чтоб за этим очевидным фактом вы постарались увидеть не столь наглядно очевидное: мальчик — жертва каких-то скрытых сил.

— Одна из таких сил — вы?

— Не исключено.

— Ну так есть и более влиятельная сила — какое сравнение с вами! — растреленный отец мальчишки! Вот его обещаю вам не упустить из виду, постараюсь вызнать о нем что смогу и выставить во всей красе. Если я этого не сделаю в дознании, всплывет в предварительном следствии.

— Всплывет, — согласился Аркадий Кириллович. — Только с мертвого взятки гладки.

Сулимов вздохнул:

— То-то и оно, на скамью подсудимых в качестве ответчика не посадишь, но смягчающим вину обстоятельством послужит. Только смягчающим! И даже не столь сильным, как неведение мальчишки о заряженности ружья.

Вздохнул и Аркадий Кириллович:

— Я вам нужен еще?

— Несколько слов о мальчике: как учился, как вел себя в школе, скрытен, застенчив, общителен, с кем дружил?..

Снова нахохлившись, уставившись в угол, Аркадий Кириллович стал не торопясь рассказывать: Коля Корякин был трудным учеником, неожиданно для всех изменился, причина не совсем обычная, даже сентиментально-лирическая — полюбил девочку...

Сулимов записывал.

Внизу, возвращая дежурному отмеченный пропуск, Аркадий Кириллович мельком увидел женщину в пузырящемся дорогом кожаном пальто, с легкомысленными вишенками на берете. Он так и не узнал в ней мать Коли Корякина...

Низкое небо придавило город, моросил дождь, по черным мостовым напористо шли машины — звероподобно громадные грузовики и самосвалы, мокро сверкающие легковые. Люди втискивались в автобусы, роево теснились возле дверей магазинов, скучивались у переходов. Город, как всегда, озабоченно жил, не обращал внимания ни на небо, ни на дождь, ни на страдания и радости тех, кто его населяет. И, уж конечно, событие, случившееся этой ночью в доме шесть по улице Менделеева, никак не отразилось на суетном ритме большого города. Стало меньше одним жителем, стало больше одним преступником — ничтожна утрата, несущественно приобретение.

14

Кто не бредил в детстве подвигами Ната Пинкертона и Шерлока Холмса? Григорий Сулимов после окончания института сам попросился, чтоб его направили в органы дознания. Шерлоки холмсы и комиссары мэрге, романтические гении-одиночки криминального сыска, не совмещались с будничной, суетной работой городского угрозыска. Но и тут по-прежнему остаешься разведчиком преступлений, раньше всех определяешь их характер, пробуешь найти ключ к раскрытию — первооткрыватель в своем роде!

Сулимов выводил на чистую воду мошенников, отыскивал набезобразивших хулиганов, имел даже на своем счету одно раскрытое и довольно запутанное убийство — шофер сбил машиной забеременевшую от него девуцу, сменил скаты, чтоб не уличили по следу... Сулимова еще пока считали «подающим надежды», отзывались снисходительно: «Грамотен, но верхним чутьем не берет». Верхним чутьем брали те, кто институты не кончал, но проработал в уголовном розыске не один десяток лет.

И раньше Сулимову случалось наткаться — нарушение закона налицо, но нарушителю невольно сочувствуешь, попал человек в клещи, лихое заставило. Однако его, Сулимова, долг — защита закона от любых нарушений, что будет, если такие, как он, станут руководствоваться личными симпатиями и антипатиями? Оправдывающих мотивов он старался не проглядеть, но чувства свои всегда держал в узде. Вот и сейчас он рассчитывал на одно — мальчишка схватился за ружье горяча, не знал, что оно заряжено. Расчет не оправдался... Этот учитель Памятнов предлагает переложить тяжелую вину мальчика на плечи других, в том числе и на свои собственные. Пристегнуть к преступлению неповинных людей — противозаконно да и бессовестно. Нет уж, что случилось, то случилось — мальчишка совершил убийство! Его жаль? Да! Твое личное, не впутывай это в службу, где не принадлежишь сам себе!

Единственное, что было в силах Сулимова — разузнать по возможности подробнее о темной жизни убитого отца — Корякина. Чем темнее окажется эта жизнь, тем оправданней будет поступок сына...

Больше всех может порассказать о покойном Рафаиле Корякине его мать, та самая страховидная старуха, что кликушествовала на исходе ночи перед ним и учителем Памятновым. Сулимов уже потянулся к трубке, чтоб узнать адрес старухи, как телефон сам зазвонил... Снизу сообщали — явилась мать Николая Корякина, принесла ружье, слезно просит принять ее сейчас.

Его неприятно поразил ее наряд — дорогое неуклюжее пальто и претенциозные вишенки на берете, — но усохшее, изможденное лицо, стянутое мелкими тусклыми морщинками, запавшие воспаленные глаза с истошным мерцанием и просящее беззащитное выражение сразу заставили поверить: замученная, искренняя, ни капли наигрыша.

Корякина Анна Васильевна, 1937 года рождения, домохозяйка... Ей всего тридцать семь лет, но глядится уже старухой.

— Собиралась соврать вам... — Ловящий, с мольбой взгляд, голос виноватый, срывающийся, пальцы нервно теребят пуговицы. — Спешила к вам и думала: скажу, что я.. я, а не Колька из ружья-то... Да ведь все равно же не поверите. Не научилась врать, хотелось бы — ох хотелось! — да не смогу... Может, покойный Рафаил еще и меня виноватее, но о нем-то чего теперь толковать... Ну а после него — я! Я к этой беде привела, не сын!

— Расскажите, как было.

— Как?.. — Она вся сжалась в просторном пальто, по сморщенному лицу пробежала судорога. — Гос-по-ди! Просто ли рассказать... Ведь это давно у нас началось, еще до Коленькиного рождения, можно сказать, сразу после свадьбы. Первый раз он побил меня на другой же день как расписались.

— И после шли постоянные пьяные побои?

— Может, и случался когда передых, но потом-то он всегда добирал свое.

— И в этот раз он ввалился пьяным... В каком часу?

— Поздно. Поди, в час, а то и в начале второго... Но не спали. Где там уснуть, когда шаги выслушиваешь... Ох-ох, всю-то жизнь я вечерами слушала да обмирала! Не любя женился, ненавидя жил...

— Да как же так не любя и поженились?

— Сама все время гадала, как это случилось. Он по Милке Краснухиной с ума сходил, а та от себя его оттолкнула да в мою сторону указала — вот, мол, кто тебе пара. Я, дура, согласилась. Молода была, девятнадцать только исполнилось. И одна как перст, даже в деревне родных не осталось... Первая моя дурость, да если б последняя... Все на моей глупости и замешалось.

— Он что — по этой Краснухиной тосковал?

— Прежде, может, и тосковал, да за двадцать-то лет прошло. Людмила в ту же пору замуж вышла, из Краснухиной Пуховой стала. Не-ет, просто ему втемяшилось — нелюба, а он такой: кого невзлюбит, жизни не даст. Другие-то от него посторониться могут, а то и постоять за себя. Я всегда у него под рукой, и характеру у меня никакого — вот и вытворял. Я всяко пыталась — ублажала, сапоги с пьяного стаскивала. Только от покорности моей он еще пуще лютвал. Бесила покорность. А коли возражу, ну тогда и совсем: «Ты, тварь, дышать не смей, не только голос подымать!» Тварь — это еще ласково...

— Н-да, рисуночек.

— А в эту ночь он стол толкнул, на нем ваза стояла... Хорошая ваза, сам покупал. Не думайте, что он недомовит был. Даже пьяный о доме вспоминал, если, конечно, не шибко пьян, что-то купит, принесет... Ну а потом осатанеет — бьет. Да и то, пожалуй, с расчетом — тарелки смахнуть ничего не стоит, а вот телевизор ни разу не тронул...

— Так что с этой вазой?

— Столкнул он ее, а я ойкнула, не удержалась. «Ах, жаль тебе!..» И набросился, а тут Колька... Колюха давно уже стал встревать промеж нами...

— Он стращал отца, что убьет?

Анна не ответила, уставилась в пол, мертвенная бледность отчетливой означила морщинки на усохшем лице.

— Говорите все как есть,— строго приказал Сулимов.

— Стращал.

— Вы этому верили?

— Да кто такому в полную-то силу поверит?

— Хорошо, продолжайте.

— И продолжать нечего. Колька кричит, он рычит, Кольку отталкивает, ко мне рвется. Ударил он меня так, что с ног... Пока очухалась, вдруг слышу... Вскочила я, смотрю — он валится да плашмя на пол. А Колька в руках ружье держит, из стволов-то дым идет, и вонь от этого дыма по всей комнате. Лицо Коли словно из мела, одни глазница... Дальше уж не помню, как из рук его ружье вырвала. Опомнилась — бегу с этим ружьем по городу...

— Так в чем же вы тут себя считаете виновной?

— Все из-за меня. Не я б, ружье это никогда не выстрелило.

— Да разве вы толкали сына к ружью? Не хотели того, не выдумывайте!

— Хотела не хотела, а все делала, чтобы сын отца убил.

Анна Корякина сказала это столь твердо, что даже на ее лице проступила жестокость.

— Все делали? Что именно?

— Ужас берет, когда теперь оглядываюсь... Не замечала прежде — была злодейкой, право. Да чего же добивалась я, дура тупоумная! Чтоб сын вместе со мной страдал! Стонала не переставая, слезы лила, из кожи лезла себя несчастной показать... И видела, видела — жалеет, весь исстрадался парень, немоготу ему, а мне все мало, мне от него большей жалости хочется, никак не уймусь, разжигаю... Зачем, спросите? Оно понятно зачем. После мордобоев да ругани изо дня-то в день кому не захочется утешиться. От чужих людей утешение дешево, стороннее оно, а вот от сына родного — вроде живой воды. Муж лютует — сын весь исходится, а мне приятно, сладко так, не насытюсь, еще, еще!.. Даже, поверите ли, ждала — о-ох! — даже с нетерпением, чтоб Рафашка зверем ввалился да набросился. Он избьет, а сын показнится за мать родную... Радовалась тишком, что ненавидит Колька отца лютой ненавистью. Раз его ненавидит, значит, меня любит! Радо-ва-лась! Ну не подлая ли?..

— Кто упрекнет вас за это,— выдавил из себя Сулимов.

— Кто-о? Да вы! Да неужель понять не в силах, кто в смерти повинен? Неужель не видно, кто подстроил убийство? Что из того, что Колька ружье в руках держал,— всунула-то ему его я! Я его руками курки спустила! Я! Не смейте не верить! И думаете, не чуяла, что к дурному идет? Чуяла! Иной раз опомнюсь — и дух захватит, а отказаться уже не могла. Как Рафашка без водки, так и я без Колюхиных страданий не жилища! Отравилась вконец, ими только и держалась. День пройдет спокойно, а мне уж и не по себе — умираю... О-о-о! — Анна застонала.— Тащила, подлая, своими руками родного сына к побеле тащила! И по совести и по закону — кругом виновата!

— Ваш сын сказал, что вы боялись беды, разряжали ружье.

— Разряжала. Конечно, разряжала. Но думаете, из страха одного — непоправимое случится? Не-ет, мне показать было нужно Коле, какая хорошая у него мать, даже извергу мужу зла не желает, спасти, видите ли, хочет...

Сулимов наконец не выдержал, вознегодовал:

— Да хватит вам на себя наговаривать! Нужно быть холодной сволочью, чтоб столь тонкий и осознанный расчет иметь — сделаю-де благородный жест, чтоб сын заметил и умилился. Не было того! Не уверяйте! Не могли вы быть такой расчетливо-холодной. Для этого нужно сына или совсем не любить, или же любить так себе, много

меньше, чем себя. А вы почему-то сейчас себя подсовываете вместо него! Так что не плетите мне хитрых басенок!

Снова Анна залилась бледностью, снова на измученном лице проступила ожесточенность.

— Правду говорю, не плету! — Упрямая убежденность в ее голове и никакого негодования. — Не сознавала я. И расчета в мыслях тоже, должно быть, не было. Но нравилось, нравилось хорошей глядеться. Так это-то «нравилось» и заставляло ружье разряжать, а не страх... Страх, может, и был... Как не быть! Только жила-то одним — перед сыном показаться. Ну неужель не понятно?!

— Н-да!..

— Ага! Верите, деться некуда. Тогда пораскиньте — кого судить? Его, глупого, горячего, мать любящего? Или меня, взрослую, тоже ведь любящую, даже очень, ужас как, но бестолково? Кто из нас больше виноват? Кто убийца-то? Я! Но только его руками! На мне кровь, не на Кольке!

— Честно ответьте: могли бы вы предотвратить убийство, если б захотели?

— Да как же не могла! — негодуяще всполошилась Анна. — Поди, и вам самим тут догадаться нетрудно. Ну кто мешал мне развестись со зверем?

— Почему не сделали?

— А страх брал — как я жить с Колькой стану? Разведись, а нам присудят с его зарплаты рублей тридцать, от силы сорок в месяц. Зарплатишка-то у Рафаила всегда была тощенькая, только он на одну зарплату никогда и не жил. В нем все нуждались, у кого машина, большие деньги платили — лишь бы руки приложил. Он сам деньгами сорил и нам отсыпал. Колька ни в чем нужды не знал, а после развода тяни взрослого парня на тридцатку. Боялась... Да что там развод, без него могла бы вести себя поумней — не разжигать, а тушить Кольку. Вон Людмила Пухова, бездетная, как она меня уговаривала: «Пусть Колька у нас поживет, оторви от отца». Согласилась я? Нет! Как же я без страданий Колькиных одна глаз на глаз с сатаной мужем останусь? Могла многое сделать, да не сделала! Гос-по-ди-и! Тош-но! Самой от себя тошно! Если есть правда у вас, то схватите меня, злодейку, отпустите его. Почему о-он за меня отвечать должен?! Спаси-те его! Спаси-те! Милости прошу — меня-а, меня-а судите!..

Анна затряслась в рыданиях.

Сулимов сидел перед нею, не смел даже успокаивать — подавленный, растерянный, расстроенный. Странно, но он в эту минуту верил в ее вину.

15

Занятия в школе уже начались. Аркадий Кириллович прямо в пальто поднялся на четвертый этаж, мимо Зочки Голубцовой, школьного делопроизводителя и одновременно секретарши директора, прошел прямо в кабинет.

Директор Евгений Максимович, сравнительно молодой еще человек, начавший уже понемногу лысеть и полнеть, удивленно уставился:

— Вы не на уроке, Аркадий Кириллович?

— Я из угрозыска, Евгений Максимович. — Аркадий Кириллович опустился на стул.

— Случилось? Что?

— Убийство. И я, похоже, стал его невольным пособником.

У директора округлились глаза...

Девятый «а», где должен был проходить урок Аркадия Кирилловича, не дождавшись преподавателя, разбился в кабинете литературы на три группы.

Одни сгрудились у доски, пытались «надышаться» перед контрольной по физике, которая должна быть сегодня на последнем уроке. Славка Кушелев по прозвищу Штанина Пифагора (или просто Славка Штанина) писал формулы и объяснял, как он любил выражаться, «методом Козьмы Пруткова, доступным для идиотов».

Девочки плотно обсели Люсю Воронцову, принесшую с собой иностранный журнал мод, и спорили о том, сохранились ли теперь мини-юбки или только остались миди и макси. Журнал был старый и на этот вопрос не отвечал, рекламировал только мини. Среди девочек затесался Васька Перевощикова, его интересовали не юбки, а ножки, благодаря моде мини показанные с откровенной щедростью.

Под портретом изможденного нравственными страданиями Достоевского, прямо на столах громоздилось «третье сословие», внутри которого Жорка Циканевич по прозвищу Дарданеллы «размешивал бодягу», то есть под сдерживаемое похотывание плел свою очередную небылицу.

Только двое из класса забыто сидели сами по себе — взлохмаченный очкарик Стасик Бочков, многолетний староста класса, влипший в какой-то толстый роман, и Соня Потехина, гнувшаяся к столу на своем месте. Дома она сегодня оставаться не могла, в школу же идти боялась, но иной дороги из дома как в школу не знала — сидела сейчас в стороне от всех.

Здесь еще никто ничего не слышал, а Соня молчала. Не могла же она объявить просто: «Ребята, Колька Корякин отца убил!» Но рано или поздно страшная новость влетит в класс. Что ж, тогда-то она уж молчать не станет, тогда-то скажет свое слово!

Подавленная своей страшной тайной, Соня сейчас поражалась тому обычному, что происходило вокруг.

Девчонок интересуется, остались ли в моде мини-юбки. Ребята слушают чепуху Жорки Дарданеллы, хохочут себе. А Славка Штанина натаскивает к контрольной...

И что будет, если они услышат новость?... Да ничего. Девчонки поахают, а от Васьки Перевощикова и того не услышишь, тому все трин-трава. Жорка Дарданеллы даже сострить может, с дурака сбудется. Но Славка Штанина... Вот кого опасалась Соня! Никогда заранее не известно, что придет в ученую Славкину голову. Он может сказать дурное о Коле, может! И все поверят ему, не Соне...

Соня всегда со всеми ладила и уж ни к кому никогда не испытывала ненависти. Сейчас же чувствовала: класс и она по разные стороны, весь класс — и она вместе с Колей Корякиным, который сам себя защитить не может.

В эти минуты рождалась заступница, заранее не доверяющая всем, готовая ненавидеть любого, кто посмеет думать иначе.

— Я проскочил сейчас мимо девятого «а». Не смею предстать перед учениками. Не знаю, что им сказать. Ничем не вооружен. Все, что за два десятилетия приобрел, во что веровал, чем, казалось, побеждал, — выбито из рук...

Аркадий Кириллович говорил, и директор зябко поеживался. Он появился в школе года четыре назад — утвержден в горно на место старого директора, ушедшего на пенсию. А уже тогда в школе усилиями Аркадия Кирилловича давно шло соревнование за личное достоинство, за благородство поступков. Соревнование, похожее на игру. Никто не сомневался, что такая игра полезна. Не мог сомневаться и

новый директор. Он включился в нее не сразу, осмотрительно, зато основательно — наладил обмен опытом, заставляя отчитываться, сам где только мог, на городских и межгородских семинарах учителей, на областных конференциях, в начальственных кабинетах, настойчиво доказывая: добились успехов не в чем-нибудь, а в нравственном воспитании!

Только при нем, директоре Евгении Максимовиче Смирновском, Аркадий Кириллович перестал быть кустарем-одиночкой — не просто оригинал, увлеченный благородной, украшающей школу причудой, а общественный деятель. И, слаб человек, сладкий хмель довольства собой кружил голову, и впереди мнились новые победы, растущее почтительное удивление, как знать, возможно, и слава. Они, нет, не были друзьями, не ходили в гости друг к другу, не изменяли вежливому «вы» даже в минуты признательной откровенности. Их связывало большее, чем дружба, — необходимость опоры, один без другого уже не чувствовал себя устойчивым в жизни.

И вот сейчас, когда произошел обвал, все зашаталось, затрепало, Аркадий Кириллович кинулся не к друзьям — хотя бы к старой, верной Августе Федоровне, — а к нему, более молодому, наверняка менее искушенному и опытному. Кинулся, не скрывая своей растерянности, не замечая, что срывается на беспомощную жалобу: не знаю, что сказать, ничем не вооружен... выбито из рук... подставь плечо, поддержи!

Евгений Максимович все еще поеживался, однако первое ошеломление, похоже, у него прошло.

— Стыдно! — оборвал он сердито. — Паника! У вас? Глазам не верю.

Он говорил как старший. И Аркадий Кириллович почувствовал досаду на себя, стал угрюмо оправдываться:

— Не паника, нечто противоположное — отрезвление. Мои высокоморальные наставления толкнули на убийство! Страшно? Да. Но от этого страшного не собираюсь прятаться.

— И все-таки врача не хоронят вместе с тем, кого он не сумел вылечить.

— Плох тот врач, который заранее рассчитывает на снисхождение к себе.

— Я убежден, Аркадий Кириллович, — то, что, увы, не помогло Николаю Корякину, вовсе не бесполезно было для других.

— А вот мне кажется иначе: раз вредно подействовало на одного, где гарантия, что не повредит другим?

— Послушайте, — примиряюще сказал директор, — самое бессмысленное — это затевать нам спор: вы будете уверять — брито, я — стрижено. Тем более что вы не можете сейчас, с ходу предложить новый спасительный рецептик. Нет его у вас за душой.

— Признаем пока, что старое лекарство опасно, потом уж будем думать о новом.

— Сколько думать? — вкрадчиво спросил директор. — Над старым вы думали, если не соврать, чуть ли не всю свою педагогическую жизнь. Голос был вкрадчивым, а взгляд убегающим.

И этот убегающий взгляд вдруг устыдил Аркадия Кирилловича — подставь плечо, поддержи! Он — его?.. Ой ли? Он сейчас в худшем положении. Не учитель Памятнов, а он ходил по начальственным кабинетам, славил успехи. Его голос слышали, его напористость видели, его, директора сто двадцать пятой школы, считали глашатаем нравственного обновления. Громовой удар Аркадия Кирилловича может миновать, но на Евгения Максимовича обрушится непременно. Ждал поддержки от обреченного. Нет! Сам подставь ему плечо. Нуждается.

— Евгений Максимович,— с обретенной твердостью заговорил Аркадий Кириллович,— уж не думаете ли вы, что я собираюсь выбросить все, что добыто? При всем желании ни вы, ни я этого уже не сумеем сделать. Что пройдено, то пройдено, но открылось — заблудились. Оказывается, ой как далеко до желанной цели. Давайте это признаем. Необходимо.

И директор опять ушел глазами в сторону, холодно согласился:

— Признавайтесь... Только про себя.

— Как так?

— А так, не выплескивайте наружу. На нас и без того навалятся со всех сторон, без того нарушится нормальная жизнь. А если еще увидят, что мы сами в себя не верим, признаемся в панике — заблудились, мол,— ну тогда уж разгром! Нет, нет, не только вами построенного, но и того, что сколачивали другие. Учителя физики изменяют программам, преподают сверх положенного — пресечь! Под химическую лабораторию заняли подвал — прикрыть! Вместо уроков физкультуры походы — запретить! И пойдет карусель... Себя вы можете кинуть под колеса, но поберегите других, Аркадий Кириллович...

В этот момент в дверь просунулась смазливая физиономия секретарши Зюечки с широко распахнутыми подведенными глазами:

— Ой, Евгений Максимович! Возьмите скорей трубку. Отец Потехиной Сони из девятого «а» звонит. Он такое говорит, такое!..

Директор снял трубку.

Даже мелкие секретрики не давали спокойно жить Зюечке Голубцовой — мгновенно избавлялась от них,— а уж большие новости она и совсем держать в себе не могла. Едва притворив дверь директорского кабинета, она сломя голову ринулась к девятому «а», выманила в коридор Стасика Бочкова, первого, кто попался ей на глаза...

...Стасик Бочков, взлохмаченный, бледный, без нужды поправляя на носу очки, встал посреди кабинета, возле учительского стола.

— Ребята! Колька Корякин... сегодня ночью.. убил своего отца!

Срывающимся голосом ту самую фразу, которую не могла заставить себя произнести Соня Потехина.

Не все сразу ее расслышали, не до всех дошло:

— Что?.. Что?..

— Колька Корякин ночью убил отца! — отчетливо повторил Стасик.

И наступила тишина. И в этой тишине всплеснулся истерический девичий голос:

— Уж-жас! Он за моей спиной сидел!

Соня вскочила — пришла ее минута защищать Колю.

— Восхищаться надо — не ужасаться! — с надрывом выкрикнула она.

Снова недоуменное «что? что?» с разных сторон. Стасик Бочков первым вразумительно изумился:

— Восхищаться? Убийством?

Весь класс озадаченно и недоверчиво глядел на Соню, вот-вот недоверчивость сменится враждой.

Растолкав столпившихся у доски ребят, двинулся к ней пружинящей походкой Славка Кушелев, тот, кого Соня боялась больше всех. Крупная голова покоится на узких разведенных плечиках, руки в карманах, на лбу жесткая прядь, мелкие, широко расставленные глазки нацелены прямо в зрачки.

— Ты знала? — спросил он.

— Да! — с вызовом.

— И молчала — почему?
— Потому что Стаське это сказать легко, а мне — нет!
Славка помедлил, удовлетворенно произнес:
— Ясно. Но восхищаться?.. Простить — еще понятно. Но почему мы должны восхищаться?
— Простить? А за что простить? За то, что он мать спасал от зверя?
— Да, но не слишком ли дорого за спасение?..
— Если у тебя на глазах твою мать станут бить до смерти, ты что, гадать станешь — дорого или недорого?
И глаза Славки не выдержали, вильнули в сторону от Сониных зрачков.
— Все-таки убить... И кого?..
— Убить, чтоб жить было можно!
Славка долго молчал.
— Убить, чтоб жить... — повторил он. — Пожалуй.
И отступил.
София поняла — победила, теперь класс на ее стороне. После Славки никто не посмеет сказать против.

Директор положил трубку:
— М-да-а. Началось... Грозится, что переведет свою дочь в другую школу.

И торопливо принялся рассовывать бумаги по ящикам стола.

— Так вот, Аркадий Кириллович, сидеть сложа руки нам нельзя. Я сейчас еду в гороно. Так сказать, иду на вы! Буду доказывать — да, да, с пеной на губах! — что к семейной трагедии Корякиных наша школа прямого отношения не имеет. И буду защищать вас, Аркадий Кириллович, постараюсь прикрыть своей неширокой грудью. И ваших рассуждений о том, что моральные наставления, видите ли, толкнули, не слышал. И очень надеюсь — оч-чень! — никто больше их от вас не услышит.

Аркадий Кириллович вглядывался в директора исподлобья. По обычным житейским меркам он должен быть благодарен этому человеку за отзывчивость, за участие. За чрезмерное участие, за безоглядную отзывчивость! Даже сейчас не собирается бросать на произвол судьбы: «Постараюсь прикрыть своей неширокой грудью...» И ведь постарается насколько хватит сил.

Директор, с грохотом задвинув последний ящик, вышел из-за стола, встал перед учителем, невелик, но плотен, плечики разведены, колено бойцовски выставлено, вид заносчив.

— И вам я тоже долго заниматься переживаниями не позволю. Я буду действовать там, вы — здесь, в школе... Не сегодня, не сегодня. Понимаю, сейчас вы травмированы — идите домой, приходите в себя. Но завтра... завтра вы встретитесь с учениками, в первую очередь с девятым «а».

Аркадий Кириллович продолжал молча вглядываться. А, собственно, какое он имеет право упрекать его, более молодого человека, менее опытного педагога? А разве он сам, Аркадий Кириллович, не верил два дня назад в свою исключительность, не тщеславился в душе — творит-де необыкновенное? Было! Было! Незачем притворяться перед собой святым. Отрезвила пролитая кровь. Но только отрезвила; что, к чему — пока по-прежнему непонятно. Почему этот человек должен понимать лучше тебя?

А директор, выставив бойцовски колено, скользя взглядом мимо виска Аркадия Кирилловича, напористо говорил:

— Мы не можем допустить, чтоб ученики самостоятельно принялись переваривать убийство. Народ незрелый, горячий, с вывихами, без руля и без ветрил. Мы и сами-то сейчас теряемся в оценках, ну а они такого нагородят друг перед другом, что потом как бы сами кидаться не стали на родителей, на прохожих, на нас с вами. Скрыть, что произошло, не в наших силах, но в русло вогнать мы обязаны. И лучше, чем кто-либо, это можете сделать вы, Аркадий Кириллович. Только вы! У вас огромный авторитет среди учеников.

Слова, слова, слова... Ох, сколько их еще выплеснется, беспомощных слов! Аркадий Кириллович поднялся.

— Да,— выдал он.— Да... Скрыть не в силах и скрывать не следует. Хорошо, Евгений Максимович, завтра встречу, а сегодня мне нужно кое-что уяснить.

— Ну а мне уяснять некогда, иначе все уяснят без меня.— Директор уже снимал с вешалки плащ.

Острый на язык учитель химии Горюнов однажды сказал про директора: «Мужик с пружинкой, когда не трогают — тих, когда надавят — чертик выскочит».

16

Лет шесть назад на шоссе, огибающем стороной город, была возведена гостиница, названная по-новомодному мотелем, вместе с большой бензозаправочной станцией и корпусами авторемонтных мастерских. Этот служебный поселок считался частью города, подчинялся городским организациям — не одной, а нескольким, — но жил своей обособленной жизнью. Он место паломничества тех, кого носили по дорогам колеса. Здесь можно было встретить кавказцев в неумеренно больших кепках, прозванных аэродромами, узбеков в расшитых тюбетейках, неухоженно-джинсовую молодежь западной закваски и районно-командировочный народец в поношенных плащах и кирзовых сапогах, с неизбытым терпением на физиономиях. Караван-сарай кочевников XX века! Здешние горожане, попавшие сюда, чувствовали себя как на чужбине, гостями.

Как всегда ночью, в разные часы, с разных концов сюда прибывали «Запорожцы», «Жигули», «Москвичи», несущие на себе увечья — помятые крылья, продавленные дверцы, покореженные багажники. Они выстраивались в глубине авторемонтных мастерских, у маленького корпуса на отшибе, где размещался арматурно-покрасочный цех.

Когда в сумерки уже начала вливаться утренняя свинцовость, подкатил измызанный, сельского вида грузовичок, притянувший на тропе еще одни несчастные «Жигули» с продавленной крышей, выбитыми стеклами и незадачливым владельцем, научным сотрудником крупного НИИ.

В восемь утра начался рабочий день, выстроилась очередь в регистратуре, ожили мастерские, открыл свои ворота и покрасочный цех.

В начале десятого возле цеха объявились две фигуры. Один низкорослый, тщедушный, чрезвычайно вертлявый, в потасканной лыжной кепке с наушниками, выступающим козырьком и еще более выступающим ассирийским носом. Второй костляво-долговязый, в пузырящейся, необмятой, почти новой шляпе над деревянным, плоско стесанным лицом. Это были подсобные рабочие по профессии, по званию же — ханыги. Однако оба были довольно известны среди авторемонтителей города. Они не только работали на подхвате у мастера-арматурщика Рафаила Корякина, а считались его близкими приятелями. Именно к Рафаилу-то Корякину и сбегались в ночь-заполночь со всей округи изувеченные машины, спешили занять очередь: золотые руки у мужика! Слава Корякина падала и на ханыг. Наиболее

образованные из владельцев звали их не без претенциозности — Самсон и Далила, хотя имя первого не Самсон, а Соломон, второго же — Данила. Соломон и Данила, Рабинович и Клоповин, в обиходе Даня Клоп. Шерочка с машерочкой для тех, кто не блистал ветхозаветной эрудицией.

Вчера вечером шерочка с машерочкой в компании Бешеного Рафы сильно перегрузились, а потому сейчас чувствовали себя крайне пакудно. Во-первых, они проспали и опоздали, что им обычно не проходило безнаказанно. Во-вторых, жизнь вообще не мила, если не удастся «поправиться».

Но Соломон, более чуткий, чем его товарищ, вдруг повел носом и не без воодушевления объявил:

— Клоп! Кеб не стоит на месте! Клоп! Мое исстрадавшееся сердце чует — денек нынче будет кейфовый.

Для этой тесной парочки все дни делились на кейфовые и стервовые. Первым же признаком кейфового дня было отсутствие под стеной возле двери «Посторонним вход воспрещен» темно-зеленых вылизанных «Жигулей» начальника покрасочного цеха Пухова. «Кеб не стоит», значит, Пухов, которого остерегается даже Бешеный Рафа, с утра «не пропадет» и день пойдет вперевалочку. Во всяком случае, взыскивать с Соломона и Данилы за опоздание некому, можно даже позволить себе «поправиться».

И Соломон, не тратя время на переживания, решительно направился к разбитым «Жигулям», притащенным сельским грузовичком. «Жигули», казалось, строили устрашающие гримасы, а их хозяин всем своим не утратившим былой респектабельности видом выражал смиренную безнадежность. Соломон, запустив руки в карманы, минуты три с суровым глубокомыслием изучал тяжкие увечья. За ним, как сумеречная тень, возвышался Данила Клоп. Наконец Соломон позволил себе изречь:

— Вы, молодой человек, конечно, хотите попасть к доктору?

— Да, хотел бы к Корякину... — робко обронил владелец.

— Доктор очень занят.

— Я понимаю... Я готов...

— Мы можем обещать вам одно — мы попробуем, мы только попробуем!

— Я буду вам чрезвычайно благодарен.

— Что ж, пожалуй... Мы не прочь убедиться.

— Простите, в чем?

— За поллитрой топай! — без ухищрений пояснил сгорающий от нетерпения Клоп.

То нехитрое, что совершалось в эту минуту, не раз вызывало революционные — не меньше! — потрясения в образцово-показательных для города авторемонтных мастерских: летело с насиженных мест начальство, новые метлы беспощадно выметали старый сор, пропалавись сорняки, наводилась идеальная чистота, но... Кто мог повлиять на неиссякаемую реку клиентуры, которая перла на этот единственный во всем большом округе автосервис, кому было под силу очистить ее воды? Река не мелела и несла сор. Революционные потрясения вспыхивали и гасли, снова вспыхивали...

И вот сейчас желающий «попасть к доктору» владелец оплошавших «Жигулей», сам пользующийся известностью доктор наук, послушно потопал за поллитрой в гостиницу к некоему легендарному дяде Паше, не веря, что поллитра поможет, отдавая себе отчет, что имеет дело с «тоскующими алкашами», но тем не менее обманывая себя зыбкой надеждой — а вдруг да чем черт не шутит!

Шерочка с машерочкой не успели убраться в сторонку — перед

ними внезапно вырос их начальник цеха Пухов в мокром плащике, в мятой шляпе, натянутой на глаза, с потасканной папочкой под мышкой. Видно было, что сегодня он добирался из города не на своем темно-зеленом «кебе», а на перекладных, как Соломон с Данилой.

— Вчера вы сильно?.. — Вопрос с разгона, ни «здравствуйте», ни выговора за то, что еще не переоделись, не приступили к работе.

В авторемонтных мастерских грехом считались не вечерние попойки, а утренние поправки. А так как поправка еще только планировалась, то совесть шерочки с машерочкой была чиста, Соломон позволил себе игриво ответить:

— О чем звук, Илья Афанасьевич? Ха! Нормально!

— Вы вчера ничего за ним не заметили?

— Вы имеете в виду Рафу, Илья Афанасьевич?

— А кого же еще?

— Надо сказать откровенно — он был немножечко весел, извиняюсь, даже дал Данечке по морде.

— Немножечко — значит, сильно?

— Ой, мое сердце чувствует — что-то случилось!

— Корякин убит... Ночью. Сыном.

Пухов резко повернулся, пошел к двери «Посторонним вход воспрещен».

Моросил дождь, мокрые, покалеченные «Жигули» мученически стояли перед приятелями.

— Нас ждут большие перемены, Клоп... — наконец сдавленно произнес Соломон.

— Попрет! — Даня Клоп мог порой быть куда красноречивее своего велеречивого друга с помощью одного лишь слова, а иногда простого междометия.

— Без Рафы мы здесь никому не нужны, Клоп, а больше всех Пухову. — Неожиданно Соломон воодушевился: — Но он нас не попрет! Нет! Мы сами уйдем, Клоп! Но только хлопнув дверью. Громко хлопнув, чтоб наш родной Илья Афанасьевич вздрогнул от испуга.

Клоп неопределенно хмыкнул.

— Разве это справедливо, Клоп, что все будут думать — бедного Рафу убил мальчик?..

— Липа.

— Ты трижды прав, мудрое насекомое! Липа! И нам это нужно кой-кому объяснить.

— Хы! — удивился Даня Клоп.

— Докажем. Клоп, что мы все-таки люди... Лично твоему другу Соломону еще не выпадал случай доказать, что он человек.

Через полчаса они сидели в котельной мотеля за отобранной у доктора наук поллитрой. Соломон при молчаливом одобрении верного Данилы выработывал план: первое — сегодня не надираться, чтоб — второе — завтра не тянуло на опохмедку, ибо надлежит быть «прозрачными до полного доверия».

— Кло-оп! — со стоном захлебывался Соломон. — Я прокляну себя, если все это кончится пьяным трепом!

Клоп мычал в знак согласия.

Тихая, забитая Анна взбунтовалась: «Виновата во всем я!» И самое странное, что Людмила Пухова ничуть не удивилась сумасшествию подруги — так и надо. Евдокия вдруг испытала зависть к невестке: хоть бы раз такое пережить, тогда б можно оглядываться назад — не пусто, есть что вспомнить, не зря жила.

Старуха не удивилась внезапному появлению Сулимова, а обрадовалась.

— Это бог послал мне тебя,— сказала она сурово, подымаясь с койки.— Сама-то я вроде каменной стала — никак не сдвинешь... Спасибо, что вспомнил обо мне.

Седые патлы, незастегнутая кофта, открывающая заношенную нательную рубаху, из-под нее выглядывает не женски могучая ключица, морщинистое, бескровно-желтое лицо с массивным подбородком и в утопленных мелких глазках — странно! — страдальческая влага.

— Сядешь иль поведешь куда? — спросила она.

Сулимов оглядывался. Комната старухи казалась даже просторной из-за необставленности — стол, два стула, железная койка и ничего более. Суровая нищета подчеркивалась перекошенностью дряхлого здания — единственное окно в еле уловимой гримасе, неровные массивные половицы покато уходят к одной стене, а серый потолок косо подымается, все сдвинуто, шатко, вот-вот затрептит, начнет заваливаться.

— Сяду,— ответил Сулимов, пристраиваясь к столу, вынимая блокнот.— Не красно, мать, живешь. Сын-то, видать, не щедро помогал.

— Просила бы — помог,— нехотя ответила старуха, снова опускаясь на койку.

— Не хотела просить. Из гордости?

— Боялась.

— Чего же?

— Рафашка мог рубаху последнюю скинуть — бери, только опосля жди — кожу сдерет. Уж такой...

— Вот ты ночью в горячке нам накричала: «Самой страшно, кого родила. В позорище зачала. В горестях вынянчила...» Как это понять? Объясни.

Старуха провела по лицу жесткой ладонью, словно старалась стереть воспоминания, избавиться от них.

— Незаконный он у меня, прижитой...

Сулимов выжидательно молчал, не подгонял вопросами.

— Не так уж и далеке отсюда наша деревня, а напрочь ее забыла. Цела ли она теперь — и того не знаю... Тятки своего я не помню, в первую еще войну ушел и не вернулся, а мать померла, когда мне шестнадцать стукнуло. Куда деться-то?.. Вот и поманили меня Клевые. Справней их в нашей деревне никто не жил — четыре лошади, три коровы, а еще и маслодавильня, жмыхом свиной кормили. Возле свиной-то и пристроили меня, работки хватало. Тут и начал притираться ко мне Ванька, из сыновей старика Клевого младший и самый балованный. В сатиновой рубашечке, поясок шелковый с кистями, сапожки хромовые, да чета ли он мне, девке навозной. Ну и шуганула я его от греха. А он отказу в жизни не терпел — раз не далось, то позарез нужно. Сильничать пробовал, да я крепкой была, понял — не уломать, кожь сама не счочу, стал даститься, такие сказки сказывать, что уши слушают, а душа тает. И жениться обещал. Да-а... «Нынче, говорит, Дуська, порядки новые — бедняки-то в чести, а наше богатство на лычке висит». Да-а...

Евдокия загляделась в серое, окропленное дождем окно, молчала, помаргивала, сжимала в оборочку блеклые губы.

— Вот так-то,— оборвала она молчание,— меня ульстил и себе накаркал. Мне бы, дуре, к бабке Марфидке толкнуться, ан нет, в голову втемяшилось — ребеночком-то Ваньку свяжу, не отретется...

Сулимов спросил:

— Клевые — фамилия или прозвище?

— По-уличному это. Отец — Семен Клевый, ну а он — Ванька Клевый. По бумагам — Истомины.

— Значит, Рафаил отцовскую фамилию не получил?

— Эва, не расписаны были. Да потом так обернулось, что уж лучше забыть отцовскую-то фамилию.

— Раскулачили Клевых?

— Умирать буду — вспомню, как он с котомочкой на плечах, в суконном зипунчике, в сапожках хромовых за подводой пошел да на меня оглянулся... Я даже повить, как бабе положено, не посмела. Кто я ему? Ни жена, ни суженая, пожалей — сраму не оберешься. Хотя срам-от под сердцем носила... Да-а... Он же раньше меня бросил — приелась. Зло на него должна бы держать. Нету! Я в жизни потом уж не слыживала ласкового слова ни от кого! От него только. За то спасибо большое!

Глубокие глазницы старухи налились тоской.

— Из деревни тогда ушла или позже? — поинтересовался Сулимов.

— А как мне было жить в родной деревне? Рафашка еще не родился, а уж все потешались, в глаза мне его подкулачником называли. На свет еще не выполз, а уж ну-тко — подкулачник... Смешочки, хоть вешайся со сраму... — Старуха вдруг зашевелилась, заволновалась: — Да не о том, не о том я тебе говорю! Себя выгораживаю, на людей сваливаю — недобрые люди-де все подстроили, сама ничуть не виновата... Ан нет, я же его, Рафашку, еще в утробе невзлюбила и потом всю жизнь как взгляну на свое дитя, так душа переворачивается — за что, мол, мне бог такое наказание послал? Рази я не баба, рази не хочу, как все, мужа иметь? А кому нужна с привеском-то? Мое лютое — мо-ое! — на него перешло!...

— Не наговаривай! — перебил Сулимов. — Бывали же и у тебя материнские минуты. Наверняка чувствовала когда-нибудь, что он сын родной. Ласкала же, не без того.

Старуха задумалась, ответила не сразу:

— Знать, единова только... На новый манер бабы тогда стали рожать — в больнице. Вот из больницы-то я вышла: солнышко светит, лист в силу вошел, но не выцвел ишо, зеленый-презеленый, за душу берет. И вспомнилось, что решила уже — в деревню не вернусь, укачу на сторону, в город на стройку, стыдиться мне там будет некого, и такая свободушка нашла, все казалось легко и просто... Тут-то вот и увидала на рученьках его ноготки малюсенькие, а сам он на солнышко жмурится, улыбается вроде. Сердце тогда зашло, думаю — сама помру, а его, болезного, вытащу... А больше... Больше нет, не любилося. И некогда любить было. Время крутое — голодуха кругом, на вокзалах народ лежмя лежит, подняться не могут. К месту прибилась, кирпичи ворочала, придешь в барак — каждая косточка кричмя кричит, одново хочется — свалиться да уснуть, а его обиходь, корми, подмывай, постирай. Еще и соседки на тебя шипят — от криков покою нету... Люби тут? Ой, не в силушку. Усохла моя любовь в росточке самом...

— Ну а он-то, Рафаил, любил в жизни кого-нибудь?

— Уж не меня только.

— Себя! — подсказал Сулимов.

— Не-ет! — решительно возразила старуха. — Вот уж не-ет! Он и себе-то нисколечко не нравился.

— За всю жизнь — никого никогда? Да может ли быть такой человек на свете? — усомнился Сулимов.

— Людку Красную любил, но уж больно люто, зарезать ее страдал... И еще... Вот того и вправду, поди, любил нешуточно.

- Кого? — встрепенулся Сулимов.
- Пиратку.
- Какую Пиратку?
- Собаку.
- Рассказывай, — потребовал Сулимов.

18

— Чего рассказывать-то — пустое... Собачонка была, щенок улишний, кто как его кликал, взрослые — Кабыздошкой, ребятишки — Пираткой, к каждому ластился. Однажды лапу ему повредили, и сильно... У Рафашки никак не угадаешь, что наплывет — то такой сатаной взыграет, то вдруг найдет, без уему добрь.. Вот и Пиратку пожалел, в дом притащил, стал с лапой возиться да хлебом прикармливать. Война тогда по второму году шла, хлеба-то уже самим не хватало... Выходил он Пиратку, лапа срослась, такой веселый да игривый обернулся, спасу нет. Ребяшня из наших барачков, кто пошустрей, на товарной станции день-деньской отиралась, шабашили, значит... Рафашка тоже от них не отставал. Удалось ему как-то, притащил домой кус добрый сала свиного — военным-де ящички к машинам подтаскивал, за работу отвалили. Может, и так, военные снабженцы — народ щедровитый, не от своего пайка отрывали. А для нас, работяг, сало — диковинка, на карточки по мясным талонам одну селедку давали. «Схорони, говорит, мамка, день рождения у меня скоро, ни разу в жизни не поспрадовали». Оно и верно, жили, а праздников не знали. Рафашке как раз должно стукнуть одиннадцать, что ли, лет... Господи! Господи! Вот времечко было — кус сала в доме завелся, так уж богатеем себя считаешь. И он и я, дура большая, нет-нет да заглянем тишком в шкафчик, порадуемся — лежит в блюде...

Я с работы добиралась, Рафашка заскочил с улицы домой — обычным манером Пиратку своего разлюбезного проведать. А Пиратка, стервец, на полу лежит — шкафчик раскрыт, блюдо опрокинуто. Лежит Пиратка и наше сало догрызает... Да-а, тут и тихой бы осерчал, ну а Рафашка и от малого стервенился — глаза эдак побелеют, нос острый, с лица спадает. Да-а... Накинул на своего Пиратку веревку да волоком по улице к пруду. Грязный у нас пруд, мусорный, но глубокий, однако... Привязал Рафашка кирпич да с кирпичом-то Пиратку в воду... Да-а... Ну, я как раз домой подоспела, Рафашка аж черный: «Пиратка сало съел!» Поняла сразу, не стала и спрашивать, где этот шкодливый Пиратка. И мне, правду сказать, тоже досада великая — сало жаль, столько о нем думалось. Рафашке попеняла: мол, следи, коли в дом привел... Он то сядет, то вскочит, то на меня круглым глазом зыркнет. «Пошли, говорит, к Фроське Грубовой штаны новы мерить!» Несет его... У меня кусок пилотажу был, так я уж ко дню рождения Рафашке штаны огоревать решила, Фроська с Запрудной улицы взялась шить. И вправду в тот вечер уговорились примерку сделать.

Вышли из дому: солнышко запало уже, смеркаться начало, кто-то гармошку от скуки иль от голодухи мучает, полувременье вечернее, все с работы пришли, по домам возятся, пусто на улице. И глянь, по пустой-то улице катится навстречь... Рафашка как в землю врос: он, Пиратка! Я-то не знала еще, что он с кирпичом на шее в пруд ушел. Да-а... Сорвался, выходит, кирпич, выплыла собака, трусит себе обратно. А Рафашка — глаза белые, нехорошие — эдак бочком, бочком пошел, сейчас прыгнет, вкогтитя. Вот тут-то и случилось... Пиратка, паршивец, вместо того, чтоб от Рафашки во все ноги, нет, прямо к нему — заповизгивает, на брюхо припадает, хвостом виляет. Эх-хе-хе!

Проста животина... Рафашка, словно журавленок, на одной ноге стоит, а Пиратка в него тычется, и радуется, и жалуется, и прощения, видать, просит... Подкосило вдруг Рафашку, упал плашмя, схватил Пиратку, ревмя заревел, целует, а тот визжит, лицо ему лижет. Смех и грех, право. Ну так вот, после этого не разлей вода оне — милуются. Не упомяну, чтоб Рафашка ударил Пиратку когда, чудно, в шутку даже не замахивался, сам недоедал, а собаку кормил. А та за ним как привязанная, врозь никогда не увидишь. Чем не любовь? И тянулась эта любовь года, поди, четыре, коли не больше. Рафашка жердястый стал, рожа ошпаренная, глаза цвелье, в кого — не понять. И чем больше рос, тем смурней делался. Пиратка тот и совсем вымахал — эдакая, прости господи, зверина, шерсть свалялась, ноги длинные и пасть до ушей. Характеру, должно быть, у хозяина набрался, чуть что в рык и зубы показывает. Добро бы просто показывал. Рафашке стоило на кого пальцем ткнуть — куси, Пиратка! — тот рад стараться, мужиков с ног валит, отбиться не могли. Сам-то Рафашка еще жидок был, не выmaterел, а уж по поселку ходил — кум царю, уступай дорогу. И просто так натравливать любил, забавы ради, чтоб чувствовали и боялись. Парочка — гусь да гагарочка, наказание для поселка. А поселок наш на что уж бедовый — милиция сторонкой обходила. Да-а... Ох, глупы люди да непроворны. Сколько хвалилось, что Пиратку пристукнут, заодно и Рафашку пришьют, — нет, острасткой все и кончилось, пока один тихонький молодец не нашелся. И всего-то за порванные новые штаны... колбаски бросил. Откинул лапы Пиратка. Ну, мой-то недели две в кармане ножик носил на тихонького... И, поди, ума бы хватило пустить кровушку, да только не на того напал. Встретились, потолковали, дружками стали — не разлей вода...

Евдокия замолчала.

— Так все-таки были у него друзья не только среди собак? — нарушил молчание Сулимов.

— Да ведь волков диких и тех приручают.

— Вот как! Даже приручил дикого Рафаила. Кто же такой и долго ли они дружили?

— Всю жизнь, — не задумываясь ответила старуха. — Илья Пухов — не слышал? При нем до последнего дня Рафашка работал.

— Муж той Людмилы?

— Он самый. Хват. Людку-то он у Рафашки вырвал и дружбу сохранил. Ох и ловок, лютого обкрутит.

— Водкой действовал?

— Того не скажу. Не-ет! Сам Пухов в рот не берет, навряд ли других понуждает.

Сулимов начал делать пометки в блокноте.

Евдокия недружелюбно разглядывала его, чего-то ждала.

— Все выпытал? — спросила она.

— Много. А что еще набезит, снова на свидание приду. И вот протокол оформлю — прочитать тебе его придется и подписать.

— А может, скажешь мне прежде?.. — Требовательный взгляд запавших глаз, недосказанность.

— Что именно?

— Бестолков ты, видать: пытал, пытал меня, слушал, слушал, а ведь так ничего и не понял. Пухов, видишь ли, его интересует, а я ничуть... От Пухова ли беда пошла, не от меня ли?

Сулимов кривенько усмехнулся:

— Везет мне сейчас. В других делах — из кожи вон лезешь, виновников ищешь, а тут сами напрашиваются.

— Ты подумай-ко, покрепче подумай — от двух человек беда эта началась. От Ваньки Клевого и от меня. Ваньку-то что ворошить, поди

знай, где его кости лежат. Да и не так уж виноват Ванька — сучка не схочет, кобелек не вскочит. Не был он при сыне, в глаза его не видывал. А я всю жизнь рядом. Иль мать за родного сына не ответчица?

— Ответчица. Готов попрекнуть тебя. Только зачем? Сама без меня все осознала.

— Я-то сознала, а вот ты совсем непонятлив. Сына худого вырастила — это еще не вся моя вина. Я и в другом круто виновата — знала ведь, ой как хорошо знала, что страшно людям мой сынок. Так не молчи, остерегай людей, спасти пробуй, стучись куда нужно. Не делала, смотрела себе со сторонки и чужала, чужала — стряется, ой стряется рано ли, поздно! Вот и скажи: можно ли за такое простить?

Сулимов пожал плечами:

— Наказывают людей, мать, за дурные действия, а за бездействие как накажешь?

— Вот оно! Вот! — вознегодовала старуха. — Веришь же, что Кольку нужда злая заставила! Как не верить — и слепому видно! Мальчишка глупый не по своей воле — дес-твие! Его ли это дес-твие? Лихо сневолило! А уж ваш закон тут как тут. А то, что всю-то жизнь свою я это злое лихо вынынчивала — пусть?! Вы, поди, многих так наказываете — безвинных в тюрьму, а виновных милуете! И ничего, совесть не точит? Ась?

— Совесть меня, может, и точит, мать, да ее к делу никак не пришьешь.

— То-то! То-то, что без совести дела творите! Не нужна она вам, совесть, выходит. Вот она я! Хороша? Сама ж признаюсь открыто — несправедно жила, уroda добрым людям сотворила. Простите меня за это, пускай и другие не боятся растить уродов на беду всем. На беду! На погибель! Пусть порча по свету идет! Да одумайся, милушко, — неужели тебе не страшно в таком несправедном мире самому-то жить? Ведь молод еще, жизнь-то пока вся впереди. Не страшно, что такие сидячие, меня вроде, без всяких дес-твиев жизнью тебе испакосят? Себя бы хоть пожалел, парень!

Сулимову вдруг стало не по себе — в который раз за сегодняшний день от совершенно разных людей он слышит одно и то же.

19

В это время в девятом «а» классе шел урок истории. Он неожиданно захватил всех.

Борис Георгиевич, щеголевато-подтянутый молодой учитель — всего лишь два года со студенческой скамьи, — как всегда, бойко, напористо, сам увлекаясь, рассказывал о «Народной воле», о «Северном союзе русских рабочих».

...Тихого нрава и трезвого поведения столяр Степан Халтурин совершил взрыв в Зимнем дворце: убито пятьдесят солдат Финляндского полка, а царь вместе с семьей остался цел и невредим, вспучило лишь пол в зале да попадали куверты с обеденного стола, накрытого в честь приема принца Гессенского... На следующий год бомба, брошенная двадцатипятилетним Игнатием Гриневицким, прикончила царя. И самого Гриневицкого тоже...

Убить, чтобы жить!.. — слушали затаив дыхание.

Борис Георгиевич с тем же напором доказывал: путь террора ничего не принес для освобождения России, вместо убитого царя стал царь новый и...

В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла;

Победоносцев над Россией
Простер свиные крыла...

Борис Георгиевич любил украсить урок стихами. С вниманием слушали и это, но... герои остаются героями даже тогда, когда их достигает неудача.

20

До сих пор в городе ходит легенда, связанная со строительством химкомбината. Один из ведущих инженеров предложил внести некоторые изменения при монтаже оборудования — упрощает работы, экономятся затраты. Инженер проявил напористость, пробил свое предложение, сам руководил монтажом. И уже когда испытания прошли благополучно, был подписан акт о приемке, инженера что-то насторожило. Он снова засел за расчеты и с ужасом убедился, что допустил просчет столь мелкий, что на него никто не обратил внимания. Однако эта мелочь при полной нагрузке в любой момент может привести к катастрофе — взрыв, выброс ядовитых газов, человеческие жертвы и выход из строя всего комбината! Ничего не оставалось как признаться в своей ошибке, пока не поздно, обвинить самого себя. Но не тут-то было — компетентные комиссии приняли работу, отчеты посланы, сроки выдержаны, экономия получена, премиальные выплачены, благодарности объявлены. Ломать снова, начинать все заново по старым схемам — нет, об этом и слышать не хотели. Инженер обвинял сам себя, готов был нести наказание, но ему не верили, его оправдывали. А комбинат готовился к пуску. И тогда инженер решился на отчаянный шаг — в кабинете начальника, курирующего строительство, он положил на стол заявление, вынул из кармана ампулу: «Здесь цианистый калий, не подпишете — приму на ваших глазах, вынесут отсюда труп. Лучше я, чем по моей глупости погибнут многие».

Возможно, эта история раздута изустной молвой, разукрашена небывальщиной, но до Аркадия Кирилловича докатилась в таком виде. Теперь он чувствовал себя в положении самообличающего инженера. Одна разница — тот знал, в чем его ошибка, Аркадий Кириллович пока что свою ошибку смутно ощущает: есть, допущена, грозный факт оповестил о ней, но в чем она заключается и как ее исправить, не ясно.

Директор саморазоблачаться не собирается: «К семейной трагедии Корякиных школа отношения не имеет!» И постарается прикрыть грудью того, с кем вместе ошибался. Но ведь одна катастрофа уже разразилась, не последуют ли за ней другие?..

Только один Василий Потехин сейчас убежден — учитель Памятников повинен в случившемся. Вдуматься — странно: не проникательный педагог, никак не человек семи пядей во лбу, явно недалекий, а почему-то он, не кто другой. Ссылается на свой горький опыт, полученный от Аркадия Кирилловича. Не совсем понятно, в чем этот опыт заключается, толково не сумел рассказать. Да и сам Аркадий Кириллович не был готов тогда его выслушать. Что-то заметили за тобой, не отмахивайся, дознайся, что именно. Любые сведения, даже бредовые, в данный момент важны.

И Аркадий Кириллович решительно направился на улицу Менделеева.

Снова тот же подъезд, та же лестница, и наверху, в квартире на пятом этаже, наверняка еще не смыта с паркета кровь. Но возле подъезда беззаботно играют детишки и сидят на скамеечке бабушки, а лестничные пролеты по-будничному скучны, тянет щами из-за ка-

кой-то двери. Сама по себе жизнь оскорбительно забывчива, следы трагедий в ней затягиваются, как в болоте, дольше всего они держатся в душах людей. Кто укажет, где та комната, в которой Иван Грозный убил посохом своего сына, а память об этом до сих пор не стерлась.

Аркадий Кириллович рассчитывал только узнать адрес работы Василия Потехина, но неожиданно тот оказался дома — взял отгул, чтоб справиться с потрясением.

Потехин поставил стул напротив, прочно уместился на нем, прямой, с нацеленным подбородком, с капризно-брюзгливым выражением на лице.

— Если уговаривать пришли, то напрасный труд, — заявил он сварливо.

— В чем вас должен уговаривать? — удивился Аркадий Кириллович.

— А разве вы не затем прибежали, чтоб я дочку из школы не забирал?

— Нет, Василий Петрович, хочу от вас снова услышать то, что вы говорили мне ночью.

— Может, ждете — днем ласковой буду?

— Мне сейчас не ласка нужна, а горькая правда. Так что не стесняйтесь — стерплю.

— Я теперь вот понял, почему раньше попов не любили.

— Похож на попа?

— Вылитый, красивыми побасенками о хорошем поведении людей портите.

— Вот это-то мне и растолкуйте.

Василия Петровича едва приметно повело от слов Аркадия Кирилловича, уж и так сидел прям и горделив, сейчас совсем выгнуло и расперло: ладони в колени, локти в стороны, глаза неживые, глядят сквозь, в вечность — памятник, а не человек, ну держись, оглушит сейчас истиной!

— Слышали: прямая линия короче кривой — геометрия! И все верят в это, понять не хотят — в жизни-то геометрия совсем иная, там кривые пути всегда прямых короче.

— Это вы сами открыли или подсказал кто? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— Подсказал! — отрезал Василий Петрович. — Подсказал и назвал!

— Гордин?

— Он. Святой мученик, виноват перед ним.

— Но вы говорили прежде — очковтиратель. Ошибались?

— Нет, так и есть.

— Ловчило?

— Тоже.

— Приспособленец, если память не изменяет?

— Можно сказать и это.

— И святой?

— Мир на таких стоит!

— Чем же он вас так убедил?

— Правдой!

— Не будьте так скупы, Василий Петрович, поделитесь со мной пощедрее.

Василий Петрович внял и чуточку пообмяк в своей монументальной посадке.

— Умный Потехин учил глупого Гордина, — заговорил он свар-

ливо в сторону. — Нельзя тянуть газовые трубы по окрашенным стенам, пробивать их сквозь паркетные полы, чтоб снова здорово крась, крой, заделывай, бросай денежки. Давай, мол, товарищ Гордин, действовать по порядку, пряменько. А труб-то нет и неизвестно, когда будут. Жди их, не считайся с тем, что рабочие бездельничают, что строительство в планы не укладывается, прогрессивку и премиальные не получают. Увидит рабочий класс, что свой рубль теряет, и мотнется в другое место, где и прогрессивочку и премиальные ему поднесут. Текучка начнется! Слыхали такое слово? Страшное оно. Квалифицированные рабочие разбежались, нанимай с улицы пьянь разную, отбросы, которых из других мест выкинули, запарывай строительство, приноси убытки, но уже не грошовые, каких умный Потехин боялся, а миллионные. Зато строго по прямой, геометрии придерживайся. А невежды гордины, этой геометрии не желающие знать, ловчат, когда нужно очки втирают, приспособляются как могут, а миллионы спасают... Спасибо гординым, без них прямолинейные умники мир бы набок завалили!

— Я, по-вашему, из них, из прямолинейных умников? — спросил Аркадий Кириллович.

— Самых опасных, не мне чета.

— И как же мне исправиться? Учить детей — не ходите прямо, ищите в жизни кривые дорожки?

— Только не по линейке, только не по геометрии из книжки!

— Похоже, я и не делаю этого.

Василий Петрович возмущенно подскочил:

— Не делаете!.. А чему же вы учите?

— Русской литературе хотя бы. А она тем и знаменита, что лучше других разбирается в запутанной жизни. Да, в запутанной, да, в сложной!

— Вы учите — будь только честным и никак по-другому?

— Учю.

— И зла никому не делай — учите?

— Учю.

— И сильного не бойся, слабому помогай, от себя оторви — тоже учите?

— Тоже.

— А-а! — восторжествовал Василий Петрович. — И это не по линейке жить называется! Не геометрию из книжек преподаете! Запутанно, сложно, а прямолинейненько-то поступай!

— А вам бы хотелось, чтоб я учил — будь бесчестным, подличай, изворачивайся, не упускай случая сделать зло, перед сильным пасуй, слабому не помогай... Неужели, Василий Петрович, вам хочется такой вот свою дочь видеть?

— Я хочу... — Василий Петрович даже задохнулся от негодующего волнения. — Одного хочу — чтоб Сонька моя счастливой была, приспособленной! Чтоб загодя знала, что и горы крутые и пропасти в жизни встретятся, пряменько никак не протопаешь, огибай постоянно. Ежели можно быть честной, то будь, а коль нельзя — ловчи, не походи на своего отца, который лез напролом да лоб расшиб. Хочу, чтоб поняла, и крепко поняла, что для всех добра и любя не станешь и любви большой и доброты особо от других не жди. Хочу, чтоб не кидалась на тех, кто сильней. кто легко хребет сломать может, а острожничала, иной раз от большой нужды и поклониться могла. Хочу, чтоб душой наивной не оказалась. Вот чего хочу! Ясно ли?

— А ясен ли вам, Василий Петрович, смысл пословицы — как крикнется, так и аукнется?

— Я-асен! Ох я-асен теперь! Уж, верно, больше, чем вам... Кричи да остерегайся, где нужно — шепотком, а где и рыкнуть можно, расчетец имей, чтоб не аукнулось. Вот если б этой сноровистой науке вы мою Соньку научили, я бы первый вам в ножки поклонился.

— Всех этому научить или только одну вашу дочь?

— Всех, всех, чтоб вислоухими не были!

— Так что же получится, Василий Петрович,— все науку воспримут, не вислоухие, ловкачи, будут стараться обманывать друг друга, хребет ломать тем, кто послабей... В дурном же мире Соне жить придется. Не пугает вас?

— А что ж делать-то, когда он, мир, таков и есть, доброго слова не стоит? И сменять его на другой какой, получше, нельзя — один всего. Выхода нет — приспособляйся к нему.

— Сменять наш мир на другой нельзя, а вот попробовать как-то исправить его...

— Исправить! — подскочил Василий Петрович.— Да не дай-то бог! Исправители еще хуже его покалечат. Я сам пробовал исправить и дров наломал. А Колька Корякин вон как жизнь исправил — нравиться?.. Ой, не учите Колек, Сонек мир исправлять! Ой, не надо! Так исправят мир, что хоть в космос с него беги!.. Да зачем я остерегаю — уже научили, научили, все мало вам. Дальше учить собираетесь!.. Таких учителей не мешкая хватать надо да под семь замков прятать, чтоб их никто не мог видеть и они чтоб никого...

— Плохо учу, не тому учу — возможно,— согласился Аркадий Кириллович.— Но вздумайте, что вы предлагаете — приспособляться учи, себя спасать, других не жалеть!.. Тут уж всякую надежду, что мир, пусть не сейчас, пусть когда-то, лучше станет, оставь. И бежать в космос с такого гнусного мира смысла нет, изворотливое ловкачество, безжалостность друг к другу привычкой станут, в натуру войдут, их уже не сбросишь, как старое платье, с собой увезешь. И куда бы ни сбежал, всюду будет ждать отравленная жизнь.

У Василия Петровича между объемистым лысеющим лбом и волевым подбородком прошла судорога, глаза спрятались, рот повело, и голос бабий, тонкий, срывающийся на визг:

— Да что мне весь мир! Могу я с ним, со всем миром, справиться? Иль надеяться могу, что справится Сонька? С ума еще не сошел — ни себя, ни ее Наполеоном великим или Марксом там не считаю! Я маленький человек, и она в крупную не вырастет. Нужно мне совсем мало — чтоб дочь родная счастливо жила. А остальные уж пусть сами как-нибудь без меня устраиваются... А вы!.. Вы одного попутали, мою дочь попутать можете — выкинет такое, жизнь пополам... Вы... вы враг мне!

Аркадий Кириллович разглядывал Василия Петровича. Он знал, никак не открытие — этот человек испытывает к нему вражду. Потому-то и пришел — враг может видеть то, чего сам не в силах заметить. Враг? Он?.. Да смешно — ожесточившийся заяц.

— Похоже, спорить нам дальше бесполезно.— Аркадий Кириллович поднялся.— До свидания.

Прежняя тревога и прежняя растерянность.

Оказывается, куда поместить Колю Корякина, решить было не так-то просто. В статье 393 Уголовно-процессуального кодекса указывалось: «Несовершеннолетние, подвергнутые задержанию или предварительному заключению, должны содержаться отдельно от взрослых и осужденных несовершеннолетних». То есть следовало подыс-

кать для Николая Корякина такую камеру, где находятся еще не осужденные подростки.

Но из таких, пока еще не осужденных, сидели сейчас только двое — некто Кошутин и Осенко. Один, семнадцатилетний верзила, заманивал к своей пятнадцатилетней сестре сильно подгулявших командировочных и обирал их. Другой, болезненный, слабосильный Осенко, известный по кличке Валька Глаз, поздними вечерами выходил ловить прохожих, выбирал наиболее степенных и видных, задирали их. Когда те, выведенные из себя, решались наконец проучить нахального мальчика, тот улучал момент и лезвием бритвы полосовал по лицу, стараясь задеть глаза, скрывался. И делал он это не для того, чтобы ограбить, — просто так доказывал свое превосходство.

Совать к ним Колю Корякина вместе с его трагедией неразумно да и жестоко. Как эти двое повлияют на мальчишку, предусмотреть нельзя. Но, с другой стороны, заключать в одиночку, оставлять его наедине со своей крошечной бедой, тоже опасно. Подростки, замечено, вообще тяжело переносят одиночество, через несколько суток даже у самых здоровых, как правило, начинаются психические фокусы.

И все-таки пусть лучше побудет один. Пока. Через день, два Сулимов рассчитывал выпустить его до суда под личное поручительство, скажем, матери и того же учителя Памятнова. Ясно же — парнишка не из тех, которые пытаются убежать от наказания.

Комната, куда привели Колю Корякина, не походила на те тюремные камеры, которые он видел в кино и по телевидению, — темные, каменные, с зарешеченным оконцем под высоким потолком. Здесь было большое окно, только стекло в нем толстое, шашечками, непрозрачное, как донышки бутылок, — свет пропускает, а ничего сквозь не видно. Не понять, вечереет ли за ним или день в полном разгаре, идет ли дождь или просто пасмурно. Койки, как полки в поезде, одна притянута к стене, другая опущена, накрыта серым байковым одеялом. Узенький столик посередине и в углу возле двери унитаза.

Наконец-то никто не мешал Коле. Теперь ему можно было остаться наедине... со своим отцом.

Отец... Прыгнувшее в руках ружье, удар приклада в плечо. Медленно, медленно, казалось, до бесконечности он падает на него, на ствол выставленного ружья... И вывернутая рука с согнутыми пальцами, неутоленная, не успевшая схватить, и спутанные, давно не стриженные кудельные отцовские волосы, и черная вязкая струйка крови по паркету... Отец!..

Ненавидеть его Коля теперь уже не мог. За все, что отец сделал плохого, он расплатился полностью — черная струйка крови по паркету! Ненавидеть нельзя, заставить же себя совсем не думать о нем, забыть — Коле не под силу.

Он вспоминал отца и теперь, когда никто не отвлекал, начинал испытывать жалость режущую, нестерпимую к нему, лежащему с вывернутой рукой. Нет спасения от жалости, от раскаянья и от... ненависти к себе.

Коля попытался вызвать мать, несчастную мать, забитую пьяным отцом. Но вывернутая рука, давно не стриженные кудельные волосы — разве несчастье матери сравнишь теперь с отцовским! Мать мелькала, расплывалась, исчезала, все заполнял отец.

Уже несколько раз в течение дня приходила простенькая мысль: «Он же не всегда был плохим...»

Пришла она и сейчас, и память сразу охотно на нее отозвалась.

Стали всплывать тихие случаи, совсем, казалось бы, пустячные, не навешавшие прежде Колю даже во сне. Они обступили, закрыли страшное, стало успокаивающе больно...

Едва ли тогда ему исполнилось шесть лет, во всяком случае он еще не ходил в школу. За окном в городе шла весна, только что пролил короткий напористо-звонкий дождь, на стекле еще висели светлые капли, с синего неба над крышами бежало прочь замешкавшееся облако. И в открытую форточку пахло распустившимися тополями.

А в неприбранной комнате было неуютно и молчаливо. Мать пряталась на кухне, оттуда доносился звон посуды, негромкий, унылый. Только что проснувшийся отец грузно сидел на смятой постели, лицо не красное, а серое, жеваное, с упавшими веками, безглазое, большие босые ноги спущены на пол, они какие-то бескостные, бесильные, даже не верится, что отец сможет встать на них, ходить, как все люди. Вчера вечером он был страшен, Колька с матерью бежали от него к соседям. Сегодня его нечего бояться, он болен и, должно, сам себе противен.

Вдруг в распахнутой форточке метнулась тень, комната наполнилась упругим фырчащим шумом трепещущих крыльев. Полупрозрачный сгусток кипящего воздуха — от серого потолка к Колькиной голове, от одной стены к другой. Мелкая птица, нежданная гостья. Она, должно быть, поняла, как грубо ошиблась, ворвавшись в этот тесный, душный, угрожающе молчаливый угол мира. Совершив пляску, она ринулась обратно на простор, к синему, напоенному солнцем, обмытому дождем небу, навстречу тополиному запаху. И налетела на стекло с такой силой, что упала оглушенная на подоконник. Колька кинулся к ней...

Ясно-желтая грудка, пепельная спинка, в перышках крыла голубой торжествующий отлив, глаз мертвенно задернут, но сквозь мягкий пух пальцы уловили суматошное биение крохотного сердца. Над ухом раздалось тяжелое дыхание. Колька обернулся — растерзанный отец стоял над ним, на его помятом лице непривычная робость и на губах виноватая мученическая улыбка.

— Князек заскочил, гляди-ко, — сказал он.

— Живой.

— Небось оклемается... Князек в городе, надо ж!..

— Я ему гнездо устрою.

Отец несмело улыбался, под набрякшими веками, под жесткими светлыми ресницами влажные болеющие глаза.

— Он чего ест?.. Ой, ожил!

У князька открылся бисерный блестящий глаз, Колькина ладошка сжалась.

— Не тискай, задавишь еще... Слышь, Колька, отпусти его. Князек — птица лесная, вольная, взаперти сдохнет. — И мученическая улыбка, и голос непривычно просящий. — Я тебе канарейку с клеткой куплю, петь будет.

Кольке почему-то вдруг стало жаль, хоть плачь, только неизвестно кого — птичку, попавшую в беду, или похмельного, встрепанного, мучающегося отца. Он даже не решился накормить гостью, отец помог ему вскарабкаться на подоконник, он дотянулся до открытой форточки и разжал руку. Князек мелькнул ясно-желтой грудкой и мгновенно растаял в синеве, обнявшей лежащий внизу город.

В тот вечер отец пришел чистый, трезвый, тая в глазах весеннюю голубизну, а в губах ухмылочку. Он поставил на стол легкий объемистый пакет, завернутый в серую шершавую бумагу. Осторожно, стараясь, чтоб не шуршала, отец снял бумагу, и под ней оказалась круглая проволочная клетка с деревянным низом, выдвигающимся ящи-

ком. Внутри на палочке сидела ржавенькая птичка, чуть побольше князька, быть может, не столь красивая, однако с широким бордовым галстуком.

Кенар ел конопляное семя, запрокидывая смешно голову, пил воду из блюдечка. Он очень скоро прижился и стал петь — дробно, с россыпью, с прищелкиванием, с нежным присвистом. Отец радовался не меньше Кольки, считал коленца... А у матери с лица не сходило испуганное удивление.

Неделю, а может и больше, отец приходил по вечерам рано, и чай пить садились теперь не на кухне, а в большой комнате за круглым столом, накрывали его глаженной скатертью. Кенар пел, и каждый вечер походил на праздник...

Сначала отец пришел лишь чуть подвыпивший, веселый, добрый, разговорчивый. И мать сразу увяла, сжавшись, молчала весь вечер. Но чай был и кенар пел...

На другой день отец толкнул мать на шкаф, клетка с кенаром, накрытая от света платком, свалилась со шкафа на пол. Нет, кенар не разбился, остался жив, только после этого совсем перестал петь, сидел нахохлившись, ничего не ел. И лишь по вечерам, когда пьяный отец начинал громко ругаться, швырять стулья, на кенара стало находить сумасшествие, он метался в клетке, бился грудью о прутья...

Он скоро сдох, и Колька похоронил его в углу двора, за трансформаторной будкой, положил сверху два кирпича — вместо памятника и еще чтоб не выкопали и не сожрали кошки. Никогда уже больше не пили чай за круглым столом, покрытым белой скатертью...

Отец любил собак и птиц. На рыбалке однажды чайка схватила наживленного на перемет пескаря, сама попалась на крючок. У этой чайки были жесткие крылья, столь белые, что Колькины загорелые руки казались черными, как у негра. И голова чайки — маленькая, злая, с ненавидящим острым глазом. Отец и тогда приказал выпустить чайку.

Отец... О нем можно думать. Его даже можно любить.

Не надо только додумывать до конца. Не надо!

.....

Скупой отмеренный день поздней осени угас. Он был тусклый и мокрый, похожий на вчерашний и позавчерашний. Как всегда, многочисленные проходные комбинатов, заводов, фабрик — гигантских, всесоюзно прославленных и неприметно мелких, местного значения — выпустили рабочих, закрылись до утра, до нового рабочего дня. Но закрылись далеко не все, многие пропустили через себя ночные смены. Город лишь замирал, но не переставал жить уже не наружной, не суетливо-шумной, а потаенной жизнью. Какие-то станки не останавливались, раздутые печи не погасли, дежурные краны продолжали ворочаться, крутились роторы электростанций, гнали по проводам электричество, совершалось ежесуточное чудодейство — грязная руда превращалась в чистый металл, мертвый металл в живые машины, сырье становилось продукцией, а время овеществлялось даже тогда, когда большинство жителей засыпало, забывая о неумолимости времени.

Кончился день, для всего города очередной, в общем, самый обычный. В этом тесном людском скоплении, где течение бытия мощно завихряется, всегда выплескивается наружу что-то гнилостное, оскверняющее существование. Где кипение, там и пена.

Кончился день, сам город ничем особым не отличил его от других дней. И только у какого-нибудь десятка людей сегодня круто перевернулась судьба.

Часть вторая

1

С утра Сулимов решил свозить Колю Корякина на экспертизу. Без медицинской экспертизы в таком деле обойтись нельзя. Сулимов мог бы перепоручить эту процедуру и другим, но вдруг да потребуются что-то уточнить, пояснить, дополнить — уж лучше сам.

Больница, куда он вместе с Колей и сопровождающим милиционером подкатил на спецмашине, когда-то стояла за городом. Теперь город со всех сторон обошел ее — несколько потемневших кирпичных корпусов, окруженных худосочным парком. Еще в конце прошлого века эту больницу основал известный в России психиатр, теперь она носила его имя, но в просторечии издавна звалась непочтительно кошатником или дурдомом.

Уже не столь известный по стране психиатр, однако все же нынешняя местная знаменитость, доктор медицинских наук, заведующий отделением, к чьим услугам следственные органы осмеливались прибегать только в особо важных случаях, оторвался от своих больных, от организационных забот, от конфликтов вверенного ему медперсонала, уединился с Сулимовым в кабинете, полистал бумаги, задал несколько незначительных вопросов, произнес:

— Что ж, давайте сюда вашего соловья-разбойничка.

Соловей-разбойничек выглядел жалко — синюшное, до хрупкости исхудавшее лицо, затравленные светлые глаза со вздрагивающими зрачками, тонкая, напряженно тянущаяся из просторного воротника шея...

Местная знаменитость, лысый, с лепным черепом, массивный мужчина, державшийся с Сулимовым грубовато-добродушно, при появлении Корякина изменился мгновенно и разительно — не только физиономия, но и все его плотно сбитое тело стало выражать приветливое участие. Он посадил Колю так, что острые Колины коленки упирались в его тугие, полные колени, начал расспрашивать заботливо и не напористо — хочешь отвечай, хочешь не отвечай, твоя воля: занимался ли спортом, страдал ли головными болями, хорошо ли спал по ночам, какие книги больше нравилось читать... Прерывал вопросы, просил перекинуть ногу на ногу, обстукивал молоточком, заставлял следить за толстым пальцем, нацеленным в потолок, снова и снова спрашивал бархатно стелющимся голосом, втягивал в необязательную беседу. Коля отвечал коротко и ясно, не спуская беспокойного взгляда с врача. Беспокойного, но вовсе не недоверчивого.

— Ну иди, дружок, — наконец ласково отпустил доктор к сопровождающему милиционеру, ждавшему за дверью. И когда Коля вышел, местная знаменитость ворчливо заметил: — Как пациент он не представляет для меня ни малейшего интереса.

— Нормален? — спросил Сулимов.

— Нормальных людей на свете нет!

Психиатр плотно уселся за свой стол и с профессиональной быстротой врача, которого ждут многочисленные больные, приходится дорожить каждой минутой, написал следующее заключение: «Николай Рафаилович Корякин душевным заболеванием не страдает. Обнаруживает признаки эмоциональной неустойчивости. В период, предшествующий инкриминируемому деянию, он находился в состоянии естественной подавленности, связанной с длительной психогенно-травматизирующей ситуацией, но не носившей болезненно-психотического характера. В момент, относящийся к совершению правонарушения, признаков какого-либо временного болезненного расстрой-

ства душевной деятельности не обнаруживал. Как видно из материалов дела и настоящего психиатрического обследования, у него в тот момент отмечалось состояние эмоциональной напряженности, связанной все с той же ситуацией, не сопровождающейся психотической симптоматикой (бредом, галлюцинациями, искаженным восприятием окружающего). Поэтому в отношении инкриминируемого деяния Н. Р. Корякина следует считать вменяемым».

Сулимов пробежал бумагу, спрятал ее.

— Еще один вопрос, доктор... Так сложилось, что мы сейчас вынуждены держать его одного. Не преподнесет ли он нам какой-нибудь сюрприз?

— И долго ли вы его собираетесь изолировать?

— Вот это-то и хотелось бы нам от вас услышать — сколько суток выдержит безболезненно?

— Не могу поручиться, что такой субъект не завтра, так послезавтра не выдаст неожиданный симптом. Правда, ничего такого не случится, чтоб мы потом вынуждены были изменить заключение, почитать невменяемым.

Но уже выпроваживая Сулимова из кабинета, доктор на прощание все же бросил:

— Все-таки я бы на вашем месте постарался его не травмировать — крайне неустойчив, не защищен толстой шкурой...

И Сулимов понял: этот выдавший виды человек, изо дня в день влезавший в чужие несчастья, со всех сторон окруженный изломанными людьми, бесхитростно, по-бабьи жалеет паренька. Почему-то вдруг Сулимов ощутил за собой неясную вину, словно что-то не сделал, не выполнил какого-то важного обещания. Но ничего никому он не обещал и честно делает все что может, сам жалеет непутевого преступничка, чист совестью. Чист, а поди ж ты, вина не проходила...

Он и раньше намеревался прямо из больницы завезти его к себе — собственно, допрашивать уже не о чем, во всем признался, надо лишь подписать протокол допроса. Подпись Коли Корякина нужна была сейчас для двух операций. Во-первых, вчера, расставаясь с его матерью, Сулимов обещал ей устроить свидание. И это можно проверить сразу же, как только он предъявит оформленный протокол. Ну а во-вторых, есть основание рассчитывать, что и вовсе мальчишку отпустят на поруки.

Теперь Сулимову захотелось еще как-то поддержать парня: да, сорвался, да, натворил — самому и другим жутко, только не считай, такой-сякой, что жизнь твоя уже совсем кончена, искупить вину никогда не поздно, а мир не без добрых людей — и поймут и помогут, встанешь на ноги.

Однако когда Коля Корякин опустил на стул в кабинете — судорожно сведенные челюсти, прозрачные, опустошенные тоской глаза направлены куда-то мимо, сквозь стену, в беспросветную даль, — самого Сулимова охватила безнадежность, и произносить тут слова с бодренькими интонациями стало просто невозможно. Да и в протоколе, который он подготовил для подписи, ничего обнадеживающего не содержалось — не мог же он не внести туда признания о заранее заряженном ружье. Посочувствуешь и подsunешь — подпишись, убийство-то совершил не случайное, а преднамеренное!

Подавленный Сулимов предложил Коле внимательно перечитать написанное.

— Возрази, если не согласен, готов любое учество.

Но Коля с явным нежеланием, насилуя себя, проглядел, нетвердой рукой вывел фамилию. Сообщение о свидании с матерью он вы-

слушал равнодушно, казалось даже, пропустил мимо ушей, а вот обещание — попытаемся выпустить тебя на поруки — вызвало волнение:

— А куда денусь?.. Дома жить, где кровь пролил,— нет!.. И от людей же прятаться придется — убийца... Не надо!

Это рассердило Сулимова:

— Нам лучше знать, что надо, а что не надо. Держим под арестом тех, кто опасен или собирается скрыться. Тебе верим — ничего больше не натворишь и в бега не сорвешься. А где жить?.. Приютили же твою мать люди и тебе место найдут.

Все-таки вроде бы ободрил. Но Коля замкнулся — сцепленные челюсти и взгляд в далекое.

На том у них все и кончилось — вызвал милиционера, попросил увести.

Надо было доложить обо всем начальству, связаться с прокуратурой, побывать на месте работы покойного Рафаила Корякина — дел невпроворот, — а он сидел над раскрытой папкой и не мог заставить себя подняться.

Нельзя сказать, что Сулимов жил бездумно, работа такая, что постоянно ставит запутанные задачи — шевели мозгами! И шевелил, но всегда применительно к чему-то конкретному, к практическому. А отвлеченные рассуждения с душевными переливами — нет, и характер не тот, да и делу помеха. Должен быть собран, решителен, всегда ясно представлять что к чему, не колебаться, не путаться и не раскидывать в сомнениях.

Сейчас же вдруг набежало... Не то чтобы засомневался, а мысли улетали черт те куда — к незнакомой деревеньке начала тридцатых годов, к Ваньке Клевому, кулацкому сынку, соблазнившему девку-батрачку, к ребенку, который еще не успел родиться, но уже получил прозвище подкулачник. Должно быть, злое по тем временам прозвище...

Вон она где еще завязалась, крутая веревочка! Через голодные годы, через барачный поселок первой пятилетки, через войну потянулась она на улицу Менделеева, к прошлой ночи.

Телефонный звонок заставил его очнуться. Звонили из проходной.

— Тут сразу двое к вам просят. Близкие знакомые убитого Корякина. Хотят что-то сообщить, говорят — важное.

— Откуда они?

— Работали вместе с Корякиным.

— Есть ли среди них Пухов?

— Никак нет. Рабинович и Клоповин их фамилии.

2

Они появились перед ним. Впереди низенький, с петушиной осаночкой, прыгающими глазами и наигранной бравадой явно робеющего, но решившегося на подвижничество человека. За ним, шаг отступя, громоздко-длинный, связанно шевелящийся тип, неподвижная физиономия которого выражала лишь извечную сонливость. Не нужно было быть особенно проницательным, чтоб понять: этот из тех, для кого все желания сводятся к одному неутоляемому — к водке. Такие обычно старательно обходят далеко стороной любые официальные учреждения, избегают наблюдающих за порядком. И то, что они вдруг решились по своему желанию проникнуть сквозь дверь, охраняемую дежурным милиционером, вызвано, должно быть, какими-то исключительными мотивами. Но еще неизвестно, по своему ли

желанию здесь, не по чужой ли воле. В любом случае они достойны пристального внимания.

— Чем могу служить? — с подчеркнутой вежливостью, намеренно холодно, стараясь показать, что ничуть не удивлен и не очень заинтересован, спросил Сулимов.

Первый, с петушиной осаночкой, доблестно преодолел свою робость, ответил почти вызывающе:

— Спросите нас, кто мы такие, и вам станет понятно, что мы имеем кой-что сообщить товарищу начальнику.

— И кто же вы?

Посетитель с петушиной осаночкой еще сильнее выпятил узкую грудь, повел носом в сторону своего до древесности равнодушного приятеля и воодушевленно объявил:

— Мы близкие друзья безвременно погибшего Рафаила Корякина!

— Для полного знакомства неплохо, чтоб вы еще и назвали себя.

— Ах, вас интересуют наши незначительные персоны!.. Соломон... И учтите, это мое настоящее имя... Соломон Борисович, увы, Рабинович. Да, еврей. Да, с двадцать пятого года рождения. И нет, нет! Под судом и следствием Соломон Рабинович никогда не был!

— Ну а вы? — Сулимов обратился ко второму.

— Клоповин я, Данила Васильевич, — объявил тот угрюмо.

— Достойнейший человек! — горячо воскликнул Соломон.

— То есть тоже не был под судом и следствием?

— Был, — с суровой простотой признался Клоповин.

— Даня, объясни! Даня, у товарища начальника может создаться нехорошее о тебе мнение!

— А что — был... В деревне из-под молотилки шапку зерна унес... С голодухи... Под указ попал, пять лет дали.

— И все! И все! Разве вы посчитаете это виной? — волновался Соломон.

Сулимов смотрел на этих людей и решал — выслушать их по одному или же не следует разбивать парочку? Если они явились с какими-то откровениями, то очень важно, чтоб не чувствовали себя связанными. Явно долго стоваривались, поодиночке навряд ли решились бы прийти сюда, разъедини — утратят чувство плеча, вместе с ним и запал. Соломон, может, что-то еще и выдаст, а из его дружка тогда слова не выдавишь. И, кроме того, они пока не свидетели, которых статья 158 Уголовно-процессуального кодекса обязывает допрашивать порознь, от предстоящего разговора зависит, станут ли ими. Нет, нельзя разбивать парочку, лучше потолковать в компании.

— Садитесь, — пригласил Сулимов. — Итак, вы оба были друзьями Рафаила Корякина?

— Первейшими! — отозвался Соломон.

— То есть собутыльниками? Вы такую дружбу имеете в виду?

Соломон скорбно вздохнул:

— Если хотите — да! Иных друзей покойный Рафа, скажу вам, не признавал. Но мы с Даней и сейчас, когда он ушел от нас навсегда, храним ему верность. Хотя Рафочка имел несдержанный характер и часто был груб с нами, мы с Даней ему все прощаем. Правда, Даня?

Даня выдавил из себя: «О чем звук!» — утробным баском.

— Так что же вы хотели мне сообщить?

Соломон набрал в грудь воздуха, на минуту замер, поводя выкаченными глазами.

— Вы, конечно, себе думаете, — заговорил он, — что, если б не-

счастный мальчик не убил своего папу, папа был жив. Так мы с Даней вам скажем: мальчик поспешил, папу и без него бы убили.

— Это догадки или у вас есть факты?

— Факт тот, что вы видите перед собой подручных... Да, как ни прискорбно, подручных убийцы!— возвестил Соломон.— Но, учтите, невольных, только сейчас понявших свою ужасную роль...

— Заявление, прямо сказать, оглушающее,— произнес Сулимов.

— А легко ли нам его сделать? Нет! Отнюдь! Но мы желаем остаться честными людьми. Правда, Даня?..

— Давайте по порядку.

— Два года назад нас с Даней наняли в покрасочный цех. Почему? Ни я, ни Даня в жизни никогда не правили и не красили машины. Но мы... мы, каемся, пристрастны к зелью! Да! К зеленому змию. Сами скорбим, но... пьем! Вот за это-то нас и оформили...

— За пьянство?

— Именно! Чтоб были всегда под рукой у Рафаила Корякина! До нас возле него держали тоже двоих — Пашку Козла и Веньку Кривоного, один не выдержал тяжелых обязанностей и отвалил, а другой доблестно сторел на боевом посту. Нам так и было сказано: «Возьмите зверя на себя». Напрямую, товарищ начальник, напрямую!

— Пухов?

— Ах, вам уже известна эта фамилия! Тем лучше, тем лучше!.. Кому еще выгодно, чтоб Рафа Корякин не переставал пить! Если он завяжет, не станет брать в рот ни капли, то, скажите на милость, зачем ему тогда вкалывать и тянуть длинный рубль? Он не был сребролюбцем, наш покойный Рафочка. Но он любил больше нас с Даней трижды проклятое и трижды прекрасное состояние подогретости. Каждый из нас за него готов продать душу! За наши души, мою и Дани, ничего не дают. Зато душа Рафы — ой!.. Душа мастера, скажу вам, кое-чего стоит!

— Вы, кажется, забыли, что начали с того, что Пухову невыгодно, если Корякин бросит пить,— напомнил Сулимов.

— Хе! Да ясно же — Рафа тогда освободится от Пухова, Пухов лишится курочки, несущей золотые яички. Даня! Разве я не прав?

Даня нечленораздельно буркнул в знак согласия.

— Так что же, Пухов хотел убить курочку, несущую золотые яички? Не вяжется, Соломон!

— А что вы называете убийством?— подпрыгнул на стуле Соломон.— Кровососание, по-вашему, не убийство?

— Но желал Пухов смерти Корякина или не желал?

— Не желал!— с широким жестом возвестил Соломон.— Но понимал, что убивает!

— Он что, заставлял пить Корякина?

— Он? Сам? Ах, что вы, не надо нас смешить! Заставлять — фи... Нет, надо умно организовать, надо создать все условия, чтоб Рафа не просыхал, но только в свободное время. Если Рафочка выполняет срочный заказ (а несрочных у Рафочки не было) — все закрыто! Над ним строгий контроль, нас, изнемогающих, теснят в сторону: не время, когда освободится... Освободится! Вот свободы-то он и не получал — прыгай сразу в угар. Нет денег — бери в долг. Нужны добрые застольные друзья — пожалуйста. Они специально для этого и наняты. Им строго наказывается — не набирайтесь, сукины дети, на стороне, берегите себя для Рафочки! И если даже они заняты на работе — освободить их... Все условия, чтоб Рафочка не мог даже чуть-чуть задуматься. О-о! Даже о семье Рафиной за Рафочку думает сам Пухов, чтоб большой нужды не знала. Ни о чем не тревожься, доро-

гой Рафа, прожигай деньги, чтоб их заработать, зарабатывай, чтоб сразу прожигать, не смей застопорить, не то Пухову перестанет капать. Системка... И как она вам нравится, товарищ начальник?

— Вы оба эту систему понимали, а Корякин — нет? Уж настолько он был глуп?— спросил Сулимов.

И снова привел в трепетное состояние Соломона:

— Наоборот! Как раз наоборот! Он понимал, а мы с Даней не допирали. Он как доходил до накала, то на чем свет стоит ругательно клял Пухова. И что же? Шел к Пухову, чтоб снова добыть денег и прожечь их!

— Когда же вам открылось все?

Соломон в волнении вспорхнул со стула.

— Чувствовали давно — да! Но всю глубину не осознавали — тоже да! Но с глаз спала пелена, как только услышали от него же, от Пухова, что мальчик — папу... Кто мы? Помощники! По слепоте, по глупости, по слабости характеров, но помощники!..

— Сты-ыд! — прохрипел друг Даня.

— Именно! Именно! Мы с Даней почувствовали стыд! Все можно залить водкой — смерть родной мамы, любое горе, — но стыд... Один стыд не заливается этим снадобьем. От водки, скажу вам, он еще сильнее разгорается... Мы вчера чуть-чуть прикоснулись за помин души Рафы Корякина. И как мы расстроились, как расстроились!.. Даня, сказал я, мы проклянем себя, если не откроем правду! Даня, говорил я, мы на час, на один только час должны стать мессией! Вы знаете, что такое мессия, товарищ начальник?

— Знаю! — обрезал Сулимов. — Не знаю одного — чем вы чище Пухова, на которого все взваливаете? Он корякинскими деньгами корыстовался, вы — водкой! Два сапога — пара.

Обвисшие щеки Соломона дрогнули, нос одеревенел.

— Да-ня-а! — с неподдельной горестью. — Мы с тобой по-благородному, мы очиститься, а нас припечатывают!.. К кому?!

— Хватит скоморошничать, Соломон! Объясните лучше разницу между вами и Пуховым.

Перекосившийся, с вознесенным носом Соломон напоминал в эту минуту умирающую экзотическую птицу.

— Объясню. Только попрошу — взгляните в нас...

— Да уж вижу.

— Некрасивы?.. Вы правы, вы правы — мы с Даней, да, безобразны! Но не спешите презирать нас. Мы — санитары. Если пуховы извергают навоз, то мы им питаемся. Ой, что было бы, если б Рафа Корякин гулял без нас, со случайными! Один бог это знает, что было бы!.. Ах, как он мог обижать, когда напивался, — пересказать нельзя, это надо видеть и слышать! Какими гнусными словами он нас обзывал, а особенно меня. Пьяный Рафочка всегда вспоминал, что я еврей. И он не только нас обзывал очень нехорошими словами, он еще бил нас. Смею вас уверить, у Рафочки были ой тяжелые кулаки. Кто бы стерпел это, кроме нас с Даней?.. Бедная жена Рафочки еще не знает, что ее немножечко спасали... Да, да, мы с Даней. Не мы бы, она имела совсем, совсем не то, что получала. Чуточку больше! Ха! Конечно же, Рафочка был богатой натурой, после нас у него оставалось и на жену и на несчастного сына... И Пухова мы тоже спасали, хотя он нас и презирал, но с этой целью — да, да — держал возле Рафочки. Поэтому прошу, очень прошу, не путайте нас с Пуховым. От него — грязь, после нас — крошечка чистоты. Конечно, навозные жуки плохо пахнут. От нас воротят нос, Даня! Скажи, Клод, что мы к этому привыкли...

— Так какого же лешего вы стонете о Рафочке, сдается, не только жалеете, а даже готовы его любить?

Друг Даня издал горлом сложную руладу, а Соломон весь сморщился, отвел в сторону затравленные рыжие глаза.

— Вы счастливый человек, — сказал он. — Вас любили папа и мама, когда вы еще лежали в коляске. И вы не сможете понять нас с Даней, которых никто никогда не любил, а все отворачивались и говорили: пфе! Так вот что я вам скажу, счастливый человек: нас любил он! Да, он, этот злой, этот страшный Рафа, которого все боялись. И сам Пухов тоже его боялся... Да, Рафочка издевался над нами, оскорблял нас и бил даже... Но он не брезговал нами, мы были ему нужны... Ему! Да! А скажите мне: кому еще на свете нужен Соломон Рабинович, сорок девять лет назад нечаянно родившийся в местечке под Одессой? А кому нужен Даня Клоп, спившийся мужик из деревни Шишиха? Ужаснитесь, пожалуйста, за нас. Не можете?.. Я так и знал. А мы с Даней не можем забыть, что кому-то были нужны. И мы с Даней плачем, что снова — никому, никому...

Беспокойные, затравленные глаза Соломона и тяжелый взгляд Дани Клопа. Сулимов сидел перед ними, навалившись на стол.

— Вот оно как, — наконец выдал он, — даже Рафаила Корякина кто-то оплакивает.

— Чистыми слезами! Учтите — чистыми! — тенористо воскликнул Соломон.

3

В природе приспособиться — значит выжить. Но человек никогда не удовлетворялся лишь одной возможностью выжить, сохранить себя и потомство. Наскальный рисунок первобытного художника не сулил выживания, тем не менее он тратил на него время и силы, отрывая их от добывания пищи насущной. И современные астрономы, изучая умопомрачительно далекие квазары, меньше всего думают, какое жизненно практическое применение найдут их открытия.

Человек ли тот, кто замкнулся на самосохранении — выжить и больше ничего? Да и возможно ли жить, отгородившись от того безбрежного, что окружает? Жизнь безжалостна к несведущим.

Василий Петрович Потехин (не хочу ничего знать, кроме своего!) — сейчас выписывает наряды на ремонт кухонных плиток, а недавно руководил большим газовым хозяйством — идет ко дну, намерен тащить за собой дочь.

Такие вот василии потехины чем пришибленнее, тем усерднее готовы вершить суровый суд: ты ошибаешься, а я теперь — нет. Что верно, то верно, Василий Петрович ошибок совершать уже больше не будет потому только, что не будет совершать и каких-либо поступков. И глядящим со стороны он станет казаться всегда правым.

Случилось убийство, как хочется от него отодвинуться подальше и как это, в общем-то, просто сделать. Достаточно не признаться себе — совершил ошибку, тем более что она так смутна, так неосязаема. Кто посмеет тебя подозревать, кому придет в голову тебя обвинить?..

И появится на свете еще один Василий Петрович Потехин — замкнут на себя, всегда и во всем правый, медленно опускающийся, лишенный уважения к себе и другим.

Нет! Нет! Ищи ошибку, уличай себя!

Жизнь безжалостна к несведущим... Но что знает любой из учеников о той большой жизни, с которой он сразу столкнется, как только выйдет из школы? Аркадий Кириллович преподавал литературу, да, фокусированно отражающую жизнь. Но какую жизнь? Чаще всего далекую от сегодняшней — жизнь графа Безухова и князя Мыш-

кина, Баньки Жукова и Алеши Пешкова. Даже жизнь более близких по времени Григория Мелехова и Василия Теркина разительно не похожа на нынешнюю.

Аркадий Кириллович вместе с другими учителями старался оберегать своих учеников от скверны мира. Пьянство, поножовщина, мошенничество, корыстолюбие — нет этого, есть трудовые подвиги, растущая сознательность, благородные поступки, праведные отношения. Хотя ученики не были слепы и глухи, некоторые росли в крайне неблагополучных семьях, знали улицу с изнанки, видели пьяных, сталкивались с хулиганством, бесстыдной корыстью, унижающей несправедливостью, но школа старалась сделать все, чтоб они забыли об этом. Из любви к ученику!

Нетребовательная любовь, любовь неразумная, ревниво оберегающая от всего дурного, питающая стерильной житейской кашей, вместо того чтоб приучить к грубой подножной пище, — сколько матерей испортили ею своих детей, вырастив из них анемичных уродцев или махровых эгоистов-захребетников, не приспособленных к общежитию, отравляющих себе и другим существование. Что непροститительно любящим матерям, должно ли прощаться любвеобильным педагогам?

Нередко можно услышать беспечное: зачем, собственно, учить жизни, она, жизнь, сама здорово учит. Учит — да! Но чему? Она может научить не только стойкости и благородству, но и отвечать на жестокость жестокостью, на оскорбление оскорблением, на подлость подлостью. Жизнь — стихия, и крайне неразумно надеяться, что слепая стихия способна подменить собой педагога.

Коля Корякин еще до выхода из школы применил в жизни науку любящего Аркадия Кирилловича...

А эту науку не менее старательно усваивали и другие.

Урок Аркадия Кирилловича в девятом «а» классе по расписанию был третьим...

4

До Коли не сразу дошло — он увидит мать!.. Осознал это, когда уже вышел от Сулимова. Нет, он не забывал о ее существовании, но она оставалась для него там, в прошлом, далеком и утерянном. Мать и отец — трудно представить более разных людей, но Коля также не мог представить себе их и поодиночке. Отца теперь нет, а мать скоро явится к нему. Умом понимал — странного тут ничего нет: мать жива, мать должна искать с ним встречи; но видеть ее и мириться, что нет отца, — противоестественно!

Всю миновавшую ночь он страдал за отца, любил его. Да, любил! Чем еще оправдать ему себя, как не любовью? Мать тут присутствовала где-то рядом, на нее уже не хватало у Коли ни страдания, ни любви. Наверное, в глубине души, в темном осадке, который он боялся потревожить — захлебнешься мутью! — даже пряталась досада на мать: из-за нее же он схватился за ружье.

Из-за нее... Но думать открыто он об этом не смел. Мать и ружье?.. Если кто и страшился ружья, то только она. И уж благодарить сына за то, что случилось, мать не станет, представить немислимо. А вот упрекать — да! А как раз это-то и нужно сейчас — не оправдание, а упрек! Любящий упрек! Никто на свете на такое не способен, только она, мама!

Конечно, она и простит, можно не сомневаться. Но простит она не только его — отца тоже. Как ей не простить, когда отец так страшно наказан. Как ей тоже не чувствовать сейчас себя виновной перед отцом, как не жалеть ей его. Мама! Мама! Какое счастье, что ты есть

на свете! Мама, одинаково с ним думающая, одинаково чувствующая, все понимающая гораздо лучше, чем он. Скоро увидятся! Они будут плакать вместе. Вместе — не один, значит, не так уж все страшно, значит, можно даже жить. Мама! Мама!..

Детский крик о помощи. Мама! — звук, с которого у человека начинаются самые первые отношения с родом людским. Мама! — извечное прибежище бессильных в несчастье. Изначальное для каждого существо, жизнь подарившая — мама!..

Еще не встретившись с матерью, Коля Корякин ощутил уже себя и не потерянным и не одиноким.

Перед ним распахнули дверь, и он переступил в неуютно-голую комнату с длинным столом посередине. Там замороженно сидела незнакомая женщина в зеленом кожаном пальто коробом, в нелепом берете, украшенном вишенками. Недоуменная тревога — зачем привели сюда? — еще не успела вспыхнуть, как Коля почувствовал на себе взгляд. Из чужой одежды смотрела мать, не похожая на самую себя — тускло-серое, усохшее лицо, обморочно неподвижные глаза. Она сидела и не шевелилась... Так вот, оказывается, как она выглядит без отца — бездомная, пришибленная, кем-то нелепо одетая. И Колю захлестнуло:

— Ма!..

Она качнулась вперед и не встала, так и осталась сидеть, подавшись всем телом, глядя снизу вверх, и взгляд ее ничего не выражал, кроме простенькой вины — вот встать не могу, ноги отказывают.

Он нагнулся, она порывисто обхватила, притянула его к себе. Замерли оба на минуту, он неловко согнувшись, она вытянувшись, прижавшись теплой мягкой щекой к его лицу, сотрясаясь от мелкой дрожи.

— Ма..

Руки матери обмякли. Натыкаясь то на стол, то на материны колени, он нащупал стул, сел напротив.

У нее в бескровных губах беспомощная, невнятная складочка, какая появлялась всегда, когда ждала возвращения отца, но в воспаленных глазах столь лютая боль, что нельзя терпеть — вот-вот закричишь.

— Ма... я не узнал тебя.

Она жалко улынулась, и тут наконец-то выступили тяжелые слезы, смягчили взгляд. Она поспешно наклонилась, засуетилась, отыскивая платочек, нашла и всем телом содрогнулась под просторным пальто, всхлинула.

— Меня Пуховы к себе забрали... Людмила-то ласковая баба. А то куда мне деваться? У Евдокии жить из милости — пронеси господи.

Наступило угрожающее молчание. Коля лихорадочно искал, что сказать матери — что-то обычное, пустяковое, — для большого разговора, где каждое слово понималось бы еще не родившись, каждое слово и ранило и исцеляло, нужен был разгон. Пустяковых слов не находилось, а молчание ширилось, как трещина на весенней льдине, того и гляди разнесет в разные стороны.

— Мам... Выругай меня, — попросил он.

Жалкая и глупая просьба срывающимся на стон голосом, нет, она не поняла, что счастье услышать сейчас материнские упреки, чем сердитей они, тем желанней.

— Я себя, себя, золотко, клянусь. Мне прощения нет — не тебе! Ежели на свете теперь и остался виновный, то я только, — с жаром, похожим на безумие, заставившим Колю сжаться от страха.

— Ты что, мам? Это же я! Я!

— Ты-ы? Не-ет! Другие — пусть, а ты сам не смей, не смей казнить себя. Другим-то где понять. Хватит того, что на тебя возведут. Не возводи сам...

— Да ты что, мам?

— И не за что тебе себя прощать. Он довел, а я, выходит, ему помогала.

Коля задохнулся:

— О-он...

Раньше времени в еще толком не начавшийся разговор ворвался он — отец!

— Не надо о нем, Колюшка, — передернулась мать.

Она уже жалела, что нечаянно обмолвилась. И выражение ее лица было откровенным: не то что неприятно вспоминать о нем, даже не то что страшно, а хуже — противно. У Коли похолодело внутри — мать не захочет разговаривать об отце, а он только об этом и мечтает. Только о нем и только с ней, в мире нет другого человека, с которым он мог бы поговорить об отце!

— Мам! — Голос его неестественно взвился. — Он много, мам, много нам плохого сделал. Но я ему — больше!

— Гос-по-ди! Зачем?.. — Она даже выгнулась от отчаянья. — Зачем его вспоминать? Забудь!

— Разве можно, мам?

— Что уж локти кусать... Река вспять не течет. Я себя перед тобой клянусь, а перед ним — нет! Совесть чиста. Сам лез и напоролся.

— Мам! На него теперь... Нам.. Стыдно же!

— На него-о... То-то и оно что он снова не виноват. Мы с тобой его виноватее. И всегда так получалось.

— Мам, уж сейчас-то нам его не простить?.. Да можно ли?..

— Колюшка, ты меня за другое попрекни — за то, что тебя не уберегла. А за него попрекать нечего. Он и мне и тебе, любушке, жизнь измолот. И захочешь забыть, да не получится.

— Но он же не всегда плохим был!

— Не помню хорошим.

— А канарейку помнишь?

— Какую канарейку, роденький?

— В клетке пела. Отец же принес.

По взбежавшим на лоб морщинам, по собравшемуся взгляду было видно — мать не притворялась, честно пыталась вспомнить, признавала эту канарейку важной и нужной для сына.

— Из прежнего, Коленька, помню страх один да колотушки, — с обреченным вздохом.

— Мам!.. — Коля говорил, сцепив зубы, сдерживая внутреннюю дрожь. — Мам!.. — Он сейчас решался на страшный вопрос, от которого, казалось ему, нельзя отмахнуться и нельзя увильнуть. — А он меня, мам... он разве совсем меня не любил?

Коля ждал, что мать содрогнется, а она лишь отвела взгляд и на минуту задумалась.

— Может, и любил, — просто, с какой-то усталостью призналась она. — Только бешеный любит — беги.

— Но он же любил! Лю-бил! — срывающееся прокричал Коля.

— Вся и беда-то, милушка, что от евойной любви бежать тебе было некуда. Мне бы надо лаз в огороде сделать, а я, дура, все крепилась огород-то.

— Он любил меня... Так и я его, мам... Я — его!.. Только теперь понял, что вот люблю, и все тут!

Анна подняла на сына глаза, и лицо ее стало медленно, медленно заливаться ужасом. Только теперь она начала понимать, что твори-

лось внутри у сына. До сих пор думала: сын казнится раскаянием, раскаивалась она и сама — рада бы повернуть все назад, да река-то вспять не течет. Только сейчас открылось — убийца любит убитого, это уже не раскаянье, это уже мука, считай, смертная, сильный и разумный не выдержит, а ребенок и подавно.

Онемение Анны длилось долго. Коля сидел и подергивался перед нею. Наконец мать пришла в себя, заметалась, закричала в голос:

— Будь он проклят! Будь он трижды проклят! Уж ладно, ладно, что я от него в жизни терпела! Меня — пусть! Но он же тебя до злодейства довел! Не сам же ты — он, о-он!! Сына родного на страшное толкнул! И все ему мало, он и после смерти измывается пуще прежнего! Лю-би-ил?! Да любовь-то его черная, на ненависти да на отраве замешана! Уж лучше бы просто ненавидел. От такой-то любви люди гибнут с муками мученическими! О-он лю-би-ил! Так любил, что ты за ружье схватился! Так почему после ружья за эту любовь цепляешься? Одумайся, Коленка! Выжги в себе отраву! Будь он проклят! Были ли на земле злодеи хуже его, чтоб и после смерти жить не давали?! Будь трижды он проклят!..

— Кричать не положено! — в приоткрытую дверь веско произнес сержант, приведший Колю на свидание.

Анна замолчала, ее колотила дрожь, щеки и лоб стали землистыми, веки опустились, губы дергались. Коля со сдвинутым лицом смотрел на мать тлеющими глазами, молчал.

— Ко-о-ля-а,— придушенно выдавила Анна,— одного прошу — не давай себе воли, не думай о нем, проклятом... Угар-то пройдет — все затянется. Не думай и не растравляй себя.

— Мам, я кровь видел...— тихо сказал Коля.— Его кровь...

— Ты сломаешься, и я не выживу. Себя не жалеешь, меня хоть пожалей. Одна я у тебя, и ты у меня один.

Коля замялся и вдруг сморщился:

— Нету, мам, нету!.. Ни к тебе нету, ни к себе... Только одного теперь я могу жалеть. Кровь его видел — как забыть?..

Анна обронила руки на колени, обмякла. Она сказала самое убедительное — издала материнский стон: «Пожалей меня!» И сын слышал его, но не внял. Другого сказать ему она уже не могла.

Они долго сидели друг против друга, избегая смотреть в глаза. Анна с усилием пошевелилась, попыталась подняться.

— Ноги чтой-то не держат... Одна надежда, Колюшка,— забудется. А ежели нет, то и жить зачем?

5

Мама! Мама! Какое счастье, что ты есть на свете! Мама, одинаково с ним думающая.

Нет ее. Она плакала, но не вместе с ним. Она ничего не смогла понять. А понять надо очень простое и очень важное: он теперь не враг отцу, теперь, когда отца нет, его уже не за что ненавидеть. Ненавидеть нужно Коле себя. Чем еще искупить страшную вину перед отцом, непоправимую вину, как не ненавистью к себе, как не любовью к нему?.. Но что толку, если он станет и любить и ненавидеть про себя, втихомолку, никто не заметит, никто не будет знать, никому не будет до этого дела. Он, Коля, должен доказать и себе и другим — не такой уж бесчувственный, а значит, и не совсем пропащий, его мог бы простить сам отец... Кто еще поймет, если не мать? И нет... Тогда можно ли ждать, что поймут другие? Мама! Мама!.. Не услышала.

Но был еще человек, который верил Коле, быть может, верил даже больше матери,— Соня Потехина.

Они знали друг друга всегда, всю жизнь. В глубоком, глубоком детстве, в запредельно для Коли далекие времена они встретились. Мать, спасаясь по вечерам от буйствующего отца, хватала сына и бежала к соседям, чаще всего вниз, к Потехиным. Матери жаловались друг другу, плакали, утешали, а маленький Коля с маленькой Соней играли на полу в куклы, иногда ссорились.

Потом эти набеги прекратились, то ли Коля подрос, его уже трудно было схватить в охапку и бежать, то ли скандалы стали так часты, что матери уже неловко стало постоянно беспокоить соседей. И Коля с Соней встречались только нечаянно на лестнице или во дворе, не разговаривали, даже не догадывались здороваться. Все в доме жалели Колю, мать Сони — тоже. Должно быть, тогда же начала его жалеть и сама Соня.

Они в один год пошли в школу, оказались в одном классе, но к этому времени уже стали совершенно чужие — просто мальчишка и девчонка, случайно живущие в одном доме. Да Коля вообще ни с кем не сходил. Он постоянно помнил, что все знают о скандалах в их квартире, считают его страдальцем. Он не похож на других — хуже, несчастнее! Если иногда и забывал об этом, то быстро напоминали... жалостью: «Горемычный ты, горемычный! Уж лучше бы тебя в детдом забрали, чем с таким извергом жить!» Коля завидовал всем и всех ненавидел. В школе он плохо учился, еле-еле перебирался из класса в класс, учителям грубил, от ребят сторонился, а временами с ним случались приступы бешенства, набрасывался на самых сильных. Чаще перед ним отступали — ненормальный! — иногда били.

А он испытывал мстительное наслаждение оттого, что плохой, что с ним не могут справиться учителя. Наверное, таким бы и остался на всю жизнь — завидующим, ненавидящим, наслаждающимся своим несчастьем. Но случилось неожиданное..

Был летний поход школьников шестых — седьмых классов по лесной речке Крапивнице, впадающей в большую реку. Такие походы сколачивал учитель физкультуры Андрей Михайлович — уходили на несколько дней, жгли костры, ночевали в шалашах, ловили рыбу, обедались ягодами. Но в тот раз случилось несчастье не столь уж и большое, но досадное. Соня Потехина, перебираясь через овраг, сорвалась и повредила ногу — вспухла щиколотка, нельзя ступить. Прервать поход? Сделать носилки и всем по очереди нести Соною по тропе через лес и болота до пристани? Кто-то вспомнил о байдарке — тащили с собой, чтоб поплавать на озере. Почему бы не спустить Соною вниз по реке на байдарке?..

Хороших байдарочников было всего трое — Игорь Шуляев, Коля Корякин и, разумеется, сам Андрей Михайлович. Но Андрей Михайлович не мог бросить одних ребят среди леса. С кем из двоих плыть, решить предоставили Соне. И она назвала Колю. Трех мальчишек послали по берегу на всякий случай, если понадобится какая-то помощь. Но берега Крапивницы были болотисты, и ребята шли стороной, весь путь Коля и Соня оставались вдвоем.

То был самый счастливый день в жизни Коли Корякина. День, перевернувший все.

На черной воде лежали согретые солнцем, глянцевитые листья кувшинок, над ними висели голубые стрекозы. Эти стрекозы внезапно возникали из чистого воздуха и так же внезапно исчезали — по капризу, словно каждая имела по крохотной шапке-невидимке: были да нет, не были и нате вам — мы тут. Она сидела впереди, ее голова туго

охвачена цветной косынкой, из-под косынки тонкая натянутая шея, золотистые завитки волос на ней.

Он как бы проснулся. До сих пор жил, и, казалось, долго жил, но не по-настоящему, в дреме, все вроде видел и все пропускал мимо, если не досаждало, не мешало, не раздражало. В тот день все кругом вдруг вспыхнуло для него — вода в реке бездонно-темна, небо над головой глубинно-синее, распирающее грудь, даже воздух, прозрачный воздух, которого никогда не замечал, стал ощутим, чувствуешь его вкус опьяняюще свежий, настоящий на речной влаге, на одурманивающих запахах можжевельных кустов. И в густой траве на берегу полыхали лиловым пламенем кулиги лесной герани. И эти нарядно-голубые стрекозы, готовые раствориться в любую секунду. Тихий мир стал буйным, радостно вопил вокруг, а Коля пребывал в изумленном испуге — исчезнет же, не может длиться долго.

Но догадывался — она! Пока рядом она, дреме не быть, цветы не слиняют, воздух не замутится. Она сама выбрала его — не Игоря Шуляева. Впервые Коля одержал над кем-то победу. Оторви сейчас руку от весла, протяни ее вперед — коснешься золотистых завитков на шее. Рядом...

Однако ж рано ли, поздно ли — кончится эта река, обнимающая байдарку, ее и его. Кончится река, кончится чудо, все станет по-прежнему. Он еще не представлял, как извилиста и длинна речка Крапивница, сколько неожиданного она ему подарит.

— Хорошо-то как! Век бы плыла и плыла...

Первый подарок — ей хорошо, не только ему.

А потом уткнулись в завал, и ему пришлось помогать ей выбраться из байдарки на берег. Второй подарок — она обняла его за шею не колеблясь, доверчиво. На речке Крапивнице и такое было возможно, позднее она его уже никогда не обнимала — стеснялись друг друга.

Они доплыли до большой реки, до пристани, но к тому времени Коля уже понял — их путь не кончен, может, даже никогда не кончится.

Но тогда-то и появился страх. Кто он и кто Соня? Опомнится и отвернется, зачем ей терпеть того, кого одни считают испорченным, другие жалким, несчастным? С ним никто не может дружить, с какой стати ей водить дружбу? Страх этот угнездился и не проходил. Всегда жило сомнение — стоит ли он внимания Сони? Коля навсегда заразился недовольством собой.

После путешествия по Крапивнице он день ото дня все больше привыкал к тому, что она рядом. Каждое утро начиналось с радости — сегодня опять увидит ее. Она его тоже увидит, он должен выглядеть красивым, без изъяна. Он старался быть к себе строг, ни в чем не давал уступок. Он стал хорошо учиться, набросился на книги, вспышки бешенства прекратились сами собой, учителя начали ставить его в пример, даже одевался он с придирчивостью, даже за походкой своей следил и боялся солгать по нечаянности хоть в малом — делал над собой все, лишь бы Соня не подумала о нем плохо. Она рядом, за это он перед ней в вечном долгу. Жить — значит нравиться ей.

Единственно что было ему не под силу — прекратить гнусные скандалы, в которых варился, о которых не переставая злословили все кругом. А Соня-то слышала... При встречах стыдно глядеть ей в глаза. И стал страдать за мать, и росла ненависть к отцу...

Ненависть к отцу и долг перед Соней — несовместимое, раздирающее. Не будь Сони, он бы терпел, никогда не осмелился бы схватиться за ружье. Но вот кровь на паркете, и стало уже не до Сони...

Он не вспоминал Соню, думал лишь об отце.

Вспомнил только теперь, после встречи с матерью. Не поняла мать, так могут ли понять другие?

А Соня?..

Соня никогда не походила на других. Соня поняла его тогда, когда он еще и сам себя не понимал. Соня — его совесть, Соня — вершина, до которой он мечтал дорасти. Как он смеет сомневаться в ней!

Но ему нужно убедиться в одном — Соня по-прежнему не отвернулась от него. Если он попросит о встрече, придет она на свидание или не придет?..

6

А Соня переживала перерождение...

С детства она была незаметной, за все девять лет в школе никогда и ничем не выдвинулась. Учителя не ставили ее в пример и, похоже, ни разу ни в чем не упрекнули. В любой девичьей компании она не была лишней, но если почему-либо не появлялась — не обижались, не упрекали потом: «Почему не пришла?» Ребята относились к ней по-товарищески, но без особого повышенного внимания — девчонка как девчонка, плохого не скажешь, не хуже других. Все знали, что к ней равнодушен Коля Корякин, но и это ни у кого не вызывало особенного удивления — обычное, все к кому-то равнодушно; к Соне Потехиной — что ж, вполне может нравиться. Поудивлялись в свое время на Колю — изменился парень, — но скоро привыкли. А Соня и тогда оставалась в стороне — не лезущая в глаза, добрая, покладистая, не хватающая звезд с неба.

И вот она стала героем класса. Славка Кушелев, ничему не верящий, во всем сомневающийся, первый признал ее.

Она права — ни на минуту не приходило сомнение. Соня сомневалась в другом — все ли признавали ее выстраданную правоту? Наверняка кто-то тайком с ней не согласен, кто-то колеблется, кому-то не по нутру ее неуступчивая решительность, недаром же от нее прячут глаза и поеживаются. Соня всех подозревала, со всеми держалась взведенно, в любом готова была видеть врага, наброситься на него — истовый вождь, не сомневающийся только в самом себе.

Класс с затаенным нетерпением ждал урока Аркадия Кирилловича, и он начался.

Знакомая фигура на привычном месте — потертый мешковатый костюм, неизменный галстучек, неизменная сутуловатость, пасмурно-спокойное лицо, уверенно-медлительные движения. Аркадий Кириллович был невысок ростом, но всегда вызывал ощущение крупноты, надежной прочности. И сегодня он выглядел как всегда.

За всеми учителями числились какие-то слабости, чаще безобидные, простительные, но тем не менее вызывавшие чувство снисходительности. Преподаватель истории Борис Георгиевич любил покрасоваться, и это выглядело иногда смешно. Добрая старенькая математичка Августа Федоровна была наивно доверчива, легко покупалась на трогательные истории Жорки Дарданеллы, не успевшего сделать домашнее задание. Физика Ивана Робертовича Коха за суровую требовательность звали за глаза Ваней Грозным... И, пожалуй, только за одним Аркадием Кирилловичем никаких слабостей не числилось. Случалось, подтрунивали, но не над ним, а над чрезмерно обожающими его девчонками.

Соня к таким чрезмерно обожающим не относилась, никогда не заходила шумным восторгом — ах-ох, какой человек! Она просто была убеждена — Аркадий Кириллович самый справедливый, самый умный из всех, кого она знает. Никто лучше тебя не поймет — сама не уловишь, что чувствуешь, а он уже находит для тебя точные слова, —

никто не даст столь толкового совета, никто из учителей так не обеспокоен за тебя, как он. Соня носила это в себе, не выплескивала наружу.

Но сейчас, увидев перед классом Аркадия Кирилловича, обычного, ничуть не изменившегося, Соня ощутила подымающийся по спине холодок. Она боялась Славки Кушелева, но Аркадий Кириллович есть Аркадий Кириллович, Славка перед ним — моська перед слонем. И почему Аркадий Кириллович должен думать в точности так, как она? Да и вообще можно ли представить, чтоб он объявил: Коля Корякин поступил правильно! Нет, нет, глупо надеяться, чтоб Аркадий Кириллович стал оправдывать Колю. А с ним не поспоришь, его, как Славку, двумя фразами не собьешь.

Соня никому не верила, не могла теперь верить и Аркадию Кирилловичу. Он еще не начал говорить, а Соня уже считала его своим врагом.

— У нас беда... — произнес негромко Аркадий Кириллович.

Соня напряглась до боли в затылке и замерла. Похоже, и весь класс напрягся и замер. Под кем-то простонал стул, с какого-то стола с грохотом упала ручка — и тишина, провальная тишина, заполненная далеким шумом города и невнятно-въедливым голосом учительницы биологии из соседнего кабинета.

— У нас с вами, не на стороне... Хочу спросить: кто ждал, что беда стряется?

Класс молчал, класс глядел, класс не шевелился. А Соня холодела — сейчас повернется к ней и спросит: ты-то ведь ждала, и что же?.. Да, ждала, но надеялась — все кончится само собой, по-хорошему.

Аркадий Кириллович не повернулся к Соне, не вспомнил о ней.

— Не ждали? Совсем ничего не подозревали?..

Молчал класс, глядел класс.

— Нет! Зачем притворяться перед собой — кой-что мы знали о жизни Коли Корякина, кой-какие подозрения у нас были!..

Класс молчал.

— Были. И что же?.. Да ничего. Совсем ни-че-го? Ни тревоги, ни малейшей даже взволнованности — покой! Почему?..

Аркадий Кириллович стоял перед классом, чуть подавшись вперед, чуть-чуть сутулясь — громоздко-нескладный, неподвижный и настороженный, чего-то ждущий; лицо с резко прорубленными складками обманчиво устало, запавшие глаза выдают — тревожны, ищущи, требовательны. Каждый, на кого падал их взгляд, смущенно опускал голову.

Соню же этот тяжелый взгляд обходил, она даже пыталась его поймать, вызываясь тянула шею. Ее корбило: знали? Да! А что могли сделать? Она, Соня, была всех ближе Коле. Всех! Всех! Но даже она ничего не могла, а уж другие-то и давно.

— Почему?.. — повторил Аркадий Кириллович. — Ничем тут не объяснишь, как только — этот человек был для нас чужим. А зачем влезать в чужое? В чужое даже нескромно вглядываться... Разве не так?

Соня уже напряжинилась, чтоб вскочить: «Не чужой! Нет! Уж мне-то не чужой! А что я могла?..» Но Аркадий Кириллович продолжал:

— Но, может, к Коле Корякину вы почему-то относились хуже, чем к другим? Он для всех чужой, все остальные друг другу — свой?..

На этот раз не дал крикнуть Соне Стасик Бочков. Многолетний староста класса, он считал своим святым долгом защищать свой класс, всегда это делал.

— К нему, как ко всем, ничуть не хуже,— внушительно произнес он.

— Ага! — подхватил Аркадий Кириллович.— Ко всем относились, как к Коле Корякину. Выходит, все чужие среди чужих?

И Стасик Бочков не ответил, только пожегил под взглядом Аркадия Кирилловича.

— Случись несчастье — не пожалеют, нужна помощь — не отзовутся. Чужие кругом! Неуютная жизнь...

Из Сони рвалось готовое возражение: «Да разве не бывает, когда и свой своему не поможет?!» Но снова она промедлила, раздался вкрадчиво-вежливый голос Славки Кушелева:

— Можно вопрос, Аркадий Кириллович?

— Нужно.

— А вы, Аркадий Кириллович... вы ничего не знали о том, как живет Корякин Коля?

— Знал, Слава.

— Тогда почему вы...

По классу пробежал нервический шорох.

— ...почему вы сами, когда еще не поздно было?..

Славка Кушелев недоговорил, а шорох пробежал и смолк — ясен вопрос.

Аркадий Кириллович с трудом выпрямился, оглядел притихший класс.

— Потому, Слава Кушелев,— заговорил он спокойно, с угрюмо-спокойным лицом,— что я оказался не более чутким, чем вы. Да!.. И сужу себя сейчас сильнее, чем вас.

Похоже, что за все девять лет учебы никто из сидящих перед Аркадием Кирилловичем учеников не слышал, чтоб учитель открыто обвинял сам себя. Класс подавленно молчал, класс не шевелился. Даже Соня забыла в эту минуту о своей настроенной враждебности, испытывала сочувствие, почти жалость.

— Я сужу себя за то,— жестко продолжал Аркадий Кириллович,— что много говорил вам о Наташах Ростовых, раскольниковых, чичиковых и собакевичах и забывал сказать о вас самих... Я сужу себя за то, что верил красивым и обманчивым правилам, невольно обманывал ими вас!..

— Вы? Обманывали?! — удивился Слава Кушелев.

— Получается, что так.

— В чем, Аркадий Кириллович?

— Помните, я вам говорил: будьте непримиримы ко всякой подлости и не ждите, что кто-то разделается с ней за вас?.. Красивые слова, не правда ли? Благородные...

— Они — обман?! — Едва ли не гнев в голосе Славы Кушелева.

— Благостный, Слава, оттого опасный.

— Но почему? Поч-чему?!

— Потому что действуй сам и не жди ни от кого помощи — значит, действуй в одиночку. А человек, Слава Кушелев, в одиночку слаб, подлости не осилит.

И тут наконец-то Соня вскочила с места.

— А я не хочу, не хочу каждого считать своим! — с режущим звоном в голосе.

7

Аркадий Кириллович, подавшись вперед тяжелым изборожденным лбом, вглядывался в Соню.

— То есть не каждый тебе нравится? — спросил он.

— А вам — каждый? Да не правда же это, Аркадий Кириллович!

И вы подлецов ненавидите! И я! И Славка! И все другие! Только все мы слабы — тряпки! Решиться не можем!

— Не можем решиться на что, Соня?

— На справедливость!

— Как Коля Корякин?..

— А как еще избавиться от подлецов?! Перевоспитывать?.. Могли Коля перевоспитать своего отца? А мы, если б плечо к плечу, перевоспитали бы? От пьянства его отучили бы, бешеный характер ласковым сделали? Да смешно это, Аркадий Кириллович! Чужие среди чужих. Нет! Нет! Не чужой мне был Коля! И вы об этом знаете.. Не чужой, а вот помочь ему не могла. И никто бы не помог. А уж кучей-то и подавно. Перепугались бы все, перетрусили, повисли бы на руках Коли, обсуждать начали... А отца-подлеца, который в могилу Колину мать вгонял, оставили бы — живи, зверствуй дальше! Нет, верно, верно вы нам говорили: нельзя рассчитывать на других, сам воюй с подлостью! Только вот как до настоящей войны дошло — перепугались вы, теперь от своих же слов отрекаетесь: не надо было братья за оружие! Сдаваться надо?.. Стыд-но! Стыд-но!..

Чуть сутулясь, по-прежнему пасмурно-спокойный, Аркадий Кириллович разглядывал исподлобья Соню, только тяжелей обвисали складки на лице.

— Продолжай,— попросил он.

— Я все сказала!

— Нет не все. После твоих слов напрашивается вывод: поступайте по примеру Коли Корякина, убивайте своих отцов, братьев, если вдруг по какой-то причине их станет трудно терпеть. Ничего себе призыв.

Соня вызывающе дернула подбородком:

— Гоголь призывал, Аркадий Кириллович. Почему же вы его никогда не осуждали?

— Гоголь?!

— Как он показал — Тарас Бульба сына убил. За что? Своим изменил. А отец Коли не изменил? Он человеческому изменил! Он хуже Андрея, какое сравнение! Тарас Бульба — герой, Коля Корякин — преступник?!

Аркадий Кириллович молчал, а класс затаенно шевелился — все пригibasились к столам, жадно поводили глазами то в сторону Сони, то на учителя. Темные и светлые шевелюры, свежие лица и общее выражение напряженной затаенности столкнулись с таким, чего еще никогда не случалось в их короткой жизни, о чем приходилось только читать в книгах. Тарас Бульба, убивший сына,— такое далекое, неправдоподобное, почти сказка, и вдруг сейчас!..

— Случайно ли, Соня,— заговорил Аркадий Кириллович,— никто в жизни не повторил подвига Тараса Бульбы? Что было, если б такое вошло у людей в привычку?..

— Значит, Бульба не прав? Значит, он должен был простить сыну предательство? Предай свой народ ради сына?! — негодующий звон в голосе Сони.

— Народ... Один защищал народ, другой — все-таки много меньше — себя да мать. А за то и за другое — человеческая жизнь. Оправданно ли, Соня?

— Если б можно... Да стал бы он отца... Другого выхода нет — значит, смирись, пусть сбесившийся алкаш мать родную на твоих глазах в гроб... Подонку удовольствие, а — счастье двоих людей отдай! Это оправданно, Аркадий Кириллович?

— Ты считаешь, что Коля спас и свое счастье и матери?

Разгоряченная Соня впервые споткнулась, ничего не ответила.

— Спас мать — остается одна-одинешенька с веселыми воспоминаниями о пролитой крови. А самого что ждет? Вот оно, счастье ценой убийства...

Аркадий Кириллович говорил и понимал — нет, молчание Сони не отказ от убеждений, лишь легкое замешательство. Она воспалена, она сейчас безумна. Эх, если б безумие могло внимать словам!.. Аркадий Кириллович рассчитывал, что его постараются понять другие, кто меньше воспален, сохранил способность слушать.

И снова раздался голос Славы Кушелева:

— Аркадий Кириллович! Вы считаете, что счастье убийством — никогда, ни при каких случаях?

— Считаю. Счастье и убийство несовместимы.

— Вот для меня, как для всех, самое большое счастье — это жить на свете. А на меня вдруг в темном углу какая-нибудь, простите, сволочь с ножом... Так не отдам ему жизнь, нет! Постараюсь его... Если мне придется его пристукнуть, что же вы мне скажете: не имел права — убийством?

— Право убивать не имели ни он и ни ты. Он его нарушил, а ты защищал право на свою жизнь. Ты защитник жизни, если даже и прикончишь бандита.

И Слава бурно восторжествовал:

— Аркадий Кириллович! Вы очень, оч-чень хорошо сказали: можно убить и стать защитником жизни! Так это же и Колька сделал — убил ради жизни!

Аркадий Кириллович прицельно прищурился на Славу.

— Убить ради жизни... — повторил он. — Простая формула, м-да-а... Обещает простое решение. Опасно это, Кушелев.

— В любой точной науке разные неупорядоченные явления сводятся к простым формулам. Чем проще, тем лучше, наука только выигрывает, Аркадий Кириллович. Почему нужно бояться формул в обычной жизни?

— То, что ты называешь обычной жизнью, Слава, — многосторонней и сложней любой науки. Эта жизнь всегда наваливается на человека всем своим запутанным содержимым, где далекое неразрывно с близким, большое с малым, частное с общим. Простая формула не охватит всего. Тысячи лет религия подсовывала людям простые формулы — и много ли пользы?

— Но эта-то формула не религиозная! — возмутился Слава.

— Верно, религия подсовывала формулу — не убий, ты — убивай. Неужели лучше?

Слава вдруг подобрался, его широкое скуластое лицо посуровело.

— Аркадий Кириллович! — Он даже задохнулся от торжественности. — Это формула не моя. Ею — да, убить ради жизни, ради лучшей жизни! — пользовались Желябов, Перовская, Степан Халтурин! Теперь о них пишут книги, изучают на уроках истории...

— А книги и уроки истории тебе разве не говорили, Слава, что их исходные формулы были ошибочны, а путь безрезультатным?

— Совсем безрезультатным? — Слава еще более посуровел. — Ну нет, Аркадий Кириллович! Что-то они все-таки сделали. Все-таки история считает их героями, а не преступниками. История, Аркадий Кириллович! Есть ли справедливый судья?

Аркадий Кириллович распрямился, казалось, вот сейчас-то он и скажет свое — решающее, опрокинет Славу Кушелева, поставит точку. Но Аркадий Кириллович разглядывал Славу и молчал. А класс ждал, началось нетерпеливое ерзанье, покашливанье. Слава Кушелев выдерживал тяжелый взгляд учителя, не опускал глаз. А в стороне,

над классом забыто стояла Соня Потехина и тоже жадно вглядывалась в Аркадия Кирилловича.

Неожиданно обрушился звонок. Аркадий Кириллович опустил глаза и ссутулился. Класс зашевелился смелее, еще более нетерпеливо, но никто не вскочил с места, продолжали глядеть на Аркадия Кирилловича, ждали от него ответа.

За стеной в коридоре захлопали двери, школа сразу заполнилась бодрым водопадным шумом начавшейся перемены. И только тогда, не подымая глаз, Аркадий Кириллович заговорил:

— Если этот случай с Колей Корякиным пройдет сейчас мимо вас, никак не изменит, то вы — нет!.. вы не будете по-настоящему счастливы в жизни. Плохо жить чужим среди чужих. А если вы, несчастные, еще броситесь добывать себе счастье... убийством, плохо будет не только вам — всему миру... Можете идти. Вы свободны.

Все шумно поднялись над столами, но только один Вася Перевощикова ринулся было к двери и замер на подороге. Класс стоял и глядел на Аркадия Кирилловича. Он, казалось, сейчас стал меньше ростом, не крупный, не массивно-прочный — сгорбленный, и руки суетно застегивают замок портфеля... Он вышел, не прикрыв за собой дверь.

— Ты его победил, старик, — подавленно бросил Славке Стасик Бочков.

— Похоже, что так, — ответил Славка Кушелев озадаченно и тревожно.

Все разом зашевелились, заговорили...

У Сони Потехиной все еще цвели пятнами щеки, а глаза недобро, зéлено тлели.

8

Соломон и Данила вышли от Сулимова в полном убеждении: глаза не открыли, отклика не нашли, слава богу, что сами дешево отделались — не накричал, не прицепился.

Но они сильно ошибались. Сулимова после их ухода охватило приподнятое беспокойство — похоже, запахло жареным!

Многие люди в течение нескольких десятилетий громоздили поступочек на поступочек, сооружали преступление. Кто-то из этих людей давно исчез и забыт, но кто-то и до сих пор жив-здоров, даже признается и раскаивается в невольном участии. И ни одного из этих людей нельзя поставить перед лицом правосудия — не ведали, что творили. Обвинять их так же нелепо, как обвинять молнию, спалившую дом, ураган, потопивший корабль, снежную лавину, похоронившую под собой путников, — явление столь же стихийного порядка. Приходится обвинять лишь несчастного мальчишку — отвечай за всех!

И вот в цепочке безвинно виноватых проступает фигура ни на кого не похожая, настоораживающая.

Никто из одобрявших преступление не делал это ради собственной корысти. Илья же Пухов наливался, как присосавшийся клещ, и, как клещ, распространял заразу.

Никто не ведал, что творит. Илья Пухов не мог не сознавать, что его опека растлеивает Рафаила Корякина. И надо быть полным идиотом, чтобы совсем не подозревать об опасных последствиях.

Ничью вину не подведешь ни под какую статью уголовного кодекса, а вина Пухова осязаема, вполне доказуема, обвинению подлежит.

Если перед судом предстанет один мальчишка, то вряд ли суд станет вникать глубоко, в самые корни. А вот если рядом окажется зрелый, опытный, корыстолюбивый человек, сам лично преступления не

совершивший, но способствовавший ему, то уж придется рыть в глубину, вскрывать незримое.

При вскрытии же потаенных корней часть вины с мальчишки снимется.

Пухов именно тот, кто нужен и обвинению и защите. Если, конечно, в сведениях Соломона и Данилы есть какая-то доля правды. Если Пухов и в самом деле сознательно спаивал Корякина. Если он при этом имел корыстные цели.

Если... Множество «если», которые Сулимову необходимо самым придирчивым и беспристрастным образом проверить и перепроверить, не доверяясь весьма непочтенным свидетелям.

«Запахло жареным», но этот запах может быть и наваждением. Однако Сулимов воспрянул: надо действовать, и немедленно! Очень, например, интересно узнать, потрясен ли Пухов неожиданной смертью столь давнего друга. Позднее этого уже не узнаешь.

Сулимов решил свалиться на Пухова.

Он примерно таким себе его и представлял. У этого человека было все умеренно, приглаженно, ничто не бросалось в глаза — полноват без дородства, прост лицом, лысоват со лба, добродушен, но не угодлив, взгляд мягкий, не увиливающий и не прилипчивый, голос приглушенный, с легким, неназойливым достоинством. Такие люди вызывают уважение, но не западают в душу, не запоминаются. Они не взлетают высоко, однако, угнездившись где-то, устраиваются прочно и обстоятельно.

Сидели в маленьком кабинетике — чистый закуток со столом, и даже второго стула для посетителя не было, чтоб усадить нежданного гостя, хозяин притащил откуда-то складное легкое креслице.

— Вы давно знали Рафаила Корякина?

— С молодых лет. — Ответ без спешки и без раздумий, без настояренности.

Сулимов решил его озадачить:

— С того времени, как его собака порвала ваши штаны?

Пухов действительно был озадачен, своего удивления скрывать не стал.

— Откуда вам это известно? Даже я сам забыл.

— Вы в самом деле отравили его собаку?

Сокрушенное покачивание головой.

— Странно, — сказал Пухов, — поселка самого давно нет, люди, которые в нем жили, или вымерли, или разъехались, а вот сплетни остались.

— Вам их легко опровергнуть. Готов поверить на слово.

— Если так важно, отвечу — да, сделал. Кто-то же должен был от этой злой твари поселок избавить.

— Вы так и объяснили тогда Рафаилу Корякину?

Пухов туманно усмехнулся.

— Что вы, разве можно! Тогда этот сопливый мальчишка с ножом же в кармане ко мне пришел. Ну а я все сделал, чтоб он этот нож не выдернул... Правда, потом все двадцать восемь лет ждал — все же выдернет того гляди. Такой уж человек.

— Почти тридцать лет ножа ждали и дружили?

— Чего не было, того не было. Знакомы близко — да, а дружить — ой ли.

— И тем не менее всю жизнь вместе. Куда вас переводили, там сразу оказывался и он. Преследовал вас, что ли? Отделаться от него не могли?

— Мог бы...

— И что же мешало?

— Я же в нем талант открыл. Можно сказать, мастер Корякин — мое произведение.

— Из любви к таланту держали его возле себя?

— Вы наш механический завод знаете? Теперь уже считается старым заводом, а с него моя биография началась. Эвакуировали его сюда в сорок втором, поставили станки под чистым небом, вокруг стали фундаменты рыть, стены возводить. Вы думаете, только на фронте тогда гибли люди,— и здесь умирали от холода, голода, от натужной работы. Особенно те, кто не выматерел,— шестнадцатилетние. Ну а я уже чуть постарше был, выдюжил, в бригады попал. Сразу после войны мы крыши новых цехов железом крыли и красили. Тут-то и столкнулся с Рафаилом, к себе затащил, метил в подсобники, но увидел — у дурного парня ловкие руки. Так вот я первый ему удивился, первый его оценил. Признаюсь, самого Корякина никогда не любил, зато его талант — да, всегда...

— Любили, и бескорыстно? — подкинул Сулимов.

Пухов снова понимающе усмехнулся:

— Часто ли без корысти любят? Даже от бабы всегда ждут — награждают за любовь. А ведь я человек практичный, и бригадиром был и прорабом, всегда в пиковом положении, всегда с чем-то зашиваешься — возле должны быть молодцы, на которых закрыв глаза положиться можно. А Корякин, ежели половчей толкнуть, за десятерых мог сделать. Корыстовался от него.

— Но за такую корыстную любовь он, верно, требовал свою корысть?

— Само собой.

— Какую?

— Давал ему хорошо заработать.

— Левыми путями?

— И левыми,— спокойно согласился Пухов.— Не судите строго. Мы же все тогда на карточках сидели, пайка хлеба да столовская баланда — ноги протянешь. Не упустили случая прихватить работенку на стороне. Да и теперь ею не брезгуем. Корякину, видите ли, мало быть сыту, еще пьян быть должен, без того никак не мог.

— Когда он начал пить?

— Право, не знаю.

— Не с той ли поллитровки, которую вы поставили перед ним за отравленную собаку?

— Эх-хе-хе! Да он ко мне явился уже зарядившись, в самом, что называется, боевом настроении был.

— И все же не кто другой, а вы помогали Корякину не только быть сыту, но и пьяну тоже?.. Все двадцать восемь лет знакомства!

— Хотите сказать — все эти годы я его спаивал?

— Буду рад услышать, что это не так.

Прямой взгляд в зрачки Сулимову, прямой и обиженный:

— Поразмыслите: зачем мне его спаивать? Разве с трезвым и вменяемым не легче иметь дело? Разве неизвестно вам — коль Корякин пьян, то и буен без удержу? И не зря же я боялся, что нож выхватит. Все двадцать восемь лет он пил, все двадцать восемь лет приходилось быть начеку. Для меня было бы счастье великое, если б он забыл про водку. Спаивать его можно только во вред себе.

— А давайте иначе взглянем, товарищ Пухов. Вы любили талант мастера Корякина, как сами признались, любили не бескорыстно. Но этот нужный талант мог принадлежать вам лишь тогда, когда Корякин находится в полной от вас зависимости. И чем больше Корякин пьет, тем больше он нуждается в деньгах, а значит, и в выгодных за-

казах, которые, увы, без вас достать не умеет. Выгодные заказы для Корякина явно выгодны и вам, Пухов. Так ведь выглядит реализация корыстной любви к его таланту. В ваших прямых интересах, чтоб Рафаил Корякин пил. Конечно, сами вы его не поили, но условия создали и боялись, что перестанет. Как вам нравится такая логика, Пухов?

Пухов невозмутимо потянулся к папке на столе, вытянул из нее несколько скрепленных листов.

— А как вам понравятся эти бумаги? — спросил он, протягивая их Сулимову. — Вглядитесь — Корякина только вчера не стало, а я уже оформляю человека на его место. Давно был на примете. И, учтите, непьющий.

Сулимов повертел перед собой бумаги.

— То есть Корякин легко заменим?

— Вот именно, а потому ваша логика, простите, построена на песочке. Спаивать мне Корякина, чтоб удержать при себе, нянчиться с буйствующим ради выгоды — не слишком ли хлопотно? Да неужели за тридцать-то без малого лет я не мог подыскать себе не менее хорошего и выгодного мастера, зато более покладистого? Уж, по крайней мере, без ножа в кармане?

На лице Пухова ни затаенного торжества (вот как вас опрокинул!), ни насмешки с издевочкой (что, укусил?) — лишь вежливое терпение наставника, доказывающего азбучное. «Или чист, или умеет здорово лиять», — подумал Сулимов.

— Вам знакомы некто Пашка по прозвищу Козел и Венька Кривой? — спросил он.

— Знакомы, — слегка насторожился Пухов.

— Что это за люди?

— Ничего хорошего, опустившиеся алкаши.

— Однако они работали у вас.

— Да, пока один совсем не спился, не был увезен в больницу.

— А какого склада люди, ныне работающие у вас, — Соломон Рабинович и Данила Клоповин?

— Примерно такого же.

— Они были приняты вами вместо спившихся Пашки и Веньки. Вместо алкашей — алкаши. Почему именно с прежними изъянами?

— Приходилось специально подыскивать таких.

— Чтобы могли исполнить обязанности собутыльников для Рафаила Корякина?

— Именно.

— И после этого вы пытаетесь уверить — не спаивали Корякина, не в ваших интересах!

— Скажите, — впервые резко обратился Пухов к Сулимову, — могли ли я прекратить пьянство Корякина? Медицина не справляется с такими! От пьянства избавить его не в силах моих, зато оберечь от неприятностей хоть и трудно, но в моих! Беды не оберешься, если б Корякин стал пить с кем попало, драки, поножовщина, всякая шваль, постоянно крутящаяся возле цеха в ожидании выпивки. Было такое, пока меры не принял, — пусть пьет с теми, кто на скандалы Корякина не ответит и от набегов со стороны цех оградит. Спаивать я не спаивал, а мириться с пьянкой Корякина — да, приходилось.

— До чего же неудобен для вас был Корякин.

— Еще тот пряник медовый.

— И заменить его было можно.

— Можно-то можно, да кой-что и останавливало.

— Что же?

Пухов насупился, отвел глаза.

— Одна мысль: оторвись он от меня — совсем сойдет с круга.
 — Так вам все же жаль его было?
 — Как-никак почти тридцать лет знакомы. А потом — семья у него... И так уж старался семье помогать, с моей помощью половина денег шла мимо Корякина в семью.
 — Тяготились Корякиным, а добрые чувства испытывали?
 — Вам это кажется невозможным?
 — Я-то готов поверить в такую возможность, но поверят ли в прокуратуре? Они ведь тоже задумаются, что держало Корякина возле вас. И в ответ услышат — добрые чувства. Поставьте себя на их место — как поверить столь прекраснородушному ответу?

Пухов уставился в стол, долго молчал.

— Да... Да... — заговорил он. — Поверить трудно... Но, пожалуй, другого-то ответа у меня не найдется. Не любил его, тяжел, отделаться хотел, а не решался... Уж очень отчетливо видел, что будет после... Призадумался — кровь стынет.

— А того, что случилось, не ожидали?

— Этого — нет, но знал: рано ли поздно что-то стрясется... страшненькое.

Сулимов больше ничего не выдавил из Пухова. А это настораживало — так ловко выворачивался до сих пор и вдруг застопорил. Какая-то странность...

9

Аркадий Кириллович, нахохленный, темнолицый, разглядывал всех запавшими, потаенно тлеющими глазами. Он только что скупно, в жестких выражениях изложил свое поражение в девятом «а».

— М-да-а... — промычал директор. — Самокритика...

— Есть болгарская пословица, — медлительно произнес Аркадий Кириллович. — Плохой человек не тот, кто не читал ни одной книги; плохой человек тот, кто прочитал всего одну книгу. Опасны не полные неучи, опасны недоучки. Мы прочитали ребятам даже не книгу о нравственности, всего-навсего первую страницу из нее. И вот натыкаемся...

— М-да-а... — изрек директор и прочно замолчал.

В директорском кабинете пять человек. Завуч старших классов Эмилия Викторовна, иссушенная экспансивностью, еще не очень старая, но уже безнадежная дева, фанатически преданная школе. Физик Иван Робертович Кох, парадный мужчина с атлетическими плечами, с густыми, сросшимися над переносицей бровями. Преподавательница математики, старенькая, улыбчивая Августа Федоровна. Аркадий Кириллович. И сам директор Евгений Максимович, жмурящийся в пространство, поигрывающий сложенными на животе пальцами.

Такие узкие совещания у директора, которые решали вопросы до педсовета и помимо педсовета, в шутку назывались «Могучей кучкой». Чем меньше «кучку» собирал вокруг себя Евгений Максимович, тем конфиденциальнее совещание. Сегодня собрались внезапно и в малом числе, меньше не бывало.

Как и следовало ожидать, взорвалась Эмилия Викторовна:

— Аркадий Кириллович! Зачем?! Себя же топчете! И с ожесточением!.. Себя и нас заодно!

— Вы считаете, нам следует петь аллилуйю? — проворчал Аркадий Кириллович.

— Не да-дим! Да, да, вас не дадим в обиду! Защитим вас от... вас же самих!

У Эмилии Викторовны не было никого и ничего, кроме школы, а потому она всегда находилась в состоянии ревнивой настороженно-

сти — как бы кто не согрешил против родной школы, даже в помыслах. И если врагов у школы не было, она их изобретала. Аркадий же Кириллович для нее давно стал нервом школы, ее совестью, ее становым хребтом. Эмилия Викторовна его уважала куда больше, чем директора, человека нового, свалившегося на готовенькое. Аркадий Кириллович напал на школу — это выглядело черным предательством.

— Откуда вдруг у вас эта уничижительная теория: создаем — о господи! — нравственных недоумков?! Впрочем, понятно — от прискорбного случая она!.. Одумайтесь, мы-то тут при чем? Что мы могли сделать? Папу Корякина исправить? Да смешно же, смешно! Применять педагогическое влияние прикажете... на того, кого давно бы должна прибрать милиция! Преступный элемент не в компетенции школы. Случайно, совершенно случайно в нашей школе оказался ученик несчастной судьбы, с таким же успехом он мог учиться в любой другой школе города!

— А признание его поступка нормальным и даже полезным всем классом — всем! — тоже случайность? — спросил Аркадий Кириллович.

Эмилия Викторовна всплеснула руками:

— Да разве вы, Аркадий Кириллович, по-своему не оправдываете несчастного мальчика? А у нас у всех разве не сжимается сердце от сочувствия к нему? Ну а товарищи по классу разве бесчувственны?.. Потому и оправдывают его поступок, защищают как могут. Нравственное уродство в этом видите?.. Ну не-ет, Аркадий Кириллович, никакого уродства — нормальные дети! Может быть, только с молодыми заскоками. Слава Кушелев — потенциальный убийца?! А Соня Потехина?! Бог ты мой! Опаматуйтесь, Аркадий Кириллович! Не смешите нас. Больное это. Достоевщина. Откуда она в вас? Не замечалось раньше.

— Эмилия Викторовна, вы когда-нибудь сомневались в себе? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— В себе — да. Но в вас, в вас, Аркадий Кириллович!.. Нет, никогда не позволяла себе!

— Сейчас самое время.

— Не могу! Пришлось бы сомневаться в школе. Для меня школа — это вы.

— Вот и я предлагаю — спасем школу.

— Спасем, Аркадий Кириллович, наше прошлое, наш многолетний труд, наши признанные успехи! Или их у нас совсем нет?

— Успехи — в чем?

— Словно вы сами не знаете.

— Знаю — нас славят за нравственное воспитание.

— И случай с Колей Корякиным не перечеркнет их! Нет и нет, Аркадий Кириллович!

— Случай — убийство! Отвернемся от него и от того, что класс это убийство оправдывает, будем же и дальше втолковывать красивые нравственные понятия. Не чудовищная ли это безнравственность, Эмилия Викторовна?

— Вы... вы считаете меня?..

— Считаю, — отрезал Аркадий Кириллович, — что вывод напрашивается сам собой.

Эмилия Викторовна обвела всех изумленно-горестным взглядом. Все неловко молчали, лишь директор Евгений Максимович по-прежнему жмурился, как ухоженный ленивый кот, которому приходится присутствовать при семейной ссоре.

— Нет слов! — изрекла Эмилия Викторовна и отвернулась.

— У меня к вам вопрос...— Иван Робертович сосредоточенно слушал, сосредоточенно посапывал, усиленно хмурил грозные брови.— Вы недовольны своим прежним методом воспитания. Не так ли?

— Недоволен.

— Что же, хотите совсем отказаться от него?

Если Эмилия Викторовна была всегда горячей сторонницей Аркадия Кирилловича, поддерживала, помогала, шумно его славилась, то Иван Робертович Кох относился с полным бесстрашием, оставался в стороне. Он со страстью верил лишь в одно — в физику. Она сейчас пробивается к основам основ мироздания, к тому первичному, из чего складывается все — атом, молекула, мертвый минерал, живая клетка, организм и столь странный человеческий орган — мозг, заключающий в себе интеллект. Физика — это наука наук, все остальные уходят корнями в нее, она начало начал пестрых и путаных человеческих представлений, в ней истоки бытия. А потому Иван Робертович просто не обращал внимания на «суетную возню Аркадия Кирилловича вокруг примерного поведения», считал важным для себя раскрыть тех, кто способен стать новыми жрецами всеохватной науки. Славе Кушелеву он не колеблясь мог простить все за то только, что тот обещает быть жрецом незаурядным. Никто не ждал, что Иван Робертович заговорит, думали — как всегда, останется в стороне, отмолчится.

— Так хотите отказаться от прежнего? — повторил он.

— Совсем — нет, — ответил Аркадий Кириллович.— Но этого теперь крайне недостаточно.

— И у вас есть что-либо предложить? Что-то конкретное, хотя бы прикидочно, в виде гипотезы?

— Ничего, кроме убеждения, что нельзя удовлетворяться прежним, надо искать новый выход.

Иван Робертович густо крикнул.

— Не хотите отказаться от старого, не предлагаете ничего нового. Тогда, простите, что же, собственно, вы имеете? Чему мы все должны верить?

— Одному, — твердо произнес Аркадий Кириллович.— Предостерегающим фактам.

— Положим, я в них поверил — и что же?..

— Если поверите, что убийство Коли Корякина не простая случайность, значит, не сможете существовать спокойно, станете искать, в чем причина.

— А если причина окажется... гм!.. скажем, не школьных размеров, нам не по зубам, что делать тогда дальше?

— Давайте сначала ее найдем, а уж потом будем думать, что дальше.

Иван Робертович поиграл бровями, удовлетворенно кивнул:

— Логично.

Он только в том и хотел убедиться — нет ли просчета в логике. А потому снова замкнулся в бесстрастном молчании, не выражая желания обрекать себя на беспокойное существование, искать роковую причину, которая, может статься, будет еще «не по зубам».

С усилием разогнулась Августа Федоровна, уставилась кротким старушечьим взором в Аркадия Кирилловича.

— Аркашенька, — протянула она сокрушенно, — ты сколько лет до этого искал?..

Старый, старый друг. Четверть века назад она, еще не седая, не сутулая, встретила бывшего капитана Памятнова и заговорила с ним, как будто была знакома всю жизнь. И капитан запаса, еще не закончивший тогда пединститута, почувствовал сразу себя в школе своим

человеком. С тех пор его постоянно грела ее ненавязчивая доброжелательность. Впрочем, возле Августы Федоровны грелись многие, и каждый наверняка про себя думал — получает больше других.

— Наверяд ли, голубчик, теперь отыщется быстрее. За это время сколько мимо нас учеников пройдет! Для каких-то будущих придется стараться. А они, будущие, кто знает, какими окажутся, может, и воспитывать-то их не придется. Разбег у тебя долгий, да прыжок будет ли?

— Так что, Федоровна, — ничего не делать?

— То-то и оно, хотя знаю — тебе не понравится. Забыть надо историю Коли Корякина. И поскорей. Перемелется...

Аркадий Кириллович шумно пошевелился на стуле.

— Да ты не вскакивай, не кипятись, — остановила его Августа Федоровна. — Опасность, если она и в самом деле есть, мы уже не отведем. Считай, злая беда стряслась, после драки кулаками не машут. Толку никакого не добьемся, а порядок в школе растрясем. Зачем?

— Верно! Верно! — снова взмыла Эмилия Викторовна.

— Ах, верно! — Аркадий Кириллович вскочил с места.

Августа Федоровна безнадежно вздохнула:

— Эх-хе-хе! Ретивое взыграло.

— Забыть историю Коли Корякина! Забыть! Спрятать! Не было ее! Не удастся, Августа! От учеников уже не отнимешь ее, не запретишь им судить и рядить на свой лад. А вы слышали — извращенно судят, убийством усовершенствовать жизнь собираются. Так начнем с простого: объясним им, что извращение это!..

— Не заваривай кашу, Аркашенька, всем коллективом потом ее не расхлебаем.

— Августа... Чуткая, добрая Августа, что с тобой? Все силы ребятам отдаешь, всю жизнь для них — и не расхлебаем, пусть остаются духовно горбатыми.

— Не дави чирей, Аркадий, — по всему телу пойдет. Молодой организм сам справится — зарастет без следа.

И Аркадий Кириллович растерянно оглянулся:

— Педа-го-ги! На что надеетесь? Бог не выдаст, свинья не съест, само собой зарастет? Так зачем же вы тогда нужны, педа-го-ги?

— Ого! — пробасил Иван Робертович.

— Все получили, не только я! — восторжествовала Эмилия Викторовна.

Августа Федоровна страдальчески сморщилась:

— Не верю я в твои страсти-мордасти. Не верю, Аркадий! Из нашей школы ничуть не хуже других люди выходят.

Только один директор молчал, сидел откинувшись, поигрывал на животе пальчиками.

Но вот он пошевелился, расправился, всем корпусом повернулся к Аркадию Кирилловичу:

— Вы слышали — не верим! Не убедили! Может, вы приведете более веские доказательства, чтоб мы разделили ваш ужас?

— Какие доказательства, когда вас не убеждает отцеубийство, — удивился Аркадий Кириллович.

— Приведите хотя бы еще один пример столь же вопиющий.

— Такое часто не повторяется, Евгений Максимович.

— А раз не повторяется часто, то зачем подымать панику? Значит, имеем дело с явлением исключительным, не характерным. Для нашей жизни не характерным, для нашей с вами деятельности, Арка-

дий Кириллович. Не от нас пошло, от каких-то обстоятельств, случайно сложившихся помимо нас с вами.

— Всего однажды атомные бомбы разорвались над людьми, но тем не менее этот единичный случай дал повод для весьма реальной тревоги.

Евгений Максимович развел недоуменно руками:

— Коля Корякин — и атомная бомба! Ничего не скажешь — сокрушительный параллелизм... И все-таки даже он не доказывает, что школа подтолкнула своего ученика на отцеубийство. Это по-прежнему остается плодом вашего воспаленного воображения.

— Чувствую: вы тогда только мне поверите, когда снова и снова повторится нечто подобное. Но как раз этого-то я и не хочу допустить.

— Аркадий Кириллович, дорогой, — Евгений Максимович бережно дотронулся до его колена, — вы перевозбуждены, вы сильно потрясены, вам следует прийти в себя, отвлечься, немного отдохнуть, чтоб потом на все иметь возможность глядеть трезвыми глазами. Мой совет, Аркадий Кириллович, — возьмите отпуск, поезжайте в санаторий, путевкой я вас обеспечу.

— В санаторий?.. — хмыкнул Аркадий Кириллович. — С таким большим воображением. Не лучше ли вам меня упрятать в сумасшедший дом?

Евгений Максимович посуровел:

— Ну что ж... Будем называть все своими именами. Вы становитесь врагом, Аркадий Кириллович. Пока враждебность только к нам, здесь сидящим, — к Эмилии Викторовне, с которой прекрасно ладили многие годы, к Ивану Робертовичу, ничего не сделавшему вам плохого, к Августе Федоровне... Даже к ней, прошедшей с вами бок о бок через жизнь. Все мы для вас не педагоги, не гуманисты — некие злодеи, извращающие сознание детей! Сегодня вы нам, завтра это же бросите всему коллективу учителей, вызовете к себе враждебность. Хуже того — найдете себе каких-то сторонников, внесете раскол, разброд, нетерпимость.

— А вы хотите, чтоб я убеждал и не рассчитывал на сторонников?

— Я хочу, чтоб школа нормально работала, а не вела междоусобную войну.

— Но в том-то и беда — школа работает ненормально.

— Это вам одному кажется. Пока только одному!

— А вы собираетесь ждать до тех пор, когда это станет настолько очевидным, что все увидят в упор? Будет поздно что-либо предпринимать.

— Какое самомнение! Вы считаете себя единственно прозорливым, остальные слепы и непроницательны.

— Проницательней ли я других, нет ли, но случилось — я увидел опасность. Значит, из ложной скромности, чтобы не выделяться, я должен притворяться слепым?

На круглом лице директора проступила брезгливая гримаса.

— Ну так вот, — сказал он решительно, — школа не может взять на себя вину за Николая Корякина. Это был бы самоубийственный для нас шаг. Вы на него толкаете, мы станем от вас защищаться. И не думайте, что защита окажется трудной. Большинство учителей не пожелает поступиться добрым именем своей школы, возможностью покойно, без осложнений работать. Неужели вы надеетесь, что они с легкостью перечеркнут все прошлое, сломя голову ринутся за вами? Рассудите-ка.

Аркадий Кириллович на минуту задумался и согласился:

— Пожалуй что так... Если меня здесь не поняли... даже старые друзья, то почему должны понять остальные?

— И тем не менее это вас не останавливает?

— Вижу нависшую над учениками опасность и молчу... Нет! Не могу.

— Тогда не лучше ли вам сразу уйти из школы? Добиться вы ничего не добьетесь, а рано ли, поздно все равно кончится этим.

— Чем такая покорность лучше прежней?

— На что же вы все-таки рассчитываете?

— На то, что капля по капле камень точит. Ну а кроме того, буду искать себе союзников за пределами школы, создавать общественное мнение.

Директор невесело усмехнулся:

— Ну, в этом-то вы уж никак не преуспеете, могу вам гарантировать. Не кто иной, как вы в свое время сделали все, чтоб убедить общественное мнение — неоценимо важным делом занимается наша школа. Горюно постоянно ставил нашу деятельность в пример другим школам, на семинарах и конференциях проводились восторженные обсуждения, газеты хвалили нас взахлеб. А теперь по вашему слову поверни вспять, признайся во всеуслышание, что были доверчивыми дураками... Не наивничайте, Аркадий Кириллович.

— А вы, похоже, успели уже прощупать обстановку? — поинтересовался Аркадий Кириллович.

— Да, — просто признался Евгений Максимович. — Нигде не сомневаются, что преступление Николая Корякина ни прямо, ни косвенно со школой не связано. Вы с таким же успехом можете агитировать в свою пользу прохожих на улице.

Опираясь локтями в колени, навесив над полом тяжелую голову, Аркадий Кириллович долго смотрел вниз, не двигался. На него все глядели сейчас с сочувствием, даже не остывшая от негодования Эмилия Викторовна, даже невозмутимый Иван Робертович.

— Ладно, — разогнулся Аркадий Кириллович. — Думается, я все-таки найду себе трибуну.

Евгений Максимович безразлично пожал плечами. Все зашевелились. Тесное совещание «Могучей кучки» закончилось.

Он часто провожал Августу Федоровну до дома и сейчас шел рядом, придерживая легкий старушечий локоть, оберегая от слишком напористых прохожих.

Она говорила с привычной укоризной и непривычными нотками тревожной обеспокоенности в голосе:

— Несовершенен человек... Сколько тысячелетий вопят, Аркаша, и какими трубными голосами. И сколько крови пролита ради — совершенствуйся! А разрешима ли в принципе эта задача? Может, терзайтесь над некой нравственной квадратурой круга...

— Хочешь сказать мне, Августа: и ты туда же, со свиным рылом в калашный ряд?

— Не совсем то, Аркашенька. Педагог должен совершенствовать людей, тех, кого поручили ему, — конкретных Колю, Славу, Соню, Ваню, а не вообще всех оптом, не какого-то абстрактного общечеловека.

— А я что делаю? Не о Славе Кушелеве, не о Соне Потехиной обмираю, не их сейчас предостеречь хочу, а вообще, безадресно?..

— Обмираешь, голубчик, да, над Соней, над Славой. Но метишь-то найти такое, чтоб и Соню, и Славу, и любого-каждого, ближнего и дальнего, спасало от безнравственных поступков. Вообще хочет-

ся универсальную для всех панацею! Именно то, чего стародавние пророки найти не могли.

— Есть одна-единственная на все случаи жизни панацея, Август, — учитывай опыт, не отмахивайся, мотай на ус. Только опыт, другого лекарства нет! И за кровь, пролитую Колей Корякиным, за его безумие, его несчастье, которое мы не смогли предупредить, возможно только одно оправдание — пусть послужит всем, Соне и Славе, ближним и дальним. А ты желаешь, Августа, — забыть поскорее, остаться прежними, то есть вновь повторить, что было. Значит, ты враг Соне, Славе и всем прочим.

— Хе-хе! Если б опыт исцелял людей, Аркаша, то давным-давно на свете исчезли бы войны. Каждая война — это потоки пролитой крови, это вопиющее несчастье. Но ведь войны-то, Аркашенька, сменялись войнами, их опыт, увы, ни на кого не действовал. Наивный! Ты считаешь облагородить будущее лужей крови. Опыт... Я заранее знаю, что из такого опыта получится. Всполошишь, заставишь помнить и думать о пролитой крови, и школа превратится в шабаш. Да, Аркашенька, да, каждый начнет оценивать пролитую лужу на свой лад, делать свои выводы: гадко — справедливо, уголовник — герой, возмущаться — сочувствовать. Опыт учит: где свары и путаница в мозгах, там накаленность друг против друга.

— Но разве есть, Августа, другой путь к согласию, как не через выяснение мнений? Охотно тебе верю, что оно, это выяснение, может дойти до свар, до накаленности. Не осмеливаться на такое значит прятаться друг от друга. А уж тогда-то и вовсе о взаимопонимании мечтать не смей.

— Взаимопонимание... Ох-хо-хонюшки! Да это же и есть та самая проклятая квадратура круга. Тысячелетия доказывают — неразрешимо! А вот снова находится простачок, которому это, что козлу нотация — не лазь в огород. Лезешь! Упрям по-козлиному!

— Пусть даже квадратура круга. Разве эта заклятая задача не двинула вперед геометрию?..

Августа Федоровна обреченно махнула сухонькой ручкой и замолчала.

А мимо них с гроыханием и моторным рыком двигалась улица, начинался вечерний час пик: тупоносые самосвалы; зверообразные неуклюжие автокраны с угрожающе поднятыми стрелами; тяжкие, как только земля носит, панелевозы, груженные стенами домов; сияющие мокрым стеклом автобусы; суетные легковые разных расцветок; укутанные в громоздкие плащи мотоциклисты, отважно ныряющие между скатов и напирających радиаторов; теснящиеся к стенам домов прохожие... — вновь ежесуточный парад человечества, не знающего покоя, терзающегося противоречиями, жаждущего согласия, отвергающего его. Мимо с привычным неудержимым напором, куда-то в неведомое!..

11

Соня пришла из школы и застала дома переполошенную мать. Звонили из управления милиции: Коля просит свидания с Соней, разрешение дано, надо куда-то явиться, к кому-то обратиться, но мать все перепутала и перезабыла — куда, к кому...

Коля вспомнил о ней. Она ему нужна!

В последние годы Соня просыпалась по утрам с одной мыслью — Коля ждет ее, хочет увидеть и порадовать. Коля, которого когда-то все сторонились, кого жалели и на кого обреченно махали рукой, стал непохож на себя потому лишь, что она была рядом, ему нужно было нравиться ей. Она чувствовала, как плохое, пугающее гаснет в

нем возле нее, хорошее разгорается. И это переполняло Соню тайной гордостью, никому, никому ее не показывала, глубоко прятала, даже от матери. Оказывается, она способна совершить такое, чего другим не под силу. Вот живет она себе ровно и покойно, девчонка, как другие девчонки, а сам собой, без особых усилий происходит подвиг — меняет человека, делает его красивым. И сама им любит. И хотя она много, много думала — все мысли были заняты Колей, только им, — но толком никогда не понимала, что, собственно, происходит. Передать это словами не смогла бы никому. Просто жила и радовалась своему редкому счастью.

Иногда ее охватывала и тревога без всякой причины — а вдруг да... Девичья тревога — а вдруг да Коля ее разлюбит...

Случилось вдруг и вовсе не то...

Но она и теперь по-прежнему нужна ему — помнит, зовет из-за стен!

Он еще не знает, что она, Соня, сейчас куда больше его любит — не страшится, ни в чем не попрекает, а гордится им!

Не только она одна, большинство ребят в классе считают — ради жизни, по-иному поступить было нельзя.

Понимает ли это сам Коля?

Поймет! Она все ему расскажет, откроет глаза на то, чего из-за стен видеть нельзя, сама им гордится, его заставит гордиться собой!

Он узнает, какой она верный товарищ. В самом большом несчастье преданна до конца, до костра! Ничто на свете не разлучит, ничто на свете не испугает, ничто на свете ее не остановит.

Даже другие сейчас верят в ее силу. Поверит и он.

Соня бросилась из дому, оставив переполошенную мать, чтоб дознаться — куда, к кому, пройти сквозь замки и стены, видеть его, слышать его, открыть ему великое!

Свидания... Еще недавно это были лучшие минуты в короткой жизни каждого из них. Свидания, на которые они ни у кого не спрашивали разрешения.

Соня долго ждала в неудобной пустой комнате с длинным узким столом, пока наконец не раздались шаги и сумрачный сержант с наведенным на глаза козырьком фуражки не ввел его...

У нее перехватило дыхание — с исхудавшего до незнакомости лица глядели затравленные, просящие глаза. Она считала его подвижником, невольно сложилось представление — гордый, страдающий, верящий в свою правоту, замкнутый в себе. Совсем выкинула из памяти того Колю, раздавленного и невменяемого, который среди ночи, словно лунатик, оказался под их дверью. Сейчас — затравленный взгляд, немотная просьба, измученность. И пронзительная жалость к нему, и пугающее ощущение непоправимости...

И он, похоже, смутился, так как тоже ожидал встретить ту Соню, какую знал, — кроткую, любящую, пугливую. А перед ним стояла — острый подбородок вздернут, настрuppenно-прямая, вызывающая, казалось, даже ростом выше и глаза, опаляющие жаркой зеленью.

В тех частых свиданиях, какие были у них в неправдоподобно прекрасном раньше, они так и не научились обниматься, не обнялись и сейчас, а, боязливо сблизившись, протянули руки, сцепились пальцами. Она глядела на него плавающими глазами, а у него мелко дрожал подбородок. Не расцепляя рук опустились на скамью, всматривались, молчали, дышали.

— Ко-ля... — выдохнула она, совершила труднейшее — сломала молчание. — Коля, никому так не верю, как тебе!

И он затравленно метнулся зрачками в сторону, с усилием выдавил страдальческое:

— Не надо, Соня.

— Что — не надо? — удивилась она.

— Говорить мне такое.

Соня обомлела, ничего не ответила.

— Стыдиться меня нужно и... ненавидеть.

— Коля! Тебя?! Ненавидеть?

— Я сам себя ненавижу, Соня, — с тихой, какой-то бесцветной убежденностью.

И наконец она пришла в себя, она вознегодовала:

— Да как ты смеешь! Такое — к себе! Не-на-вижу! За что?! За то, что мать спасал! За то, что против взбесившегося поднялся, кто для всех страшен... И не струсил! И за это — нен-навиж-жу?

Он слушал покорно, с пугающим равнодушием.

— Ты ничего не знаешь, — обронил он.

— Как?! Я — ничего? Все знают, а я — ничего?..

— Ты только слышала, а не видела. Тебя же не пустили туда...

А там... — Он весь передернулся и закончил: — Кровь... Лицом в крови...

Не спотыкающиеся слова, а это брезгливое передергивание заставило ее поверить — испытывает отвращение к себе, гадливое отвращение, как к чужой гнойной болячке. И Соня заметалась:

— Коля! Опомнись! Он палачом был! Ты не человека, нет!.. Ты палача, Коля-а!

— Палач — я, Соня, — негромко и твердо, но убегая зрачками.

— Т-ты!.. Т-ты забыл! Неужели?.. Как можно забыть все! Вспомни! Вспомни, как ты совсем маленький в глаза людям глядеть стыдился. Его стыдился! А теперь?.. Теперь — себя! Он вдруг хорошим стал, а ты — плохой! Кол-ля! Зачем?!

— Я теперь хуже его, какое сравнение.

— Он когда-нибудь был справедливым? Добрым был?.. Никог-да!.. Ты страшное сделал. Да! Страшное, но справедливое! Ради добра, Коля. Ради того, чтобы маму спасти. Ты гордиться собой должен, что зверя... да, зверя опасного поборол!

Но Коля упрямо сказал в пол:

— Он человек, Соня, не зверь.

— Зверь! Зверь! Не обманывай себя!

— Он не совсем плохим был, Соня.

— Ка-ак не совсем?!

— Совсем плохих людей не бывает на свете. Я это только сейчас вот понял.

— Не бывает плохих?.. Что ты говоришь?

Он снова поморщился:

— Не о том ты...

— Неужели плохих людей нет?

— Есть. Много. Но чтоб совсем — нет. Мой отец любил меня, Соня. Да...

— Любил и жить не давал!

На этот раз Коля не ответил с ходу, словно задремал. И она уставилась на него с торжеством: ага, молчит, возразить не может, еще чуть-чуть — и победа!

Но он пошевелился и обреченно вздохнул:

— Так бывает.

— Что — бывает?

— Любят и жить не дают. Наверно, часто бывает.

— Глупости говоришь! — запальчиво, почти с гневом.

Теперь он и совсем не ответил, сидел понуро, смотрел себе под ноги. Но ее уже не радовало его молчание, а пугало и оскорбляло — не хочет возражать, несерьезное выкрикнула, пустое. И Соня заговорила с дрожью, едва сдерживая рвущуюся обиду:

— Все ребята в классе считают — ты правильно сделал. Никто не смеет против тебя словечко сказать. Они все понимают, а ты... ты вдруг — нет. Почему?

— Потому что они дураки, Соня. И я таким был.

— Пусть я дура, пусть! Но ведь и Славка Кушелев за тебя! Он что, тоже дурак?

— Славка математику знает да физику... Я и до этого, как случилось, знал больше Славки. Меня отец много учил.

— Пусть Славка дурак. Пусть все мы дураки. Но, может, ты и тех, кто историю показывает, дураками назовешь? В истории постоянно ради справедливости убивали, их героями считают. Не верь истории, верь тебе? Да смешно, Коля! Ты правильно сделал, ты гордиться собой должен. Слышишь — гордиться!

Коля поднял голову, вздрагивающими светлыми глазами стал разглядывать Соню со странным вниманием, словно видел ее впервые. Она, вытянувшись, вздернув плечи, выставив острый подбородок, стойко, не смигнув выдержала его взгляд.

— Какая ты... — удивился он.

— Плохая? Тебя защищаю.

— Нет, ты хорошая, добрая...

— И верю, верю в тебя! Больше, чем ты сам.

— Честней тебя никого нет. Светлой всегда казалась. И всегда я... ты знаешь, всегда тобой любовался. Исподтишка. И все никак досыта насмотреться на тебя не мог... Вдруг ты — за убийство! Ты! Соня!..

До сих пор он был какой-то вялый, погруженный в себя, далекий от нее, теперь впервые в его голосе проступило страдание. Бессильное и безнадежное страдание по той Соне, что была когда-то. Ее нет больше — умерла, лишь след в памяти. Сидящая рядом — другая, чужая ему и далекая.

И Соню охватил ужас, она закричала:

— Нет! Нет! Не соглашусь! Не дожدهшься! Буду тебя спасать, буду! От тебя самого! Ты враг, враг себе!

Он равнодушно согласился:

— Враг. А как же...

— О-о! Ну тогда и я враг тебе! Тебе, которому на себя наплевать! Враг! Враг! Не жди, не примирюсь! Убил — и правильно сделал! Надо было убить, надо! Жалею, что в стороне была, что не помогла тебе!

Снова он содрогнулся от отвращения:

— Жуть!

Но она уже не могла себя удержать, ее понесло, чувствовала, что вырываются жестокие слова, безобразные, но остановить их уже не по силам:

— Жуть? Конечно! Пришлось, да, убить! Пришлось, не сам захотел! А потом перепугался, скис, засомневался — зря, понапрасну. Вот это жуть! А я-то бежала к тебе — кто жизнь защищал, жизнь смертью! — чтоб сказать: с тобой вместе, не покину никогда! Прибежала и встретила... слизняка! Жу-уть!

Колю повело набок от ее слов, он оперся о стол, попытался удержаться, не получилось — сел, бросил глухо:

— Уходи.

— Ты!.. Ты — гонишь?!

— Уходи, Соня.

Она, еще кипевшая, еще не выплеснувшая всего из себя, вскочила.

Он сидел, низко согнувшись, выставив макушку в спутанных волосах. И ее гнев ушел, как вода в песок.

— Коля-а!

Он не ответил.

Она постояла, подождала, не подымет ли голову, и оскорбилась: да как он смеет ее гнать, ее, верную, любящую, готовую для него на все, даже на смерть! Как смеет не откликаться, когда она зовет! Соня резко повернулась, пошла к двери. У дверей задержалась на минутку — вдруг да опомнится. Он не позвал. Тогда она толкнула дверь и вышла.

12

Мама! Мама!.. Нет, нисколько не странно, что мама не поняла его. Мама всегда жила в четырех стенах, угорала от вечного страха. Соня всегда все понимала раньше его. Он еще не успевал подумать, а она уже открывала ему глаза — удивись и прими! Удивись не на что-нибудь — на самого себя.

Уходи... И она ушла. Голубые стрекозы речки Крапивницы, неужели они были?..

Уходи... Он прогнал ее.

Мама! Мама! Ты не догадывалась, что на свете могут быть голубые стрекозы, если и слышала о таком, то принимала за сказку. Соня уводила подальше от отца и от матери — за собой, в мир, где летают стрекозы...

Когда ты, Соня, стала бесчувственной?

Звала: будем ненавидеть вместе! А он так устал ненавидеть.

И уж совсем, совсем дикое: жалею, что не помогла тебе!..

Уходи...

Никого кругом, вот теперь-то совсем никого, ждатель некого, желать нечего — пусто. Зачем он живет, зачем появился на свет? Только для одного, чтоб совершить ужасное. И ненужное! Зря, понапрасну! Да, лучше никому на свете не стало, а хуже — всем. Даже ей, Соне. Странно, что она этого не может понять. Такого простого.

Лучше бы совсем не знать Сони, никогда не видеть голубых стрекоз. Тогда не пришлось бы произносить: «Уходи». И не будь Сони, он, наверное, не так страдал бы от отца, не решился бы схватиться за ружье. Зачем, когда некому доказывать, что хочешь быть красивым, красивой жизнью жить?

Он даже не сказал Соне о канарейке. Нет, не забыл, не мог — удивилась бы, приняла за помешанного. Канарейка — к чему? При такой-то встрече. Даже о голубых стрекозах не вспомнили. Тоже — к чему?..

Вот если б отец сам пришел к нему на свидание... Уж он-то бы наверняка вспомнил канарейку. И как просто было бы с ним говорить.

Странно, но они никогда в жизни толком не разговаривали, так, перебрасывались словами... или ругались. А как просто было бы: «Пап, помнишь — птичка влетела в форточку?» «Князек-то? А как же». «И помнишь — весна, и небо синее, и окно в каплях? Только что дождь прошел». «Князек — птица лесная, сынок, в городе не живет...» Задушевный разговор. И о самом важном.

Коле вдруг стало спокойно: совсем один, ан нет! Стоит только ему захотеть — и придет отец. И можно с ним досыта наговориться. И поймет, и простит, и вместе порадуются, как никогда еще не радовались. До чего хорошо...

Сулимов разложил на столе бумаги. Он собирался плотно посидеть над ними весь вечер, как сам любил выражаться: «Пора подбить бабки». Дельце с сюрпризами — не Сулимов двигает им, а оно гонит его черт те куда. Вот вылез на свет божий Илья Пухов, не зарывающийся наживала. На нем, как на гнилом пне, рос поганый гриб. Заурядно-умеренная страстишка к наживе, освещенная взорвавшимся преступлением, может выглядеть уже зловеще.

И только Сулимов углубился в свои заметки, стал фраза по фразе восстанавливать разговор с Пуховым, как строптивное дело выкинуло новое коленце.

Зазвонил телефон. Под самый конец рабочего дня могло звонить только бодрствующее начальство, обеспокоенное каким-нибудь очередным чепе.

— Сулимов слушает! — голосом, дающим понять, что мы здесь тоже не дремлем.

Но в трубке послышался не начальственный давящий басок, а женское сопрано с еле уловимой взволнованной колоратурцей:

— Очень извиняюсь, что беспокою поздно. Но только что узнала о вашем разговоре с моим мужем. Это Пухова говорит, Людмила Михайловна Пухова... Сейчас, наверное, уже поздно, не могли бы вы назначить мне время на завтра?

Завтра утром Сулимов намеревался доложить о сложившейся картине. Но нетерпение — не отложила звонок на утро — и переливы в голосе... Сулимов верхним чутьем уловил — что-то преподнесет. И тогда, может статься, вся сложившаяся картина снова замельтешит, словно экран испорченного телевизора.

— Откуда звоните? — спросил он.

— Из дому.

— За сколько времени сюда можете добраться?

— За полчаса.

— Приезжайте, — согласился он.

Ровно через полчаса Пухова явилась. Дородная, с осанкой ушедшей со сцены драматической актрисы, она вплыла в тесный, непрезентабельно-казенный кабинет Сулимова. На ярких, воистину соболиных бровях, помимо сознания собственного достоинства, Пухова внесла (и это сразу уловил Сулимов) некую нешуточную решимость — была не была! «Броская баба, — удивился про себя, стараясь представить ее рядом с повылинявшим, невзрачно-рыхловатым Пуховым. — Еще та парочка — гусь да гагарочка...» Но пока она усаживалась, справлялась с волнением, впечатление поражающей броскости прошло. Сулимов заметил, что правильному, яркому лицу не хватает тонкости — грубовато, с вульгаринкой, а руки ее излишне крупны, неженственны, в свое время явно знали тяжелую работу.

— С чего и начать, не знаю, — со вздохом сказала она. — Спутано все.

— Говорите сразу главное, — посоветовал Сулимов. — А уж там мы путаницу как-нибудь распутаем.

— Главное-то совесть, — объявила она. — Грызет, не спрячешься.

— Перед кем же совестно?

— Перед Анной, женой Корякина. Перед мальчишкой, конечно... Ну а больше всего перед собой.

— И эту совестливость, простите, разумеется, разделяет с вами ваш муж?

Пухова равнодушно отмахнулась:

— Кто его знает. Тоже, поди, не в себе. Но ему-то перед собой оправдаться легче — не он все наладил, а я.

Напустив на себя вежливое безразличие, Сулимов вглядывался в цветущее лицо Пуховой: «Хитрит? Беду от мужа отвести хочет? Или, черт возьми, еще одна кающаяся Магдалина?..» Но на белом лице Пуховой хитрость не прочитывалась — лишь удрученность и все та же упрямая решительность: была не была!

— Вы наладили? Что именно?

Тяжкий вздох, ответ не сразу:

— Да это самое...

— Не убийство ли Корякина сыном?

— Выходит, что так.

— И вы рассчитываете доказать мне это?

— Отчего Рафаил убит? Да оттого, что над женой измывался. Он, поди, с первого дня ее не любил люто. Ну а Рафаилу-то Анну я подсунала. Я! Можно сказать, откупила ее.

— И как это было?

— Как?.. Занесла меня кривая в ваш барачный поселок Сочи. Из эвакуации я возвращалась с матерью обратно в Ростов, да на станции Мамлютка маму мою из вагона вынесли — тиф. Пятнадцати лет мне не исполнилось — одна на всем свете. Судомойкой работала, в лесу топором махала, чуть замуж не выскочила за человека на тридцать лет старше, а когда сюда занесло, была уже тертая, голой рукой не хватать. Кочка в кочку возле меня девчонка из деревни — тихая да робкая, как мышь. Я ей вместо старшей сестры, за мой подол держалась...

Пухова по-бабьи пригорюнилась, темные глаза подернулись поволокой, брови горестно стыли на белом лбу. Сулимов терпеливо ждал.

— Хоть и трепало меня в жизни, да, видать, не истрепало — в самом соку была, ну а возраст-то под зарубочку, когда ждаты дольше опасно, девичье на убыль пойдет. Подъезжали ко мне многие, но пуще всех Илья и Рафаил. Они уже давно приятельствовали, с конца войны, считай, — тихий да буйный, дельный да беспутный, а как-то ладили, только вот на мне у них заколодило.

— А что же свело их, таких разных?

— Известно что — выгода. После войны все обживатьься начали, строиться, ремонтироватьсь — нужда в рабочих руках большая. У Рафаила руки есть, а как их лучше приспособить — головы не хватает. Илья руками не очень силен, зато головой раскинуть может. Вот и держались друг за дружку, пока я промеж ними не выросла.

— Но и после вас их дружба, однако, продолжалась.

— Дружба, да уж не та. Тут их уже не выгода крепила — я старалась.

— Зачем вам было нужно их крепить?

— А вот о том и речь веду. Слушайте... Значит, наострились они на меня. Рафашка, тот разлетелся с разгона: хочу — проглочу, хочу — в крупу истолчу! Ну, не на таковскую напал, быстренько отшила. Шальные-то сразу голову теряют, пугать не в шутку стал — или со мной, мол, или никому, жизни лишу и тебя и того, кто к тебе сунется... — На гладком лице Пуховой проступил смущенный румянец, почти девичий, ясный. И решительное движение бровей: — Что скрывать, Илья Пухов не очень уж мне и нравился — выглаженный, без морщиночки и волосики прилизывал на косой пробор. Чудным казалось, что такой вот тихоня в нашем отчаянном поселке уживается. Он покрикивал, за грудки не хватал, ножа в кармане не прятал, а по улице ходить заставлял поножовщиков вроде Рафочки Корякина...

Вот и запала мне в голову мысль — ведь надежен!.. — Снова Пухова на минутку закручинилась, распрямилась, тяжело вздохнула: — Да-а, судьба!.. Ох, устала я к тому времени от жизни дерганой. Покою хотелось, чтоб день походил на день, чтоб каждый чистенький, чтоб наперед знать — ничего не собьется, не спутается, надежно. С Рафаилом какая надежность, жди сплошную войну. И даже знать ежели — ту войну выиграешь, то все одно накладно, измотаешься...

— Пухов. Понятно.

— Другого надежного рядом не было.

— И не ошиблись в выборе?

— Не ошиблась, — с какой-то горечью ответила Пухова. — День на день теперь походит, не отличишь.

— Так почему же все-таки связь Пухова с Корякиным не повалась?

— Ждали все того, ждали — порвется и кровь прольется. Илья ждал, уговаривал меня — уедем. Но ведь ошалевший за нами бы бросился!.. Вот и решилась я... Никому не сказала, одна пошла к Рафочке. А у того рожа черная со вчерашнего перепоя, глаза волчьих прячет. «Просить пришла?» — спрашивает. «А что, говорю, ты дать можешь, что у тебя есть?» «Иль показать?» «Покажи, отвечаю, если думаешь, что за это полюблю». Знала, знала, что сломается, скулить начнет. Так оно и вышло: «Помани — иным обернись, пить брошу!..» «Так уж сразу и обернешься? Терпеть долго придется, а похожа я на терпеливую?» Вот тогда-то я и назвала ему: «Есть терпеливая, как раз такая, что тебе нужно, не пропусти, иначе под забором сдохнешь!»

— Анну?

Пухова низко наклонила голову:

— Да.

Оба помолчали.

— Вы и в самом деле специально это... чтоб откупиться? — осторожно спросил Сулимов.

И она вскинула на него распахнутые, провальные глаза:

— Верила! Верила! Хорошо получится! Я к Анне всегда как к сестре младшей... Ее спросите — под моим крылышком жила. Думалось: одна-то пропадет, а тут парень бедовый, золотые руки имеет. Ну а то, что с норовом, — Анна перетерпит, дров в огонь не подкинет. С кем Рафашке дикому еще и сжиться, как не с такой тихой. И виделось, виделось — я с Ильей, она с Рафашкой поплывем на разных лодках, но в одну сторону. У меня родни нет, у Анны тоже. В мыслях не мелькало тогда — откуплюсь! Повернулось так. Да! Но поняла, раньше всех поняла — неладное получилось. Даже Анна еще на что-то надеялась, а я уже знала — ох, злая ошибка получилась. И жгло, жгло меня! всю жизнь грех свой замаливала. Илье, думаете, хотелось возжаться с Корякиным? Как же! Еще до знакомства со мной он уже подумывал, как бы Рафочку дорогого от себя оторвать. Глупости говорят, что на Рафке ехал. Рано ли, поздно — с таким конем умаешься. А в последнее время и совсем сбесился, норовил без пути, без дороги...

— И все-таки мне не понятно, почему не расстался, почему терпел ваш муж?

— Да ужель теперь-то не ясно почему? Я не давала! Оттолкнул Илья от себя Рафаила, как бы тот под откос покатился, совсем бы тогда спился, семью в нищету загнал — Анне вешайся! Так и настроила я Илью: случится это — брошу! Он и сам понимал. Держал возле себя Рафаила. Да! Совсем выправить его никому не по силам, но какой никакой догляд за ним был — пить в рабочее время не смел, о

совсем уж дурной компании оттирали. А я сама следила, чтоб деньги в семью шли, сыты, обуты, ничуть не хуже других...

Вот оно — сезам, откройся! Не этот ли секрет умолчал тогда Пухов? Не хотел вмешивать жену. А может, не надеялся, что поверят — секрет тесной, почти тридцатилетней связи столь несхожих людей так прост и сентиментален. Сулимов не мог поверить в него сейчас, выискивал в порозовевшем от волнения лице Людмилы Пуховой неискренний наигрыш, хотя бы намек на него, глухой, сомнительный оттеночек. Та сидела перед ним подавленная и... непроницаемая.

— Значит, причина связи Пухова — Корякина в том лишь, что вы себя считали в долгу перед Анной?

— В долгу?! — возмутилась Пухова. — Слово-то какое... купеческое. О долгах ли я думала — жить не могла!

— Уж так-таки жить не могли. Не преувеличивайте.

— А вы поставьте себя на мое место. Живу, как и хотела, тихо. Так тихо, что гложнешь. Все наперед знаешь, что завтра у тебя будет, что через неделю, через месяц... Ни о чем думать не надо и не о чем тебе заботиться — все есть: квартира, тряпки, машина... Вот только детей нету, обижены. Да ведь живая же я, не мертвая, ни о чем не думать не могу, и без забот пусто. Так пусто, что терпенья нет, хочешь не хочешь, а любой на моем месте заглядывался бы по сторонам, искать стал — о ком бы позаботиться? Ну а мне особо оглядываться и выискивать не надо — рядом у старых знакомых ад крошечный. Расписывать мне их жизнь, или сами знаете?.. А коль знаете, так и спросите себя — могла я забыть, что по моему наущению такая дикая жизнь тянется? И как мне не страдать, совестью не мучиться? Да и о ком мне еще страдать? А потом, если вдуматься, спасибо Анне... Дикому Рафе тоже. Не они бы, я, поди, и живой-то себя не чувствовала, давно бы каменной бабой стала... Долг?.. Какое там. Тут себя бы спасти. И вовсе не от доброты сердечной заставляла мужа держать возле себя дорогого Рафочку. Перед собой не притворялась доброй и перед вами не хочу!

Сулимов озадаченно молчал. Как ни старался он расшевелить в себе недоверие, но Пухова разбивала его — уже не сомневался в ее искренности.

— М-да-а... — протянул он. — Неожиданная история.

— Да нет, скучная, — устало возразила она. — Глупая баба себя сама обманула. Покою ей хотелось — захлебнись им. До сих пор хоть за Анну тревога была, нынче и это кончилось. Совсем будет пусто. Покатятся похожие денечки, а куда, а зачем? К чему я на свете?.. Хотите верьте, хотите нет, а жалею, что тогда за Рафаила не вышла.

— Ну уж! — возмутился Сулимов.

Глаза Пуховой обдали его темным сполохом.

— С ним-то я уж покою не знала бы. Я не Анна, я бы воевала и, думается, осилила. Да!.. Как знать, может, даже и гордиться теперь пришлось бы: вот он, мой перекроенный, не бросовый человек, как и все, даже лучше других. Было бы что вспоминать на старости лет. А теперь что?.. Да ничего.

Пухова хлюпнула, достала платочек и с откровенной горестностью шумно высморкалась.

Соня брела под дождем нога за ногу — куда? Не знала сама.

Она не сразу ужаснулась тому, что случилось. «Уходи...» Она ушла, унося обиду, только обиду. Но вот шаг за шагом по темному,

сырому, неуютному городу, дальше от стен, где остался запертый, охраняемый Коля, и стало расти, расти, распирает до — не могу!

За что?! За то, что любит его!

Однажды она спешила из магазина с набитой авоськой и впереди среди прохожих увидела его, тоже спешащего домой. На этот раз она его не нагнала, а шла следом, глядела и не могла наглядеться. У него был порывистый, решительный шаг. У него вызывающе запрокинута голова, мягкие волосы лежали на воротнике пиджака. В узкой спине у него какая-то напряженность, весь он легкий, подобранный, летящий над тротуаром сквозь прохожих. Он нисколько не походил на того скованного, угловатого, каким был при встречах с ней. Сам собой он еще лучше, неожиданней... И она захлебнулась от счастья — оттого, что они скоро встретятся, оттого, что снова он станет скованным, застенчивым, оттого просто, что есть он на свете, есть! Она торопилась за ним и едва сдерживала счастливые слезы.

Любит...

А плеск весла за спиной, когда они плыли по Крапивнице. Плеск весла, толкающий их вперед, вперед! И что там, впереди?.. Обмирало сердце.

Любит! Как никогда не любила отца, пожалуй даже и мать, а уж себя-то и подавно.

Любит! За это — уходи!

Если б можно его несчастье взять на себя... Взяла бы! С радостью! Не задумываясь! Не дрогнув! Умереть, что б жил он, — да, да! Может, позавчера, пока не знала беды, и не осмелилась бы сказать такое себе, не была еще до конца уверена — любит, но до последней ли точки? — то теперь да, да, не сомневается, теперь убеждена!

За это — уходи. Не нужна!

Готова сама умереть, себя — не жаль! Так почему должна жалеть других? А уж таких-то, как его отец, — ненавижу, нен-на-вижду!! Потому что — люблю!..

Коля! Ты самый решительный, самый справедливый, самый честный из всех на свете! И не соглашаешься с этим, и оскорбляешься, и гонишь прочь... Не вмещается в голове — чудовищно!

Нога за ногу по мокрым улицам, таща в себе распирающую необъяснимость. Не могло такого случиться, а случилось, не пригрезилось. Звучит в ушах — уходи! И не находилось другого объяснения, как: не герой, а трус, не выдержал до конца, скис, предал себя и ее, Соню, вместе с собой! Выходит, что она ошибалась в нем.

Нога за ногу...

Но Соне пришлось посторониться — взявшись за руки, шли парни и девушки, должно быть студенты, возвращающиеся с вечеринки.

В этот поздний промозглый час, когда город неуютно мокр и черен, когда фонари вверху окутаны дымчатой изморосью, воздух лишний, а поредевшие прохожие, втянув головы в плечи, поодиночке, словно наказанные, торопились дорваться до своих подъездов, до комнатного тепла, разгоряченная, занявшая всю мостовую компания дружно шагала в едином стремительном наклоне, подставив морозящему дождю веселые лица, — распахнутые плащи, стук высоких девичьих каблучков по асфальту... И напористый, мужественный парнишечий басок, бравирная — все трын-трава! — выжимал:

Ваш-ше благородие
госпожа удач-ча,
для кого ты добрая,
а ком-му инач-че...

За ним не слишком слаженно, но воодушевленно подхватывали остальные:

Девять граммов в сердце,
постой — не зови..
Не везет мне в смерти,
повезет в любви..

Звенел в хоре беспечный девичий альт.

У Сони вдруг поплыли перед глазами желтые круги, ошпарила ненависть к ним, неуместно счастливым в этот гнилой, беспросветный вечер, к ним, беспечно — трын-трава — заигрывавшим с госпожой удачей, бездумно верящим, что повезет в любви.

Поющая, шумно шуршащая мокрыми плащами компания, оттеснив Соню, прошла мимо. А она стояла и глядела им вслед, пока не растворились в затканном дождем мраке. Но и из мрака, из далекого вознес на прощание все тот же мужественный басок уже иное, торжествующее:

Поднявши меч на наш союз,
достоин будет худшей кары-ы!.

«Господи! Им весело!..» Изумление до кругов в глазах, до слабости во всем теле. Им весело, им ни до чего нет дела. Что бы ни случилось на свете, такие все равно станут горланить: «Не везет мне в смерти, повезет в любви!» А что они знают о смерти? И что — о любви?..

Упрятанная в плащ-накидку женщина вывела на поводке лохматую собачонку. Собачонка задержалась под фонарем, подняла ногу... И к ним тоже взбурлила буйная неприязнь — к лохматой коротконогой собачонке, к незнакомой женщине, даже к фонарному столбу. И противен город, противен траурно-черный, насквозь промозглый мир...

Но невыносимость всего, что окружало, была так сильна, что разбудила Соню: «Что это я?..»

В эти дни она тайно, неудержимо ненавидела всех. На любого из класса глядела с замороженной подозрительностью — враг, может стать им! Даже Славке Кушелеву, который сразу перешел на ее сторону, даже ему не могла себя заставить верить...

И Аркадию Кирилловичу тоже...

И теперь куда-то бредет, подальше от дома. Ненавистен дом. Он самое проклятое место в городе!

А мать, добрая мать, какими жалобными, раскисшими глазами станет смотреть... А отца-то Соня уж и вовсе терпеть не в силах — против Коли, озлобленно против всего святого, немоготу с ним!

Ко всем ненависть, потому что все кругом в любую минуту могут повернуться против Коли! Никому он не дорог, никто так не любит его, как она, никто, как она, за него не страдает. Ради него готова на войну со всем миром!

И вот сейчас... Да, сейчас она сама ненавидит Колю — уходит, вовсе, оказывается, не герой, а трус, скис, предал...

Война со всем миром?.. Нет, просто ничего и никого кругом — ни любви, ни благородного гнева, одна бессильная ненависть.

Висело над фонарями тяжелое, набухшее от сырости небо, дыбились черные дома со светящимися чужими окнами. За каждым окном — люди. Много людей на свете, тесно от них, и нет такого, кто любит, кому можно ответить любовью. И на ненависть ее никто не обращает внимания — равнодушны. Не нужна.

Похоже, она ничего не принесла Коле, кроме этой ненависти ко всем, даже к тем, кто ни в чем и не мог провиниться. А он, Коля, уже перестал ненавидеть убитого им за злобность отца: «Совсем плохих людей не бывает на свете».

Эти слова теперь не вызвали у Сони негодования — устала не-

годовать, обреченно задумалась. И сразу же наткнулась на простую и ясную мысль: Коля с отцом прожил всю свою жизнь; можно ли представить, что за всю жизнь, за многие, многие дни его отец был только плохим, только зверем? В конце концов, наверное, и от озверения устают.

За первой мыслью явилась другая, столь же оглушительно простая и очевидная,— вместе с плохим отцом он, выходит, убил и хорошего!..

А она от него требовала — гордись собой!

И все вдруг перевернулось, все потекло в обратную сторону — от ненависти, от убий. Соня увидела себя глазами Коли, любящими глазами: «Хорошая, добрая, светлой всегда казалась...» И эта добрая, эта светлая с пеной у рта — гордись, что убийца!..

Погас фонарь над мостовой. Вечер кончился, город на ночь гасил часть уличных огней. Темнота, висевшая где-то над крышами, свалилась ниже. Город словно съезжился, оцепенел. Лишь дождь продолжал шуршать в потемках, вкрадчиво жил.

Соня стояла под дождем на пещерно темной, чужой улице, раздавленная открытием самой себя — до чего же безобразна, как можно такую терпеть другим, как встречаться с людьми, глядеть им в глаза...

Если б теперь вернуться к Коле, вымолить прощение. Но Коля за стенами и замками... И то, что сделано, выбросить прочь уже нельзя, как нельзя повернуть назад время.

15

По коридору за дверью перестали ходить, жизнь кругом замерла, и таинственное здание тюрьмы наполнила тугая тишина.

Коля лежал на койке, сам перед собой притворялся — дремлет, раздавлен, равнодушен ко всему, но, затаившись, ждал, ждал, что Он снова к нему придет. И верил — будет, не обманет! И боялся спугнуть.

Он бесшумно вошел и сел в его ногах на кровати, настолько высокий и плечистый, что стало тесно в камере. И лампочка с потолка освещала Его спутанные кудельные волосы, и лицо Его было в тени. Но Коля знал, лицо у Него есть, несколько не изувечено, знакомо, хоть плачь. И от него тянуло приветливой прохладой, как в знойный день из еловой чащи.

— Я боялся, что ты не придешь.

— Ты теперь ничего не бойся — все прошло.

— С тобой не боюсь, а без тебя всех, даже мамы.

Это было не совсем так, Коля немного боялся Его — вдруг да скажет о маме плохое, тогда и с Ним станет так же трудно разговаривать. Жутко подумать — если и с Ним!.. Но Он сразу почувствовал страх и сказал то, что Коля хотел слышать:

— Не бойся мамы, а жалею ее.

— А можно мне тебя жалеть?

— Нет, нельзя.

— Почему? Мне очень хочется!

— Ты видишь, как мне с тобой хорошо.

— Давай вспомним что-нибудь.

— Ты не забыл нашу самую первую рыбалку?

— Я был тогда совсем еще маленький и помню... траву очень холодную и мокрую.

— Это роса.

— И реку помню — черная, страшная и дымилась.

— Это туман.

— А потом птицы летели, низко, низко, над самой рекой, даже крыльями воду задевали.

— Это утки.

— Но больше всего я люблю вспоминать князька.

— Люби все — и росу, и туман, и уток, всех других птиц и зверей. Ведь это так просто — взять да любить. Вот ты меня полюбил, и тебе стало хорошо.

— Хорошо... — как эхо отозвался Коля, чувствуя, что плачет от счастья.

Раздались шаги в глубине коридора, и Он исчез не простившись. На Колином лице сохли счастливые слезы...

16

Людмила Пухова засиделась у Сулимова. Он еще долго ее спрашивал, но так и не поймал на противоречиях, все, в общем, совпадало с показаниями и старой Евдокии, и Анны Корякиной, и даже страстотерпца Соломона, «чистыми слезами» оплакивавшего Рафаила Корякина. Сулимов составил протокол. Она оказалась дотошной, вчитывалась не торопясь и вновь все переживала, шумно вздыхала:

— Что было, то было. Выгораживать себя не хочу.

Похоже, она не собиралась выгораживать и мужа: вставленное Сулимовым замечание — Пухов действовал на пару с Корякиным не без выгоды для себя — никаких возражений у нее не вызвало. Она поставила свою подпись, и он расстался с ней.

Итак, Илья Пухов виноват не более других. Крупней всех вина Рафаила Корякина — делал все возможное и невозможное для своей безобразной смерти. Но с него-то теперь взятки гладки. Отвечать придется только сыну, который и без того в своей куцей жизни достаточно натерпелся за грехи, допущенные в разное время разными людьми.

Был уже поздний вечер, большое, деятельное днем здание управления сейчас замерло, только на нижнем этаже продолжали бодрствовать те, кому и ночью надлежит следить за порядком в городе. Да еще, наверное, в каком-нибудь кабинете, зарывшись в бумаги, «подбивает бабки» страдалец вроде него, Сулимова. И лежала на столе под лампой раскрытая папка, начатое дело...

Выходит, Сулимов сделал круг и оказался на прежнем месте. Свидетельства, собранные за столь короткое время, ничего, собственно, не дали. Мальчик убил своего отца — только и всего, вопиющая очевидность!

Неудачи случались и раньше — нащупанный преступник, как налим, порой ускользал из-под рук. Чувствовал досаду, сердился на себя — неловок, не с того конца ухватил, — самолюбиво переживал упреки начальства. Сейчас никто не упрекнет, никто не выразит недовольства, и досадовать на себя, казалось бы, нет повода — любой другой на его месте сделал бы не больше. А вот поди ж ты, не отпускает — так и хочется кому-то поплакаться, раскаянно саморазоблачиться, как разоблачали себя перед ним мать, бабушка мальчишки, та же Людмила Пухова. С кем поведешься, от того и наберешься — в эпидемию попал.

Сосредоточься, разберись в себе — почему недоволен, почему не отпускает чувство вины? Мальчишку жалко, помочь не в состоянии? Но ведь ты и прежде жалел каких-то простаков, влипших сдуру или по нечаянности в грязные делишки. Жалел, но вины-то за собой не чувствовал.

Отчего сейчас вина? Не оттого ли, что видит око, да зуб неймет? Прошное не притянешь к ответу, будут судить одного мальчиш-

ку, отправят в колонию для малолетних преступников. Малолетних, но уже испорченных. Николай Корякин окажется среди тех, от кого общество постаралось избавиться. Да, там есть воспитатели, но они не чудотворцы и даже не Макаренки — чаще всего обычные люди. Необязательно их влияние будет больше, чем влияние юных воров, хулиганов-садистов и патологических циников, с которыми придется жить бок о бок. Парнишка с отравленным детством, травмированный собственным поступком, пройдет выучку в колонии и может оказаться хуже своего отца. Какие подарки преподнесет он в будущем?

Вполне возможно, через много лет такой же вот следователь, разбирая опасное преступление, взглянется попристальней в прошлое и увидит там его, Сулимова. Не хотел, а наследил в будущем.

А ты не Ванька Клевый, не темная Евдокия Корякина, ты уже видел на их горьком опыте, из каких безобидных оплошностей возникает трагедия. Видеть — и допустить! Как тут не чувствовать вины?..

Загравевший телефон заставил Сулимова очнуться. Кто там еще? Скорей всего где-то случилось новое преступление, нуждаются в нем. Но с такой путаницей в голове, с сомнениями в себе ехать на новое дело? И вообще, сумеет ли он теперь избавиться от неуверенности, сможет ли работать как работал?

— Сулимов слушает!

— Не удивляйтесь, говорит Памятнов. Учитель Памятнов, Аркадий Кириллович. Надеюсь, не успели еще меня забыть?

— Вы?!

— Я справлялся у дежурного, когда вас можно поймать завтра. Он сообщил, что вы и сейчас здесь. И вот... не обессудьте.

— Слушайте! — неожиданно для себя закричал Сулимов. — Вы-то мне и нужны!

— Вы мне тоже.

— Тону, Аркадий Кириллович, спасите!

— Увы, сам пузыри пускаю.

— Так давайте сейчас друг за друга подержимся. К берегу, может, прибудем.

Короткая заминка на том конце провода, наконец решительное:

— Приезжайте. Жена будет уже спать, но кофе вам обещаю.

12

Жена Аркадия Кирилловича работала в оптической лаборатории ОКБ, расположенной на самой окраине города, вставала в шесть утра. Чтоб не мешать ей, они пристроились на кухне.

На столе чашки с обещанным кофе, над столом на стене большой художественный календарь, каждый месяц на нем — красочный пейзаж. Календарь показывал золотую солнечную осень, а в окно настойчиво барабанил дождь. Время от времени оживал холодильник, начинал сердито бормотать, словно выговаривал неожиданному гостю за вторжение.

Сулимов встрепан, сверкает бешеным оскальцем из-под усов, рассказывает с захлебцем, залпами — выпалит и умолкнет, мучительно морщится, стараясь разобраться в запутанных мыслях. У Аркадия Кирилловича на темном лице набрякшие складки, устал, погружен в себя.

— Я вижу, вижу, что в одну цепочку становлюсь с Ванькой Клевым, старой Евдокией, Пуховым — нового Рафаила Корякина, того гляди, миру подарю... И если б кто меня толкал к этому, принуждал... Не взбунтуешься, войну не подымеешь — нет противника! Рад бы

сразиться, да пустота перед тобой! — очередной горячий залп Сулимова.

Аркадий Кириллович поднял веки, встретил его ищущие блестящие глаза, усмехнулся:

— Ошибаетесь — сражение идет, и отчаянное.

— У меня? С кем?

— С самим собой.

Сулимов с досадой крикнул:

— То-то и оно, как глупый щенок, кручусь, свой хвост кусаю и рычу оттого, что больно.

— Вы считаете, что за преступление непременно кто-то должен ответить? — спросил Аркадий Кириллович.

— Убийство же! Не несчастный случай, не стихийное бедствие — продукт, так сказать, человеческих действий. Значит, не господь бог повинен, а кто-то из людей. Непременно!

— А виновника не находите. Больше того, себя чувствуете виноватым. Себя, к убийству совсем не причастного. Что-то вы противоречите... сам себе. Чем это не война? Внутренняя.

Озадаченное сопение, блуждающий взгляд. Наконец Сулимов хмуро поинтересовался:

— Так в каком же случае я прав?

— Правы в обоих случаях, — невозмутимо ответил Аркадий Кириллович.

— Ну, так не бывает.

— Так бывает всегда и всюду. О единстве противоположностей, надеюсь, слышали?

— Слышал, преподавали — почку губит распускающийся цветочек.

— Вот у вас тоже распускается цветочек.

— Какой именно?

— Чувство ответственности за других, прошу прощения за избыточность выражения.

— Эва! — удивился Сулимов. — А раньше, выходит, ответственности у меня не было, без нее жил.

— Всем нам за него — расплата...

— Всем нам — расплата... — повторил Сулимов. — М-да-а... Это что же, я и дальше буду чувствовать... расплату? За каждого прохвоста?.. Бежать тогда мне надо из угрозыска — свихнусь.

— А разве острее чувствовать, глубже понимать противопоставлено для вашей работы?

— Наша работа зауми не терпит — держись закона, отсебятины не допускай, помни о том, что преступник — враг общества, а значит, и твой враг. А у тебя к этому врагу эдакое личное... Опасно.

— Не клеветайте на себя.

Сулимов уставился в чашку с остывшим кофе. Аркадий Кириллович сочувственно к нему приглядывался.

— Ладно! — встряхнулся Сулимов. — Обо мне хватит. Вы попросить что-то у меня хотели, надеюсь, что не противозаконное.

— Предоставьте мне трибуну, — произнес Аркадий Кириллович.

— Что-о? — опешил Сулимов.

— Как вы считаете: должен случай с Колей Корякиным послужить уроком для учителей и для учеников?

— Уж если такое ничему не научит, то считай себя деревом, не человеком, — проворчал Сулимов.

— А вот наша школа собирается сделать вид — это нас не касается.

Сулимов замялся:

— Странно... Вчера бы я за это не особенно осуждал — на рожон лезть добровольно. Зачем?

— А сегодня? — спросил Аркадий Кириллович.

— А сегодня... что ж, может, вы и правы...

— Меня пытаются связать, требуют молчания. И не могу я говорить ученикам одно, когда остальные учителя — другое. Ералаш в головах учеников получится, а среди учителей разногласие, разброд, склоки. Действовать в одиночку?.. Нет! Должен убедить.

— Легкое занятие!

— Трудно еще и потому, что общественное мнение на стороне школы. Горно всячески превозносил нас, газеты нас славили, родители гордились, что их дети у нас учатся. Пока не удастся перевернуть общественное мнение, уроки из случившегося скорей всего будут нежелательные. Уже сейчас Колю Корякина в классе считают чуть ли не героем.

— Та-ак! — сердито выдал Сулимов. — Чем же я вам могу быть полезен?

— Вытащите меня на суд свидетелем. А уж обвиняемым я и сам стану.

— Трибуна?..

— Почему бы и нет? К такому процессу со всех сторон будет усиленное внимание.

Сулимов разглядывал учителя беспокойно поблескивающими глазами.

— Внимание будет... — согласился он.

— И не бесстрастное, — добавил Аркадий Кириллович.

— Да уж сыр-бор разгорится.

— Ну а при таком пожаре у моих коллег учителей вспыхнет совесть. Неужели вы думаете, что они останутся холодными, когда вокруг будут бушевать страсти?

— Гм... Положим.

— Положим?.. Вам этого кажется мало, Сулимов? Ой нет, люди с опаленной совестью способны на многое.

— На что?! — воскликнул Сулимов. — На то, чтобы спасти ребят от пьяных отцов, от мошенников, от шкурников, которые непременно начнут наставлять — греби все к себе, что плохо лежит?.. Для этого надо жизнь вычистить до блеска! Под силу это вам?

— Жизнь вычистить нам не под силу, Сулимов, но под силу будет показать, что такое хорошо, что такое плохо в этой еще не вычищенной до блеска жизни.

— А раньше вы разве этого не показывали?

— То-то и оно, что не все показывали, стеснялись показывать жизнь, какой она есть — нечищенной, неумытой.

— Но знали же и без вас ребята, что в семье Корякиных творится. Наружу лезло! Знали — и что?..

— А то, что тактично отворачивались — мол, не замечаем. Ложный стыд перед правдой и к ученикам перешел.

— Отворачивайся не отворачивайся, а беда все равно стряслась бы.

Аркадий Кириллович ответил не сразу, сидел, навесив голову над столом.

— А вы попробуйте представить Колю, — начал он. — Да, Колю Корякина, который делится всем, что происходит в семье, с товарищами, не стыдится, а рассчитывает на отзывчивость, не боится, что вызовет злорадный смех за спиной.

— Трудно представить.

— Трудно. В том-то и дело — герой уголовного романа, всех

чуждающийся одиночка. Как вы считаете — он от природы такой нелюдим?

— Н-не думаю.

— Обстоятельства сделали?

— Скорей всего.

— Ну а если б в иные обстоятельства он попал, в нашей школе хотя бы,— каждый день сталкивался бы с сочувствием к себе, твердо знал, что может рассчитывать на отзывчивость... Скажите, могла бы ему прийти тогда в голову мысль — убью ненавистного отца?..

Сулимов, подобравшись, сидел, озадаченно помигивал. Аркадий Кириллович решительно ответил за него:

— Любая другая, но только не эта!

— М-да-а...— протянул Сулимов.

И наступило долгое молчание. Со стены улыбочиво сияла календарная золотая осень, за неприятно черным окном монотонно и суетно трудился непрекращающийся дождь. У Аркадия Кирилловича вновь свинцово обвисли складки лица. Сулимов пошевелился.

— Пора мне и честь знать... Но еще вопросик, если позволите, на прощание: ту игру, о какой вы мне рассказывали... кончите или как?

— Игру нашу закончил Коля Корякин.

— Охоту отбил, что ли?

— Перед необходимостью поставил — ищите путь к друг другу. А это уже не игра, это серьезное.

Аркадий Кириллович устало смотрел на свои руки, крупные, отдышающе лежащие на столе.

— Ну и суд же будет...— вздохнул Сулимов.— Свидетели станут брать на себя вину за преступление, защитник окажется в положении обвинителя, а обвинению ничего не останется как только взять на себя роль защиты...

В прихожей раздался короткий, как вскрик, звонок. Тяжелые складки на лице Аркадия Кирилловича тронулись в недоумении, он поднялся, поспешил к двери.

За дверью стояла Соня — обвалившиеся плечи и руки, слипшиеся от дождя прямые волосы, стертая улыбка.

Аркадий Кириллович посторонился, молча кивнул — заходи.

Она перешагнула за порог, беспомощно остановилась, бескостная, спеленатая мокрым плащом, с усилием держащаяся на ногах. Губы ее неподатливо пошевелились, но звука не выдавили.

— Раздевайся, Соня,— попросил Аркадий Кириллович.

Лицо ее вдруг свело судорогой, она зажмурилась, привалилась к косяку, выворачивая шею, пытаясь спрятать перекошенное лицо, издала надрывный стон, и плечи под плащом заходили от беззвучных рыданий.

Сулимов, появившийся за спиной Аркадия Кирилловича, должно быть, не узнал сейчас Соню, которую видел мельком в ночь убийства.

— Что случилось? — спросил он.

Соня, с выбившимися из-под вязаной шапочки мокрыми патлатыми волосами, измятая, одичавшая, прикусив губы, зажмурившись, давилась в рыданиях.

— Что?..

Аркадий Кириллович, пряча под насупленным лбом глаза, ответил:

— То же самое — тяжело. Ей, пожалуй, больше, чем нам с вами.

ПЕТРУСЬ БРОВКА



ВЕКОВ ДАЛЕКИХ ОТГОЛОСОК...

С белорусского

* * *

Веков далеких отголосок
Гремит в лугах, среди болот.
Лежит валун в тени березок,
Его и трактор не столкнет.

Подросткам, сорванцам, подпаскам
Валун подспорьем был в игре,
Он крепостью из давней сказки
Казался местной детворе.

Когда в уезд из отчей вёски
Я уходил, упрям и юн,
Перед путем на перекрестке
Присел я на седой валун.

Любуясь луговым простором,
Я думал — сколько ж было сил
В том древнем леднике, который
К нам этот камень прикатил!

Поздней о нем я вспомнил снова...
Любовь пришла, потом ушла,
Явила норы ледниковый
И камнем на сердце легла.

* * *

Таких, как я, немало
С фронтов пришло домой.
Избы как не бывало,
Все выжжено войной.

Где милый тот порожек,
Что в сенцы приглашал?
Где те, кто всех дороже,
Кого найти мечтал?

Ни яблони, ни груши,
Ни травки под окном.

Все то, что грело душу,
Исчезло под огнем.

Лишь воронье кружило
Среди сквозных берез...
Всего страшнее было,
Что плакал я без слез.

* * *

Вновь детство снится мне, седому.
И, как поется в песне той,
Пришел до хаты я, до дому,
К лесному руслу, в бор густой.

Хоть подрастал когда-то здесь я,
А нынче речку не узнал.
Ах, волны детства, волны детства,
Вас ветер времени угнал.

Все изменилось. Как ни силюсь,
Не вернуть былую прыть.
Уже те волны откатились
Так далеко, что не доплыть...

* * *

Нам звезды заселить охота,
Перекликаемся с Луной.
При скоростях Аэрофлота
Вдруг стал нам тесен шар земной.

Все на планете стало близким,
Гривастый конь давно забыт.
С утра позавтракав под Минском,
К обеду прилетишь в Мадрид.

Еще и не такое будет.
Близки два полюса Земли.
Ах, если бы и сами люди
Вот так же сблизиться могли!

* * *

Рыбачу я. Удачу знаю.
Но, хоть улов порой немал,
Вернуть бы мне тот день, когда я
Плотвичку первую поймал!

Места грибные навещаю,
Лукошко наполнять привык.
Вернуть бы радость ту, когда я
Нашел свой первый боровик!

Я строки смолоду слагаю,
Издаю десятки книг своих.
Вернуть бы время то, когда я
Свой напечатал первый стих!

Ковров нам под ноги не стелют,
Мы создаем свой хлеб, свой кров.
А время мелет, время мелет,
Вращая жернова годов.

Нам дорог бег их неустанный,
Мы сами им даем разгон,
Чтоб сорт отборный, пеклеванный
Был от мякины отделен.

Колосья новые поспели,
И первый каравай готов...
А время мелет, мелет, мелет,
Вращая жернова годов.

Я все познал — и ложь и ласку,
Я пламя ощутил и лед.
Ты каждый день меняла маску
Из года в год, из года в год.

Была веселой, беззаботной,
Цвела, порхала мотыльком,
Была и птицей перелетной
И тучей, затаившей гром.

Всего и не упомнишь ныне,
Перед глазами свет и мгла.
Была ты мятой и полынью
И алой вишенкой была.

Кто пишет натошак,
Кто все же
Считает —
Не вредна еда.
Кто днем творит,
А кто попозже,
А кто неведомо когда.

Порою
Вскакиваешь ночью —
И рвется
Сновидений нить.

В душе
Затеplилось двухстрочье,
И этот свет
Не погасить.

Гуляешь.
Рифма гулким гонгом

Вдруг зазвучит
В твоих ушах.
Торопишься другой вдогонку,
Тревожно ускоряя шаг.

Бывает,
Посреди застоля,
Внезапно удивив друзей,
Ты их бросаешь
Поневоле,
Влеком находкою своей.

Так непрестанно и упорно
Идешь ты
Замыслу вослед,
Хотя ни графика,
Ни нормы
Не знает ни один поэт.

Зато летит
От сердца к сердцу
Написанное от души.
А коль заело,
Не усердствуй.
Помилосердствуй —
Не пиши.

..*

Обида негаданно может родиться,
Она возникает, хоть жди, хоть не жди.
Она вырастает порой из крупы,
Да так, что ее не уместишь в груди.

О, как эта кривда тебя истомила!
Ты, к ней обращаясь опять и опять,
Сникаешь — ничто тебе в жизни не мило
И вроде просвета уже не видать.

Никак не уляжется в сердце тревога,
Ты шлешь ежечасно укоры судьбе.
Обида, быть может, уйдет понемногу,
А все же напомним потом о себе.

Обиды, обиды... Куда ты их денешь?
В работе, в заботе — спасенье от них.
...Ах, если б я мог, как счастливый младенец,
Поплавав, смеяться уже через миг!

..*

Внезапным ветром просквозило
И дом, и рощицу, и сад.
День полон света, полон силы,
Но все уже идет на спад.

Уже пророчества кукушки
Давно в округе не слышать,

А лист пожухлый на опушке —
Как первая седая прядь.

Глядишь, осеннею приметой
Взовьется паутинки нить.
Но все еще сияет лето
И рановато нам грустить.

* * *

Порой хватаю через край..
Я с детства сил не берегу.
Твердят:
— Угомонись давай! —
А не могу,
А не могу...

Давно покоем пренебрег.
Иду? Да нет, почти бегу.
Твердят:
— Поспи еще часок!..—
А не могу,
А не могу...

— Уже ты стар, уже ты сед,—
Мне шепчут в дружеском кругу,—
Ты б отдохнул
На склоне лет.—
А не могу...
А не могу...

* * *

Проходят годы. Как и прежде,
Мила ты сердцу моему.
Зачем же вопреки надежде
Молчишь ты? Право, не пойму...

Неужто начертать хоть слово
Не поднимается рука?
Ужель тебя влекут сурово
Харон и темная река?

Как быть? Я мог бы устремиться
По следу твоему опять.
Не лучше ль ждать, чем убедиться,
Что больше нечего и ждать?

РАЗГОВОР С АИСТОМ

Заря ночную тьму пронзает,
За лесом — первых бликов дрожь.
И ты — рачительный хозяин —
Немедля ото сна встаешь.

Взлетаешь, вновь расправив крылья,
Внизу — владения твои.

Полны земного изобилья
Луга, овражки и ручьи.

Добычу высмотришь не сразу,
Рванешься вниз, глаза блестят.
Ты завтрак принести обязан
Для беспокойных аистят.

Летишь над утренним простором,
А в клюве — уж или вьюнок.
Притом на коршуна с укором
Глядишь — уж больно он жесток.

Цыпленка раздирает жадно...
Злодею знать пора давно,
Что пищи нет вкусней, чем жабы,
А птице птицу рвать грешно.

Потом, когда детей покормишь,
Стоишь, клекочешь, солнцу рад,
Подтянутый, в двухцветной форме,
Во фраке, словно дипломат.

* * *

Весенний дождь, несущий благо,
Ростки вздымает к небесам.
Я, освежен живою влагой,
Расту и сам,
Расту и сам.

Гроза связует землю с небом,
Она причастна к чудесам.
Те капли, пахнущие хлебом,
Я пью и сам,
Я пью и сам.

Авторизованный перевод ЯКОВА ХЕЛЕМСКОГО.



ЮРИЙ НАГИБИН



ДВА РАССКАЗА

Замолчавшая весна

Т) была странная весна — Сергеев ее не слышал. Первая беззвучная весна в его жизни. Не то чтобы слух вовсе покинул Сергеева, он прекрасно слышал из своего загородного жилья нарастающий грохот «Илов» и «ТУ», поднимающихся с Внуковского аэродрома, тихий, приставывающий бормот домодедовских и быковских самолетов, уже набравших высоту, пугающие взрывы, с какими истребители проходят звуковой барьер, уютное шмелиное погуживание старых винтовых тихоходов, патрулирующих шоссе, и стрекозиное потрескивание сельскохозяйственной авиации, кропящей сад, огород, крыши и дорожки белесой слизью. А еще Сергеев слышал автомобили, мотоциклы, трактора, радиоусилители из соседнего дома отдыха, неумолчно повторяющие четыре популярные мелодии, а позже — ликующие команды физзарядки из пионерского лагеря, заставляющие непроспавшихся, со слипающимися ресницами детей кочевряться на росном знобком плацу. Но, кажется, мы залезли в лето, ведь пионерские лагеря начинаются с июня, но и весна залезла в лето: черемуха запенилась в середине июня, тогда же надулись шары одуванчиков, расцвели ландыши и купальницы — почти в одно время с лиловыми колокольчиками и розовой смолкой. Но и запозднившаяся весна не должна молчать. Меж тем весна Сергеева, если исключить грубые шумы, отчасти порожденные весной, но не являющиеся выражением ее сути, оставалась нема, безгласна. Голос младенческой весны — капель, голос зрелой весны — птицы, их-то Сергеев не слышал.

Вначале он думал, что птицы отложили прилет, как деревья и травы отложили цветенье, до тепла. Но потом он увидел грачей, еще не успевших запачкать ярко-желтых лап, вслед за ними — скворцов, приводящих в порядок свои домики после зимовавших там пачкуний белок, увидел пеночку-теньковку, покачивающуюся на сухом стебле чертополоха, ласточек в небе — птицы давно вернулись с курортов для хлопотной и серьезной семейной жизни, но почему-то молчат: не славят весну, не поют песен любви.

Вначале он думал, что странное онемение постигло только сад, но когда распогодилось и немного подсохло, он отправился в лес и не услышал его. Дрозды то и дело перелетали через просеки, но хоть бы раз прорезало ватную тишину леса их резким свистом, молчали чижи и щеглы, не чечекали чечетки, не прочищал горла коростель перед песней, которая никогда не начнется, не вскрикивал ликующе самец кукушки, исчезли и те таинственные голоса, что вырывались под вечер из лесных, полных тумана и крепких запахов балок, а на поляне за

опушкой черно-белый чибис, перепадая с крыла на крыло над изумрудным выпотом, ломал зигзаги без обычного нежного постанывания. Даже дятлы умудрялись беззвучно выдалбливать корм из стволов. И сороки, хлопотавшие у своих гнезд, справили обряд легкой паники при виде чужака без стрекота. Лишь вороны, рушась с высоты на непрошеного зашельца, оглашали воздух ржавыми криками из своих луженых глоток. Но до чего же бедна весна, озвученная лишь воронами! Хотя и у ворон есть дивная песня: осенью, когда птицы сбиваются в стаи для отлета в теплые края, а вороны — для недалекого откочевания в сторону южную, их прощальный карк исполнен щемящей печали.

Но как звенели, как сияли в былые годы голосами весенних певцов скромные леса, рощи и поляны по берегам Десны подмосковной! С прозрачного розового подвечера до глубокой ночи, с мглистого предрассветья до высокого солнца били соловьи. Здесь самый соловьиный край во всем Подмосковье. Соловьи разливались на опушках лесов, в старых рощах, оставшихся от барских усадеб, в березово-осиновых перелесках, в ольховых зарослях вдоль дорог и шоссе, в сиренях, жасминах и ракитах садочков, на сельском кладбище, где меж старых темных крестов белеют цокольки с красной звездочкой над упокоившимися ветеранами войны. Бесстрашные соловьи! Поселок у Сергеева собачий и кошачий, есть даже любознательная, настырная обезьяна и очень много распущенных детей, соловьям бы поостеречься, а они знай разливались, состязаясь друг с дружкой: кто дробью брал, кто лешего дудкой, а бывали мастера по всем девяти коленам.

Почему перестали петь птицы? За годы, что Сергеев жил на Десне, случались всякие, большие и малые, чудеса. В памятное лето, когда иссушенная, прожаренная оголтелым солнцем земля звенела под ногой и болели ступни от ее броневой жесткости, любимая Сергеевым сыровата прежде, а сейчас растрескавшаяся, как каракумский такыр, лесная тропа была усеяна дохлыми, будто налакированными лягушками. Видимо, они сползались сюда из пересохших прудов, ручьев и болот, памятуя о былой тени и сырости, и солнце высушивало их до смерти. Тогда же из леса выбежал лосенок, ошалело повел головой и грохнулся замертво. Оказалось, в нем не осталось и капли крови, выпитой комарьем и всяким лесным гнусом.

В то страшное лето горели леса и торфяные болота вокруг Москвы, машины ходили днем с включенными фарами; их сильный свет, не пробивая белесых клубов дыма, расплющивался в радужные лепешки. Еще не зная о пожаре, Сергеев шел обычным маршрутом через лужайку у Черной речки, как прозвали эту излучку Десны за фабричным стоком, аспидно-черную и летом и зимой, и вдруг обнаружил, что все зримое пространство медленно и неуклонно затягивается молочным, чуть мерцающим маревом. В считанные минуты скромный подмосковный пейзаж, от века верный уютной кисти передвижников, обрел Леонардову лунную призрачность: все в нем обесконтурилось, поплыло, растворилось в бледно-голубоватой дымке, из яви стало сном.

В другой раз он обнаружил на проселочной дороге у иссохшей лужи, от которой паутиной расходились трещины, темный холмик из слипшихся мертвых бабочек. На холмик налетали другие бабочки, глубоко погружали хоботок в трупный ком, складывали крылышки и переставали жить.

Как-то перед Сергеевым на большую сосновую лапу в янтарных потеках смолы, будто засахарившейся у кистей игл, открыто и беспылашно опустился самец кукушки, которого, как ни ищи, сроду не увидишь, и разорался на весь лес, топорща крылья и ставя колом

хвост; его звонко-ошалелый голос сопровождал Сергеева до самой опушки.

А еще он помешал сорочьему суду над лисенком, видимо разорившим гнездо: воспользовавшись замешательством горластых судей, лисенок бежал, оставив на траве клочья красной шерсти. И тут Сергееву пришлось позаботиться о собственной безопасности. Откуда ни возьмись налетели мириады маленьких изумрудных мушек и облепили его с головы до пят, намереваясь высосать, как комарье лосенка. Они лезли в глаза, в самые зрачки, в рот, в уши, запутывались в волосах, проникали за пазуху. И не отбиться было от смешной и жутковатой напасти. Приправленная юмором досада сменилась бешеным раздражением, а раздражение перешло в панику — Сергеев кинулся прочь из леса, обдирая ноги о впутившийся в траву валежник, мухи провожали его до конца просеки, а там стали, зависли изумрудно взлескивающим гудящим облачком.

Словом, творились разные чудеса, но такого печального чуда, как немая весна, еще не бывало. Тщетно напрягал Сергеев слух, тщетно спешил к очнувшейся природе, тщетно бегал на вечерней зорьке к приютившему тень густому бузиннику за рекой, где в прежние годы были самые голосистые соловьи. Музыка расцветающего влюбленного мира умерла.

Однажды жена сказала:

— Как чудесно поет соловей на соседнем участке! Знаешь, мне кажется, это наш прошлогодний соловей, но чем-то мы ему не угодили и он поменял местожительство.

— Когда ты его слышала? — спросил Сергеев.

— Да каждый вечер. Может, он и утром поет, но я поздно встаю.

В отличие от жены Сергеев вставал рано. В шестом часу утра он вышел в сад. Была роса на манжетках, роса на листьях и кистях венгерской сирени, был дивный младенческий запах пробуждающегося мира и хрустальная тишина. Затем в стороне Внуковского аэропорта загрохотал поднимающийся самолет. Промчался мимо дома грузовик, гремя разболтанными бортами. Сергеев ждал, но иных звуков, принадлежащих мягкой жизни природы, не возникало. Он с усмешкой подумал, что соловей заспался подобно его жене. Вернулся в дом и сел работать.

Вспомнил Сергеев о соловье вечером за чаем на террасе, заметив в н и м а ю щ е е лицо жены. Соловей пел только для нее, а Сергееву оставался неслышим. Раз померещилось желанное «тёх, тёх, тёх», но то оказалось рабочим шумом — бабушка рубила молодую крапиву для щей.

— Неужели ты не слышишь? — спросила жена.

— Не слышу.

— Что с тобой?

— Со мною, наверное, старость.

— При чем тут старость?.. Бабушка! — крикнула жена. — Вы слышите соловья?

Бабушка отложила сечку.

— Ах разбойник! — сказала она умиленно. — Как выводит, шельмец! — И опять затюкала по крапиве.

Но однажды Сергеев услышал птиц едва ли не всех, что создавали подмосковную весну; они слетались в сад из окрестных лесов и полей, чтобы дать концерт под его окнами, распахнутыми в неестественную, пугающую тишину. Они пели все разом и ничуть друг дружке не мешали, их сильные, наполненные голоса сливались в единый хор, но каждый вел свою партию. Как они заливались, какие пускали трели, какие ноты брали!.. Сергеев ждал, что ветви деревьев, еловые остро-

вершки, крыпши, карнизы и провода усеяны птицами, но, выглянув в окно, не обнаружил ни одной певуньи, даже синичек, которых бабка подкармливала обрезками колбасы. Незримость птиц, чья оглушительная звень колебала зеленое, горячее, пропитанное солнцем пространство, поразила Сергеева до испуга. В висках застучало. Он сел к столу и зажал ладонями уши: дивное пение продолжалось еще громче и победней. Это шумела кровь в склерозированных сосудах, с трудом проталкиваясь сквозь них, а внешний мир оставался все так же беззвучен. Видимо, он обречен довольствоваться той музыкой, которую носит в себе, в чем есть свои преимущества: его певучая кровь безразлична к временам года...

...Минувший февраль Сергеев провел в подмосковном санатории. Громадная, из светлого кирпича башня высилась посреди обширной площади, обдуваемой всеми ветрами, гуляющими по средней Руси. В народе это называется стоять на юру, на сквозном ветру. Тут можно ощутить мозжащее дыхание норда, прилетевшего аж с самого Ледовитого океана, и теплый вей остудившихся в долгом пути раскаленных ветров пустыни, и солено-влажный охлест с запада, где море, и судорожные порывы переменчивых восточных ветров. «В России всегда ветер», — говорил один старый писатель, но с таким же успехом можно сказать, что в России всегда дождь или всегда ведро, ведь Россия не страна, а целый мир, где всегда — все. Но высказывание староро писателя обретает предметный смысл, если свести необъятную Россию к крошечному пространству, занимаемому санаторием «Плакучая береза», здесь всегда ветер, тревожно, мучительно, сладко и гибельно натягивающий тонкие нервы подопечных здравницы. Ветры приходят из пустоты, за которой угадываются потонувшие в снегах деревеньки, из сквозного березового редняка, подковой охватывающего санаторий.

Наверное, из-за ветров тут живешь словно под током, в напряженном ожидании чего-то. Для Сергеева это ожидание разрядилось приездом четырех красивых, стройных людей, составляющих семью. То были муж, жена, дочь и внучка. Первые трое выглядели много моложе своих лет, а четвертая — много старше, и требовалось некоторое усилие, чтобы поставить их в правильные отношения друг к другу. Родителей пришлось состарить, дочери прибавить лет, внучке порядочно убавить, что низвело ее из ранга взрослой девушки в скромный чин большой девочки.

Нервная обостренность помогла Сергееву угадать еще одного, отсутствующего члена семьи (разумеется, не мужа дочери — отца большой девочки, он подразумевался, нет, другого); Сергеев вычитал его в раненых глазах старшей женщины, в странной судороге, порой кривившей ее крепкий добрый рот, в складках, вдруг прорезавших гладкое, прочное, не поддавшееся старению лицо. Не стоит преувеличивать проницательность Сергеева, он провидел лишь потерю, но, конечно, не мог знать, что потерял, и совсем недавно, был сын, талантливый юноша, обещавший стать незаурядным ученым, его унесла внезапная, редкая, мучительная и неизлечимая болезнь.

Семья держалась стойко против ветра, не того пронзительного низового, но малого своей очевидной краткостью, что в пору их приезда наметывал сухой, рассыпчатый снег на северный фасад санатория, а против ветра судьбы, с неиссякающей злобой стремящегося оборвать их парус, черного ветра, что на половине жизненного пути ослепил отца, в раннем детстве отнял слух у дочери, а недавно унес сына. Не сразу понял Сергеев, что темные, внимательно обращенные к собеседнику глаза красивого, неторопливо-изящного в движениях человека слепы. Его глазами была жена. В долгой совместной жизни

они выработали такую систему поведения, неприметных для окружающих легчайших жестов, касаний, покашливаний, междометий, вскользь роняемых слов, что слепой человек мог вести себя в предметном мире с уверенностью зрячего. У него не было ошибочных или просто неуверенных движений, ни малейшей шаткости в походке, он не закидывал косо голову в опасении неожиданного препятствия, мог сказать, который час, вынув из кармашка брюк часы с выпуклыми цифрами, и вы не замечали, что он видит время пальцами, ко всему еще бегло печатал на машинке, но хоть он и много умел, его вела жена.

Еще дольше не догадывался Сергеев о глухоте дочери, относя ее странную, не окрашенную живым выражением, подчеркнута отчетливую речь за счет тембровых свойств довольно низкого голоса. Но она говорила так, потому что не слышала себя, потому что освоила речь по слабой памяти детства о звучащем мире и артикуляции специальных учителей, в первую очередь родителей, которые вели ее сквозь объяввшее безмолвие так же неприметно и твердо, как мать вела отца сквозь его ночь.

Сергеев почти всерьез задумался: что, если мы вовсе не почетные гости на пиру всеблагих, как горделиво рисовалось Тютчеву, а жертвы грандиозного эксперимента? Цель беспощадного опыта — определить, насколько значителен слой человеческого в человеке. Если так, далекие боги должны снять шляпы, или как там называется то, чем они прикрывают вместилище своего блистательного и страшного разума, перед нравственной силой этой семьи.

Каждый член семьи осуществляет до конца свое назначение. Увенчанный всеми наградами и званиями, отец создает невысказанные математические структуры, равно способные и пересоздать вселенную в лучшем образе и разрушить до основания. Но разве думают ученые — жизнелюбы, весельчаки, альпинисты о гибельности своих построений, они просто дают работу серому веществу мозга, а сами нацелены лишь на доброе. И слепой математик, исполненный нежности ко всему сущему, в свободное время изобретает автомобильные двигатели, которые не отравляли бы, а озонировали воздух, и самолетные моторы, посылающие на землю не адский грохот, а звуки скрипок Вивальди и Моцартова клавесина.

Дочь — кандидат наук, она отстаивает свои научные взгляды на международных конференциях, форумах, симпозиумах, столь же добросовестно и ясно произнося низким немодулированным голосом слова английской речи, как и русской.

Мать осуществляет себя в высшем человеческом подвиге самоотдачи: свою профессию — а строить дома больше чем профессия, это призвание — она оставила ради мужа и дочери, став глазами одного и слухом другой. Но меньше всего она похожа на жертву. Раз в лесу на лыжне наперерез Сергееву вынеслась лыжница с раскаленным лицом девы-воительницы; она резко свернула в просеку Сергеева и промчалась мимо, обдав свежим жаром, и лишь по дружеской улыбке и взмаху ресниц над серо-голубыми глазами он признал в прекрасном молодом существе, словно разламывающем лес в стремительном могучем беге, жену слепого математика.

Ну а внучка вся в очаровании юности. У нее золотые глаза и розовые маленькие уши, так чутко слышащие мир, что мочки то и дело прозрачно вспыхивают — восхищение окружающих стыдно радует и смущает. Эта девочка — общее творение и награда семьи.

— Я проследил внутренне сквозь годы образ моей жены и даже дочери, — говорил Сергееву математик, когда они попивали легкое вино в номере. — Я знаю, как они выглядят сейчас, и радуюсь этому.

Но я не знаю, как выглядит моя внучка. Впрочем, так ли уж это важно? Она милая, милая, я создал себе ее портрет, и мне не надо другого. Зрение дает восемьдесят пять процентов информации о мире, но слух представляется мне самым важным из пяти чувств. Лишиться музыки!.. Недаром же Толстой, смирившись с неизбежностью смерти, лишь об одном жалел — о музыке. Там ее не будет... Почему вы не носите слуховой аппарат?

— Разве я настолько плохо слышу?

— Глухота быстро усиливается.

Так вот почему он завел этот разговор!

— Аппарат мне не поможет. У меня другая глухота.

— Война? — спросил он сразу.

Сергеев замаялся. Ему не хотелось вдаваться в подробности, а прямой утвердительный ответ содержал бы какую-то героическую неправду. Хотя с другой стороны... Сергеева послали в городок Ангу, где находились тылы Воронежского фронта, показаться в госпитале врачам. Несколько дней назад на передовой он раздражал немецких солдат, выкрикивая в картонный рупор «Гитлер капут!» и другие обидные вещи, это входило в службу контрпропаганды. Когда немцам окончательно надоел его простуженный голос, назойливо и ненужно нарушавший тишину пустого, грустного осеннего поля, называемого ничьей землей, они ударили из миномета. Осколок задел и повернул каску на его голове, но боли особой не было. Не больше чем в детстве, когда дворовый враг Женька Мельников попадал ему в лоб из рогатки кусочком чугуна, отбитым от лестничной отопительной батареи. Но, как и встарь, была жгучая обида — ведь не ответишь. Женька стрелял из форточки своей квартиры, и до немцев не добраться. Сергеева удивило, почему через несколько дней его отправили в госпиталь, он полагал, что находится в отличной форме. Он добрался на попутных до Анны, но, прежде чем идти в госпиталь, завернул на жалкий, нищий базарчик, где за катушку ниток получил стакан коричневатого варенца. Он только поднес к губам краешек холодного стакана, как вынырнувший из туч «хеншель» сбросил на базарчик фугасную бомбу, одну-единственную, словно яйцо снес. Не было ни воздушной тревоги, ни зенитного огня, не слышалось и прерывистого самолетного гуда, впитавшегося в ватные тучи и туманную сочу воздуха. Когда Сергеева откопали, он сжимал в руке зубристой донце стакана. Много лет спустя на диспансеризации врач-ларинголог постучал его костяшками пальцев по темени и определил потерю слуха в левом ухе вследствие контузии. «А правое ухо вы мне оставите?» — тревожно улыбнулся Сергеев. «Я не предсказатель», — вздохнул старый врач. Жизнь научила его смирению, он верил в природные силы человеческого организма куда больше, нежели в медицинское предвидение. Но мужественный собеседник Сергеева, в чьем тяжком опыте утрата одного из пяти чувств представлялась почти неизбежной, считал неуместным даже пифийское двусмыслие, оставляющее хоть тень надежды. Он хладнокровно нарисовал Сергееву ожидающее того будущее. «Ну что ж, — думал Сергеев, с чуть лишней жадностью глотая вино, — тогда я примкну к вашему богатырскому клану, если станет сил, а не станет, займу у вас...»

...Так как же, друг мой Сергеев, стало или не стало у тебя сил? Ты еще и сам не знаешь. Ты сильно растерялся, когда обнаружил, что вместо весенних голосов птиц получил шумную возню крови в сузившихся сосудах. Значит, ты все-таки думал обмануть судьбу? Не вышло, да и не могло выйти. Ты получишь сполна все, что война запрограммировала тебе на старость. Утешайся тем, что всякая старость трудна, а телесные недуги и физические потери еще не самое страш-

ное. И не верь, что бывает величаявая старость. Олимпийца Гёте, сохранившего до исхода остроту чувств, силу мозга и духа, железное здоровье, постигло иное, почти смешное, на деле же горшее из всех несчастий: на девятом десятке он без памяти влюбился в восемнадцатилетнюю девушку. Он верил, старый ребенок, величайший поэт, что родители с радостью отдадут дочь за творца «Вертера» и «Фауста», кумира Европы. Но те решили, что старец сошел с ума (так оно отчасти и было), кругом столько достойных женихов, подходящих по возрасту их сокровищу: сын булочника, аптекарь, подающий надежды чиновник магистрата. Молодому сердцу старого поэта не дано было спеть последней песни любви. Он умер с разбитой душой. Кажется, девушка так и не вышла замуж ни за сына булочника, ни за аптекаря, ни за обещающего чиновника. Поверить этому трудно, уж больно возвышенно, но, может, и впрямь «звуков небес», коснувшихся юного слуха, «заменить не могли ей скучные песни земли»?

Но оставим Гёте вечности. Он свое отстрадал, а твои муки только начинаются. Покамест ты лишился соловьев и жаворонков, но у тебя остались вороны. Ты слышишь много механических шумов, громкую музыку, да и человеческую речь потерял лишь в кино, а это невелика потеря. Наслаждайся же еще звучащим миром и чаще вспоминай своих друзей по «Плакучей березе». Жаль, что глава семьи принадлежит к нередкой в наше опасливое время категории «невидимок». У него нет адреса и телефона, он живет в столь засекреченном месте, что, возвращаясь туда, как бы исчезает из мира. А с недавних пор он стал особому нужен Сергееву.

В конце июня Сергеев шел по лесной прогалине, ведущей сперва сквозь березняк, потом сквозь темный еловый лес к поляне с тремя старыми дубами. Раньше он часто ходил этим путем, обещавшим неожиданные встречи: то с лосем, то с лисой, то с куницей, раз в густых сумерках протопали кабаны. Но затем возле дубов построили теплицы, и звери покинули эту часть леса. Куда уходит гонимое строительством подмосковное зверье, где находит тихую обитель? Газеты часто с непонятым восторгом пишут о «лосе в черте города». Чему тут радоваться? Неужели городские улицы кажутся сохотому приветливей подмосковных лесов? Лишь дрозды остались верны прогалине да появились недавно какие-то ошалевшие совы, путающие ночь с днем. При свете солнца, когда им положено спать, плотно смежив круглые изжелта-зеленые глаза, они срываются с ветвей и несутся куда-то, натываясь на деревья.

И как возликовал Сергеев, когда в полсотне шагов впереди себя увидел лосенка, объедающего кустарник. Он не обращал внимания на приближающегося человека, и, замерев на мгновение, Сергеев быстро зашагал к нему. Лосенок и не думал бежать, утратив сторожкость в жадном насыщении. Порой он совсем исчезал в кустарнике, затем вновь, испятнанный теньями листьев, возникал на краю лесного коридора. С каждым шагом в Сергееве нарастало дурное предчувствие. И когда уже не стало сомнений, что слух не единственная его потеря, он продолжал тупо и жалко убеждать себя, что это лосенок, а не игра света и теней. Легкий ветерок, тянущий по прогалине, да косою солнечный луч наделяли обманной жизнью куст боярышника с запутавшимися в нем сохлыми стеблями дудок. Где твой соколиный глаз, Сергеев, которым ты за шестьдесят метров брал летящего чирка на цель?..

В засекреченной семье есть незасекреченная внучка с московским телефоном. Но это слишком опасный связной. Не хватало Сергееву ко всем утратам еще и Гётевой муки.

Лунный свет

Он появился в моем подмосковном жилье ноябрьским звонким полднем, когда внезапный мороз сковал крепким ледком лужи, схватил и ожестчил слабый, плавкий иней на хвое, пустил длинную ледяную слезу по каждой березовой и осиновой веточке, по каждому прутику вербы и краснотала и сделал хлюпкий, квелый, чавкающий мир сопливой осени сухим, стеклянно-чистым и звонким. Хотелось верить, что это уже зима: затянется простор искрящейся пеленой, поникнут отяжеленные снегом сосновые и еловые лапы, воцарится особая снежная остужная тишина и душу настигнет тот благостный покой, что дарится нам лишь с наступлением на земле царства Корочунова.

Тут вот он и возник неумолимым посланцем мировой суеты, которой нет дела до нежной дремлющей благодати,— румяный, крепенький, круглолицый, в куртке из кожаменителя, толстой вязки свитере, хорошо выношенные джинсах и высоких зашнурованных ботинках. Оказывается, мы договорились о встрече еще на той неделе, и он мигнул в минуту прибыл сюда из Москвы, хоть добирался на трех видах транспорта: метро, автобусе и своих двоих. Это напомнило мне о правилах гостеприимства, я помог гостю раздеться, усадил за стол поближе к печке и стал пить горячим чаем. Одет он был по вчерашней погоде, похоже, порядком очоленел. А я думал с тоской, что договаривались мы слякотным, черным, тяжелым днем поздней осени, когда безразлично, чем заниматься, лишь бы скорее пропустить мимо себя давящую осеннюю хмарь, а сейчас на земле — рай: вверху сине и прозрачно, внизу льдисто и сияюще и, боже святой, как не хочется говорить о досуге, которого у меня никогда не бывает, к тому же не просто трепать языком — это еще куда ни шло,— а «рассмотреть вопрос с философских позиций».

Мой юный гость был философом и собирал материал для кандидатской диссертации, посвященной проблеме досуга современного человека. Он уже беседовал со многими людьми самых разных профессий и вот решил узнать мои соображения по интересующей его теме. Это было лестно, но беда заключалась в том, что я никогда не думал о досуге и даже не очень представляю, что это такое. Я всегда занят, мне каждый день не хватает двух-трех часов. Видимо, такова судьба писателя, пишущего «малую прозу»,— слишком много сопутствующей суеты, съедающей время. Если же под досугом подразумевать отпуск, то тут и подавно нечего сказать. Отпуска у меня не бывает, я его себе не даю. Но иногда езжу в санаторий, где лечусь и работаю. Нигде так хорошо не работается, как в санатории. Раз в жизни, убежденный врачами, что надо дать полный отдых мозгу и нервам, я не взял с собой никакой работы, и тут же в голову полезли мысли о смерти. Неотвязные. Изнуряющие. Костлявая уселась мне на грудь, как андерсеновскому императору в сказке о соловье. Вконец измучившись, я сел писать рассказ, и смерть отлетела быстрее, чем при звуке соловьиного голоса, пробудившего в ней сладкую тоску по сырому, тенистому кладбищу — ее обители.

Я решил честно объяснить моему ученому собеседнику, как обстоит у меня с досугом. Он аппетитно пил чай с сухарями, грея красные, намерзшие пальцы о горячий стакан. Мне тяжело было его разочаровывать. Он спокойно и терпеливо выслушал мой лепет, допил чай и отодвинул стакан. Видимо, он уже привык к мозговой лениности своих собеседников, и это его не обескуражило.

— Вам только кажется, будто вы ничего не знаете о досуге. Мой недавний звонок наверняка дал толчок вашей мысли. Вот и скажите об этом.

Мне вспомнился потерянный шелест едва пробивающего пространства невразумительного телефонного разговора, и я заговорил как под действием гипноза:

— Пушкин высоко ценил досуг. Он называл его иленительной ленью, блаженной ленью и ленью просто. Он считал, что именно в минуты такого вот созерцательного ничегонеделания, полной душевной свободы и происходит постижение мира, рождаются поэтические образы. В житейской суете ничего не создашь.

— Ну вот видите! — добро улыбнулся он. — Значит, по-вашему, Пушкин был за активный отдых?

— В каком смысле? Активный отдых — это, кажется, спорт, рыбалка, охота, туризм. Пушкин имел в виду что-то другое.

— Активный отдых надо понимать шире. Не то, что человек должен обязательно что-то делать, но он должен что-то приобретать, духовно обогащаться...

Так незаметно завязалась беседа. У меня ум, совершенно неспособный к обобщениям; я могу постигнуть данность, частность, хотя мне легче что-либо представить, чем уловить мыслью, но вот соотносить данное явление с другими, порой весьма далекими, найти таинственные связи, распространить сделанные выводы, накрыть ими большую группу разнородных фактов я органически неспособен. Этим завидным качеством обладал мой гость, у него действительно был философский ум, охватистый, цепкий, мускулистый. Меня поражало, с какой легкостью он обнаруживает в частном общее, находит четкий рисунок в хаотической мозаике бытия. В совершенстве владея языком современной науки, он мгновенно облакал в чеканные формулировки мою бедную невнятицу. Порой мне начинало казаться, что я ему вовсе не нужен, что это просто визит вежливости. Нет, конечно, его интересовали частности, конкретные наблюдения, и он искренне радовался, что им тут же находится место в его стройной конструкции. Он добросовестно проверял себя материалом чужого опыта.

Наше долгое сидение прерывалось сперва на обед — как хорошо, вкусно и бережно он ел, под конец собрал указательным пальцем крошки со скатерти и отправил в рот, — потом чаем с сотовым медом, о котором он сказал, что это настоящий цветочный мед, а не сахарный, который часто всучают на рынке.

Когда же мы наконец отговорились, впору было зажигать электрический свет — короткий ноябрьский денек успел отгореть. Молодой человек собрал свои записки, я помог ему натянуть на толстый свитер курточку и вдруг почувствовал, что ему не хочется уходить, а мне жалко расставаться с ним.

— Давайте посошок на дорожку? — предложил я.

— Спасибо. — Он слегка покраснел. — Не употребляю совсем.

— Ну а чайку горячего?

— Всегда с удовольствием!

Мы вернулись к печке и снова принялись чаевничать. Меня интересовало, давно ли он увлекся темой досуга и касался ли ее в своей дипломной работе.

— Нет, диплом у меня был другой. Прямой наводкой — по идеализму! — сказал он со своей доброй румяной улыбкой.

— А более конкретно?

— Боюсь, это вам ничего не скажет. Работа была направлена против мистической чепухи господина Сведенборга.

— Сведенборг? Шведский мистик и теософ восемнадцатого века?

Сидя в Стокгольме, знал, что Копенгаген горит? — вытащил я со свалки памяти.

— Он самый!

— Но разве с его бреднями не покончено?

— Покончено. Да ведь знаете, как в философии? Проходит время — и вдруг кто-то извлекает из чулана забытый хлам, подчищает, подновляет, снабжает современной терминологией и пускает в оборот. К Сведенборгу я еще вернусь, вот только разделаюсь с диссертацией.

— А когда защита?

— Теперь уже скоро. Я ведь пятый год с ней вожусь. Не повезло мне крепко — в аспирантуру не попал. Хотели в Тамбов распределить, я сам из тех мест, но терять Москву, библиотеку, профессоров — это ж полный зарез. Пошел учителем в сельскую школу — не препятствовали. Луховицкий район, может, слышали? Самый дальний угол Московской области. Глухомань — не скажешь, но глубинка в полном смысле. Там я преподавал и диссертацией занимался. А как воскресенье — в Москву, на весь день в Ленинку.

— Трудно было?

— Терпимо... Эх, дорогой товарищ писатель, — сказал он с внезапной горечью, — как иной раз жизнь человека бьет!.. Меня там так припекло, не всякому и расскажешь. Едва ноги унес. Хорошо сердце здоровое — выдержало.

Конечно, я был заинтригован, но боясь его спугнуть и вместе с тем чувствуя, что ему хочется поделиться пережитым, промолчал. И правильно сделал, он заговорил сам — какой-то другой речью:

— Школа-десятилетка, куда я устроился, стояла наособь между несколькими мелкими деревеньками, чтобы никому обидно не было. И вышло так, что поселился я в самой дальней деревне, мне до работы восемь километров и столько же обратно. Да ведь ребятишки ходят, а я чем хуже? Конечно, зимой, когда рано темнеет и волк завоет, не больно уютно, но терплю. Ближе не приткнуться было, живут все многосемейно, в иную избенку до десяти человек набьется, а мне работать надо. Я же устроился хоть далеко, да просторно и удобно: в большой пятистенке я и бабка. Она всегда в кухне, там и спит за печью на лежанке, а мне вся горница. Я столик себе поставил, книги разложил, лампу настольную приобрел: только работай. И с питанием порядок: даю бабке рубль в день, она щей наварит, пшенку молочную такую в печи запарит — с пальцами съешь, и всегда у нее огурчики соленые, капуста квашеная, груздочки, рыжечки сырого посола, а летом всякая огородная овощ, ягоды. Замечательно жили. Но старуха была какая-то странная. Знаете, в каждом крестьянском доме обязательно рама с фотографиями на стене, дети, родня, а у моей старухи ни одной карточки. Неужто у нее никого не было — ни мужа, ни детей, ни братьев-сестер? Я раз спросил ее об этом, хотя ответа, признаться, не ждал. Она и вообще молчуньей породы, бывало, за весь день слова не обронит: звякнет чашкой — значит, самовар поспел, брякнет чугунок на стол — обедать пора, а коли пустое ведро ногой ткнет — надо за водой идти. Я думал вначале, что она сильно верующая, но хоть образа в красном углу висят, ни лампадки, ни свечки она не теплит, в церковь сроду не собралась, решил — раскольница, или хлыстовка, в общем, из сектантов. Но она никаких обрядов не справляет, братцы и сестрицы по вере к ней не ходят, собаками не брезгует, щенка держит, раз я закурил для интереса — дыма не боится. Но ответ я от нее получил чин чинном, хоть едва слова цедила: старик ее помер еще до войны, дочь, уже сама старая, на Дальнем Востоке живет, если тоже не померла. Она туда с мужем-военным еще в тридцать четвертом уехала. Последнее письмо после войны прислала. Родня

давно вся убралась, вот и живет одна. Раньше в больнице уборщицей работала, сейчас на пенсии. Неинтересная какая-то выходила ее жизнь, не теплая. И не зналась она ни с кем. Сколько я у нее прожил, не помню, чтобы кто зашел, кроме почтальона с пенсией и пастуха за харчами. Меня еще удивляло, что пастух не столуется у нее, как положено, а берет по-армейски сухим пайком. Но мне-то что до этого, мы жили душа в душу. Она мне не мешала, я ей тоже. И отчего во мне беспокойство завелось, до сих пор не пойму. Стал я плохо спать, вернее, засыпал с трудом. Ворочаюсь, ворочаюсь, все уладиться не могу, и мысли какие-то незаконченные, оборванные в голове мечутся. Под одеялом жарко, пот прошибает, а кожу — зуб об зуб бьется, и ведь тепло в избе, бабка каждый день печь топит, а на дворе май. Вроде бы не то что под простыней — гольшом спать можно, а чуть раскроюсь — трясет. Неладное со мной происходит: то палит изнутри, то ледяной остудью прохватывает. И вот в очередную бессонницу метался я, как бес перед заутреней, и вдруг будто в бок толкнуло, я шасть к краю кровати, и тут же на подушку что-то грохнулось. Гляжу — лампада. Была она на массивном, с цепями, серебряном подвесе, кончавшемся острым шипом. И подушку распорол как раз в том месте, где мой лоб находился. Не увернись — верная смерть.

И тут я замечаю, что в горнице светло, как днем: огромная полная луна в избу ломится. Сроду я так близко луны не видал, красиво и чего-то жутко. Лежу и думаю: случайно или не случайно лампада грохнулась, и если не случайно, то какая кому корысть в моей смерти? Что с меня возьмешь: штаны, да рубашку, да старый дождевик. А с другой стороны, нешто постояльца под образа кладут? Это только покойников, живых — ни в коем разе. Значит, с умыслом сделано. И как я сразу не сообразил: может, все мое беспокойство с того и шло, что не лежалось мне в красном углу под тяжелым светильником. Надо, думаю, старуху попытать. Только она отопрется, скажет, что я сам во сне лампаду сорвал. И все-таки обязан я ее спросить, а то, неровен час, она приладит лампаду на старое место, глядишь, в другой раз стукнет без промаха. Нет, надо ее разбудить, спросонок она скорее расколется. Но будить мне ее не пришлось: слышу — завозилась в своем углу, встала. Небось на двор захотела. Ладно, подожду, когда вернется. Но входная дверь молчит, и все в избе молчит, как умерло, и ходики не тикают, и сверчок затаился. А старуха как поднялась с лежанки, так дальше не пошла. В деревне ночной посуды нет в заводе, окаренок — я бы услышал. Чего-то там задумала. Осторожно спустил ноги с кровати, на носках пересек горницу и за печь стал. Маленько дух перевел, выглянул и, поверьте, чуть сознания не лишился: старуха в длинной белой рубахе, с закрытыми глазами по лунному лучу плыла. Вернее сказать, не совсем плыла, а чуть-чуть босыми ногами перебирала, сучила и легкую лунную пыль подымала — клубилось у нее под ступнями. А половиц не касалась. Меня аж выбросило из-за печи. «Ты чего?» — не сказал — выдохнул. И слышу, как ее ноги легонько об пол стукнулись. Луч сразу из-под них выскользнул и по подолу рубахи растекся. Она не ответила, глаз не открыла, медленно, плавно повернулась, прошла к лежаку и села. Я — за ней: «Ты чего, бабка?» «Ничего. А ты чего?» И голос у нее обычный, негромкий, ворчливо-сиплый, дневной, только какой-то далекий, и глаза по-прежнему пленками век затянуты. «Ты чего бродишь?» «А ты чего?» — эхом из дали отзывается. «Меня чуть до смерти лампада не убила!» «Будя городить-то!» — сказала как-то равнодушно, повалилась на постель и сразу засопела. И почему-то я решил, что лампада на своем месте висит. Бросился туда — ничего подобного, на подушке, где и была... Ну что вы на это скажете?

— А что тут можно сказать? Лампада упала, потому что упала, а старуха просто лунатичка. Не такое уж редкое явление.

— И я тем же себя успокаивал, чтобы ночь дотерпеть. Но в деревне не остался. И конец учебного года в школе на столах ночевал. А после за Москву уцепился. Вот какие бывают происшествия. Что там Сведенборг! — Он поднялся, тщательно застегнул курточку. — Пора. Уже поздно, а мне еще до автобуса топать. — В дверях обернулся и спросил серьезным, глубоким голосом: — У вас тут не балуют?

— Господь с вами! Кому баловать-то? Три четверти дач заколочено, в поселке несколько еле живых классиков да пяток старух-домработниц — дачи сторожат.

— Старух? — повторил он многозначительно.

Я не понял. Резким движением он распахнул дверь. Сад был залит пронзительным, серебристо-зеленоватым, хрустальным светом. И совсем близко над верхушками голых берез и островершками елей стояла в мгlistом мерцании ореола большая чистая луна — совершенный круг. Я и забыл, что сейчас полнолуние. Над ней и под ней в ее свете слоисто сдвигались облака, по облакам проскальзывали легкие, как дым, тучки. Но ни плотные облака, ни этот дымок не посягали на широкую круглую промоину, выгаданную луной в загроможденном небе, чтобы оттуда беспрепятственно изливать на землю свой колдовской свет. Только теперь дошло до меня, что стояло за тревожным вопросом: не балуют? Не лихого человека, не лесного разбойника, не тата боялся этот крепкий юноша, вполне способный постоять за себя в державе земного притяжения.

— Не слышно вроде. — Ответить более твердо и определенно, когда сад, и дом, и вся окрестность, и собственная душа залиты этим завораживающим светом, я не мог.

— Вот то-то и оно, — понурил он лобастую голову.

— Давайте я вас провожу.

— Мне, право, неловко... — пробормотал он, явно обрадованный предложением.

— Я все-таки местный, — добавил я, словно это что-то значило в магическом круге лунных сил.

— Хотя бы до кладбища, — сказал он и первый ступил с крыльца в лунный поток.

Меня поразила его наблюдательность. Наша окрестность, еще недавно малонаселенная, не имела кладбища, старого деревенского погоста, средоточия тайн, ужасов и поэзии, с покосившимися крестами, рухнувшими и расколовшимися надгробьями, повитыми травами, в которых скрывается невероятно крупная и сладкая земляника, — и как угадал он с дороги малый островок в глубине пустого пространства, где, проредив бузинную и ракитовую заросль, жители недавно возникшего поселка строителей похоронили своих первых умерших. Там не было ни ограды, ни крестов — всего лишь несколько фанерных цокольников со звездочкой на могилах ветеранов войны да ничем не помеченный бугор над младенцем, так и не открывшим миру зора. Заметить этот островок в незнакомой местности и угадать его назначение могла лишь очень пристальная к опасности душа.

И мы пошли, и лунный свет стелился нам под ноги и словно отделил от земли, и даже какая-то невесомость открылась в теле, и странно заструился воздух мимо висков, и пропал тонкий хруст ледка под ногами. Бесшумно плыли мы по лунной реке...



ИРИНА ВОЛОБУЕВА



ИХ БЫЛО ТРИНАДЦАТЬ

Памяти тринадцати моих друзей-одногодков,
погибших на войне.

Их было тринадцать средь нас, одногодок,
Друзей-футболистов, ребят озорных.
Как браво угольники новых пилотов
Сидели на стрижах мальчишеских их.

И с ними никак не вязалось отчаянье
И плач провожающих, где в толкотне
Махали друг другу тринадцать прощаний,
Не зная еще ничего о войне.

И было для нас словно мира крушенье —
Тринадцать геройски погибших ребят...
При встречах, твердя матерям в утешенье
Бессвязное что-то, мы прятали взгляд.

А ныне все чаще вдруг полночью долгой
Мне чудится, что, продолжая свой матч,
Тринадцать ребят в полосатых футболках
Все так же гоняют коричневый мяч.

И мы под студено-задымленным небом,
Тринадцать невест их в грустинках седин,
Из окон своих, запорошенных снегом,
На солнце их вечного лета глядим.



ВЕРА ИГЕЛЬНИЦКАЯ



ТА ЖЕНЩИНА

И в проруби окна
ее лицо белей известки.
И там на перекрестке
ее фигура
передернута дождем.
Она все время
предо мной маячит,
как ласковый,
блажной и легкий мячик.
И вот опять
передо мной стоит
белее мела, холоднее муки.
Зачем чужой судьбы
мои коснулись руки...

* * *

Ты приедешь не скоро.
И придет
вся в слезах
недостойная осень.
Будут сыпаться
листья,
и сухие слова
застревать будут в горле,
и сухой разговор
между нами
произойдет.
Ты протянешь мне яблоко.
Я возьму,
надорвусь и заплачу...
И мое ожиданье,
словно хлебные крошки,
ты смахнешь со стола.

Так окончится осень.
С онемевших ступеней
листок белокрылой бумаги
сорвется.

Мир живой,
одичалый
стаю листьев на землю швырнет.
Снег падет, оскорбленный.
И лицо мое
окаменеет.
И, ссутулившись, ветер
побредет по холодным ступеням,
где глаза стекленеют
у зачарованных голубей.

* * *

Шел дождь и снег.
И было пронзительно зябко.
Не от снега, а так, вообще.
Дул ветер. Исподтишка,
как из форточки.
Меня пронизывал холод.
Не от ветра, а так, вообще.
Зажегся фонарь. Желтого цвета.
Было слишком темно,
а стало слишком светло.
Не из-за фонаря. А так, вообще.
В глаза влетал снег,
и лились слезы. Может, от снега,
а может — так, вообще.



ДЖОН СТЕЙНБЕК



ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС

Роман

Внемлите, судари, со тщанием
Сей притчи мудрым увещаниям
И ощутите Вожий страх:
На небо смертного призвание
Есть всей земле напоминание,
Сколь преходящи мы во днях.

«Призвание смертного на небо»¹.

Глава I

В шестидесяти семи километрах к югу от Сан-Исидро на шоссе север—юг есть перекресток, восемьдесят с лишним лет назад прозванный Мятёжным углом. Здесь от шоссе под прямым углом ответвляется дорога на запад, и через семьдесят восемь километров она выходит на другое шоссе север—юг, соединяющее Сан-Франциско с Лос-Анджелесом и, само собой, Голливудом. Всякий, кому нужно попасть из долины в глубине штата на побережье, должен свернуть на эту дорогу, которая начинается у Мятёжного угла и, попетляв между холмами, через пустыньку, через поля, через перевал выбегает на приморское шоссе прямо посреди городка Сан-Хуан-де-ла-Крус.

Мятёжный угол получил свое название в 1862 году. Рассказывают, что на этом перекрестке держала кузницу семья Бленкенов. Сами Бленкены и зятья их были нищие, темные, гордые и буйные выходцы из Кентукки. Не нажив добра и мебели, они притащили с востока что имели — свои предрассудки и свою политику. Не обзаведясь рабами, они, однако, готовы были живот положить за свободу рабства. Когда началась война, Бленкены посоветовались, не поехать ли назад через бескрайний Запад сражаться за Конфедерацию. Но путь был длинный, в один конец они уже проехали — и решили, что больно далеко. Так в Калифорнии, склонявшейся к северянам, Угол Бленкенов с кузницей и шестьюдесятью пятью гектарами земли отложился от Союза и примкнул к Конфедерации. По рассказам, чтобы оборонять свой мятёжный остров от проклятых янки, Бленкены отрыли окопы и прорезали в кузне бойницы. Янки же эти — в большинстве мексиканцы, немцы, ирландцы и китайцы — не то что не нападали на мятёжников, а прямо гордились ими. Слаще Бленкенам никогда не жилось: неприятель подносил кур и яйца, а в убойную пору даже свиную колбасу, — все считали, что такую доблесть надо уважать, невзирая на убеждения. Участок получил название Мятёжный угол и сохранил его по сей день.

После войны Бленкены сделались ленивыми, склочными; как всякая побежденная страна, упивались ненавистью и обидами, а потому, забывши вместе с войной и гордость, люди перестали ковать у них лошадей и направлять плуги. И то, что армии Союза не могли сделать силой оружия, сделал Первый национальный банк Сан-Исидро с помощью просроченной закладной.

¹ Перевод А. Сергеева.

Теперь, восемьдесят с лишним лет спустя, о Бленкенах помнят мало — только что они были очень гордые и очень вздорные. Участок за это время много раз менял хозяев и в конце концов влился в империю газетного короля. Кузница сгорела, была отстроена, сгорела снова, а то, что осталось, переоборудовали в гараж с бензоколонкой, а позже в магазин-ресторан-гараж со станцией обслуживания. Когда участок купили Хуан Чикой с женой и приобрели право на пассажирские перевозки между Мятёжным углом и Сан-Хуан-де-ла-Крусом, хозяйство это стало еще и автобусной станцией. Мятёжные Бленкены из-за гордости и повышенной обидчивости, которая есть признак невежества и лени, исчезли с лица земли, и никто теперь не помнит, какие они из себя были. А Мятёжный угол знают хорошо и Чикоев любят.

За бензоколонками стояла маленькая закусовая, в закусовой — стойка с круглыми закрепленными табуретами и три столика для тех, кто желал расположиться поосновательнее. Чаще они пустовали — за столиком полагалось давать чаевые хозяйке, а за стойкой нет. Позади стойки первую полку занимали булки, плюшки, пончики, вторую — консервированные супы, апельсины и бананы, третью — коробки кукурузных хлопьев, рисовых хлопьев, ячменных хлопьев и других казенных злаков. С краю за стойкой был рашпер, рядом с ним раковина, рядом с ней краники — газированной воды и пивной, рядом с ними мороженицы, а на самой стойке держателями для бумажных салфеток, монетными щелями проигрывателя, солонками, перечницами и соусницами красовались под прозрачными колпаками пироги. По стенам везде где только можно висели календари и плакаты, изображавшие неправдоподобных ярких девушек с налитыми грудями и без бедер; блондинки, брюнетки, рыжие — все как одна обладали этим чрезвычайным верхним устройством, и пришелец из Другого мира при виде такой увлеченности художника и публики, наверно, решил бы, что мы размножаемся посредством молочных желез.

У Алисы, жены Хуана Чикой, которая работала в этом блестящем окружении, была вислая грудь, широкие бедра, и ходила она, тяжело ступая на пятки. Алиса вовсе не завидовала ежемесячным девушкам и кока-кольным девушкам. Она никогда таких не встречала и не думала, что они вообще встречаются. Она жарила яйцаницы и шницели, разогревала супы из банок, разливала пиво, накладывала мороженое, к вечеру ноги гудели, и она делалась раздражительной и сварливой. А в середине дня из прически вываливалась развисяшая влажная прядь и лезла в глаза; сперва Алиса откидывала ее рукой, а под конец просто сдувала.

Рядом с закусовой в уцелевшей кузнице был оборудован гараж; на потолке в балках до сих пор чернела копоть старого горна, и правил здесь — между автобусными рейсами в Сан-Хуан-де-ла-Крус и обратно — Хуан Чикой. Он был хороший, спокойный человек, Хуан Чикой, полуирландец-полумексиканец, лет пятидесяти, с ясными глазами, густыми волосами и красивым смуглым лицом. Жена любила его безумно — и побаивалась, потому что он был мужчина, а их, Алиса обнаружила, не так уж много. Каждый рано или поздно обнаруживает, что мужчин на свете не так уж много.

В гараже Хуан латал проколотые шины, выгонял воздушные пробки из бензопроводов, вычищал наждачно твердую пыль из карбюраторов, менял диафрагмы чачоточных бензонасосов, делал всякий мелкий ремонт, о котором моторизованная публика понятия не имеет. Не занимался он починками только с половины одиннадцатого до четырех. В это время он вез на автобусе в Сан-Хуан-де-ла-Крус пассажиров, которых высаживали на Мятёжном углу большие автобусы компании «Борзая», и возвращался обратно с людьми, которых забирали «борзые» либо в 4.46 на север, либо в 5.17 на юг.

Пока Хуан Чикой был в рейсе, его обязанности механика исполнял очередной мальчишка-переросток или безусый юнец — более или менее «ученик». Ни один из них не задерживался надолго. Доверчивый клиент и вообразить не мог, какие разрушения способен причинить такой подручный его карбюратору, и хотя сам Хуан был первоклассным механиком, в учениках у него обыкновенно ходили дерзкие подростки, которые проводили досуг, запихивая железные плашки в щель проигрывателя-автомата или вяло переругиваясь с Алисой. Этих юнцов все манила куда-то удача, увлекая все дальше на юг, к Лос-Анджелесу и опять же Голливуду, где в конце концов соберутся юнцы со всего света.

За гаражом были две кабины, увитые плющом: одна «Мужчины», другая «Дамы». К каждой вела своя дорожка: одна по левую руку от гаража, другая по правую руку от гаража.

Выделялся Угол и замечен был среди распаханых полей благодаря большим дубам, окружавшим гараж и закусную. Высокие и стройные, с черными стволами и сучьями, ярко-зеленые летом и черные, унылые зимой, эти деревья стояли как вежи в плоской, длинной долине. Никто не знает, Бленкены их посадили или же, наоборот, сами осели возле них. Последнее вероятней: во-первых, Бленкены отродясь не сажали того, чего нельзя съесть, а во-вторых, деревьям с виду было больше восьмидесяти пяти лет. Может быть, даже лет двести; впрочем, возможно, что их корни питались от какого-то подземного ключа, почему дубы и выросли такими сильными посреди полупустынных мест.

Летом эти большие деревья бросали на станцию тень, и проезжие часто останавливались под ними перекусить и остудить перегретые моторы. Да и сама станция была уютна: весело окрашенная красным и зеленым колером, с широкой грядкой гераней вокруг ресторана, красных гераней в густо-зеленой листве, плотной, как живая изгородь. Белый гравий перед бензоколонками каждый день продирали граблями и поливали. В ресторане и гараже царили система и порядок. Например, на полках в ресторане банки с супом, коробки с хлопьями и даже грейпфруты располагались в пирамидках: четыре в нижнем ряду, потом три, потом две и одна на верхушке. Так же и банки с маслом в гараже; а вентиляторные ремни были развешаны на гвоздях по ранжиру. Станция содержала в аккуратности. Окна ресторана были забраны сетками от мух, а дверь с сеткой мощно захлопывалась за каждым входящим и выходящим. Потому что мух Алиса Чикой ненавидела. В мире и без того труднопереносимом и малопонятном мухи были для нее совсем уже гадостным испытанием. Алиса ненавидела их жестоко, и смерть насекомого под мухобойкой или медленное удушение на липучке доставляли ей жгучую радость.

Подобно тому как через гараж Хуана вереницей проходили ученики, в закусной у Алисы мелькали молодые помощницы. Девушки эти, недотепистые, мечтательные, серенькие — которые поинтереснее обыкновенно отбывали через несколько дней с клиентом, — по части работы не отличались. Они развозили мокрой тряпкой грязь, грезили над голливудскими журналами, вздыхали в проигрыватель, а у последней краснели глаза, не проходил насморк, и она писала длинные страстные письма Кларку Гейблу. Всех их Алиса подозревала в том, что они впускают муж. Не раз доставалось за мух и последней девушке, Норме.

По утрам распорядок на Мятёжном углу был неизменный. С рассветом, а зимой и того раньше, в закусной зажигалась лампа, и Алиса включала кофеварку (громадное идолоподобное серебряное сооружение, которое у археологов грядущей эпохи будет значиться как предмет культа амельканов, расы, предшествовавшей атомитам, которые по неизвестной причине исчезли с лица Земли). Первыми заезжали завтракать усталые шоферы грузовиков, и к этому времени в закусной уже было тепло и уютно. Потом являлись коммивояжеры, спешившие затемно к большим городам юга, чтобы сохранить для дела целый день. Коммивояжеры всегда следили за грузовиками и останавливались там же, потому что шоферы грузовиков считаются большими знатоками придорожной пиццы и кофе. С восходом солнца подруливали первые туристы поесть и расспросить о дороге.

Туристы с севера мало интересовали Норму, зато кто ехал с юга или через Сан-Хуан-де-ла-Крус, то есть мог побывать в Голливуде, — эти ее просто притягивали. За четыре месяца Норма встретила пятнадцать человек, лично побывавших в Голливуде, пятеро из них побывали на студии, а двое видели живого Кларка Гейбла. Вдохновленная этими двоими, появившимися сразу друг за другом, она написала письмо на двенадцати страницах, которое начиналось словами «Дорогой мистер Гейбл» и заканчивалось «Любящий друг». От мысли, что мистер Гейбл вдруг узнает, кто написал письмо, ее бросало в дрожь.

Норма была верной девушкой. Пусть другие, ветреницы, бегают за выскочками синатрами, ван Джонсонами, сонни тафтсами. Даже в войну, когда фильмов с Гейблом

не выходило, Норма оставалась ему верна, освежая свою мечту цветной карточкой мистера Гейбла в летном обмундировании с пулеметными лентами крест-накрест.

Она часто насмеялась над сонни тафтсами. Ей нравились мужчины постарше, с интересными лицами. Бывало, когда она ездил мокрой тряпкой взад-вперед по стойке, мечтательно расширившиеся глаза ее останавливались на сетчатой двери — и сужались бесцветные глаза и закрывались на секунду. Это надо было понимать так, что в тайный вертоград ее мечты через сетчатую дверь вошел Кларк Гейбл, и ахнул при виде ее, и застыл с открытым ртом, признавши в ней свою суженую. А мимо него влетали и вылетали невозбранно мужи.

Дальше этого у них не заходило. Норма была робка. А кроме того, не знала, как это делается. Вся ее любовная жизнь состояла из нескольких борцовских схваток на заднем сиденье машины, причем ее целью было сохранить на себе одежду. До сих пор она побеждала просто за счет целеустремленности. Она была уверена, что мистер Гейбл не только не позволит себе ничего подобного, но и, услышав о таком, не одобрит.

Норма носила нелиняющие платья — гордость торговой фирмы «Национальные долларовые магазины». Но, конечно, у нее было и выходное, сатиновое, платье. Хотя если приглядеться, то и в нелиняющих есть своя прелесть. Мексиканскую серебряную брошку, изображающую ацтекский календарный камень, ей завещала тетка, за которой Норма ухаживала семь месяцев и на самом деле хотела котиковую накидку и кольцо с речным жемчугом и бирюзой. Но они отошли другой родне. А еще, от матери, Норме осталась нитка мелких янтарных бус. Норма никогда не надевала бусы вместе с мексиканской брошкой. Кроме этого, у нее были еще две драгоценности просто умопомрачительные — и Норма знала, что они умопомрачительные. На дне чемодана у нее лежали золоченое обручальное кольцо и перстень с громадным бриллиантом типа бразильского, оба — за пять долларов. Она надевала их только в постель. Утром снимала и прятала в чемодан. Об их существовании не знала ни одна живая душа на свете. Засыпая, Норма вертела их на среднем пальце левой руки.

Спальные помещения на Мятжном углу были просты. Жилье было пристроено к закуской сзади. Дверь у края стойки открывалась в спальню-гостиную Чикоев, где стояла двуспальная кровать под вязаным покрывалом, консольный приемник, пара мягких кресел, диван (все это называлось «гарнитур») и металлическая лампа под зелено-мраморным стеклянным абажуром. Отсюда вела дверь в комнату Нормы, ибо Алиса придерживалась теории, что за девушками нужен глаз и нельзя давать им волю. Чтобы попасть в ванную, Норме надо было пройти через комнату Чикоев или же лезть через окно, как она обычно и поступала. Подручный механика жил в комнате по другую сторону от хозяйской спальни, но имел отдельный выход и пользовался уютной плющом кабинкой позади гаража.

В общем, это был складный архитектурный ансамбль, и удобный и симпатичный. Во времена Бленкенов Мятжный угол представлял собой место грязное, неприглядное и подозрительное — Чикои же здесь процветали. Были и деньги в банке, и в какой-то степени чувство уверенности, и счастье.

Этот островок, осененный рослыми деревьями, был виден за много километров. Чтобы найти Мятжный угол и дорогу на Сан-Хуан-де-ла-Крус, никто не нуждался в дорожных указателях. В просторной долине хлеба расстились до подножия высоких гор на востоке, а в западную сторону не так далеко — до округлых холмов, где на черных лысынах стояли вечнозеленые дубы. Летом холмы плыли, томились, пеклись в желтом зное, и Мятжный угол под сенью высоких деревьев был местом заманчивым и запоминающимся. Зимой, в проливные дожди, закуская сушила тепло, бобы под острым соусом и кофе.

В разгар весны, когда зеленела трава в полях и предгорьях, когда люпин и маки одевали землю в лазурь и золото, когда пробуждались большие деревья с желто-зеленой молодой листвой, милее места не было на свете. Такую красоту не перестаешь замечать, даже когда она привычна. От нее сжимает горло утром и сладко теснит под ложечкой, когда заходит солнце. От аромата люпина и трав дышишь быстро и шумно. почти сладострастно. В такую-то пору цветения и роста, еще до

зари, и вышел с электрическим фонарем к автобусу Хуан Чикой. Его подручный Прыщ Карсон сонно плелся за ним.

Окна закуской были темны. Над восточными холмами даже не серело. Было еще далеко до рассвета, и совы ухали над полями. Хуан подошел к автобусу, стоявшему перед гаражом. При свете фонаря он был похож на длинный аэростат с серебряными окнами. Прыщ Карсон, не проснувшись как следует, стоял, руки в карманах, и вздрагивал — не от холода, а со сна.

Ветерок потянул над полями и принес запах люпина и запах земли, очнувшейся и неистово производящей.

Глава 2

Фонарь с мелким, обращенным вниз отражателем ярко освещал только ноги, ботинки, шины и козли дубов. Он нырял и качался, и бело-голубой пузырек лампочки ослепительно сиял. Хуан подошел с фонарем к гаражу, вынул из комбинезона связку ключей, нашел ключ от всячего замка и отомкнул ворота. Внутри зажег верхний свет и выключил фонарь.

Он взял с верстака полосатую рабочую кепку. На нем был комбинезон с большими латунными пуговицами на нагруднике и боковых застежках, а сверху — черная куртка из конской кожи с черными вязаными манжетами и воротом. Туфли у него были круглоносые и жесткие и подошва такая толстая, что казалась надутой. В старом шраме на щеке возле большого носа залегла тень. Он сгреб пятерней густые черные волосы и заправил под кепку. Руки у него были широкие и сильные, с тупыми пальцами, ногти плоские от работы, свилеватые, в бороздках от ушибов и повреждений. На среднем пальце левой руки не хватало фаланги, и он грибком утолщался к концу. Утолщение было другой фактуры, чем остальной палец, лоснилось, как будто хотело сойти за ноготь, и на этом пальце Хуан носил широкое обручальное кольцо, как будто решил: не годишься для работы, так послужи хоть для украшения.

Из кармана в нагруднике торчали карандаш, линейка и шинный манометр. Брился Хуан только вчера, и щетина на горле и по сторонам подбородка была беловатая и седоватая, как у старого эрделя. Это бросалось в глаза, потому что в остальном борода была черная как смоль. Черные глаза насмешливо шурились вроде того, как щурятся от дыма, когда нельзя вынуть изо рта сигарету. А губы у Хуана были полные и добрые — спокойные губы; нижняя слегка выдавалась, но не брюзгливо, а с юмором и уверенностью; верхнюю, хорошо очерченную, прорезал чуть слева глубокий шрам, почти белый на розовом. Видно, когда-то ее рассекло насквозь, и теперь тугой белый шнурок стягивал полную губу, так что она набегала на шрам двумя крохотными складочками. Уши у него были не очень большие, но торчали, как ракушки или как если бы их оттопырили руками, к чему-то прислушиваясь. И Хуан, казалось, все время к чему-то прислушивается, причем глаза его смеются над услышанным, а рот не совсем одобряет. Движения у него были уверенные даже тогда, когда его занятие уверенности не требовало. Ходил он так, как будто шел в точно определенное место. Руки двигались быстро и четко и никогда не баловались со спичками или ногтями. Зубы у Хуана были длинные и с золотом по кромкам, что придавало его улыбке некоторую свирепость.

Возле верстака он снял с гвоздей инструменты и уложил в длинный плоский ящик — ключи, пассатижи, несколько отверток, молоток и бородок. Рядом с ним Прыщ Карсон, налитый сном, облокотился на масляную доску верстака. На нем был рваный свитер мотоклуба и туля фетровой шляпы, обрезанная по краю зубчиками. Прыщ был длинный узкоплечий малый семнадцати лет, с тонкой талией и длинным лисьим носом; глаза у него по утрам казались совсем светлыми, а днем становились оливковыми. На щеках золотился пух, а сами щеки были изрыты, изъедены и распаханы прыщами. Между старых воронок торчали новые образования, зреющие и убывающие. Кожа блестела от снадобий, которые прописываются при таких страданиях и не помогают ни на грош.

Синие джинсы на Прыще были тесные и настолько длинные, что низки он подвернул сантиметров на двадцать пять. На узких его боках штаны удерживались широ-

ким, богато тисненным ремнем с толстой гравированной серебряной пряжкой, в которой сидело четыре бирюзы. Прыщ старался не давать рукам воли, но пальцы самочинно тянулись к изрытым щекам, и, поймав себя на этом, он опускал руки. Он писал всем фирмам, предлагавшим лекарства от прыщей, и ходил по врачам, которые знали, что вылечить не могут, но знали также, что скорее всего это пройдет через несколько лет само по себе. Тем не менее они прописывали ему мази и примочки, а один посадил его на овощную диету.

Глаза у него были узкие и с косым разрезом, как у сонного волка; сейчас, ранним утром, они совсем слиплись от гноя. Прыщ был редкостный соня. Будь на то его воля, он спал бы чуть ли не круглые сутки. Весь его организм и душа были полем жестокой битвы, которая зовется юностью. Вождедения в нем не затихали, и когда они не были прямо и явно половыми, то выливались в меланхолию, глубокую и слезливую чувствительность или крепкую, с душком, религиозность. В уме его и чувствах, как на лице, все время шла вулканическая работа, все время саднило и свербело. У него бывали приступы неистовой праведности, когда он убивался из-за своих пороков, вслед за чем впадал в меланхолическую лень, близкую к протрации; уныние сменялось спячкой. После он долго еще ходил как в дурмане, вялый и обалделый.

В это утро он надел свои коричнево-белые с дырочками полуботинки на босу ногу, и из-под завернутых штанин выглядывали лодыжки в разводах грязи. В периоды упадка Прыщ до того обессилевал, что совсем не мылся и даже ел плохо. Фетровая туля с аккуратными зубчиками служила не так для красоты, как для того, чтобы длинные каштановые волосы не лезли в глаза и не маслялись, когда он работал под машиной. Сейчас он стоял, бессмысленно глядя на Хуана, складывавшего инструменты в ящик, и ум его ворочался в громадных байковых одеялах сна, тяжелых до тошноты. Хуан сказал:

— Включи лампу на длинном шнуре. Давай, Прыщ. Давай, давай, просыпайся!

Прыщ встряхнулся, как собака.

— Что-то никак не могу очухаться,— объяснил он.

— Лампу отнеси туда и тащи мою доску. Надо двигаться.

Прыщ взял переносную лампу в защитной сетке и стал сматывать с ручки тяжелый резиновый шнур. Потом включил его в розетку возле двери, и свет плеснул. Хуан поднял ящик с инструментами, шагнул за дверь и взглянул на темное небо. Воздух переменялся. Ветерок колыхал молодые дубовые листья, шнырял между гераней — нерешительный, влажный ветерок. Хуан принюхивался к нему, как принюхиваются к цветку.

— Если опять дождь,— сказал он,— ей-богу, это лишнее.

На востоке посветлело, стали обозначиваться вершины гор. Подошел Прыщ с переносной лампой, разматывая за собой резиновый шнур. Большие деревья выступили навстречу свету, и он заблестел на желтоватой зелени молодых листиков. Прыщ отнес лампу к автобусу и вернулся в гараж за длинной доской на роликах, которая позволяла передвигаться, лежа под машиной. Он кинул доску около автобуса.

— Да, похоже, натягивает,— сказал он.— Так ведь весной в Калифорнии, считай, всегда дожди.

Хуан сказал:

— Против весны я ничего не имею, но шестеренка у нас полетела, а пассажиры ждут, а земля от дождей раскисла...

— Для урожая хорошо,— заметил Прыщ.

Хуан умолк и оглянулся на помощника. От глаз у него разбежались веселые морщинки.

— Это точно,— сказал он,— точно.

Прыщ застенчиво отвернулся.

Автобус теперь освещала переносная лампа, и выглядел он непривычно и беспомощно, потому что там, где полагалось быть задним колесам, стояла пара тяжелых дровяных козел и держал его не задний мост, а брус 10×10 см., положенный на козлы.

Это был старый автобус, на нем стоял четырехцилиндровый мотор с низкой степенью сжатия и специальная коробка скоростей с пятью передними передачами вместо трех, причем две — меньше нормальной первой, и двумя задними. Несмотря на тол-

стый слой свежей серебрянки, на выпуклых бортах ясно проступали все бугры и вмятины, царапины и шрамы долгой и тяжелой службы. Почему-то от кустарной окраски старый автомобиль выглядит еще древнее и потасканнее, чем если бы ему предоставили честно приходиться в упадок.

Внутри автобус тоже ремонтировали. Сиденья, некогда плетеные, были обиты красным дерматином, и хотя работа была аккуратная, она была не профессиональная. В салоне стоял кислотоватый душок дерматина и откровенный, назойливый запах бензина и масла. Это был старый, старый автобус, переживший много поездок и много трудностей. Дубовые планки пола были сточены и вытерты подошвами пассажиров. Борты были помятые и выправленные. Окна не открывались, потому что весь кузов слегка перекошило, и летом Хуан выставлял окна, а на зиму вставлял опять.

Кресло водителя протерлось до пружин, но на протертом месте лежала цветастая ситцевая подушка двоякого назначения — оберегать водителя и прижимать голые пружины. На ветровом стекле висели талисманы: детский башмачок — для охраны, потому что неверные ножки младенца требуют постоянной осмотрительности и божьего попечения, и крошечная боксерская перчатка — это для силы, силы кулака на брошенном вперед предплечье, силы поршня, толкающего шатун, силы человека как ответственной и гордой личности. Еще на ветровом стекле висела пухленькая целлулоидная куколка в вишнево-зеленом головном уборе из страусовых перьев и соблазнительном саронге. Она была — для радостей плоти, глаза, слуха, обоняния. На ходу игрушки крутились, качались и прыгали перед глазами водителя.

Там, где ветровое стекло делила пополам средняя стойка, на приборной доске расположилась маленькая, металлическая, ярко раскрашенная Дева Гвадалупская. Лучи от нее шли золотые, одежды на ней были лазоревые, и стояла она на молодом месяце, который держали херувимы. Она олицетворяла связь Хуана с вечностью. К церковной и догматической стороне религии это имело мало касательства, а больше — к религии как памяти и чувству. Смуглая Дева напоминала Хуану и о матери и о темном домике, где мать, говорившая по-испански с легким ирландским акцентом, его вырастила. Потому что Деву Гвадалупскую мать выбрала своей личной богиней. Отставку получили святой Патрик, и святая Бригита, и десять тысяч бледных северных дев, на их место взошла эта смуглая, с настоящей кровью в жилах, близкая к людям.

Мать преклонялась перед своей Девой, чей день отмечают лопающимися в небе ракетами, а отец Хуана, мексиканец, понятно, не видел тут ничего особенного. Естественно, что в дни святых пускают ракеты. Как же иначе? Взлетающая с треском трубка — это, понятно, душа возносится в небо, а гремучая вспышка вверх — это торжественный вход в тронный зал Небес. Хуан Чикой, хотя и не был набожным человеком, в свои пятьдесят лет не вел бы автобус с легкой душой, если бы за ним не приглядывала Гвадалупана. Религия его была практическая.

Под святой в щитке было отделение для мелочей, и там лежали револьвер «смит-и-вессон» калибра 11,43 мм, бинт, пузырек йода, флакон лавандовой нюхательной соли и непочатая пол-литровая бутылка виски. Хуан считал, что с таким снаряжением он готов почти к любой непредвиденности.

На переднем бампере автобуса когда-то была надпись, до сих пор еще различимая: «El Grand Poder de Jesus» — «Великая сила Иисусова». Она осталась от прежнего владельца. Теперь же на обоих бамперах было четко выведено простое слово «Любимая». И все, кто знал автобус, знали его как «Любимую». Сейчас «Любимая» была парализована: задние колеса сняты, зад висел в воздухе, опираясь на десятисантиметровый брус, перекинутый между козлами.

Хуан держал новую коронную шестерню и катал в ней сателлит.

— Поднеси поближе свет,— сказал он Прыщу и прокатил шестеренку по всему кольцу.— Помню, раз поставил новое кольцо со старым сателлитом, сразу полетело.

— Когда зуб ломается, гремит прилично,— сказал Прыщ.— Звук такой, как будто он сквозь пол в тебя летит. Как вы думаете, почему он сломался?

Хуан держал кольцевую шестерню перед собой и медленно вел по ней малую, проверяя на просвет зацепление.

— Не знаю,— ответил он.— В металле и вообще в машинах много непонятного. Возьми Форда. Он выпустит сотню машин, и две или три из них — ни к чергу. Не

что-нибудь одно барахлит, вся машина барахло. И рессоры, и мотор, и водопомпа, и вентилятор, и карбюратор. Она вся помаленьку разваливается, и никто не знает, почему так. Возьми другую машину, тоже с конвейера,— вроде такая же, как все, да не такая. В ней что-то есть, чего в других нет. В ней силы больше. Как в крепком человеке. Делай с ней что хочешь — все выдержит.

— У меня была такая,— сказал Прыщ.— «Форд А». Я ее продал. Спорить могу, она еще бегает. Ездил на ней три года и десяти центов на ремонт не истратил.

Хуан положил новые шестерни на подножку и поднял с земли старую. Он пальцем потрогал обломок зуба.

— Металл — хитрая вещь,— сказал он.— Иногда он как будто устает. Знаешь, у нас в Мексике люди держали по два, по три мясных ножа. Одним пользовались, а остальные втыкали в землю. Говорили: «Лезвие отдыхает». Не знаю, так ли, но эти ножи можно было заточить, как бритву. Я думаю, никто не понимает металла — даже те, кто его делает. Давай посадим сателлит. Ну-ка поднеси туда свет.

Хуан положил доску с роликами позади автобуса, лег на нее спиной и, отталкиваясь ногами, въехал под днище.

— Передвинь свет немного левее. Нет, выше. Вот. Теперь пихни мне ящик с инструментами, можешь?

Руки Хуана работали четко; масло капнуло ему на щеку. Он стер его тыльной стороной ладони.

— Поганая работенка.

Прыщ заглянул к нему под автобус.

— Может, повешу лампу тут, на гайку?— спросил он.

— Да нет, через минуту надо будет передвинуть,— ответил Хуан.

Прыщ сказал:

— Хорошо бы вы сегодня починили. В своей кровати охота поспать. В кресле ничего не отдыхаешь.

Хуан фыркнул.

— Ты видал, как они разозлились, когда нам пришлось вернуться из-за шестерни? Можно подумать, я нарочно это устроил. До того были злы, что и на Алису накинулись из-за пирога. Наверно, думают, она их сама печет. В дороге люди очень не любят задержек.

— Спали на наших кроватях,— заметил Прыщ.— Не понимаю, чего они разоряются. В креслах-то спали мы с вами да Алиса с Нормой. А хуже всех эти, Причарды. Не девушка, конечно, не Милдред, а старики. Им все чего-то кажется, что их надувают. Он мне сто раз сказал, что он там президент или еще кто и он этого так не оставит. Возмутительно, говорит. А сам с женой спал на вашей кровати. Интересно, где Милдред спала? — Глаза у Прыща слегка заблестели.

— На диване, наверно,— сказал Хуан.— А может, с папой с мамой. Который игрушками торгует, ночевал в комнате Нормы.

— Этот мне понравился,— сказал Прыщ,— он не ругался. Сказал, что с удовольствием заночует. Чем занимается, не говорил. Зато Причарды за всех пошумели — не Милдред, а старики. А знаете, куда они едут, мистер Чикой? По Мексике. Милдред учит в колледже испанский. Она им будет вместо переводчицы.

Хуан вставил шпонку и несильными ударами загнал ее до конца. Потом выбрался из-под автобуса.

— Давай собирать задний мост.

Свет просачивался в небо из-за гор. В сером и черном, бесцветная, занималась заря, и в ней белые и синие предметы стали серебряными и красными, а темно-зеленые были черны. Черны и белы были молодые листья больших дубов, а очертания гор обозначались резко. Слабо порозовели восточные кромки тяжелых и пузатых облаков, колобками катившихся по небу.

Внезапно в закусокной вспыхнул свет и вырвал из забытия грядку гераней перед домом. Хуан ослепнулся на свет.

— Алиса встала,— сказал он.— Скоро кофе поспеет. Давай кончать с задним мостом.

Мужчины работали слаженно. Каждый знал, что делать. Каждый делал свое. Прыщ тоже лежал на спине, затягивал гайки на картере, и от дружной работы рождалось хорошее чувство.

Хуан напряг руку, подтягивая гайку, ключ сорвался, и он ссадил костяшкu пальца. Густая черная кровь потекла по грязной руке. Он пососал ссадину, и вокруг рта осталось кольцо темного масла.

— Сильно ободрали? — спросил Прыщ.

— Да нет, это, наверно, к удаче. Без крови работу не сделаешь. Так мой отец говорил.— Он опять пососал палец; кровь шла тише.

Тепло и розовый отсвет зари исподволь разливались вокруг, и электрический свет как будто терял яркость.

— Интересно, сколько еще приедет на «борзом»,— праздно полюбопытствовал Прыщ. И тут из хорошего чувства к мистеру Чикою родилась волнующая мысль. Мысль была такая пронзительная, что стало даже больно.— Мистер Чикой...— начал он с запинкой, робким, униженным, умоляющим тоном.

Хуан перестал навинчивать гайку и ждал просьбы — о выходящем, о прибавке, о чем-нибудь. Просьба была неминуема. Она слышалась в голосе и для Хуана означала — неприятность. Неприятности всегда так начинались.

Прыщ молчал. Он не находил слов.

— Чего ты хочешь? — осторожно спросил Хуан.

— Мистер Чикой, мы не могли бы договориться... вы не могли бы, ну... больше не звать меня Прыщом?

Хуан отнял ключ от гайки и повернул голову. Оба лежали на спине, лицом друг к другу. Хуан видел воронки от старых прыщей, набухающие бугорки и один в соку, тугой, с желтой головкой, готовый лопнуть. Хуан смотрел, и взгляд его смягчался. До него вдруг дошло — и он удивился, что только сейчас, а не раньше.

— Как тебя звать? — грубо спросил он.

— Эд,— ответил Прыщ.— Эд Карсон, я дальний родственник Кита Карсона. Пока этими не пошел, меня в школе звали Китом.— Голос был намеренно ровный, но грудь его тяжело подымалась, и он сопел носом.

Хуан отвернулся и снова взглянул на массивный шар дифференциала.

— Ладно,— сказал он,— давай ставить домкраты.— Он выехал из-под автобуса.— Сперва накачай туда масло.

Прыщ быстро ушел в гараж и вернулся со шприцем, таща за собой воздушный шланг. Он повернул кран, и воздух с шипением вошел в шприц со смазкой. Шприц попукивал, нагоняя в картер смазку, пока она не полезла наружу. Прыщ свернул пробку.

Хуан сказал:

— Кит, вытри руки и погляди, как там у Алисы кофе, ладно?

Прыщ пошел к закуской. Перед дверью, под большим дубом было еще почти темно. Он постоял там, задержав дыхание. Его трясло, как в ознобе.

Глава 3

Когда макушка солнца высунулась из-за восточных гор, Хуан Чикой встал с земли и отряхнул грязь с комбинезона на ногах и на заду. Солнце ударило в окна закуской и теплом разлилось по зеленой траве вокруг гаража. Загорелось на маках, на плоских пашнях и на синих люпиновых островах.

Хуан подошел к двери автобуса. Он всунулся в кабину, повернул ключ зажигания и ладонью надавил на стартер. Стартер повыл сердито, потом мотор схватил, взревел, и Хуан сбавил газ. Он рукой выжал сцепление, включил первую скорость и отпустил педаль. Колеса медленно вращались в воздухе, и Хуан пошел назад послушать, как работает задний мост, не шумит ли новая пара шестерен.

В гараже Прыщ мыл руки в мелком тазике с бензином. Солнце пригрело бурый прошлогодний лист, залетевший в угол дверной коробки. Вскоре из-под листа медленно выползла сонная муха и замерла на ярком солнце. Ее крылья мутно переливались, и

она была вялая от ночного холода. Муха потеряла крылья ногами, потом потеряла ногу об ногу, потом потеряла голову передними ногами, между тем как солнце, косо бившее из-под громадных пушистых облаков, разогревало ее организм. Вдруг она снялась, дважды описала круг, вылетела под дубы, врезалась в сетчатую дверь закуской, упала на спину и зажужжала на земле, пытаясь перевернуться. Потом все-таки встала, взлетела и заняла позицию на притолоке.

Алиса Чикой, осунувшаяся после ночи в кресле, подошла к двери и посмотрела на автобус. Сетчатая дверь приоткрылась всего на несколько сантиметров, но муха юркнула в щель. Алиса заметила ее вторжение и тут же шваркнула по ней посудным полотенцем. Муха зажужжала очумело, а потом уселась под краем стойки. Алиса посмотрела, как крутятся на весу задние колеса автобуса, потом ушла за стойку и открыла паровой кран кофейницы.

Коричневая жидкость в водомерном стекле на боку кофейницы выглядела бледной, разбавленной. Алиса прошлась полотенцем по стойке и при этом заметила, что в белом кокосовом пироге под прозрачным колпаком неровно вырезан с краю клин. Она взяла с серебряного подноса нож, сняла колпак, подровняла торт, а крошки съела. И в тот самый миг, когда колпак опускался на место, муха ворвалась под него и накинута на кокосовый крем. Она села под маленьким выступом, так что сверху ее не было видно, и стала жадно рыться и возиться в сладком креме. Она овладела огромной тортовой горой и была очень счастлива.

Вошел пропахший бензином и маслом Прыщ и уселся на круглый табурет.

— Ну, мы все сделали,— сказал он.

— Ты и кто еще? — саркастически спросила Алиса.

— Нет, конечно, всю тонкую работу сделал мистер Чикой. Мне бы чашку кофе и пирога.

— Ты уже там поклевал, пока я спала.— Она откинула волосы от глаз.— Следов не заметишь.

— Ну, запишите на меня,— сказал Прыщ.— Я же плачу за питание — нет?

— Ну чего ты ешь столько сладкого? — сказала Алиса.— Круглый день толчешься у подноса. У тебя и жалованья-то не остается. Все уходит на сласти. Оттого и прыщи, ей-богу. Удержаться, что ли, не можешь?

Прыщ застенчиво поглядел на свои руки. Под ногтями, где не взял бензин, было черно.

— Там калорий много,— сказал он.— Кто работает, ему калории нужны. Скажем, примерно в три часа дня, когда у тебя упадок. Нужно что-нибудь питательное, чтобы побольше калорий.

— Чтобы штаны оттягивали,— заметила Алиса.— Тебе калории нужны, как мне...— И она покинула фразу на половине. Алиса была большая ругательница, но главных слов никогда не произносила — только подводила к ним. Она налила из краника кофе в чашку, толстую плоскодонную чашку без блюдца, плеснула молока и двинула ее через стойку.

Смутно глядя на соблазнительную девушку от кока-колы, висевшую над проигрывателем, Прыщ насыпал четыре ложки сахара и мешал, мешал его, держа ложку торчком.

— Мне бы пирога,— терпеливо повторил он.

— Да на здоровье. Отрасти себе сиденье, как азростат.

Прыщ взглянул на ладный Алисин зад и быстро отвел глаза. Алиса достала из-за стойки нож и вырезала клин из кокосового пирога. Горка крема оползла и завалила муху. Алиса сдвинула кусок на блюдце и толкнула через стойку. Прыщ напал на него с кофейной ложкой.

— Эти люди еще не встали? — спросил он.

— Нет, но зашебаршились. Кто-то из них извел всю горячую воду. На закускую ни капли не осталось.

— Это, наверно, Милдред,— предположил Прыщ.

— А?

— Девушка. Наверно, в ванне купалась.

Алиса посмотрела на него в упор.

— Занимайся своими калориями да фантазию свою не особенно распускай.

— А что я такого сказал? Э, тут муха в пироге.

Алиса оцепенела.

— Вчера у тебя в супе была муха. Ты их что — в кармане носишь?

— Нет, правда. Еще трепыхается.

Алиса подошла.

— Убей ее! — закричала она. — Раздави! Выпустить ее хочешь? — Она схватила за стойкой вилку и раздавила муху вместе с крошками, а потом скинула все в урну.

— А мой пирог? — спросил Прыщ.

— Получишь другой кусок. Не понимаю, почему у тебя всегда мухи? Больше ни у кого.

— Везет, наверно, — вполголоса сказал Прыщ.

— Что?

— Я сказал просто...

— Я слышала, что ты сказал. — Она не выспалась и была раздражена. — Будешь язык распускать — вылетишь отсюда пулей. Будь ты механик-размеханик. По мне ты просто сопляк. Прыщавый сопляк.

Прыщ сник. Чем больше она распалась, тем ниже он опускал голову. Он не знал, что сейчас она вымещает на нем самые разные неудовольствия.

— Чего я такого сказал? — оправдывался он. — Пошутить уж нельзя.

Алиса достигла того накала, когда оставалось либо впасть в безудержную истерическую ярость, от которой темнело в глазах и у нее самой и у всех окружающих, либо поскорее уняться, потому что она уже чувствовала, как у нее распирает горло и грудь. Алиса быстро оценила положение. Оно было напряженным. Автобус должен выехать. Хуан тоже не выспался. Люди, ночевавшие в их постелях, услышат крик и выйдут, и Хуан может ее ударить. Один раз он ударил. Не сильно, но точно и так резко, что она испугалась, не убил ли он ее. А потом, этот черный страх, всегда маячивший на краю сознания, — что он ее бросит. Других он бросал. Скольких, она не знала, он никогда не рассказывал, но такой интересный мужчина не мог не бросать женщин. Все это пронеслось в долю секунды. Алиса решила не впадать в ярость. Она придавила то, что поднималось в груди. Рассеянно отрезала от торта чересчур большой кусок, положила на блюде и, пройдя вдоль стойки, поставила перед Прыщом.

— Все нервничают, — сказала она.

Прыщ поднял взгляд от своих ногтей. Теперь он увидел, как въедаются исподволь в ее шею морщины, как припухли нижние веки. Он увидел, что кожа на руках уже не тугая, как у девушки. Он ее очень пожалел. Как ни обделен был Прыщ красотой, он думал, что единственное, чем стоит обладать в жизни, — это молодость и кто потеряет молодость, тот, можно считать, умер. Сегодня утром он одержал большую победу и теперь, видя слабость и нерешительность в Алисе, стал добиваться второй.

— Мистер Чикой говорит, что больше не будет звать меня Прыщом, — сказал он.

— Почему не будет?

— Ну, я его попросил. Меня зовут Эдвард. А в школе меня звали Китом, потому что моя фамилия Карсон.

— Хуан зовет тебя Китом?

— Ага.

Алиса плохо понимала, о чем идет речь, а сзади, в спальне, слышалось движение, шаги по голым половицам, иногда — тихий разговор. Сейчас, когда чужие напомнили о себе, Прыщ стал ей ближе — все-таки он был не совсем чужой.

— Ладно, посмотрим, — сказала она.

Свет солнца бил в окна фасада и дверь и пятью яркими пятнами лежал на стене, высвечивая коробки с хлопьями и пирамиды апельсинов за стойкой. Но вот пять ярких квадратов потускнели и потухли. Прогремел гром, и вдруг хлынул ливень. Он застучал по крыше.

Прыщ подошел к двери и выглянул. За пеленой дождя местность исчезла, и на цементной дорожке вскакивали фонтанчики. Мокрый свет отливал сталью. Прыщ уви-

дел, что Хуан спрятался в автобусе. Задние колеса все еще медленно крутились. Потом Хуан прыгнул на землю и бросился к закусочной. Прыщ распахнул перед ним дверь, и он влетел в комнату; даже после короткой перебежки комбинезон его потемнел от воды, а туфли хлюпали.

— Господи боже,— сказал он,— вот это ливень.

Серая стена дождя заслонила холмы и свет цедила темный, металлический. Головки люпинов поникли под тяжестью влаги. Сбитые лепестки маков лежали на земле, как золотые монеты. И без того промокшая земля уже не впитывала воду, и по уклону сразу побежали ручейки. Ливень хлестал по крыше закусочной на Мятежном углу.

Хуан Чикой сидел за столиком у окна, пил кофе с хорошей порцией сливок, жевал пончик и глядел на ливень. Вошла Норма и принялась мыть тарелки в стальной раковине за стойкой.

— Можешь дать мне еще чашку кофе? — попросил Хуан.

Она сонно вынесла чашку из-за стойки. Чашка была полна до краев. Кофе перелился и капал с донышка. Хуан вытащил бумажную салфетку, сложил и подстелил под мокрую чашку.

— Не выпалась, а? — сказал он.

Норма осунулась, платье на ней было измято. Сейчас было видно, что она делается старообразной еще задолго до старости. Кожа у нее была землистая, а руки в пятнах. Крапивница начиналась у нее от самых разных причин.

— Совсем не спала,— сказала она.— Попробовала на полу и все равно не могла уснуть.

— Ладно, постараемся, чтоб это больше не повторилось,— сказал Хуан.— Надо мне было достать машину и отправить их в Сан-Исидро.

— Уступил им наши постели! — с насмешкой сказала Алиса.— Это же надо придумать. Да где еще хозяева отдали бы свои постели? Им-то сегодня не работать. Могли бы и посидеть ночь.

— Да, видно, не сообразил,— отозвался Хуан.

— Тебе наплевать, что жена ночует в кресле,— сказала Алиса.— Готов отдать ее постель первому встречному.

Алиса снова почувствовала, что в ней поднимается ярость, и испугалась. Она этого не хотела. Знала, что будет только хуже, и боялась этого, но ничего не могла поделать, ярость поднималась и клокотала.

Полотнище дождя хлестнуло по крыше, как тяжелая метла, пронеслось, оставив за собой тишину, и почти сразу новый пласт ливня накрыл закусочную. Снова громко закапало со стрех, забулькало в желобах. Хуан задумчиво смотрел в пол, и легкая улыбка растягивала его губу, перехваченную белой ленточкой шрама. И этого Алиса тоже испугалась. Сейчас он ее выделил и наблюдает за ней. Она это чувствовала. Для Алисы все отношения и положения включали только двух участников: она и другой делались огромными, а все остальные пропадали из виду. Полутонов не было. Когда она говорила с Хуаном, на свете существовали только они двое. Когда прицеплялась к Норме, весь мир исчезал, оставались только она и Норма, а вселенная тонула в сером облаке.

А Хуан — он мог все отодвинуть и увидеть любой предмет соотносительно с остальным. Предметами разной важности и величины. Мог видеть, оценивать, судить и радоваться. Хуан умел радоваться людям. Алиса умела только любить и ненавидеть, люди ей либо нравились, либо не нравились. Никаких полутонов она не видела и не чувствовала.

Она подобрала рассыпавшиеся волосы. Раз в месяц она полоскала волосы в средстве, гарантировавшем таинственный и роскошный блеск, который завораживает мужчин и обрекает на рабство. Глаза Хуана смотрели на нее издали, как на что-то забавное. И это вселяло в Алису ужас. Она знала, что он видит в ней не сердитую женщину, омрачающую мир, а просто одну из миллиона сердитых женщин, которых можно изучать, разглядывать — да, и даже получать от этого удовольствие. В ужасе Алисы был холод одиночества. Хуан заслонял собой весь мир, а она — она знала это — ничего ему не заслоняла. Он мог видеть не только вокруг нее, но и сквозь нее —

что-то другое. Она помнила, что, когда он ее ударил, ужас был не в самом ударе — били ее и раньше, и ей это было даже не отвратительно, а, наоборот, возбуждало ее, воодушевляло, — но ударил он ее, как букашку. Без всякого запала. Он даже не очень рассердился, просто был раздражен. И хлопнул надоеду, чтобы не шумела. Алиса пыталась лишь привлечь его внимание одним из немногих известных ей способов. То же самое она пыталась сделать сейчас, но по расфокусированному его взгляду чувствовала, что он ускользнул.

— Я стараюсь, чтобы в доме было уютно, красиво... и ковер, и бархатный гарнитур... а ты, извольте, уступаешь все чужим. — Голос ее терял уверенность. — А твоя жена всю ночь должна сидеть в кресле.

Хуан не спеша поднял глаза.

— Норма, — сказал он, — можешь налить мне еще чашку кофе? И побольше сливок.

Алиса разогревалась для новой вспышки гнева, чувствуя ее приближение, и тут Хуан неторопливо перевел взгляд на нее. Взгляд был теплый и веселый и опять сфокусированный: он смотрел на нее и она знала, что он ее видит.

— Тебе это не повредит, — сказал он. — Приятнее будет спать сегодня на своей кровати.

У Алисы дух занялся. Ее окатило жаром. Ярость превратилась в острое желание. Она рассеянно улыбнулась ему и облизнула губы.

— Ну паразит, — сказала она очень мягко. И глубоко, прерывисто вздохнула. — Яйца хочешь?

— Ага. Пару в мешочек.

— Я знаю, какие ты любишь, — ответила она. — Бекон подать?

— Нет. Гренку и пару пончиков.

Алиса ушла за стойку.

— Когда же они вылезут? — сказала она. — Я бы хоть в ванную сходила.

— Уже зашевелились, — отозвался Хуан. — Скоро выйдут.

Там действительно шевелились. В спальне послышались шаги. Открылась какая-то дверь, и женский голос резко произнес: «Могли бы и постучать!» Мужчина ответил: «Простите, пожалуйста. Другого выхода не было — только через окно».

Голос еще одного мужчины, надтреснутый, с властной растяжкой, сказал: «Стучать, мой друг, никогда не мешает. Ушибли ногу?» «Да».

Дверь у края стойки открылась, и вышел маленький человек. На нем был двубортный пиджак и рубашка того бежевого цвета, который любят езжалые люди и зовут дорожным, потому что на нем не видна грязь. Костюм по той же причине был нейтрально серый, а галстук зеленый, вязаный. Лицо у него было вытянутое, как щенячья мордочка, и глаза блестели вопросительно, тоже как у щенка. Тоненькие, аккуратные усики лежали на верхней губе, как гусеница, и когда он говорил, она словно выгибала спину. Зубы были ровные и белые, кроме двух верхних спереди, которые сияли золотом. Вид у него был полностью причесанный, как будто он и пух с костюма счищал щеткой для волос, а рубашка — с неявными разводами, которые происходят от стирки воротничка в раковине и сушки в расстеленном виде на туалетном столике. В манерах его проглядывала застенчивая бойкость, а в лице — несколько вздрагивающее выражение, как будто он привык ограждать себя от оскорблений с помощью продуманных приемов.

— Здравствуй, люди, — сказал он. — Я как раз думал, где же вы ночевали? Ручаюсь, что сидя.

— Сидя, — неприветливо подтвердила Алиса.

— Ничего, — сказал Хуан. — Сегодня пораньше ляжем.

— Починили автобус? Думаете, доберемся в такой дождь?

— Обязательно, — сказал Хуан.

Человек, хромая, обогнул край стойки и, морщась от боли, сел за столик. Норма принесла стакан воды и столовые приборы в бумажной салфетке.

— Яйца?

— Яичницу — с глазками, с беконом, чтобы хрустел, и гренку с маслом. С маслом — улавливаете? Значит вы ее намазываете маслом — как следует намазываете, —

даете ему растаять, чтобы без желтых шишечек, и получаете на чаек.— Он поднял ногу в дырчатой и простроченной туфле, поглядел на нее и закричал от боли.

— Щиколотку растянули? — спросил Хуан.

Дверь у края стойки отворилась, и вошел человек среднего роста. Он был похож на Трумэна, на вице-президента компании и на ревизора. Очки у него были в прямоугольной оправе. Костюм — приличествующего серого цвета, лицо — тоже с сероватостью. Он был бизнесмен, одевался как бизнесмен и выглядел как бизнесмен. В петлице лацкана сидел значок лжи, такой крохотный, что с двух шагов его вообще не было видно. Жилет не был застегнут на последнюю пуговицу. Но она и не предназначалась для застегивания. Поперек жилета бежала красивая золотая цепочка для часов и ключей, по дороге она ныряла в петлю, а потом выныривала. Он сказал:

— Для миссис Причард омлет — если яйца свежие, можно жидковатый, — гренку и мармелад. А мисс Причард хочет только апельсиновый сок и кофе. Мне ячменные хлопья со сливками, яичницу перевернутую, хорошо поджаренную — но чтобы желток не растекался, — сухую гренку и кофе по-бостонски, то есть пополам с молоком. Можете все подать на подносе.

Алиса посмотрела на него с яростью.

— Лучше, если вы сами выйдете, — сказала она. — У нас не разносят.

Мистер Причард ответил холодным взглядом.

— Нас здесь задержали. Я уже потерял один день отпуска. Поломка автобуса произошла не по моей вине. Так, по крайней мере, завтрак подайте. Жена чувствует себя плохо. Я не привык сидеть на табурете и миссис Причард тоже.

Алиса пригнула голову, как бодливая корова.

— Слушайте, мне хочется в туалет и вымыть лицо, а вы заняли мою ванную.

Мистер Причард нервно дотронулся до очков.

— Я вас понимаю.

Он обернулся к Хуану, и блики на очках превратили их в два зеркальца, за которыми исчезли глаза. Рука его выдернула из жилетного кармана цепочку. Он раскрыл золотую пилку для ногтей и быстро прочистил кончиком под каждым ногтем. Потом оглянулся вокруг, и его пробрал легкий холодок неуверенности. Мистер Причард был бизнесмен, президент не очень большой корпорации. Он никогда не был один. Дела в его фирме вершил круг людей, работавших одинаково, думавших одинаково и даже выглядевших одинаково. Обедал он с людьми, себе подобными, которые собирались в клубах; чуждым элементам и чуждым идеям доступа туда не было. Его религиозная жизнь опять-таки проходила в его ложе и в его церкви — и та и другая были изолированы и ограждены. Раз в неделю он играл в покер с людьми, настолько не отличавшимися от него, что игра была вполне равной, и отсюда они черпали убеждение, что все они — великолетние игроки. Куда бы он ни пришел, он был не просто человеком, а единицей в корпорации, единицей в клубе, в ложе, в церкви, в партии. Его идеи и мысли никогда не подвергались критике, потому что он добровольно объединялся только с такими же, как он. Он читал газету, выпускаемую его кругом и для его круга. Книги, попадавшие в его дом, были отобраны комитетом, отбрасывавшим все, что могло его раздражить. Он терпеть не мог иные страны и иностранцев, потому что среди них трудно найти своего двойника. Он не хотел выделиться из своего круга. Он был бы рад подняться там на самый верх, чтобы им восхищались, но покинуть свой круг он и не помышлял. На редких холостяцких вечеринках, когда голые женщины плясали на столе или сидели в громадных бокалах с вином, мистер Причард и гоготал и пил это вино, но рядом были еще пятьсот причардов.

А теперь, после некрасивого заявления Алисы насчет туалета, он оглянулся вокруг и увидел, что он один. Что тут больше нет мистеров причардов. Взгляд его задержался было на маленьком мужчине в пиджачной паре, но выглядел тот как-то странно. Правда, в петлице у него тоже был какой-то, что ли, значок — голубая эмалевая планка с белыми звездочками, — но такого клуба мистер Причард не знал. Эти люди сделали ему противны и даже собственный отпуск сделался противен. Ему захотелось вернуться в спальню и закрыть дверь, а тут этой толстой захотелось в туалет. Мистер Причард очень быстро почистил ногти золотой пилочкой на часовой цепочке.

От природы и сначала мистер Причард таким не был. Один раз он голосовал за Юджина Дебса, но это было давным-давно. Дело в том, что люди его круга наблюдали друг за другом. Всякое отклонение от общепринятого сперва замечалось, потом обсуждалось. Отклонившийся человек был ненадежный человек, а если он упорствовал, с ним никто не хотел иметь дела. Защитная окраска действительно защищала. Но мистер Причард не был двоедушным. Он отказался от свободы, а потом и забыл, что это такое. Теперь он смотрел на ту историю как на юношеское безумство. Голос, поданный за Юджина Дебса, он относил туда же, куда и посещение публичного дома в возрасте двадцати лет. У мальчишек такое не редкость. Иногда он даже в клубе за обедом вспоминал, как проголосовал за Дебса, доказывая этим, что и он был горяч и что такие выходки наряду с прыщами вообще свойственны юности. Но хотя он извинял себе это озорство и даже им гордился, он был немало озабочен поведением своей дочери Милдред.

Она водилась в колледже с очень опасной компанией — определенного сорта публичкой и преподавателями, которые считались красными. Перед войной пикетировала пароход с металлоломом для Японии и собирала деньги на лекарства для тех, кого он называл красными в испанской войне. С самой Милдред он об этом не разговаривал. Она не хотела с ним это обсуждать. И у него было глубокое убеждение, что если все будут молчать и сдерживаться, то она это перерастет. Муж и дети разрядят ее политическое беспокойство. Тогда, говорил он, она поймет, что такое настоящие ценности.

Посещение публичного дома он помнил слабо. Ему было двадцать лет, и он был пьян, а после им овладело иссушающее чувство оскверненности и горя. Зато помнил следующие две недели, когда он с ужасом ждал симптомов. Он даже решил покончить с собой, если они появятся; покончить с собой так, чтобы это приняли за несчастный случай.

Сейчас он нервничал. Он был в отпуске, которого, в сущности, не хотел. Он ехал в Мексику, которую, несмотря на рекламы, считал страной не только грязной, но и опасно радикальной. Они экспроприировали нефть; другими словами, украли частную собственность. А чем это лучше России? Россия мистеру Причарду заменила дьявола средних веков — как источник всяческого коварства, зла и ужасов. Сегодня он нервничал еще и потому, что не спал. Он любил свою собственную кровать. Привыкнуть к новой — ему нужна неделя, а тут впереди три недели и что ни ночь, то новая кровать, да и бог знает с какой живностью. Он устал, и собственная кожа казалась ему шершавой. Вода тут была жесткая, и после бритья стало ясно, что через три дня на шее образуется хомутко подкожной щетины.

Он вытащил из грудного кармана платок, снял и протер очки.

— Я скажу жене и дочери, — сказал он. — Я не знал, что мы вас так стеснили.

Норме понравилось это слово, и она повторила его про себя. «Стеснять... я не хотела бы вас стеснять, мистер Гейбл, но должна сказать вам...»

Мистер Причард вернулся в спальню. Слышно было, что он им разъясняет положение, а они о чем-то спрашивают.

Человек с усиками встал и заковылял к стойке, постанывая от боли.

Он взял сахарницу и, кривясь, вернулся на свое место.

— Я бы вам подала, — пожалела его Норма.

Он улыбнулся и мужественно сказал:

— Не хотел вас беспокоить.

— Вы бы нисколько меня не стеснили, — сказала Норма.

Хуан опустил чашку на стол.

Прыщ сказал:

— Мне бы кусок кокосового пирога.

Алиса рассеянно отрезала ему кусок, двинула блюдо по стойке и сделала этметку в блокноте.

— Хоть бы разик хозяйка угостила, — заметил Прыщ.

— Я думаю, кое-кто тут и без хозяйки угощается, и не разик, — ответила Алиса.

— Вижу, вы здорово растянули ногу, — обратился к маленькому человеку Хуан.

— Отдавил, — сказал тот, — пальцы отдавил. Сейчас покажу.

Из спальни вышел мистер Причард и сел за свободный стол.

Маленький человек расшнуровал и снял туфлю. Потом стянул носок и аккуратно положил его в туфлю. Ступня его была забинтована до подъема, и бинт пропитался яркой красной кровью.

— Показывать необязательно,— поспешно сказала Алиса. От вида крови ей сделалось дурно.

— Все равно пора сменить повязку,— пояснил тот, размотал бинт и открыл ногу.

Большой палец и два соседних были страшно раздавлены, ногти почернели, а концы пальцев превратились в кровавое мясо.

Хуан встал. Прыщ подошел поближе. Даже Норма не осталась в стороне.

— Господи спаси, жуткое дело,— сказал Хуан.— Погодите, воды принесу, промоем. Надо чем-то намазать. Вы получите заражение. Можете ногу потерять.

Прыщ пронзительно свистнул сквозь зубы, показывая свою заинтересованность и даже некоторое восхищение размерами увечья. Маленький человек следил за лицом Хуана, и глаза его блеснули от удовольствия и приятного ожидания.

— Думаете, скверно? — спросил он.

— Черт, еще как скверно,— подтвердил Хуан.

— Думаете, надо показаться врачу?

— Я бы на вашем месте показался.

Маленький человек радостно хохотнул.

— Вот это я и хотел услышать,— сказал он.

Он подел ногтем подъем ноги, и нога отделилась — и кожа, и кровь, и раздавленные пальцы,— а под этим открылась ступня целая и невредимая, со здоровыми пальцами. Закинув голову, он ликующе рассмеялся.

— Улавливаете? Пластмасса. Новинка.

Мистер Причард подошел поближе с отвращением на лице.

— Это искусственная раненая нога «Маленького чуда»,— объявил человек. Он вытащил из бокового кармана плоскую коробку и вручил Хуану.— Вы мне посочувствовали, хочу вам подарить. С наилучшими пожеланиями от Эрнеста Хортона, представляющего компанию «Маленькое чудо».— Он увлеченно затараторил: — Выпускаются трех номиналов — с одним, двумя и тремя раздробленными пальцами. Та, которую я вам дал, трехпальцевая, как у меня. Приложен бинт и пузырек искусственной крови, чтобы повязка выглядела страшно. Инструкция — внутри. Когда надеваете в первый раз, надо размочить в теплой воде. Тогда обтягивает, как перчатка, никто не отличит. Получите массу удовольствия.

Мистер Причард подался к нему. Он уже мысленно видел, как снимает носки на правлении. Можно сделать это сразу после мексиканской поездки, а сперва сочинить какую-нибудь историю с бандитами.

— Почему они у вас идут? — спросил он.

— По полтора доллара, но я вообще-то не продаю в розницу,— сказал Эрнест Хортон.— Торговля хватает сразу все, что я получаю. За две недели я продал срок grossов.

— Ну? — сказал мистер Причард. Глаза у него одобрительно расширились.

— Не верите — могу показать книжку заказов. Такой ходкой новинки мне еще не приходилось продавать. «Маленькое чудо» имеет на ней отличную прибыль.

— Сколько вы накидываете? — поинтересовался мистер Причард.

— Видите ли, если вы не торгуете, я предпочел бы не говорить. Деловая этика — так?

Мистер Причард кивнул.

— Я бы взял одну для пробы по розничной цене,— сказал он.

— Сейчас поем и принесу. Готова у вас гренка с маслом? — спросил он Норму.

— Поспевает,— сказала Норма, виновато ушла за стойку и включила тостер.

— Понимаете, их успех — на психологии,— торжествующе объяснил Эрнест.— Искусственные разрезанные пальцы мы производили годами, и они шли туго, а это... тут психологическая тонкость в том, что вы снимаете туфлю и носок. Никто не ждет, что вы затеете такую волюнку. Тот, кто до этого додумался, получил очень хороший гонорар.

— Надо полагать, вы тоже имеете с нее неплохой доход,— сказал мистер Причард с восхищением. Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше.

— Не жалею,— сказал Эрнест.— У меня в чемодане еще два-три образчика, могут вас заинтересовать. Они не для продажи, только для торговцев, но я их продемонстрирую. Может быть, посмеетесь.

— Я хочу взять поддюжины раненых ног,— сказал мистер Причард.

— Трехпальцевых?

Мистер Причард подумал. Он хотел их подарить, но он не хотел конкуренции. Чарли Джонсону розыгрыши удавались лучше, чем мистеру Причарду. Чарли был прирожденный комик.

— Скажем так: одну трехпальцевую, три двухпальцевые и две однопальцевые. Так, пожалуй, будет в самый раз.

Дождь менялся. Он накатывал тяжелыми, косыми водяными обвалами, которые перемежались коротким капающим затишьем. Хуан пил кофе у окна. На блюде перед ним лежала половинка румяного пончика.

— Я думаю, немного поутихнет,— сказал Хуан.— Мне бы покружить еще задний мост до того, как поедем.

— Мне бы кокосового пирога,— сказал Прыщ.

— Не получишь,— сказала Алиса.— Клиентам надо немножко оставить.

— А я, что ли, не клиент?

— Не знаю, получим ли мы сегодня из Сан-Исидро. Надо оставить на всякий случай.

На самом краю стойки стояла корзинка в виде лесенки, и там лежали конфеты. Прыщ поднялся с табурета и встал перед корзинкой. Он долго рассматривал яркие палочки, не зная, что выбрать. Наконец взял три брикета и сунул в карман.

— Одна «Беби Рут», одна «Любовное гнездышко» и одна «Кокосовая киска»,— сказал он.

— «Кокосовая киска» — десять центов. Она с орехами,— сказала Алиса.

— Я знаю,— сказал Прыщ.

Алиса достала из-за стойки блокнот.

— Ты забежал вперед жалованья,— сказала она.

Глава 4

Как только Причарды вышли из спальни, Норма быстро сказала:

— Мне надо немного помыться и причесаться,— и кинулась к двери.

Алиса двинулась за ней по пятам.

— В ванную после меня,— холодно сказала она.

Норма прошла через спальню Чикоев к себе. Она закрыла за собой дверь и, поскольку ключа не было, заперлась на задвижку, чтобы не помешали. Ее узкая складная кровать была не застелена, а у стены стоял большой чемодан Эрнеста с образцами.

Комнатка была тесная. Одну стену занимал низкий комод с тазом и кувшином, над ним была прибита блестящая шелковая наволочка с бахромой. Она была розовая, с изображением скрещенных пушек на букете красных роз. И на ней было напечатано стихотворение «Письмо солдата к матери».

Тебя, о мама, помню в громе битвы,
 Меня хранят от пуль твои молитвы.
 Когда мы победим врага в борьбе,
 Родная мама, я вернусь к тебе.

Норма оглянулась на окно, серое от дождевого света, и, сунув руку за пазуху, отогнула ворот платья. К изнанке английской булавкой был приколот ключик. Норма его отколола. Потом выдвинула из-под комода чемодан и отперла. Сверху лежал гляцевый портрет Кларка Гейбла в серебряной рамке и с надписью: «С наилучшими пожеланиями — Кларк Гейбл». Портрет, рамка и надпись были куплены в магазине подарков в Сан-Исидро.

Она торопливо запустила руку на дно чемодана. Пальцы нащупали квадратную коробочку с кольцами. Норма вытащила ее, сдернула крышку, увидела, что кольца на месте, и опять спрятала на дно. Потом закрыла и заперла чемодан, задвинула под комод и снова приколола ключ к изнанке платья. После этого она выдвинула ящик комода, взяла щетку и гребень и повернулась к окну. На стене рядом с красно-зеленой цветастой кретоновой занавеской висело зеркало в раме. Норма подошла к нему и стала смотреть на себя.

Свинцовый свет из окна падал на ее лицо. Она широко раскрыла глаза, после чего улыбнулась, показав все зубы, — жизнерадостно улыбнулась. Она приподнялась на цыпочки, помахала громадной толпе и опять улыбнулась. Она провела гребнем по жидким волосам — гребень застрял в завитых концах, она дернула. Потом взяла из ящика карандаш и подвела тупым грифелем бесцветные брови; дуги нарисовала покруче, отчего лицо приобрело удивленное выражение. Потом стала расчесывать волосы щеткой: десять раз в одну сторону, десять раз в другую. Причесываясь, она приподнималась на носки и напрягала мускулы — то на левой ноге, то на правой, — чтобы развить икры. Этот метод рекомендовала одна кинозвезда, которая в жизни не делала упражнений, но имела красивые ноги.

Норма бросила взгляд на окно, где свет потускнел еще больше. Не дай бог посмотрят этот нелепый танец. Скрытностью Норма превосходила айсберг. Снаружи виделась только крохотная часть Нормы. Потому что несравненно большая, лучшая и прекраснейшая часть Нормы была внутри нее, защищена и закупорена.

Ручка двери повернулась, и на дверь нажали. Норма напряглась и оцепенела. Двигалась только одна рука — она лихорадочно стирала брови, отчего на лбу образовались серые полосы. А в дверь уже стучались. Стучались легонько и вежливо. Она положила щетку на комод, обдернула платье и подошла. Вытянула задвижку, приоткрыла дверь. На нее смотрело лицо Эрнеста Хортон. Его плотные ворсистые усики выгнулись подковкой.

Норма пока не отпускала дверь.

— Вы все были так любезны и прочее, — продолжал он. — И мне очень неприятно причинять вам лишнее беспокойство.

Норма слегка расслабилась, но дышала еще тяжеловато. Она открыла дверь и отступила. Эрнест со смущенной улыбкой вошел в комнату. Он остановился возле кровати.

— Как же я не заправил койку, — сказал он и, расстелив простыню и одеяло, принялся сгонять складки.

— Не надо, я сама, — сказала Норма.

— Я вам обещал чаевые, а вы не подождали, — сказал Эрнест. — Но я пригостил. — Он застелил кровать аккуратно, как будто набил на этом руку.

— Да я бы сама убрала, — сказала Норма.

— Уже убрал, — ответил он. Он подошел к своему большому чемодану. — Не возражаете, я открою? Я хочу кое-что вынуть.

— Давайте, — сказала Норма. Глаза ее загорелись любопытством.

Он положил большой чемодан на ее кровать, щелкнул замком и откинул крышку. В чемодане были чудесные вещи. Тут были картонные трубки и платки, менявшие цвет. Тут были взрывающиеся сигары и вонючие бомбочки. Тут были и трубки для чревовещания, и рожки, и карнавальные бумажные шапки, и флажки, и смешные значки. Были шелковые наволочки вроде той, что висела над столиком. Эрнест достал шесть искусственных раненых ног в плоских упаковках, и Норма подошла поближе, чтобы заглянуть в замечательный чемодан. Взгляд ее привлекли фотографии киноартистов. Карточки были запрессованы в прозрачный пластик толщиной не меньше половины сантиметра. И у них было еще одно любопытное свойство. Они не выглядели плоскими. То ли благодаря хитрому изгибу, то ли из-за игры преломленного света лица были как бы выпуклые, выходящие из глубины. Карточки казались трехмерными, а величиной были двадцать на двадцать пять сантиметров.

Сверху улыбался как живой Джеймс Стюарт; из-под него высовывался еще чей-то краешек — только волосы и часть лба, — однако Норма узнала этот лоб и волосы. Губы у нее разжались, глаза заблестели. Рука потянулась к чемодану и убрала Джеймса Стю-

арта прочь. И правда — он, Кларк Гейбл, глядел на нее, выпуклый, натуральный. У него было серьезное, сосредоточенное выражение — подбородок вперед, глаза спокойные и внимательные. Таким на портретах она его не видела. Она глубоко вздохнула, стараясь, чтобы этого не было слышно. Она вынула карточку из чемодана, глядя ему в глаза остановившимися расширенными глазами.

Эрнест наблюдал за ней и заметил ее интерес.

— Правда, потрясающе? — сказал он. — Новая идея. Заметили, что они выпуклые, почти как статуя?

Норма кивнула, онемев.

— Предсказываю, — объявил Эрнест. — Перед всей торговлей ручаюсь. Эта штука выметет с рынка все остальные картинки, навсегда. Она кислотоустойчива, влагоустойчива и никогда не желтеет — она вечная. Она отформована и заплавлена прямо в рамке. Она вечная.

Норма не сводила глаз с портрета. Эрнест хотел забрать его, но ее пальцы вцепились в карточку, как когти.

— Сколько? — Слово прозвучало как хриплое, глубокое рычание.

— Это только образец, — сказал Эрнест. — Чтобы показывать торговцам. Не для продажи. Их заказывают.

— Сколько? — Ее пальцы побелели от напряжения.

Эрнест посмотрел на нее внимательно. Он увидел, что лицо ее застыло, желваки затвердели и ноздри раздуваются от сдерживаемого дыхания.

Эрнест сказал:

— В розницу они идут по два доллара, но я говорил, что с меня причитаются хорошие чаевые. Вы больше хотите это, чем чаевые?

Голос Нормы прозвучал хрипло:

— Да.

— Тогда берите.

Белизна медленно сошла с ее пальцев. В глазах светилось торжество. Она облизнула губы.

— Спасибо, — сказала она. — Спасибо вам. — Она повернула карточку лицом к себе и прижала к груди. Пластмасса была не холодная, как стекло, а теплая и нежная на ощупь.

— А я, пожалуй, обойдусь одним образцом, — сказал Эрнест. — Понимаете, я двигаюсь на юг. В контору вернусь только через полтора месяца. Две недели решил провести в Лос-Анджелесе. Для моих товаров лучше города нет.

Норма унесла карточку к комоду, выдвинула ящик, засунула карточку под белье и задвинула ящик.

— Вы, наверно, и в Голливуд попадете, — сказала она.

— А как же. С игрушками там еще лучше, чем в Лос-Анджелесе. А потом, у меня там вроде отпуска. У меня там много друзей. Устраиваю себе отпуск, гуляю, смотрю разные разности и заодно с торговлей знакомлюсь. Убиваю двух зайцев. Времени не теряю. У меня там фронтовой друг, на студии работает. С ним и развлекаемся. В прошлый раз начали с «Мелроз-грота». Это на Мелроз, рядом со студией РКО. Вот погуляли! Я вам не буду рассказывать, чем мы занимались, но я в жизни так не веселился. А другу, конечно, потом пришлось идти на работу, на студию.

Норма наострила уши, как щенок, когда он наблюдает за жуком.

— Ваш друг работает на студии? — равнодушно переспросила она. — На какой?

— «Метро-Голдвин-Майер», — сказал Эрнест. Он укладывал чемодан и не смотрел на нее. Он не услышал ее свистящего дыхания и неестественных ноток в ее голосе.

— Вы тоже бываете на студии?

— Ага. Вилли устраивает мне пропуск. Иногда хожу смотреть на съемки. Вилли — плотник. Работал там до войны и опять вернулся. Мы вместе служили. Прекрасный мальчик. На вечеринках — незаменим! У него знакомых барышень, телефонов у него — вы себе представить не можете. Толстая черная книжка — и сплошь полна телефонов. Сам не помнит половину дам, которые у него записаны.

Эрнест постепенно зажигался темой. Он сел на стульчик возле стены. Он засмеялся.

— В начале войны — я его еще не знал — он служил в Санта-Ане. Офицеры, значит, прослышали про его черную книжечку и стали брать Вилли в Голливуд; Вилли добывал для них дам и увольнение получал когда хотел. Ему неплохо жилось, пока их часть не посадили на пароход.

Во время этих воспоминаний в глазах у Нормы появилось выражение досады. Она теребила свой фартук. Голос ее сделался высоким, потом низким.

— Скажите, вас не очень стеснит, если я попрошу об одном одолжении?

— Да нет, — сказал Эрнест. — О каком?

— Если я дам вам письмо, а вы вдруг... ну, окажетесь на студии МГМ и случайно встретите мистера Гейбла, так вы ему... его не передадите?

— Кто это — мистер Гейбл?

— Мистер Кларк Гейбл, — сурово сказала Норма.

— А-а, он... Вы его знаете?

— Да, — сказала Норма ледяным голосом. — Я... я его двоюродная сестра.

— Вон что! Ну конечно передам. Но вдруг я туда не попаду? Почему вы не отправите по почте?

Глаза у Нормы сузились.

— Почта до него не доходит, — загадочно сказала она. — Там сидит девица — ну, секретарша, — так она просто забирает письма и сжигает.

— Да что вы? — сказал Эрнест. — Зачем?

Норма остановилась и подумала.

— Там просто не хотят, чтобы он их получал.

— Даже от родственников?

— Даже от двоюродной сестры, — сказала Норма.

— Это он вам сказал?

— Да. — Глаза у нее были широко раскрыты и ничего не выражали. — Да. Конечно, я скоро туда поеду. Были предложения, и раз я даже собралась ехать, но мой двоюродный брат — то есть мистер Гейбл — сказал: «Нет, тебе надо набраться опыта. Ты молода. Тебе некуда спешить». И я набираюсь опыта. В закускойной очень много узнаешь о людях. Я их все время изучаю.

Эрнест посмотрел на нее с некоторым сомнением. Он слышал фантастические рассказы об официантках, которые в одну ночь становились звездами сцены, но у Нормы не те буфера, подумал он, и не те ноги. Ноги у Нормы были как палочки. Хотя он знал о двух или трех кинозвездах, которые без грима до того неинтересны, что на улице их никто и не узнает. Он читал о них. А Норма — хотя внешность у нее неподходящая — ну, ей подложат где надо, и если Кларк Гейбл ей двоюродный брат, то при такой руке не пропадешь. Все двери открыты.

— В этот раз я вообще-то не собирался просить у Вилли пропуск, — сказал он. — Бывал уже я там... но, если вам нужно, я туда схожу, найду его и передам ваше письмо. А все-таки зачем, по-вашему, они выкидывают его почту?

— Просто хотят выжать из него все что можно, а потом выкинуть его, как старый башмак, — сказала Норма со страстью.

Чувства накатывали на нее волна за волной. Она была в экстазе, и в то же время ее душил страх. Норма не была лгуньей. Такого, как сейчас, с ней никогда не случилось. Она шла по длинной шаткой доске и понимала это. Одного вопроса, малейшей осведомленности со стороны Эрнеста было бы достаточно, чтобы скинуть ее в пропасть, но остановиться она не могла.

— Он великий человек, — говорила она, — великого благородства человек. Ему не нравятся роли, которые его заставляют играть, потому что он не такой. Рета Батлера — он не хотел его играть, потому что он не подлец и не любит играть подлецов.

Эрнест опустил голову и наблюдал за Нормой исподлобья. И Эрнест начал понимать. Разгадка забрезжила в его сознании. Красивее, чем сейчас, Норма никогда не будет. Ее лицо выражало достоинство и отвагу и по-настоящему сильный прилив любви. Эрнесту оставалось либо осмеять ее, либо ей подыгрывать. Если бы в комнате был посторонний, например другой мужчина, Эрнест бы, наверно, ее высмеял из

страха, что этот посторонний будет его презирать, и высмеял бы тем наглее, с тем большим стыдом, что видел, как светится в девушке сильное, чистое, всепоглощающее чувство. Это оно заставляет новообращенных пролеживать ночи на камнях перед алтарем. Такого излияния нектара любви, такого открытого жара Эрнесту ни в ком не приходилось видеть.

— Я возьму письмо,— сказал он.— Я скажу, что это от двоюродной сестры.

На лице у Нормы появился испуг.

— Нет,— сказала она.— Лучше, если это будет сюрпризом. Скажите просто: от друга. Больше ничего, ничего не говорите.

— Когда вы думаете поехать туда работать? — спросил Эрнест.

— Мистер Гейбл говорит, что надо еще год подождать. Говорит, я еще молода, надо набраться опыта, узнать людей. Правда, иногда я от этого очень устаю. Так скучаю иногда по своему дому со... с большими тяжелыми шторами и длинным диваном. Так хочется повидать всех моих подруг: Бет Дэвис, Ингрид Бергман, Джоун Фонтейн,— а с теми, остальными-то, которые вечно разводятся и всякое такое, я компанию не вожу. Мы просто сидим, говорим о серьезных вещах и все время занимаемся — ведь только так можно развиться и стать великой актрисой. А есть еще много таких, которые плохо обходятся с поклонниками: не дают автографов и так далее,— а мы нет! То есть мы не такие. Иногда мы даже приводим девушек прямо с улицы — выпить чаю и поговорить, как будто мы ровня; мы-то понимаем, что всем обязаны верности наших поклонников.— Внутри у нее все содрогалось от страха, а остановиться она не могла. Она слишком далеко зашла по доске и не могла остановиться, и доска уже не держала ее.

Эрнест сказал:

— Я сначала не понял. Вы уже снимались? Вы уже знамениты?

— Да,— сказала Норма.— Но мое здешнее имя ничего вам не скажет. В Голливуде меня знают под другим именем.

— Под каким?

— Я не могу сказать,— ответила Норма.— Вы тут единственный, кто обо мне что-то знает. Только никому не говорите, ладно?

Эрнест был потрясен.

— Да,— пообещал он,— не скажу, раз вы не хотите.

— Храните мою тайну свято,— сказала Норма.

— Ну ясно,— сказал Эрнест.— Так давайте письмо и не беспокойтесь, он его получит.

— Это кто это что получит? — произнесла в дверях Алиса.— Что вы тут делаете вдвоем в спальне? — Подозрительно шаря в поисках улик, взгляд ее скользнул по чемодану с образцами на кровати, задержался на подушке, оценил состояние покрывала и наконец добрался до Нормы. Он двинулся от туфель по ногам, помедлил на юбке, помешкал на талии и остановился на ее пылающем лице.

Норме от смущения чуть не стало дурно. Щеки пошли красными пятнами. Алиса подбоченилась.

Эрнест примирительно сказал:

— Я просто хотел убрать с дороги мой чемодан, а она попросила меня передать письмо двоюродному брату в Лос-Анджелесе.

— Нет у ней брата в Лос-Анджелесе.

— Как же нет, когда есть,— сердито сказал Эрнест.— Я знаю ее брата.

И тут злость Алисы, все утро искавшая выхода, вырвалась на волю.

— Слушайте, вы,— закричала Алиса,— не хватало еще, чтобы всякий заезжий торгош портил моих девчонок!

— Да никто ее не трогал,— сказал Эрнест.— Никто до нее пальцем не дотронулся.

— Ах нет? А что вы делаете у нее в спальне? А на физиономию ее посмотрите! — Алиса созрела для истерики. Сильные, хриплые, визгливые звуки вырывались из ее глотки. Волосы свалились на лицо, глаза выкатились и намокли. Губы жестоко сжались, как у боксера, который добивает потрясенного соперника. — Я этого не потерплю! Не хватало еще, чтобы она понесла! Не хватало мне денег по всему дому! Мы вам отдали свои комнаты, свои кровати!

— Да говорят вам, ничего не было! — закричал ей Эрнест.

Перед этим бредовым натиском он чувствовал себя совершенно беспомощным. И то, что он ей возражает, звучало для него чуть ли не признанием вины. Он не понимал, что на нее нашло, ему стало мутно от такой несправедливости, и в нем тоже зашевелился гнев.

У Нормы был открыт рот, ей переданся микроб истерии. Она дышала шумно и при каждом вздохе подвывала. Ее руки выкручивали друг дружку, словно хотели изломать.

Алиса надвигалась на Норму, сжав правую руку в кулак — и не по-женски: пальцы были сложены ровно, костяшками вверх, большой плотно лежал на суставах указательного и среднего. Слова выходили с хриплым клокотанием:

— Вон отсюда! Вон из дома! Вон, под дождь!

Алиса подступила к Норме, Норма попятилась, и у нее вырвался испуганный визг. За дверью послышались быстрые шаги и окрик Хуана:

— Алиса!

Она замерла. Рот у нее тоже открылся, в глазах возник страх. Хуан медленно вошел в комнату. Большие пальцы он зацепил за карманы комбинезона. Он приблизился к ней легко, как кошка подкрадывается к добыче. Золотое кольцо на обручке пальца тускло блестело в свинцовом свете из окна. У Алисы вся ярость превратилась в страх. Она съежилась, отступила, отошла за кровать, очутилась в тупике, дотянулась до стены и там замерла.

— Не бей меня,— прошептала она.— Пожалуйста, не бей.

Хуан подошел к ней вплотную, его правая рука медленно протянулась к ее руке и взяла повыше локтя. Он смотрел на нее — не сквозь нее и не мимо. Он мягко повернул ее, провед по комнате и за дверь и закрыл дверь, оставив Эрнеста и Норму вдвоем.

Они смотрели на закрытую дверь почти не дыша. Хуан подвел Алису к двуспальной кровати, мягко повернул, и она осела, как калека, повалилась на спину, бессмысленно глядя на него. Он взял подушку с изголовья и подложил ей под голову. Его левая рука — с обрезанным пальцем и кольцом — ласково погладила ее по щеке.

— Ничего, сейчас успокоюсь,— сказал он.

Алиса накрыла лицо руками крест-накрест и зарыдала хрипло, придушенно, без слез.

Глава 5

Бернис Причард, ее дочь Милдред и мистер Причард сидели за столиком справа от входа. Эти трое здесь сблизилась. Старшие — потому что чувствовали себя в каком-то смысле осажденными, а Милдред — из покровительственного чувства к родителям. Она часто удивлялась, как родители выжили в этом грешном и буйном мире. Она считала их наивными и беззащитными детьми и в отношении матери была отчасти права. Но Милдред забывала о детской прочности, устойчивости, о простодушном упорстве — добиться своего. И Бернис обладала такой прочностью. Она была довольно миловидна. У нее был прямой нос, и она так давно носила пенсне, что оно даже повлияло на его форму. Верхняя, хрящевая часть носа не только утончилась из-за пенсне, но и приобрела два красных пятнышка на местах, куда жали пружины. Глаза у нее были фиалковые, близорукие, что придавало ее взгляду милое затаенное выражение.

Она была изящная и женственная и одевалась чуть старомодно. Носила иногда жабо, старинные брошки. Блузки — всегда с кружевом, с мережкой, с безукоризненно свежим воротничком и манжетами. Употребляла лавандовую воду, отчего ее кожа, одежда и сумочка всегда пахли лавандой и еще другим, почти неуловимым кислотатым запахом, который был ее собственным. У нее были красивые ноги от щиколоток и ниже, и она обувала их в очень дорогие туфли, обычно лайковые, на шнурках, с бантиком на подъеме. Рот у нее был вяловатый, детский, мягкий, довольно бесхарактерный. Разговаривала очень мало, но в своем кругу слыла человеком добрым и проникательным: первое — благодаря тому, что говорила о людях только хорошее, даже о незнакомых, второе — благодаря тому, что не высказывала общих соображений ни о чем,

кроме духов и еды. Соображения других выслушивала с тихой улыбкой, как бы извиняя им то, что у них есть соображения. На самом деле она их не слушала.

Было время, Милдред плакала от ярости, когда мать встречала этой понимающей, извиняющей улыбкой ее очередной политический или экономический монолог. Лишь много позже дочь уяснила, что мать не слышит никакого разговора, если он не затрагивает людей, мест и вещей. С другой стороны, Бернис не забывала ни одной подробности, касающейся товаров, расцветок и цен. Она могла точно вспомнить, сколько было уплачено за черные замшевые перчатки семь лет назад. Она питала слабость к перчаткам и кольцам — любым кольцам. Их у нее накопилось изрядно, но с бриллиантовым колечком, которое мистер Причард подарил ей при помолвке, и с золотым обручальным она не расставалась никогда. Снимала их только перед ванной. А когда мыла в раковине с нашатырем гребни и щетки, оставляла их на пальцах. Нашатырь очищал кольца, и бриллиантики блестели ярче.

Ее супружеская жизнь была довольно приятной, и она была привязана к мужу. Она считала, что изучила его слабости, его фокусы и его желания. Сама она из-за небольшого природного изъяна, так называемого клобучка, не могла извлекать все радости из семейной жизни; кроме того, из-за повышенного отделения кислот не могла зачать, если кислая среда не была предварительно нейтрализована. Обе эти особенности она считала нормальными, а всякое отклонение от них ненормальностью и дурным вкусом. Женщин чувственного склада называла «женщинами этого сорта» и немного жалела их, так же как наркоманок и алкоголичек.

Пробудившуюся было страсть мужа она приняла, а затем постепенно, незаметным, но упорным сопротивлением сперва перевела в удобное русло, потом обуздала, а потом удушила, так что порывы у него возникали все реже и реже, покуда он сам наконец не поверил, что вступил в возраст, когда эта сторона жизни не играет роли.

По-своему она была очень сильной женщиной. Домашнее хозяйство у нее было поставлено толково, чисто и удобно, и еду она готовила питательную, густь и не слишком вкусную. Специй не признавала: ей давно сказали, что они возбуждают мужчину. Никто из троих — ни мистер Причард, ни Милдред, ни она сама — не полнел, возможно, из-за скудной пищи. Эта пища не вызывала чрезмерного аппетита.

Среди друзей Бернис считалась милейшим, бескорыстнейшим человеком на свете, и они часто называли ее святой. А сама она часто говорила, как ей незаслуженно повезло, что из всех людей на свете именно у нее самые прекрасные, самые верные друзья. Она обожала цветы, сажала их, и прищипывала, и удобряла, и обрезала. Она всегда держала в доме большие вазы с цветами, и друзья говорили, что к ней приходишь, как в цветочный магазин, и до чего же красиво она составляет букеты.

Лекарств она не принимала и без жалоб терпела частые запоры, покуда избавление не происходило силой вещей. Она не перенесла ни одной тяжелой болезни или травмы, а потому у нее не было мерила боли. Колотье в боку, легкий прострел, резь от газов под ложечкой втайне убеждали ее, что она при смерти. Когда она носила Милдред, она не сомневалась, что умрет, и привела свои дела в порядок, чтобы облегчить жизнь Причарду. Она даже написала письмо с указанием вскрыть после ее смерти, где советовала ему снова жениться, чтобы ребенок не рос совсем без матери. Потом она это письмо уничтожила.

Ее тело и ум были вялы и ленивы, и в глубине души она боролась с завистью к людям, у которых, казалось ей, бывают в жизни радости, тогда как ее жизнь проходит серым облаком в серой комнате. Обделенная восприимчивыми, она жила правилами. Образование полезно. Самообладание необходимо. Всему свое время и свое место. Путешествия расширяют кругозор. Эта последняя аксиома и погнала ее в результате путешествовать по Мексике.

Как она приходила к своим выводам, непонятно было даже ей самой. Это был долгий, медленный процесс накопления косвенных признаков, предположений, случайностей — тысяч их, покуда наконец в совокупности они не решали дело. По сути же, в Мексику ей не хотелось. Ей просто хотелось вернуться к друзьям из Мексики. Мужу совсем туда не хотелось. Он согласился только ради семьи и в надежде, что это будет полезно ему в культурном отношении. А Милдред хотелось — но не с родителями. Ей

хотелось встретить новых и необычных людей и от общения с ними тоже стать новой и необычной. Милдред ощущала в себе мощные скрытые залежи чувств, и, вероятно, они в ней были. Они почти в каждом есть.

Бернис Причард, хотя и отвергала суеверия, была очень чутка к приметам. Поломка автобуса в начале пути напугала ее и, видимо, сулила цепь неприятностей, которые погубят все путешествие. Она видела, что муж не в своей тарелке. Ночью, лежа без сна на двuspальной кровати Чикоев и прислушиваясь ко вздохам мистера Причарда, она сказала:

— Все это превратится в приключение, когда останется позади. Я прямо слышу, как ты об этом рассказываешь. Будет смешно.

— Да, пожалуй,— ответил мистер Причард.

Они были привязаны друг к другу примерно как брат с сестрой. В изъяснах своей жены как женщины мистер Причард усматривал признак настоящей леди. Насчет ее верности беспокоиться не приходилось. Подсознательно он понимал, что жена у него холодная, но умом полагал это правильным. Свою нервозность, дурные сны, резкие боли, случавшиеся в области желудка, он приписывал неумеренному потреблению кофе и сидячему образу жизни.

Ему нравились красивые волосы жены, всегда завитые и чистые, нравилась ее опрятность в одежде и льстили комплименты по поводу ее хозяйственности и цветов. Такой женой можно было гордиться. Она вырастила прекрасную дочь, прекрасную, здоровую девушку.

Милдред была прекрасная девушка; высокая девушка, на пять сантиметров выше отца и на тринадцать выше матери. Она унаследовала от матери фиалковый цвет глаз и вместе с ним близорукость. Без очков она видела плохо. У нее была хорошая фигура, крепкие ноги с сильными тонкими лодыжками. Ляжки и ягодицы у нее были ровные, гладкие и плотные от тренировок. Она была хорошей теннисисткой и играла центровой в баскетбольной команде колледжа. Груды у нее были большие, тугие и широкие в основании. Физиологический недостаток матери ей не передался, и она уже пережила два полноценных романа, которые принесли ей глубокое удовлетворение и породили тягу к более постоянной связи.

Подбородок у Милдред был твердый и упрямый, как у отца, а рот мягкий, с полными губами, немного испуганный. Она носила очки в толстой черной оправе, придававшие ей ученый вид. Для новых знакомых всегда бывало неожиданностью увидеть Милдред на танцах без очков. Танцевала она хорошо, разве только чересчур правильно: усердная спортсменка, она, наверно, и в танцы вкладывала слишком много усердия в ущерб свободе. В танце у нее была некоторая склонность вести, но партнер с твердыми убеждениями мог преодолеть ее.

У Милдред тоже были твердые убеждения, но менявшиеся. Она участвовала в кампаниях, обычно благородных. Она совсем не понимала отца, потому что он ее всегда озадачивал. Говоря ему что-то здравое, логичное, разумное, она наталкивалась на непроходимую тупость, полное отсутствие мысли, которое ее ужасало. И тут же он мог высказаться или поступить так умно, что она кидалась в другую крайность. Свысока она определяла его как карикатурного коммерсанта, загребущего, серого, черствого, а он вдруг разрушал ее уютную схему поступком или мыслью, отмеченными добротой и чуткостью.

О его эмоциональной жизни она и вовсе ничего не знала, так же как он о ее. То есть в ее представлении у человека средних лет вообще не могло быть эмоциональной жизни. Милдред, которой шел двадцать второй год, считала, что у пятидесятилетнего никаких паров и соков не остается,— и считала не без оснований, поскольку и мужчины и женщины этого возраста были непривлекательны. Влюбленный или влюбленная пятидесяти лет показались бы ей зрелищем непристойным.

Если между Милдред и отцом лежала пропасть, то от матери ее отделяла бездна. Женщина, лишенная сильных желаний, не могла приблизиться к девушке, у которой они были. Попробовав сначала поделиться с матерью своими восторгами, найти поддержку своим чувствам, Милдред наткнулась на глухоту, полное непонимание и отпрянула, опять ушла в себя. Она долго ни с кем не откровенничала, не пыталась никому открыться, думая, что она одна такая на свете, а остальные женщины похожи на

ее мать. Но наконец доверие Милдред завоевала крупная, мускулистая женщина, тренировавшая университетских хоккеисток, бейсболисток и лучниц, — завоевала, а потом захотела с ней жить. Это потрясение изгладилось только тогда, когда с ней стал жить студент инженерного факультета — молодой человек с мягким голосом и жесткими волосами.

Теперь Милдред держала свои чувства при себе, думала свои мысли про себя и ждала, когда смерть, замужество или случай освободят ее от родителей. Но она любила родителей и ужаснулась бы, если бы умом поняла, что желает им смерти.

Между ними троими никогда не было тесной близости, хотя все приличия соблюдались. Они были и нежны, и заботливы, и ласковы друг с другом, но Хуан Чикой с Алисой регулярно возобновляли отношения, о каких мистер Причард и его жена не могли и помыслить. И они даже не догадывались о существовании людей, которые утоляли потребность их дочери в дружбе. И не могли догадываться. Не должны были. Молодых женщин, танцевавших нагишом на банкетах в клубе, отец Милдред считал порочными, и хотя он глазел на них, платил им и хлопал, ему в голову не приходило, что он как-то связан с пороком.

Раза два по настоянию жены он предостерегал Милдред насчет мужчин, учил, как уберечь себя. Он давал понять — и сам верил, — что очень неплохо знает жизнь, а все его знание, помимо чужих рассказов, сводилось к одному визиту в публичный дом, банкетикам и сухому, безучастному снисхождению жены.

В это утро на Милдред был свитер, плиссированная юбка и туфли наподобие мокасин. Семья сидела за столиком в закусочной. Длинный жакет миссис Причард из черно-бурой лисы висел на крючке подле мистера Причарда. Мистер Причард привык пасти этот жакет, подавать его жене, принимать у жены, следить, чтобы он был аккуратно повешен, а не валялся как попало. Если где-то мех был примят, он пушил его ладонью. Он любил этот жакет, любил за то, что он дорогой, любил смотреть на жену в жакете и слушать, как его обсуждают другие женщины. Черно-бурая лиса встречалась сравнительно редко, а кроме того, была ценным имуществом. Мистер Причард считал, что с ней надо хорошо обращаться. Он первым напоминал, что пора отвезти жакет на лето в холодильник. Он же и высказал мысль, что, пожалуй, не стоит брать его в Мексику: во-первых, Мексика — тропическая страна, а во-вторых, там бандиты, они могут украсть жакет. Миссис же Причард полагала, что взять стоит: во-первых, они заедут в Лос-Анджелес и Голливуд, а там все носят мех, а во-вторых, ей говорили, что ночи в Мехико холодные. Мистер Причард охотно уступил; для него, так же как для жены, этот мех был знаком их положения. Он рекомендовал их как людей преуспевающих, консервативных и солидных. Тебя совсем иначе принимают, если у тебя меховое пальто и дорогие чемоданы.

Сейчас жакет висел около мистера Причарда, и он сноровисто пробежал пальцами по меху, высвобождая длинную ость из подшерстка. Сидя за столиком, они слышали в спальне хриплые крики Алисы, бросавшейся на Норму; их зверская грубость потрясла всех Причардов и сблизила, насколько это возможно. Милдред закурила сигарету, избегая материнского взгляда. Курить она начала всего полгода назад, когда ей исполнился двадцать один. После первого взрыва эту тему больше не обсуждали, но каждый раз, когда Милдред закуривала при ней, мать всем своим видом выражала неодобрение.

Дождь перестал, только капало с дубов на крышу. Побитая водой земля промокла, размякла. Пшеница, гучная и тяжелая от обильной дождями весны, легла под последним ливнем, и поля покрылись как бы застывшими волнами. Вода точилась, бежала, лилась, неслась в низины на полях. Канавы вдоль шоссе наполнились, и кое-где вода вышла даже на полотно. Повсюду журчала вода, бормотала вода. Все лепестки с золотых маков облетели, а сочный люпин тоже не вынес собственной тяжести и поник, как пшеница.

Разгуливалось. Тучи разлохматились, и уже плескалась в разрывах чистая синева, а по ней стремглав скользили шелковые клочья облаков. В вышине гулял крепкий ветер и растаскивал, перемешивал, скатывал тучи, но на земле воздух был совсем неподвижен, и пахло червями, мокрой травой, обнаженными корневищами.

С участка вокруг гаража и закуской на Мятжном углу вода сливалась по канавкам в глубокий кювет у шоссе. Автобус в серебристой краске сверкал чистотой, вода еще капала с его бортов и каплями лежала на ветровом стекле. В закуской было жарковато.

Прыщ стоял за стойкой и помогал готовить, хотя до нынешнего дня ему это никогда не приходило в голову. Всегда на прежних местах он ненавидел работу, а потому, естественно, ненавидел и хозяина. Но переживания сегодняшнего утра были еще свежи. В ушах звучал голос Хуана: «Кит, вытри руки и погляди, как там у Алисы кофе». Ничего приятнее он в жизни не слышал. Ему хотелось что-то сделать для Хуана. Он выжал Причардам апельсины, подал кофе, а теперь пытался одновременно следить за гренками и сбивать яйца.

Мистер Причард сказал:

— Давайте все закажем болтушку. Так им будет проще. Мне можно подать на сковородке, и сделайте посуше.

— Хорошо,— сказал Прыщ.

Сковорода у него перекалилась, и яичница скворчала и трещала, распространяя запах мокрых куриных перьев, который сопутствует чрезмерно быстрой жарке.

Милдред закинула ногу на ногу, и подол юбки затянулся под колено, так что с противоположной от Прыща стороны оно, наверно, оголилось. Он хотел зайти с той стороны и посмотреть. Его узкие глаза без конца шныряли туда — ухватить что можно. Только чтобы не заметила, как он смотрит ей на ноги. Он все рассчитал в уме. Если она не опустит ногу, он пойдет подавать яичницу, а через руку повесит салфетку. Потом, когда он поставит тарелки, он зайдет за их стол шага на четыре и как бы случайно салфетку уронит. Он наклонится, посмотрит из-под локтя и тогда сможет увидеть ногу Милдред.

Он приготовил салфетку и мешал, торопил яичницу, пока Милдред не переменяла позу. Ворошил яичницу. Яичница уже пригорела, и Прыщ загребал только поверху, чтобы не содрать со дна корку. Чаd от сгоревших яиц наполнил закускую. Милдред подняла взгляд и заметила огонек в глазах Прыща. Она посмотрела вниз, увидела, как задралась юбка, и обдернула ее. Прыщ следил за ней исподтишка. Он понял, что попался, и щеки у него вспыхнули.

Темный дым поднялся над яичницей, а над гренками поднялся синий дым. Хуан тихо вышел из спальни и принялся.

— Господи боже,— сказал он,— что ты делаешь, Кит?

— Хотел помочь,— смущенно ответил Прыщ.

Хуан улыбнулся.

— Спасибо, конечно, но лучше бы ты не жарил.— Он подошел к газовой плите, снял сковороду с горелой яичницей, сунул в раковину и пустил воду. Яичница зашипела и забулькала, потом обиженно стихла. Хуан сказал:

— Кит, поди попробуй завести машину. Если не схватывает, подсос не трогай. Только зальешь. Если сразу не заведется, сними крышку распределителя и протри контакты. Могли отсыреть. Когда заведешь, несколько минут покрути на первой, а потом уже переключай, и пусть работает. Только смотри, чтобы он не стрялся с козел. На холостых — да?

Прыщ вытер руки.

— Масло сперва проверить, не уходит ли?

— Ага. Тебя учить не надо. Ага, взгляни. Утром на цапфе что-то было густо.

— Может быть, от тряски,— сказал Прыщ. Он забыл, как глядел на ногу Милдред. Он расцвел от похвалы Хуана.

— Кит, я не думаю, что он убежит, но все-таки ты за ним присматривай.

Прыщ подобострастно рассмеялся шутке начальника и вышел во двор. Хуан поглядел в зал.

— Жена неважно себя чувствует,— сказал он.— Что прикажете? Еще кофе?

— Да,— сказал мистер Причард.— Молодой человек пытался изжарить яичницу, но сжег. Моя жена любит жидковатую...

— Если яйца свежие,— вставила его жена.

— Если яйца свежие,— повторил мистер Причард.— А я люблю посуше.

— Яйца свежие, да,— сказал Хуан.— Свежие, прямо со льда.

— Не уверена, что смогу съесть яйцо из холодильника,— сказала миссис Причард.

— Из холодильника, врать не буду.

— Я, пожалуй, обойдусь пончиком,— сказала миссис Причард.

— Я то же самое,— сказал мистер Причард.

Хуан открыто и с восхищением посмотрел на ноги Милдред. Она посмотрела на него. Он нехотя оторвал взгляд от ее ног, и в его черных глазах было столько удальства, столько откровенного восхищения, что она порозовела. В животе у нее стало тепло. Она ощутила электрический удар.

— А!..— Она отвернулась.— Пожалуй, еще кофе. Ну, раз так, и пончик тоже.

— Пончиков осталось только два,— сказал Хуан.— Я подам два пончика и плюшку, а вы уж деритесь кому что.

На дворе раздался рев автобуса и почти сразу перешел в тихое ворчание.

— Звук хороший,— сказал Хуан.

Из спальни тихо, чуть ли не крадучись, вышел Эрнест Хортон и осторожно прикрыл за собой дверь. Он подошел к мистеру Причарду и положил на стол шесть плоских коробочек.

— Пожалуйста,— сказал он,— шесть.

Мистер Причард вынул бумажник.

— Найдется сдача с двадцати? — спросил он.

— Нет.

— Можете разменять двадцать? — спросил он Хуана.

Хуан нажал кнопку на кассе и поднял плоскую гирьку из отделения с бумажными деньгами.

— Могу десятками.

— Годится,— сказал Эрнест Хортон.— Доллар у меня, кажется, есть. С вас — девять.— Он забрал десятку, а мистеру Причарду отдал доллар.

— Что тут? — спросила миссис Причард.

Она взяла коробку, но мистер Причард выхватил ее.

— Не надо,— сказал он таинственно.

— Нет, что тут?

— Это мое дело,— игриво ответил мистер Причард.— Скоро узнаешь.

— Ах, сюрприз?

— Совершенно верно. А девочки пусть не суют носик не в свое дело.

Мистер Причард, когда был настроен игриво, всегда называл жену девочкой, и она машинально начинала ему подыгрывать.

— А когда девочки увидят хорошенький подарок?

— Потерпи,— сказал он, засовывая плоские коробки в боковой карман.

Он хотел охрометь, когда представится удобный случай. И даже придумал один вариант. Нога у него так заболит, что он сам не сможет снять туфлю и носок. И попросит жену снять ему туфлю и носок. То-то у нее будет лицо, то-то будет смеху! Она обомрет, когда увидит больную ногу.

— Что там, Элиот? — спросила она немного сварливо.

— Узнаешь, имейте терпение, девочки. Слушайте,— обратился он к Эрнесту,— я тут придумал поворотик. Потом расскажу.

Эрнест сказал:

— Ага, вот так вот мир и движется. Вы придумали поворотик — и обеспечены. Ломать вы ничего не хотите. Только поворотик — лицовка, как говорят в Голливуде. Это про сценарий. Берете картину, которая имела кассу, и делаете лицовку — так, не чересчур... не чересчур, а в меру,— и получается вещь.

— Справедливо замечено,— сказал мистер Причард.— Справедливо замечено, друг мой.

— Интересно с этими поворотиками,— сказал Эрнест. Он сел на табурет и закинул ногу на ногу.— Интересно, как можно обмануться в новой идее. Я, скажем, избобрел одну штуку и решил, что теперь могу посиживать да деньги считать,— не тут-то было! Понимаете, много людей вроде меня разъезжают, и весь их гардероб в чемо-

дане. А тут, например, съезд или какое-то из ряда вон свидание. И нужен смокинг. А для смокинга нужно много места, а наденете вы его раз-другой за всю поездку. Вот у меня и возникла идея. Положим, рассудил я, у вас есть хороший темный костюм — темно-синий, или почти черный, или маренго — и, положим, к нему есть шелковые чехлы на лацканы и ленты, которые пристегиваются к брюкам. Вечером вы надеваете хороший костюм, натягиваете шелковые чехлы на лацканы, пристегиваете ленты к брючинам — и вы уже в смокинге. Я даже придумал для них упаковку.

— Послушайте,— вскричал мистер Причард,— чудесная идея! Ведь сколько места у меня в чемодане занимает смокинг, а зачем? Я лучше повезу такую штуку. Если вы возьмете патент и развернете рекламную кампанию, широкую, по всей стране... ну да, можно привлечь знаменитого киноартиста...

Эрнест поднял руку.

— Вот и я так думал,— сказал он.— И ошибался; и вы ошибаетесь. Я все уже вычертил: и как они будут надеваться, и как на брючинах будут шелковые петельки для крючков, которые на ленте... а у меня был приятель, коммивояжер в фирме готового платья...— Эрнест хохотнул,— так он мне открыл глаза. На тебя, говорит, все портные и все фабриканты накинутся сворой. Они продают смокинги по пятьдесят — сто пятьдесят долларов, а ты своей десятидолларовой штучкой подрубаешь их под корень. Да они тебя живьем съедят.

Мистер Причард важно кивнул.

— Да, суть ясна. Они должны защищать и себя и своих акционеров.

— Он нарисовал не очень обнадеживающую картину,— сказал Эрнест.— Я думал, я буду посиживать и считать доходы. Я думал, у того, кто летает, например, вес багажа ограничен. Имеет он право сэкономить на весе? А тут у него два костюма, но весят как один. А потом мне пришла мысль: может быть, за это ухватятся ювелирные фирмы. Набор: запонки для манжет, для воротничка, мои лацканы и ленты — все в красивой коробке. Но это пока так, предварительно. Ни с кем не советовался. Может быть, что-то выйдет.

— Нам с вами надо встретиться и поговорить подробнее,— сказал мистер Причард.— Вы получили патент?

— Да нет. Мне не хотелось тратиться, пока этим никто не заинтересовался.

— Да,— сказал мистер Причард.— Пожалуй, вы правы. И адвокаты и процедура — все это стоит изрядных денег. Наверно, вы правы.— Он переменил тему.— Когда мы сможем выехать? — спросил он Хуана.

— «Борзой» приходит около десяти. Они привозят обычный груз и пассажиров. Мы отправляемся в десять тридцать. По расписанию. Подать вам что-нибудь еще? Еще кофе?

— Еще кофе,— сказал мистер Причард.

Хуан подал ему и посмотрел через окно, как крутятся в воздухе колеса автобуса. Мистер Причард посмотрел на свои часы.

— У нас еще час,— сказал он.

Из-за угла дома появился высокий сутулый старик. Он ночевал в постели Прыща. Старик открыл дверь, вошел и сел на табурет. Его тонкая подагрическая шея была постоянно согнута, так что нос указывал прямо в землю. Ему было далеко за шестьдесят, и брови у него нависали над глазами, как у скайтерьера. Длинная верхняя губа с глубокими морщинами выдавалась вперед, как короткий хоботок тапира. Уголок посередине казался хватательным органом. Глаза у него были золотисто-желтые, так что вид он имел свирепый.

— Мне это не нравится,— начал он без предисловий.— Вчера не понравилось, когда вы сломались, а сегодня еще больше не нравится.

— Я починил задний мост,— сказал Хуан.— Вон крутится.

— Я, кажется, верну билет и поеду обратно в Сан-Исидро на «борзом».

— Это ваше право.

— У меня предчувствие,— сказал старик.— Мне все это не нравится. Что-то меня предостерегает. Раза два со мной так бывало. Один раз я решил не обращать внимания — и попал в беду.

— Автобус в исправности,— сказал Хуан, слегка повысив от досады голос.

— Я не про автобус говорю,— сказал старик.— Я здесь живу, я местный. Земля насквозь промокла. Река Сан-Исидро сейчас поднялась. Вы знаете, как она разливается. Сразу за Пико Бланко она уходит в каньон Лоун Пайн, и там большая излучина. Земля не принимает воду, и все до капли стекает в Сан-Исидро. Сейчас она бушует.

Миссис Причард заметно встревожилась.

— Вы думаете, это опасно? — спросила она.

— Что ты, милая,— сказал мистер Причард.

— У меня предчувствие,— сказал старик.— Старая дорога шла вдоль излучины и реку не пересекала. Так вот, тридцать лет назад мистер Траск вылез в начальники дорожного управления. Старая дорога его, видите ли, не устраивала. Он соорудил два моста — и что он выгадал? Двадцать километров он выгадал. Округу это обошлось в двадцать семь тысяч. Мистер Траск был жулик.

Он повернул согнутую шею и оглядел Причардов.

— Жулик. Его бы на другую работку наладили, да умер три года назад. Богатым умер. Два его сына сейчас в Калифорнийском университете, живут на денешки налогоплательщиков.— Он умолк, и его верхняя губа задвигалась из стороны в сторону над длинными желтыми зубами.— Настоящего напора эти мосты не выдержат. Там бетон слабый. Я верну билет и поеду обратно в Сан-Исидро.

— Позавчера река была в норме,— сказал Хуан.— Почти никакого паводка.

— Не знаете вы эту реку. Она может подняться за два часа. Я видел, как она разливалась на три четверти километра и по ней плыли курятники и дохлые коровы. Нет, раз уж у меня предчувствие, я не поеду. Хотя я не суеверный.

— Вы думаете, мост может провалиться под автобусом?

— Что я думаю — мое дело. А что Траск был жулик — знаю. Оставил после себя состояние тридцать шесть тысяч пятьсот долларов. И сынки-студенты сейчас их тратят.

Хуан вышел из-за стойки к настенному телефону.

— Алло,— сказал он.— Дайте мне станцию обслуживания Брида на сан-хуанской дороге. Номера не знаю.— Он подождал немного, потом сказал: — Алло. Это Чикой с Угла. Как река?.. У-у, да? Ну а мост цел?.. Ага. Хорошо, ладно, до скорого.— Хуан повесил трубку.— Вода порядком поднялась,— объявил он.— Мост, говорят, цел.

— Когда над каньоном ливень, река может подняться на метр за три часа. Когда вы туда доберетесь, моста уже может не быть.

Хуан с легким раздражением обернулся к нему.

— Чего вы от меня хотите? Чтобы я не ехал?

— Это ваше дело. А я хочу отдать билет и вернуться в Сан-Исидро. Дурака ваять и в ваших глупостях участвовать не буду. Один раз у меня было такое предчувствие, я не прислушался — и сломал обе ноги. Нет, дорогой мой, когда вы вчера сломались, у меня тоже появилось предчувствие.

— Считайте, что вернули билет,— сказал Хуан.

— О том и речь, любезный. Вы тут недавно. Вы не знаете того, что я знаю про Траска. Жалованье полторы тысячи в год, а наследства оставляет тридцать шесть с половиной и земли шестьдесят пять гектаров. Видали?

Хуан сказал:

— Хорошо, будет вам место на «борзом».

— Я ведь вам не про Траска истории рассказываю. А говорю, как дело было. Самі соображайте что к чему. Тридцать шесть тысяч пятьсот долларов.

Эрнест Хортон спросил:

— А если его снесет?

— Тогда мы по нему не переедем,— сказал Хуан.

— И что будем делать? Повернем назад?

— Конечно,— сказал Хуан.— Или назад, или перепрыгнем.

Сутулый старик торжествующе улыбнулся слушателям.

— Видите? — сказал он.— Вы сюда вернетесь, а автобуса на Сан-Исидро уже не будет. Сколько вы здесь просидите? Месяц? Подождете, пока новый мост построят? А вы знаете, кто теперь начальник дорожного управления? Студент. Прямо со студен-

ческой скамьи. Книжки, книжки, а опыта никакого. Ну да, начертить мост он может, а построить? Это мы увидим.

Хуан вдруг рассмеялся.

— Замечательно,— сказал он.— Старый мост еще не снесло, а вам уже новый не нравится, который не построили.

Старик нагнул большую шею набок.

— Дерзим? — спросил он.

В черных глазах Хуана зажегся тусклый красный огонек.

— Да,— сказал он.— Я посажу вас на «борзой», не беспокойтесь. Не хотел бы я вас везти.

— А выкинуть меня не можете, вы — общественный транспорт.

— Ладно,— устало сказал Хуан.— Сам иногда удивляюсь, зачем я держу автобус. Может быть, скоро с ним развяжусь. Одна морока. Предчувствия у вас! Чуши!

Бернис внимательно прислушивалась к этому разговору.

— Я в них тоже не верю,— сказала она,— но говорят, в Мексике в это время года сухо. Как осенью. А дожди там летом.

— Мама,— сказала Милдред,— мистер Чикой знает Мексику. Он там родился.

— О, в самом деле? Сейчас там сухо, правда?

— Кое-где,— сказал Хуан.— Там, куда вы собираетесь,— наверное. Есть места, где сухо не бывает.

Мистер Причард откашлялся.

— Мы едем в Мехико и Пуэблу, а потом в Куэрзнаваку и Тахко, может быть, съездим в Акапулько и на вулкан, если все будет хорошо.

— Все будет хорошо,— сказал Хуан.

— Вы знаете эти места? — осведомился мистер Причард.

— Конечно.

— Как там гостиницы? — спросил мистер Причард.— Знаете эти туристские агентства: все у них прекрасно. А как на самом деле?

— Прекрасные,— сказал Хуан, уже улыбаясь.— Роскошные. Каждое утро — завтрак в постель.

— Извините, если я причинил вам угром неудобства,— сказал мистер Причард.

— Да чего там.— Хуан оперся руками на стойку и заговорил доверительно: — Иногда просто надоедает. Катаешь на этом проклятом автобусе взад и вперед, взад и вперед. Иногда кажется, плюнул бы и уехал в холмы. Я читал про капитана парома в Нью-Йорке: как-то раз он взял курс в открытое море, и с тех пор о нем не слышали. Может быть, утонул, а может, причалил к какому-нибудь острову. Я его понимаю.

На шоссе перед закусочной притормозил громадный красный грузовик с прицепом. Водитель выглянул. Хуан помахал ладонью из стороны в сторону. Грузовик перешел на вторую скорость, прибавил газу и скрылся.

— Я думал, он заедет,— сказал мистер Причард.

— Он любит пирог с малиной,— сказал Хуан.— Когда у нас есть, он всегда останавливается. Я ему показал, что нет.

Милдред смотрела на Хуана не отрываясь. Чем-то трогал ее этот смуглый человек со странными теплыми глазами. Ее тянуло к нему. Ей хотелось привлечь его внимание — особое внимание. Она расправила плечи — так, что грудь приподнялась.

— Почему вы уехали из Мексики? — спросила она и сняла очки, чтобы он увидел ее без очков, когда будет отвечать. Она облокотилась на стол, поднесла указательный палец к наружному углу глаза и оттянула его к виску. Так глаз видел лучше. Она могла яснее разглядеть лицо. Кроме того, это придавало глазу томную мидалевидность, а глаза у нее были красивые.

— Не знаю, почему я уехал,— сказал ей Хуан.

Его теплый взгляд будто окутывал ее и гладил. Внутри у нее все сладко опустилось. «Да что я, с ума сошла? — подумала она.— Надо прекратить». Живая и чувственная картина мелькнула у нее в голове.

Хуан сказал:

— Людям там, если они небогатые, приходится слишком тяжело работать за маленькие деньги. Это, наверно, главное, почему я уехал.

— Вы очень хорошо говорите по-английски,— сказала Бернис Причард так, как будто это было комплиментом.

— А что тут такого? Мать была ирландка. Учился сразу обоим языкам.

— Так вы мексиканский гражданин? — спросил мистер Причард.

— Наверно,— сказал Хуан.— Я этим как-то не интересовался.

— Вам не мешало бы подать прошение о гражданстве,— сказал мистер Причард.

— Зачем?

— Не мешало бы.

— Правительству это все равно,— ответил Хуан.— Налоги плачу, призвать меня могут.

— Тем не менее вам бы это не мешало,— сказал мистер Причард.

Взгляд Хуана играл с Милдред, трогал ее грудь, скользил по бедрам. Он увидел, как она вздохнула и слегка выгнула спину, и где-то на дне его души шевельнулась ненависть. Не сильная, потому что ее в нем было мало, но индейская кровь — была, и в сумраке прошлого гнездилась ненависть к *ojos claros*, светлым глазам, блондинам. Ненависть, страх перед белой кожей. Светлоглазые веками забирали лучшие земли, лучших лошадей, лучших женщин. Хуан ощутил в себе волнение как слабую еще зарницу; его приятно согревала мысль, что если бы он захотел, он мог бы взять и скрутить эту девушку, надругаться над ней. Он мог бы нарушить ее покой, соблазнить и духовно и физически, а потом прогнать. В нем зашевелилась жестокость, и он не мешал ей расти. Голос его стал мягче и глубже. Он говорил прямо в ее фиалковые глаза.

— Моя страна,— сказал он,— хоть я и не живу там, она в моем сердце.

Про себя он засмеялся над этим, но Милдред не смеялась. Она подалась вперед и оттянула уголки обоих глаз, чтобы лучше видеть его лицо.

— Я помню всякое,— сказал Хуан.— У нас в городе на площади были писцы, которые сочиняли бумаги для неграмотных. Они были хорошие люди. Другими не могли быть. Деревенские их быстро бы раскусили. Они понятливые, эти крестьяне с гор. Помню, однажды утром, когда я был мальчишкой, я сидел на скамье. В городе была фиеста в честь святого. Церковь завалена цветами, стояли лотки со сладостями, чертовое колесо и маленькая карусель. И всю ночь в честь святого пускали ракеты. В парке к писцу подошел индеец и сказал: «Я прошу тебя написать письмо моему патрону. Я скажу тебе, что писать, а ты напиши красивыми и хорошими словами, чтобы он не принял меня за невежу». «Письмо длинное?» — спрашивает писец. «Не знаю», — говорит индеец. «Это будет стоять одно песо», — говорит писец. И маленький индеец заплатил ему и сказал: «Ты напиши моему патрону, что я не могу вернуться в свой город и на свое поле, потому что я увидел великую красоту и должен остаться. Напиши ему, что мне очень жаль, я не хочу огорчать его и огорчать моих друзей, но я не могу вернуться. Я стал другим, и друзья меня не узнают. На поле я буду тосковать и не буду знать покоя. А друзья от меня откажутся и возненавидят меня, потому что я стал другим. Я видел звезды. Напиши ему это. И напиши, чтобы отдал мой студ моему названому брату, а мою свинью с двумя поросятами — старухе, которая сидела со мной, когда у меня была лихорадка. Горшки мои — зятю, и скажи патрону, пусть с ним будет бог и красота. Скажи ему это».

Хуан замолчал и увидел, что рот у Милдред приоткрыт,— увидел, что она воспринимает его рассказ как притчу о ней.

— Что с ним произошло? — спросила она.

— А-а. Он увидел карусель,— сказал Хуан.— Он не мог с ней расстаться. Он спал возле нее, скоро у него кончились деньги, и он голодал, а потом хозяин пустил его к рычагу управлять каруселью и стал кормить. Он не мог с ней расстаться. Он влюбился в карусель. Может быть, он до сих пор там.— Рассказывая, Хуан постепенно превращался в иностранца. В речи его зазвучал легкий акцент.

Милдред глубоко вздохнула. Мистер Причард сказал:

— Позвольте, я правильно понял? Он отказался от своей земли, от всего имущества и не вернулся домой, потому что увидел карусель?

— Земля-то у него была не своя. Своей земли у индейцев не бывает. Но от всего остального, что у него было, отказался.

Милдред сердито смотрела на отца. Это был как раз тот случай, когда он выглядел глупым до отвращения. Неужели он не понимает, как красива эта история? Ее взгляд вернулся к Хуану — молча сказать, что она понимает, — и в выражении его лица ей почудилось что-то такое, чего раньше не было. Ей показалось, что она увидела в его лице злое, жестокое торжество, но, может быть, это все — близорукость, подумала она. Проклятая близорукость, ничего не дает разглядеть. Однако то, что она увидела, ее поразило. Она тут же взглянула на мать, а потом на отца — вдруг и они заметили, — но они взирали на Хуана бессмысленно. Отец говорил очень медленно, отчего Милдред просто выходила из себя.

— Я могу понять, что это показалось ему красивым, если он раньше не видел карусели, но ведь ко всему привыкаешь. Человек и к дворцу привыкнет за несколько дней — и сразу захочет еще чего-нибудь.

— Это же просто рассказ, — перебила Милдред с такой свирепостью, что отец оглянулся на нее удивленно.

Милдред почти ощущала пальцы Хуана на своих бедрах. Во всем теле легонько покалывало от возбуждения, не находившего выхода. Зуд был чисто физиологическим, и Милдред разъярилась на отца так, как будто он помешал им в самом разгаре. Она надела очки, быстро взглянула на Хуана и тут же отвела взгляд, потому что глаза у него были затуманенные, хотя смотрел он на них тронх. Он как будто торжествовал победу. Он смеялся над ней и над тем, что происходило незаметно для отца и матери. И вдруг ее желание стало комом в животе, и в животе заболело, и ей сделалось тошно. Она испугалась, что ее вырвет.

Эрнест Хортон сказал:

— Я давно хочу прокатиться в Мексику. Думал как-нибудь поговорить об этом с начальством. Там, наверно, можно завязать довольно полезные связи. Взять хотя бы их фиесты. Там же продаются такие штучки, правильно?

— Конечно, — сказал Хуан. — Продают маленькие четки и религиозные картинки, свечи, всякое такое... сласти, мороженое.

— Ну, если кто-нибудь туда съездит и поразведает — ведь мы бы могли выпускать этот товар гораздо дешевле, чем они. Мы бы могли штамповать эти четки — и красиво — из белого чугуна. А ракеты? Наша фирма поставляет их для самых больших праздников; все виды фейерверков. Это мысль. Я, пожалуй, напишу письмо.

Хуан посмотрел на растущую стопку грязных тарелок в раковине. Он оглянулся на дверь спальни, потом открыл дверь и заглянул туда. Кровать была пуста. Алиса уже встала, но дверь в ванную была закрыта. Хуан вернулся и стал мыть грязную посуду в раковине.

Небо быстро очищалось, и чистое желтое солнце светило на отмытую землю. Молодые листья дубов были почти желтыми в утреннем свете. Зеленые поля казались неправдоподобно молодыми.

Хуан усмехнулся. Он отрезал два куска хлеба.

— Я, пожалуй, немного пройду, — сказал мистер Причард. — Хочешь со мной, милая? — спросил он жену.

Она бросила взгляд на дверь спальни.

— Одну минуту, — сказала она, и он ее понял.

— Я подожду за дверью, — сказал он.

Глава 6

Когда Хуан ушел, Алиса долго лежала на спине, закрыв лицо руками крест-накрест. Постепенно, как ребенок, она перестала всхлипывать. Сгиб руки был теплым и мокрым от слез. Ею овладел покой, и напряжение спало, как тугая сеть, опутывавшая тело. Она лежала спокойно и расслабленно, а мысль скачком вернулась к тому, что произошло. Алиса не помнила женщину, которая кричала на Норму. Утренняя сцена уже подернулась дымкой. Алиса не могла объяснить себе свой поступок. Теперь, заду-

мавшись об этом, она поняла, что на самом деле не подозревала Норму в дурном поведении, а если бы и заподозрила, все равно не приняла бы близко к сердцу. Любви к Норме она не питала. Норма была ей совершенно безразлична. Несчастная линияя кощёнка.

Когда Норма поступила на работу, Алиса, конечно, направила на них с Хуаном свои антенны, но, не обнаружив со стороны Хуана никакой реакции — никакого оживления, никаких искательных и провожающих взглядов,—потеряла к Норме всякий интерес и воспринимала ее только как организм для подавания кофе и мытья посуды. Алиса почти не замечала вещей и людей, если они не попадали так или иначе в приход или расход ее сиюминутной жизни. А сейчас, когда она лежала расслабленно, согрившись и успокоившись, ум ее заработал и с мыслями вкрался страх.

Она перебрала в памяти всю сцену. Страх вызывала мягкость Хуана. Он должен был ее ударить. И то, что не ударил, ее встревожило. Или она ему стала совсем безразлична? Такая доброта мимоходом у мужчины, установила Алиса,—преддверие отставки. Она пыталась вспомнить, как выглядят старшая и младшая Причард, и вспоминала, не смотрел ли с теплом на кого-нибудь из них Хуан. Она знала Хуана. Когда в нем просыпался интерес, глаза у него разогревались, как печка. Потом с легким содроганием она вспомнила, что свою кровать он уступил Причардам. От нее до сих пор пахло лавандой. Этот запах стал Алисе противен и ненавистен.

Она прислушивалась к глухим голосам за дверью. Хуан их кормит. Он не стал бы этим заниматься, если бы у него не было интереса. Он сказал бы: «Да ну, к чергу» — и пошел бы возиться с автобусом. Страх и беспокойство овладевали Алисой. Она плохо обошлась с Нормой. Но это пустяки. С такой, как Норма, только обойдись чуть поласковей — она вся размякнет и потечет. Она так мало видела любви, что ей только запах учуять — сразу распустит слюни до земли. Алиса презирала подобную жажду любви. Она не умела сравнить потребность Нормы со своею. Для Алисы сама она была большой, а все остальные очень маленькими, то есть все, кроме Хуана. А он опять-таки был ее продолжением. Она решила, что первым делом, пожалуй, надо привести в порядок Норму. Норма нужна была ей в закускойной, потому что сразу же после отъезда Хуана Алиса собиралась напиться. Когда он вернется, она скажет, что с ума сходила от зубной боли.

Напивалась она не очень часто, но сейчас ждала этого с нетерпением. И раз она решила, надо прятать концы сразу. Пьяных женщин Хуан не любил. Она убрала руки с лица. От тяжести их в глазах поплыла муть, но через секунду зрение прояснилось. Она увидела, как стелется солнечный свет по зеленой равнине за окном и льется за холмы далеко на западе. Погожий день.

Алиса с усилием поднялась и пошла в ванную. Она намочила край полотенца в холодной воде и похлопала им по лицу, разглаживая замявшиеся от тяжести рук пухлые щеки. Потом обтерла щеки, нос и лоб. Бретелька лифчика оторвалась. Она растегнула платье и, обнаружив, что английская булавка, на которой держался лифчик, еще там, снова приколола бретельку. Получилось коротковато, но, когда Хуан уедет, она пришьет. Ничего она, конечно, не пришьет. Когда бретелька совсем истреплется, она купит новый лифчик.

Алиса причесалась и намазала губы. Глаза еще были красны. Она пустила из пипетки капли в углы глаз и пальцами разогнала их под веками. Еще раз осмотрела себя в зеркале аптечки и вышла. В комнате стащила с себя мятое платье и надела чистое ситцевое.

Она быстро подошла к двери в комнату Нормы и тихо постучала. Никто не отозвался. Она опять постучала. В комнате послышалось шуршание бумаги, потом шаги, и Норма открыла дверь. Глаза у нее были мутные, как будто она только что проснулась. Она держала огрызок карандаша, которым до этого подводила брови.

Когда она увидела Алису, на лице ее появилась тревога.

— Я ничего такого не делала с этим человеком,— быстро сказала она.

Алиса шагнула в комнату. Она умела обращаться со своими девушками, пока не выходила из себя.

— Я знаю, золотко,— сказала Алиса.

Она опустила глаза, как будто ей было стыдно. Она умела обращаться со своими девушками.

— Зачем вы так говорили? Кто-нибудь услышит и в самом деле подумает. Я не такая. Я просто хочу зарабатывать и жить тихо.— Ей стало жалко себя, на глаза вернулись слезы.

Алиса сказала:

— Я зря на тебя набросилась — просто паршиво себя чувствовала. Дни мои подошли. Знаешь ведь, как бывает погано. Иногда просто не в себе.

Норма оглядела ее с любопытством. Она впервые видела Алису такой кроткой. Впервые, потому что до сих пор Алисе не было нужды в ее расположении. Алиса не любила женщин и девушек. Ее отношение к другим женщинам всегда было окрашено жестокостью, и, увидев, как наполнились слезами глаза Нормы, она возликовала.

— По себе знаешь, — сказала Алиса. — Прямо сама не своя.

— Я знаю, — сказала Норма. Токи робкого тепла исходили от нее. Она изголодалась по любви, дружке, близости хоть с каким-нибудь живым существом. — Я знаю, — повторила она и почувствовала себя старше и сильнее Алисы, которую ей хотелось защитить; Алисе только того и надо было.

Алиса увидела у нее в руке карандаш.

— Может, ты выйдешь и поможешь там? Мистер Чикой с ног сбился.

— Сию минуту, — сказала Норма.

Алиса закрыла дверь и прислушалась. Тишина, потом шуршание, потом резкий стук задвинутого ящика. Алиса откинула ладонью волосы и тихо подошла к двери закуской. Она была довольна. Она многое разузнала о Норме. Она узнала, как Норма относится к жизни. Она узнала, куда Норма спрятала письмо.

Алиса и раньше пыталась залезть к Норме в чемодан, но он всегда был заперт, и хотя она могла бы разнять его голыми руками — картонный, — остались бы следы. Ничего, она подождет. Раньше или позже, если поглядывать, Норма забудет запереть чемодан. Алиса была умна, но она не понимала, что Норма тоже не дура. Норма поработала уже у Алис. Когда Алиса лезла по ящикам ее комода, разглядывала ее вещи и читала письма от сестры, она не замечала картонной спички, валявшейся на краю ящика. Норма всегда клала ее туда, и если спичка оказывалась сдвинутой, ясно было, что кто-то покопался в ее вещах. Хуан и Прыщ не могли, значит, это Алиса.

Норма вряд ли забыла бы запереть чемодан. При всей своей мечтательности Норма была неглупа. В коробке из-под зубной пасты в запертом чемодане лежало двадцать семь долларов. Когда наберется пятьдесят, Норма уедет в Голивуд, наймет в ресторан и будет ждать случая. За пятьдесят долларов можно снять комнату на два месяца. Питаться она будет на работе. Ее высокие долгоногие мечты — это само собой, но и в няньке она не нуждалась. Норма была не дура. Да, она не понимала ненависти Алисы ко всем женщинам. Она не догадывалась, что извинения Алисы — уловка. Но, вероятно, она и это поняла бы вовремя, если бы это стало опасным. И хотя Норма верила, что только самые возвышенные и благородные мысли и побуждения владеют Кларком Гейблом, о побуждениях людей, с которыми она сталкивалась в обиходной жизни, она кое-что знала и была невысокого мнения.

Когда Прыщ стал скрестись ночью в ее окошко, она знала, как тут распорядиться. Она окошко заперла. А лезть с шумом, когда в соседней комнате спал Хуан, он побоялся бы. Норма им не дурочка.

Сейчас Алиса стояла в спальне перед дверью в закусную. Она провела пальцем под обоими глазами, потом открыла дверь и вышла за стойку как ни в чем не бывало.

Глава 7

Большой и красивый автобус компании «Борзая» стоял под посадочным навесом в Сан-Исидро. Рабочие заправляли его, проверяли уровень масла и давление в шинах. Система обслуживания работала как часы. Негр подметал салон, отряхивал сиденья и подбирал с полу спички, окурки и обертки от жвачки. Он провел пальцами под спинкой заднего сиденья, тянувшегося от борта до борта. Иногда он находил тут монету или

перочинный нож. Деньги оставлял себе, а большинство других предметов сдавал на станцию. Люди подымают жуткую вонь из-за потерянных вещей, а из-за мелочи — нет. Иногда удавалось набрать за этим сиденьем доллара два. Сегодня уборщик выковырял две десятицентовые, одну пятидесятицентовую и маленький бумажник с призывной повесткой, водительскими правами и членской карточкой «Клуба Львов».

Он заглянул в отделение для бумажных денег. Две пятидесятидолларовые и чек на пятьсот. Он положил бумажник в карман рубашки и обмахнул сиденье метелкой. Он дышал тяжело. С деньгами просто. Можно их вынуть, а бумажник кинуть за сиденье, чтобы после рейса его нашел другой уборщик. Чек не трогать. С чеками опасно. Но эти две хорошенькие полусотенные... какие хорошенькие полусотенные! В горле у него встал ком и не пройдет, пока хорошенькие не окажутся у него, а бумажник за сиденьем.

Но он не мог до них добраться, потому что оголец снаружи мыл окна, забрызганные дорожной грязью. Приходилось выжидать. Попадешься — выгонят.

В манжете его синих диагональных брюк было распоротое место. Он придумал сунуть две хорошенькие туда, в манжету, перед тем как сойти с автобуса. А перед концом рабочего дня он заболит. Ага, заболит. С неделю не будет выходить. Если он заболит на работе и все равно доработает день до конца, тогда никто не догадается, почему он не выходил еще несколько дней, и его не выгонят. Он услышал, что кто-то влез в автобус, и немного напрягся. Это заглянул шофер Луи.

— Здорово, Джордж, — сказал он. — Слушай, не находил бумажник? Один говорит, потерял.

Джордж что-то буркнул.

— Ладно, пойду сам посмотрю, — сказал Луи.

Джордж резко обернулся — он все еще стоял на коленях.

— Нашел я его, — сказал он. — Хотел кончить тут и сдать.

— Да? — сказал Луи.

Он взял у Джорджа бумажник и открыл. Оголец смотрел через стекло. Луи грустно улыбнулся Джорджу и скосил глаза на малого.

— Не повезло, Джордж, — сказал Луи. — Похоже, дело дохлое. Этот сказал, две полусотенные, тут и есть две полусотенные. — Он вытащил деньги и чек, чтобы их увидел малый, подглядывавший в окно. — Ничего, Джордж, может, в другой раз повезет, — сказал Луи.

— Может, он заплатит за находку? — сказал Джордж.

— Тогда половина твоя, — сказал Луи. — А если меньше доллара, все твои.

Луи ушел из автобуса в зал ожидания. Он сдал бумажник в кассу.

— Джордж нашел. Как раз собирался нести, — сказал Луи. — Молодец парень. — Луи знал, что хозяин бумажника стоит у него за спиной, и сказал кассиру: — Если бы я потерял, я бы Джорджа отблагодарил как следует. Хуже всего человека портит — это когда его не поощряют. Я помню, парень нашел тысячу и сдал, а ему даже спасибо не сказали. Так он чуть ли не на другой день ограбил банк и убил двоих охранников.

Луи врал легко и без запинки.

— Сколько едет на юг? — спросил Луи.

— У тебя полно, — сказал кассир. — Один до Мятажного угла, и пироги не забудь, как на прошлой неделе. В жизни не слышал такого скандала из-за пятидесяти пирогов. Вот ваш бумажник, сэр. Проверьте, все ли на месте.

Владелец заплатил за находку пять долларов. Луи решил, что как-нибудь отдаст Джорджу доллар. Он знал, что Джордж не поверит, — ну и черт с ним. Это вообще дело скользкое — кто у кого захамил. Плывет в руки — не зевай. Луи был крупный, полноватый, но любитель красиво одеться. Собутыльники звали его Мордатый. За словом в карман он не лез, был сообразителен и старался прослыть лошадиником. Скаковых лошадей называл собачками, а всякую ситуацию — надбавкой. Он бы хотел быть Бобом Хоупом, а еще лучше — Бингом Кросби.

Луи увидел Джорджа, который заглядывал в дверь зала. Его охватил порыв щедрости. Он подошел и дал Джорджу долларовую бумажку.

— Жадная сволочь! — сказал он. — На доллар. Ему приносят пятьсот с лишним а он тебе — доллар!

Джордж взглянул ему в лицо — стрельнул карими глазами. Он знал, что это ложь, и знал, что ничего не может сделать. Если Луи на него разозлится, может напасть. И страшно хотелось выпить. Джордж прямо чувствовал, как его разбирает виски. А все из-за этого сопляка — суется своим носом.

— Спасибо, — сказал Джордж.

Мальчишка прошел мимо с ведром и губкой. Джордж сказал:

— По-твоему, это чистые окна?

И Луи подыграл Джорджу. Он сказал малому:

— Хочешь выйти в люди — шевелись. Окна загаженные. Вымой снова.

— Я тебе не подчинюсь. Начальник будет недоволен — тогда посмотрим.

Луи и Джордж переглянулись. Сопляк. Луи только захотеть, и через неделю ему дадут под зад коленкой.

Большие автобусы «Борзой», тяжелые и высокие, как дома, въезжали под посадочный навес и отъезжали. Шоферы плавно и красиво подруливали к платформе. Пахло маслом, дизельным выхлопом, конфетами и сильным моющим порошком, ударившим в нос.

Луи вернулся на станцию. Внимание его привлекла молодая женщина, вошедшая с улицы. Она несла чемодан. Взгляд Луи выхватил ее из толпы. Краля! Такую кралю он посадил бы в автобусе позади своего кресла. Он поглядывал бы на нее в зеркальце и расспрашивал. Может, живет где-нибудь по маршруту. У Луи много приключений начиналось с этого.

Свет с улицы падал на нее сзади, так что Луи не мог разглядеть лицо, но чувствовал — хороша. А почему чувствовал — он сам не мог сказать. Мало ли какая могла стоять там против света. Почему же он ее приметил? Конечно, фигура складная и красивые ноги, это видно. Но главное — от нее как-то тянуло женщиной.

Он видел, что она направилась с чемоданом к кассе, и поэтому сразу к ней не пошел. Он ушел в туалет. Он стал перед умывальником, окунул руки в воду и провел ладонями по волосам. Потом вынул из бокового кармана расческу, гладко зачесал волосы назад и прижал рукой сзади, где остался хохолок. Потом расчесал усики — без особой нужды, потому что они были очень короткие. Одернул серый вельветовый пиджак, подтянул пояс и слегка подобрал живот.

Сунув расческу в карман, он снова осмотрел себя в зеркале. Пригладил волосы на висках. Ощупал затылок — не торчит ли там, прилег ли хохолок. Поправил форменную черную бабочку на резинках и, достав из кармана рубашки сенсен, кинул несколько зернышек в рот. И напоследок как бы встряхнул на себе пиджак.

Когда его правая рука протянулась к латунной ручке двери, левая пробежала пальцами вверх и вниз по ширинке, проверяя, все ли застегнуто. Он сложил губы в кривоватую улыбку — смесь искушенности и простодушия, — которая приносила ему успех. Луи прочел где-то, что если смотришь девушке в глаза и улыбаешься, это производит впечатление. Не просто смотришь на нее так, как будто она самая красивая на свете, а смотришь, куда она не отведет глаза. И еще одна хитрость. Если тебе трудно смотреть людям в глаза, смотри им в переносицу. Тому, на кого смотришь, кажется, будто ему смотрят в глаза, а на самом деле ты не смотришь. Этот прием Луи находил очень удачным.

Почти все свободное от сна время Луи думал о женщинах. Ему нравилось плохо с ними обходиться. Нравилось бросать их, когда они в него влюблялись. Он называл их щетками. «Я возьму щетку, — говорил он, — ты возьмешь щетку, и загудим». Он величаво вышел из туалета, но тут же вынужден был отступить, потому что два человека несли между скамейками длинный ящик с отдушниками. На стенке ящика большими белыми буквами было написано: «ДОМАШНИЕ ПИРОГИ МАТУШКИ МЭХОНИ». Грузчики прошли мимо Луи к посадочной платформе.

Женщина уже сидела на скамейке, чемодан она поставила у ног. Проходя по залу, Луи быстро взглянул на ее ноги, а потом встретился с ней глазами и стал смотреть. Он улыбался кривоватой улыбкой и двигался по направлению к ней. Она смотрела на него без улыбки, потом отвела взгляд.

Луи расстроился. Она должна была смутиться, но не смутилась. Просто потеряла к нему интерес. А хороша была и в самом деле: красивые, не худые ноги с крепкими

бедрами, живота — никакого и большая грудь, которой она отнюдь не стеснялась. Она была блондинка с жесткими, слегка посекшимися от горячей завивки волосами, но волосы красивые, блестящие, и прическа такая, как нравилось Луи, — с крупными завитками. На ней был костюм: узкая юбка и жакет с круглым воротником. Туфли коричневые, с белой строчкой. И сама хороша и одета как надо. И видно — в дорогое.

Луи разглядывал ее лицо, пока шел. У него было чувство, что он ее где-то видел. Может, в кино, а может, просто похожа на какую-нибудь знакомую. Такое тоже случилось. Глаза были широко расставлены, почти неестественно широко, — голубые с коричневыми искорками и ясно обозначенными линиями от зрачка к наружному краю радужной оболочки. Брови были выщипаны и подрисованы высокими дугами, что придавало ей удивленный вид. Луи заметил, что ее руки в перчатках лежат спокойно. Она не нервничала, не суетилась, и это его обеспокоило. Он боялся самообладания в женщинах, и его не покидало чувство, что где-то он ее видел. Колени у нее были не костлявые, круглые, а юбка не задиралась, хотя она ее не обдергивала.

Проходя мимо, Луи наказал ее за то, что она отвела взгляд, — устоялся ей на ноги. Действовало это обыкновенно таким образом, что женщина поправляла юбку, даже если юбка не задралась, но сейчас не подействовало. Его искусство не произвело впечатления, и Луи слегка растерялся. Проститутка, наверное, сказал он себе. Обыкновенная дешевка. И тут же посмеялся над собой. При таких-то вещах — дешевка?

Луи подошел к окошку кассы и сардонически улыбнулся кассиру Эдгару. Эдгар им восхищался. Эдгар хотел бы походить на него.

— Куда щетка едет? — спросил Луи.

— Щетка?

— Ну. Баба. Блондинка.

— А-а. — Эдгар обменялся мужским понимающим взглядом с Луи. — На юг, — сказал он.

— На моей телеге?

— Ну.

Луи побарабанил по доске пальцами. Он отрастил на мизинце очень длинный ноготь. Ноготь выгнулся желобом и был подпилен остро. Луи не знал, зачем он это сделал, но с удовольствием отметил, что еще несколько шоферов начали отращивать ноготь на мизинце. Луи создавал моду, и это было ему приятно. Один шофер такси привязал хвост енота к пробке радиатора, и на другой же день у каждого трепался на капоте кусок меха. Скорняки делали искусственные лисьи хвосты, и ни один школьник не появлялся на машине без развевающегося хвостика. А таксист, наверное, развалившись за баранкой, с удовольствием думал, что все началось с него. Луи отращивал ноготь на мизинце пять месяцев и уже видел несколько своих последователей. Это может пойти по стране, а началось все с Луи.

Он постукал по доске длинным выпуклым ногтем, но осторожно, потому что, когда ноготь вырастает такой длины, он легко ломается. Эдгар смотрел на ноготь. Свою же левую руку он прятал внизу. У него тоже отрастал ноготь, но он был еще не очень длинный, и Эдгар не хотел показывать его Луи, пока не отрастет как следует. У Эдгара ногти были ломкие, этот приходилось покрывать бесцветным лаком, иначе он бы сразу сломался. Он даже в постели раз сломался. Эдгар посмотрел на блондинку.

— Хочешь заняться этой... щеткой?

— Почему не попробовать? — сказал Луи. — Может, и проститутка.

— Хорошая проститутка — тоже дело. — Взгляд Эдгара опять скользнул в ту сторону. Женщина положила ногу на ногу. — Луи, — сказал он извиняющимся тоном, — пока я не забыл: ты присмотри за тем, как грузят ящик с пирогами. На прошлой неделе на нас была жалоба. Где-то по дороге уронили ящик, и малиновый пирог весь перемешался с лимонным, а сверху еще изюм насыпался. Пришлось выплачивать.

— Только не в моем рейсе, — отрезал Луи. — Его ведь в Сан-Хуан везут? На ихней колымаге с Мятёжного угла и уронили.

— Выплачивать нам пришлось, — сказал Эдгар. — Все-таки проверь, ладно?

— В моем рейсе никаких пирогов не роняли, — угрожающе сказал Луи.

— Я знаю. Знаю, что не у тебя. Но из конторы велели передать тебе, чтобы ты проследил.

— Чего же они ко мне не обратились? — сказал Луи. — Есть жалоба — ну так и вызвали бы меня, а не передавали через кого-то.

Он раздвигал в себе злость, как костер. Но злился он на женщину. Дешевка. Он посмотрел на большие настенные часы. Секундная стрелка в полметра длиной прыгала по циферблату, а в вышуклом стекле Луи видел блондинку, которая сидела, закинув ногу на ногу. В кривом стекле было плохо видно, но ему показалось, что она смотрит ему в затылок. Злость его утихла.

— Я присмотрю за пирогами, — пообещал он. — Скажи им, малины в лимонном не будет. Я, кажется, под займусь этой щеткой. — Он увидел восхищение в глазах Эдгара и медленно повернулся лицом к залу.

Луи не ошибся. Она смотрела ему в затылок, а когда он повернулся, продолжала смотреть в лицо. Во взгляде ее не было интереса, совсем никакого. Но глаза красивые, подумал он. Хороша, черт! Луи прочел в журнале, что широко расставленные глаза говорят о сексуальности, и от блондинки тянуло ею, тянуло. На таких всегда оглядываются на улице. Стоит ей появиться — сразу все поворачиваются и смотрят. Прямо видишь, как головы поворачиваются, словно на ипподроме. Что-то в ней есть особенное; и дело не в косметике, не в походке, хотя и они много значат. Что бы это ни было, но она несла в себе такой заряд. Луи почувствовал его, когда она только вошла с улицы и стояла против света, так что он даже не мог ее разглядеть. Сейчас она смотрела на Луи без улыбки, вообще без всякого выражения, просто смотрела, а он это все равно чувствовал. Горло у него перехватило, и шея над воротничком покраснела. Он знал, что через секунду ответит глаза. Эдгар ждал и Эдгар верил в Луи.

Репутация у Луи была несколько преувеличенной, но он действительно имел подход, действительно не терялся по части щеток. И все же сейчас ему было не по себе. Эта щетка его осадилась. Хотелось залепить ей пощечину. Грудь распирало. Если он не возьмется за дело сейчас, шанс будет упущен. Он видел темные лучики на радужных оболочках, круглый подбородок. Он применил обнимающий взгляд. Он слегка расширил глаза и улыбнулся, как будто вдруг узнал ее. И двинулся прямо к ней.

Он тонко придал улыбке легкую почтительность. Она продолжала смотреть ему в глаза, но уже не так холодно. Он остановился перед ней.

— Мадам, кассир говорит, вы едете на юг на моем автобусе, — сказал он. Он чуть не рассмеялся над этим «мадам», но обычно слово действовало. Подействовало и на нее. Она чуть-чуть улыбнулась. — Я отнесу ваш чемодан, — продолжал Луи. — Отправляемся минуты через три.

— Спасибо, — сказала женщина.

Голос у нее грудной и чувственный, подумал Луи.

— Позвольте взять ваш чемодан. Я его сейчас поставлю, и место будет занято.

— Он тяжелый, — сказала она.

— Я тоже, кажется, не карлик, — возразил Луи.

Он взял ее чемодан и быстро пошел на посадочную платформу. Он влез в автобус и поставил чемодан перед сиденьем, которое было прямо за его креслом. Можно смотреть в нее в зеркальце и поговорить по дороге. Он вышел из автобуса и увидел, что оголец с другим уборщиком грузят на крышу ящик с пирогами.

— Поаккуратнее с этой штукой, — громко сказал Луи. — Вы, паразиты, уронили такой на прошлой неделе, а капают на меня.

— Ничего я не ронял, — сказал мальчишка.

— Ну да, не ронял, — сказал Луи. — Не нарывайся, мальй. — Он ушел через стеклянные двери в зал ожидания.

— Чего его разбирает? — спросил другой уборщик.

— Да я его зашухарил, — сказал мальчишка. — Джордж нашел бумажник, а я видел; ну и побоялись притырить. С начинкой бумажник. Оба взяли на меня — что я видел. Луи с Джорджем эту сотню поделили бы, а из-за меня она накрылась. Видят, что я видел, ну и, ясно, побоялись притырить.

— Я бы от сотни не отказался, — сказал уборщик.

— А кто бы отказался? — сказал мальчишка.

— Взял бы я сотню да как загулял бы, на сотню знаешь как можно погулять?

И пошел ритуальный разговор.

В зале возникла легкая суета. Пассажиры автобуса, отправлявшегося на юг, уже собрались. У Эдгара в кассе было много работы, но не так много, чтобы выпустить из виду блондинку. «Щетка», — шептал он. Это было новое слово. Теперь он будет им пользоваться. Он осмотрел ноготь мизинца на левой руке. Не скоро вырастет такой хороший, как у Луи. Но зачем себя обманывать? Все равно таким ходяком, как Луи, он не будет. Бабы ему всегда доставались второго разбора.

Был последний набег пассажиров на кондитерский лоток, на автоматы с арахисом и жвачкой. Китаец купил «Тайм» и «Ньюсуик», аккуратно скатал их вместе и опустил в карман черного габардинового пальто. Старуха нервно перебирала журналы у газетчика, не собираясь ничего покупать. Два индуса в ослепительно белых чалмах, с лаково-черными кудрявыми бородами стояли рядышком перед окном кассы. Пытаясь объяснить, они бросали вокруг огненные взгляды.

Луи стоял у выхода на платформу и безотрывно смотрел на блондинку. От него не укрылось, что каждый мужчина в зале занят тем же. Все наблюдали за ней исподтишка, чтобы никто не заметил. Луи повернулся и посмотрел через стеклянные двери: мальчишка и другой уборщик укрепили ящик с пирогами на крыше автобуса и покрыли брезентом. В зале ожидания вдруг потемнело. Должно быть, туча закрыла солнце. Потом снова посветлело, как будто плавно вывели реостат. Зазвенел большой колокольчик над стеклянными дверями. Луи взглянул на наручные часы и вышел на платформу к большому автобусу. Пассажиры в зале ожидания поднялись и зашаркали к дверям.

Эдгар никак не мог понять, куда хотят ехать индусы. «У, башка тряпичная, — сказал он про себя. — И чего их носит — выучились бы сперва по-английски».

Луи забрался на высокое кресло, отгороженное трубой из нержавеющей стали, и проверил билеты у входивших пассажиров. Китаец в черном пальто сразу направился к заднему сиденью, снял пальто и положил «Таймс» с «Ньюсуиком» на колени. Старая дама, задыхаясь, преодолела ступеньку и села прямо позади Луи. Он сказал:

— Извините, это место занято.

— Что значит «занято»? — ошетинилась она. — Здесь места не нумерованные.

— Это место занято, — повторил Луи. — Вы же видите, чемодан стоит? — Он не навидел старух. Он их боялся. От них пахло чем-то таким, что у него поджилки дрожали. Они бешеные, и у них нет гордости. Им скандал устроить — все равно что плюнуть. И всегда своего добиваются. Бабка Луи была тираном. И всегда своего добивалась, потому что была бешеная. Боковым зрением он видел блондинку, дожидавшуюся на подножке автобуса, когда пройдут индусы. Надо же так влипнуть. Он вдруг рассердился. — Мадам, — сказал он, — в автобусе распоряжаюсь я. Тут сколько уютно хороших мест. Будьте любезны пересесть.

Старуха выставила на него подбородок и нахмурилась. Она поелозила задом, устраиваясь поудобнее.

— Вы этой девице место заняли — вот кому вы заняли, — сказала она. — Я вот подам на вас жалобу начальству.

Луи взорвался:

— Сделайте одолжение. Выходите и подавайте на меня жалобу. Пассажиров у компании много, а хороших шоферов мало. — Он видел, что блондинка слушает, и ему это было приятно.

Старуха почувствовала, что он сердится.

— Я на вас пожалуюсь, — сказала она.

— Жалуйтесь на здоровье. Вы можете сойти, — громко ответил Луи, — но на этом месте сидеть не будете. Оно предоставлено пассажирке по совету врача.

Это была лазейка, и старуха ею воспользовалась.

— Почему вы сразу не сказали? — спросила она. — Что же я — понять не могу? Но я все равно пожалуюсь на вашу грубость.

— Сделайте одолжение, — устало сказал Луи. — Мне не привыкать.

Старуха пересела на следующее место. «Теперь наострит уши и будет меня ловить, — подумал Луи. — А-а, пускай. У нас пассажиров больше, чем водителей». Блондинка была уже рядом, протягивала билет. Луи произвольно сказал:

— Вы только до Мятеежного?

— Да, у меня там пересадка,— сказала девушка. Она улыбнулась, услышав разочарование в его голосе.

— Вот ваше место,— сказал он. Он видел в зеркальце, как она села, закинув ногу на ногу, одернула юбку и поставила сумочку рядом с собой. Потом выпрямилась и поправила воротник жакета.

Она знала, что Луи наблюдает за каждым ее движением. С ней так бывало всегда. Она знала, что отличается от других девушек, но не совсем понимала — чем. С одной стороны, было приятно, что тебе всегда уступают лучшее место, не дают заплатить за обед, поддерживают за руку, когда переходишь улицу. Руки мужчин все время тянулись к ней. И в этом же было постоянное неудобство. Приходилось урезонивать, или улещивать, или оскорблять, или просто драться, чтобы отстали. Все мужчины домогались одного и того же, и деться от этого было некуда. Она воспринимала это как неизбежность — и была права.

Когда она была совсем молоденькой, ее это мучило. Было гадко, давило ощущение вины. Но, повзрослев, она притерпелась и выработала свои методы. Иногда она уступала, иногда принимала в подарок деньги или вещи. Подходы же почти все ей были известны. Она точно могла предугадать все, что сделает или скажет Луи в следующие полчаса. Иногда это помогало избежать осложнений. Мужчины постарше хотели ей помочь, устроить учиться или устроить на сцену. Из молодых некоторые хотели на ней жениться или опекать ее. И лишь немногие, очень немногие, честно и прямо желали с ней спать, о чем и заявляли.

С ними было проще всего, потому что она могла сказать «да» или «нет» и на этом поставить точку. Больше всего она ненавидела в своем даре — или своем недостатке — грызню, вечно разгоравшуюся вокруг нее. Мужчины яростно сцеплялись в ее присутствии. Грызлись, как терьеры; поэтому ей иногда хотелось нравиться женщинам, но она не нравилась. Она была неглупа. И знала, почему не нравится, но ничего не могла поделать. Мечтала же она о красивом доме в красивом городе, о двух детях и о том, как она будет стоять на лестнице. Она будет красиво одета и будет встречать гостей к обеду. Будет муж — конечно; но он как-то ускользал из этой картины, потому что рекламы в женских журналах, из которых и вырастала мечта, никогда не включали мужчину. Только миловидная женщина в красивом платье спускается по лестнице, только гости в столовой, только свечи и обеденный стол темного дерева и чистенькие дети целуют маму, отправляясь спать. Вот чего ей хотелось. И она понимала яснее ясного, что этого как раз у нее не будет.

В ней накопилось много грусти. Она думала о других женщинах. Может быть, они в постели не такие, как она? Наблюдая жизнь, она видела, что на большинство женщин мужчины так не реагируют, как на нее. Чувственность не разыгрывала в ней с обременительной силой или постоянством, а как у других женщин — она не знала. С ней они никогда этого не обсуждали. Они ее не любили. Однажды молодой врач, к которому она обратилась в надежде как-нибудь умерить свои периодические страдания, начал к ней приставать и, когда она его окоротила, заметил: «Вокруг вас воздух этим заряжен. Не знаю, как это у вас получается, но это факт. Есть такие женщины,— сказал он.— Слава богу, их немного, иначе бы мужчина спятил».

Она пробовала одеваться построже, но это мало помогало. На обычной работе она не удерживалась. Она научилась печатать, но когда ее нанимали, в конторе все летело кувырком. А теперь у нее была кормушка. Платили хорошо, сложностей особых не было. Она раздевалась на холостяцких банкетах. Антрепризой занималось обыкновенное агентство. Она не понимала, что за смысл в этих банкетах и что за удовольствие мужчинам, но мужчины приходили, а она получала пятьдесят долларов за то, что снимала одежду, и это было лучше, чем если бы одежду сдирали в кабинете. Она даже почитала о нимфомании — хоть и немного, но поняла, что ею не страдает. И чуть ли не жалела об этом. Иногда она думала просто поступить в публичный дом, скопить там денег и уехать на покой в деревню; или же выйти за пожилого, с которым можно сладить. Это было бы самое простое. Молодые люди, которые ей нравились, почему-то начинали злобствовать. Они всегда подозревали ее в обмане. Либо дулись, либо про- бовали бить, либо в ярости прогоняли ее.

Она пыталась удержать их, но все кончалось только так. А старик с деньгами — это выход. Она бы хорошо к нему относилась. И деньги и время свое он тратил бы не впустую. У нее были только две подруги, и обе из публичного дома. Как видно, только такие могли ей не завидовать и не осуждать ее. Но одна уехала из страны. Куда — неизвестно. Отправилась куда-то с армией. А другая жила с рекламщиком, и подруга ей была ни к чему.

Другая — это Лорейн. Они вместе снимали квартиру. Лорейн была равнодушна к мужчинам; но и женщинами не интересовалась. А потом Лорейн связалась со своим рекламщиком и попросила ее выехать. Лорейн все объяснила напрямик, когда сказала ей, что приходить не надо.

Лорейн была в публичном доме, а этот рекламщик в нее влюбился. Но тут Лорейн заболела гонореей и раньше, чем сама почувствовала, заразил рекламщика. Он был из впечатлительных, ошалел, потерял место и приполз к Лорейн плакаться. Она все-таки считала себя виноватой, поэтому пустила его и кормила, пока их лечили. Это было до новых лекарств, так что им доставалось.

А потом рекламщик стал налегать на снотворные таблетки. Иногда он валялся без сознания, а так ходил ослепевший, без таблеток склочничал и ел их все больше и больше. Два раза его увозили откачивать.

Лорейн была хорошая на самом деле, и ей приходилось туго, потому что зарабатывать в доме не могла, покуда не вылечилась. Она не хотела заражать никого из знакомых, но надо было есть, платить врачу и за квартиру. Пришлось зарабатывать на улицах Глендейла, а чувствовала она себя плохо. А тут — одно к одному — рекламщик стал ревновать и не пускал ее на улицу, хотя сам сидел без работы. Хорошо бы все это уже рассосалось и они с Лорейн могли бы опять жить вместе. Они были дружной парой. И жилось им весело, славно, по-тихому весело.

В Чикаго шел съезд за съездом, и она хорошо подработала на банкетах. В Лос-Анджелес возвращалась на автобусах из экономии. Хотелось хоть немного пожить тихо. От Лорейн давно не было вестей. Последний раз она предупредила, что рекламщик читает ее письма, поэтому писать не надо.

Последние пассажиры выходили из дверей и садились в автобус.

Луи закинул ногу на ногу. Он немножко робел перед этой женщиной.

— Так вы — в Лос-Анджелес, — сказал он. — Вы там живете?

— Время от времени.

— Люблю присматриваться к людям, — сказал он. — Перед нами знаете сколько проходит?

Мотор автобуса тихо дышал. Старуха свирепо смотрела на Луи. Он видел ее в зеркальце. Наверно, напишет жалобу начальству.

«Ну и черт с ним, с начальством», — сказал себе Луи. Работу он всегда найдет. Да и не больно там обращают внимание на письма старух. Он окинул взглядом салон. Индусы как будто держались за руки. Китаец раскрыл на коленях «Тайм» и «Ньюсуик» и сравнивал сообщения. Его голова поворачивалась от журнала к журналу, между бровей пролегла удивленная складка. Диспетчер махнул рукой.

Луи запер рычагом дверь. Он включил заднюю скорость и, подав автобус назад из бетонного углубления, повернул аккуратно, по широкой дуге, так что переднее крыло прошло в каком-нибудь сантиметре от северной стенки. Потом выкрутил руль обратно и так же, на тихом ходу, провел автобус впритирку к другой стене въезда. На пересечении въезда с улицей Луи остановился и посмотрел, свободна ли она. Потом сделал левый поворот на противоположную сторону улицы. Луи был хороший шофер и ездил безупречно. По главной улице Сан-Исидро автобус выехал на окраину и дальше — на свободное шоссе.

Небо и солнце были умытыми, чистыми. Краски стали сочнее. Кюветы наполнились водой, и там, где они были засорены, вода выливалась на шоссе. Автобус врезался в такую лужу с громким всплеском, и Луи почувствовал, как потянуло руль. Трава свалилась от ливня, но сейчас горячее солнце накачивало сочные стебли силой, и она уже подымалась на пригорках.

Луи опять поглядел в зеркальце на блондинку. Она смотрела ему в затылок. Но что-то заставило ее взглянуть в зеркальце — в глаза Луи, — и глаза ее с темными ду-

чiami, ее прямой красивый нос, квадратно нарисованный рот фотографически отпечатались в памяти Луи. Глядя ему в глаза, она улыбнулась так, как будто ей хорошо.

Луи почувствовал, как сжимается горло и воздух распирает грудь. Он подумал, что, наверно, тронулся. Луи знал, что он застенчив, но обычно мог убедить себя в обратном, а сейчас испытывал все мучения шестнадцатилетнего. Его взгляд перебегал с дороги на зеркальце, туда и обратно. Он чувствовал, как у него горят щеки. «Что за черт? — сказал он себе. — Что ли я совсем того из-за девки?» Он присмотрелся к ней внимательнее, подыскивая какую-нибудь спасительную мысль, и тут увидел у нее под ушами глубокие следы хирургических щипцов. Это его несколько успокоило. Небось не была бы такая уверенная, если бы знала, что он видел шрамы. Шестьдесят семь километров. Надо уложиться. Если он хочет заболтать девку, нельзя терять ни минуты. Но когда он попытался заговорить, голос сел.

Она наклонилась к нему поближе.

— Я не расслышала, — сказала она.

Луи кашлянул.

— Я говорю, красиво как после дождя.

— Да, красиво.

Он решил начать своим обычным ходом. В зеркальце он видел, что она по-прежнему сидит наклонившись, чтобы лучше слышать.

— Я вам говорил, — начал он, — люблю присматриваться к людям. Я бы сказал, что вы работаете в кино или в театре.

— Нет, — ответила она. — Вы бы ошиблись.

— Так вы не играете?

— Нет.

— А вообще — работаете?

Она рассмеялась; лицо у нее становилось очень приятным, когда она смеялась. Но Луи заметил, что один верхний зуб у нее кривой. Он рос вбок и налезал на соседа. Она перестала смеяться, и верхняя губа закрыла зуб. «Стесняется», — подумал Луи.

Она все знала наперед. Предугадывала, что он собирается сказать. Все это уже бывало много раз. Он собирается разузнать, где она живет. Спросит у нее телефон. Но с этим — просто. Она нигде не жила. У Лорейн стоял ее сундук с книжками — «Капитан Хорнблоуэр», «Жизнь Бетховена», дешевые книжки рассказов Сарояна — и старыми вечерними платьями, которые надо перешить. Она понимала, что Луи растерян. Ей знакома была эта краснота, вышолзавшая из-под воротничка мужчины, и хрипотца нескладной речи. Она увидела, что Луи настороженно поглядел в зеркало на пассажиров.

Индусы слегка улыбались друг другу. Китаец смотрел в пустоту, пытаясь увязать разноречивые сообщения двух журналов. Грек на заднем сиденье перочинным ножом разрезал пополам итальянскую сигару. Одну половину он вставил в рот, а другую вадумчиво опустил в грудной карман. Старуха разжигала в себе злость на Луи. Она уставила железный взгляд ему в затылок, подбородок ее дрожал от ярости, а стиснутые губы побелели от напряжения.

Девушка снова наклонилась вперед.

— Я сберегу вам время, — сказала она. — Я стоматологическая сестра. Знаете, занимаюсь хозяйством у зубного врача в кабинете.

Она часто так рекомендовалась. Сама не знала почему. Может быть, потому, что это пресекало всякие догадки и никаких вопросов больше не задавали. Люди не любят долго говорить о зубоврачебных делах.

Луи переваривал сообщение. Автобус подошел к железнодорожному переезду. Луи машинально нажал тормоз и остановился. Воздух зашипел, когда он отпустил педаль; Луи переключал передачи, набирая скорость. Он чувствовал, что времени уже в обрез. Старая карга с минуты на минуту подымет шум. Нет у него никаких шестидесяти семи километров. Как только старуха встрянет, все будет испорчено. Луи хотел успеть за это время побольше, но его система не терпела спешки. Полчасика бы не нажимать, но старуха подгоняла.

— Иногда я заезжаю в Лос-Анджелес, — сказал он. — Можно вас как-нибудь там найти... сходили бы пообедать на кониерт?

Она отозвалась дружелюбно. Никакой вредности, паскудства в ней не было. Она сказала:

— Не знаю. Понимаете, мне пока негде жить. Я уезжала. Хочу поскорее найти квартиру.

— Но вы же где-то работаете,— сказал Луи.— Туда вам нельзя позвонить?

Старуха ерзала и вертелась. Она была в бешенстве оттого, что Луи согнал ее с прежнего места.

— Да нет,— сказала блондинка.— Понимаете, я без работы. Найду я, конечно, сразу, потому что по моей специальности работа всегда есть.

— Это — не то, чтобы меня отшить? — спросил Луи.

— Нет.

— Ну, может быть, вы сами мне черкнете, когда устроитесь?

— Может быть.

— Понимаете, хотелось бы иметь знакомую в Лос-Анджелесе.

И тут он раздался — голос, визгливый, как точило:

— В нашем штате есть закон насчет разговоров с пассажирами. Следите за дорогой.— Старуха обратилась ко всему автобусу.— Шофер подвергает нашу жизнь опасности. Если он будет отвлекаться, я потребую выпустить меня.

Луи подобрался. Это серьезно. Старуха действительно может нагадить. Он повернулся к зеркальцу и отыскал глазами глаза блондинки. Он произнес одними губами: «Старая трухлявая карга!»

Женщина улыбнулась и приложила палец к губам. Она почувствовала облегчение, а с другой стороны, ей было немного жаль. Она знала, что раньше или позже с Луи будут хлопоты. Но при этом видела, что во многих отношениях он парень славный и до какой-то степени с ним можно совладать. По тому, как он краснел, она поняла, что его, наверно, можно остановить, просто обидев.

Но все было кончено, и Луи это понимал. Она не станет ввязываться в историю. Ему надо было все успеть по дороге. Он это знал. Когда приезжаешь на станцию, у всех на уме одно: поскорее выбраться. Теперь все сорвалось. На Мятажном углу он остановится, только чтобы высадить ее и сгрузить эти сволочные пироги. Он прыгнул к рулю. Блондинка сложила руки на коленях и уже не смотрела на него в зеркальце. Да сколько угодно есть девушек покрасивее. И шрамы эти от щипцов — жуткие. Просто мороз по коже. Конечно, волосы зачесывает на уши — чтобы закрыть. Такой нельзя носить высокую прическу. А Луи любил, когда высокая. Господи, ничего себе, проснуться — и увидеть эти шрамы. Щеток вокруг навалом — как-нибудь переберемся. Но в груди и в животе лежала печальная тяжесть. Он и отговаривал ее, и проталкивал, но она не поддавалась. Еще ни к одной женщине его так сильно не тянуло, как к этой, да и тянуло иначе. Луи ощутил сухое скребущее чувство потери. Даже имени ее не узнал, а теперь разве узнаешь? Ему представилось, как его встретит в Сан-Исидро восторженный, любопытный взгляд Эдгара. Он спросил себя, будет ли он врать Эдгару.

Дорога пела под большими шинами гнусавую песню, мотор тяжело рокотал. В небе висели большие ленивые мокрые тучи, темные, как сажа, посередине и белые, сияющие по краям. Одна из них сейчас напозала на солнце. Тень ее легла впереди на шоссе, и Луи видел, как она несется навстречу автобусу, а дальше по шоссе уже вырос зеленый курган — дубы, окружавшие закусочную на Мятажном углу. Им овладело разочарование.

Как только автобус въехал, сбоку подошел Хуан Чикой.

— Что у вас для меня? — спросил он, когда открылась дверь.

— Одна пассажирка и партия пирогов,— сказал Луи. Он встал с кресла, протянул руку назад и взял чемодан блондинки. Спустившись на землю, он поднял руки, а женщина оперлась на его плечи и сошла. Они вместе зашагали к закусочной.

— До свидания,— сказала она.

— До свидания,— сказал Луи. Он смотрел ей вслед, пока она шла к двери, покачивая маленьким задом.

Хуан и Прыщ спустили ящик с пирогами с крыши автобуса. Луи забрался в автобус.

— Пока,— сказал Хуан.

Старуха пересела на переднее место. Луи запер рычагом дверь. Он включил скорость и отъехал. Когда автобус набрал ход и шоссе загудело под шинами, он взглянул в зеркальце. На лице старухи было злобное торжество.

«Это ты все поломала,— сказал про себя Луи.— Ты погубила».

Старуха подняла голову и встретилась с ним глазами в зеркальце. Луи медленно сложил губами слова: «Пропади ты, старая сука!» Он увидел, как сжались и побелили ее губы. Она поняла, о чем речь.

Шоссе с пением убегало под колеса.

Глава 8

Хуан с Прыщом отнесли ящик с домашними пирогами матушки Мэхони к двери закуской и опустили на землю. Оба посмотрели, как блондинка входит в закусочную. Прыщ низко, с переливом присвистнул. Ладони у него вдруг вспотели. Хуан опустил глаза так, что они только чуть поблескивали сквозь ресницы. Он быстро и нервно облизал губы.

— Я знаю, что у тебя на уме,— сказал Хуан.— Хочешь взять выходной и побегать задрать ногу на дерево?

— Ёлки,— сказал Прыщ и свистнул.

— Вот-вот,— сказал Хуан. Он нагнулся, отпер задвижку на ящике и поднял крышку на петлях.— Давай поспорим, Кит.

— Насчет чего? — спросил Прыщ.

— Могу спорить,— сказал Хуан,— и ставлю два против одного: тебе пришло в голову, что ты уже две недели не брал выходного и хорошо бы сегодня поехать со мной в Сан-Хуан. А еще бы лучше, если бы автобус опять сломался.

У подручного вокруг прыщей тоже порозовело. Он смущенно поднял глаза и посмотрел на хозяина, но во взгляде Хуана было столько беззлобной насмешки, что Прыщу стало легче. «Черт! — подумал он.— Вот это человек. И чего я раньше у других работал?»

— Ну,— сказал Прыщ вслух и почувствовал, что разговаривает с женщиной. Хуан понимает, как человек смотрит на жизнь. Когда мимо проходит девушка, Хуан знает, что у человека на уме.— Ну,— сказал он снова.

— Ну,— передразнил его Хуан.— А кто будет качать бензин и чинить резину?

— А раньше кто чинил? — спросил Прыщ.

— Никто,— сказал Хуан.— Мы просто вешали на гараж табличку «Закрывается на ремонт». А заправлять Алиса может.— Он хлопнул Прыща по плечу.

«Какой мужик! — подумал Прыщ.— Какой мужик!»

Противни с пирогами вставлялись в пазы, которые не позволяли им соединиться. В ящике было четыре стойки по двенадцать пирогов — всего сорок восемь.

— Давай-ка посмотрим,— сказал Хуан,— нам надо: шесть с малиной, четыре с лимонным кремом, четыре с изюмом и два с заварным и карамелью.— Он вытаскивал пироги и клал на крышку ящика.— Отнеси их, Пры... то есть Кит.

Прыщ взял в руки по пирогу и пошел в закусочную. Блондинка сидела на табурете за чашкой кофе. Он не видел ее лица, но ощутил электричество — или что там от нее исходило. Он положил пироги на стойку.

Повернувшись к выходу, он почувствовал, как тихо стало в комнате.

И мистер Причард, и склочный старик, и молодой — Хортон — сидели как завороченные. То и дело они поднимали глаза и взглядом обмывали блондинку. Мисс Причард и ее мать подчеркнuto смотрели на кучки отрубей за стойкой. Алисы не было, а перед блондинкой стояла Норма и вытирала тряпкой стойку.

— Хотите плюшку? — спросила Норма.

Прыщ замер. Он должен услышать голос блондинки.

— Да, пожалуй,— сказала она.

Внутри у Прыща что-то екнуло от этого грудного голоса. Он кинулся во двор за новыми пирогами.

— Давай поживее,— сказал Хуан.— Можешь смотреть на нее всю дорогу до Сан-Хуана, если, конечно, не хочешь за руль.

Прыщ таскал пироги. Шестнадцать отнес. Тридцать два осталось. Хуан закрыл ящик и запер на задвижку. Выйдя в последний раз, Прыщ помог Хуану засунуть ящик в большой черный багажник «Любимой». Автобус был готов. Готов к дороге. Хуан отступил и оглядел его. Не «борзой», но тоже ничего. Вокруг окон сквозь алюминиевую краску проступала ржавчина. Надо будет подкрасить. Да и колпаки не мешает освежить.

— Давай собирайся,— сказал он Прыщу.— Запри гараж. Между скамеек под шлангами от радиатора лежит табличка, повесь ее на дверь. А ну, мигом, если хочешь успеть переодеться.

Прыщ убежал в гараж. Хуан потянулся, разведя руки, и пошел в закусочную.

Правая нога мистера Причарда лежала на левой, и мысок мелко подрагивал. Когда блондинка вошла, он заглянул ей в лицо и теперь испытывал приятное волнение. Но он был озадачен. Где-то он видел эту девушку. То ли на одном из своих заводов, то ли — секретарша, то ли у кого-то из приятелей в конторе. Но он ее видел. В этом он не сомневался. Он искренне верил, что не забывает ни одного лица, хотя на самом деле редко какое запоминал. Он и не присматривался ни к одному лицу, если не собирался вступить с этим лицом в сделку. Сейчас он недоумевал, почему у него возникло ощущение греха, когда он узнал эту девушку. Где он мог ее видеть?

Бернис тайком наблюдала за подергиванием его ноги. Эрнест Хортон открыто глазел на ноги блондинки. Норме она понравилась. В одном отношении Норма была похожа на Лорейн. Она никого не любила — ну, кроме одного,— поэтому у нее ничего не могли отнять, терять ей было нечего. А эта женщина была симпатичная. Разговаривала скромно и вежливо. Да и гостья расположилась к Норме, чувствуя, что может ей понравиться.

Перед самым приходом «борзого» Алиса сказала Норме: «Побудь за стойкой, ладно? Я сейчас». Потом автобус, блондинка, приготовление кофе заняли все внимание Нормы. Но сейчас ее резнула одна догадка, и внутри разлился тошнотворный холодок. Она поняла, что сейчас происходит, так ясно, как будто увидела. Она поняла, и в голове, оттесняя гадливый гнев, зароялись расчеты. Маленькая пачка денег, мелких. На это можно жить, пока не найдешь работу. А почему не уйти сейчас? Все равно же уйдет рано или поздно. Она открыла шкафчики внизу за стойкой и засунула туда пироги, оставив по одному каждого сорта. Один с малиной, один с изюмом, один с лимонным кремом, один карамельный она расположила рядышком на стойке, и от их запаха ее еще сильнее затошнило. Она никак не могла решиться.

В закусочную вошел Хуан и остановился, глядя блондинке в затылок. Норма сказала:

— Вы не побудете минуту за стойкой, мистер Чикой?

— Где Алиса? — спросил Хуан.

— Не знаю,— сказала Норма.

Она мысленно видела Алису. Зрение у Алисы неважное. Она поднесет письмо к окну, поближе к свету. На самом-то деле ей неинтересно. Просто праздное, ленивое любопытство. Она наклонится к окну боком, волосы упадут ей на глаза, и она будет сдувать их, копаясь в страничках. Норму передернуло. Она представила себе, как влетит в комнату. Представила, как вырвет письмо, и ее пальцы сами собой согнулись. Она почувствовала, как когти корябают кожу Алисы, лезут Алисе в глаза, в эти мерзкие, набухшие, влажные глаза. Алиса повалится на спину, а Норма прыгнет коленями на большое мягкое брюхо и будет царапать и драть лицо Алисы, и из царапин польется кровь.

Хуан посмотрел на Норму и сказал:

— Что случилось? Тебя тошнит?

— Да,— сказала Норма.

— Иди, пока здесь не стошнило.

Норма пробралась к краю стойки и тихо открыла дверь спальни. Дверь из спальни в ее комнату была чуть-чуть приоткрыта. Норма затворила за собой дверь и бесшумно двинулась к своей комнате. Она похолодела, ее трясло. Она была как ледышка. Она бесшумно распахнула свою дверь. Так и есть: Алиса у окна, держит перед носом письмо к Кларку Гейблу и сдувает в сторону волосы.

Алиса дунула на волосы, оглянулась и увидела в дверях Норму. Рот у нее был открыт, в глазах — жадное любопытство. Она не успела изменить выражение лица. Норма шагнула в комнату. Подбородок она выставила так, что вокруг рта залегли складки. Алиса с бессмысленным видом протянула ей письмо. Норма взяла его, аккуратно сложила и сунула за пазуху. А затем подошла к комоду. Она вытащила из-под него чемодан, отколола ключ от изнанки платья и отперла чемодан. Резкими движениями начала собирать вещи. Вывалила ящики комода в чемодан и кулаком примяла одежду. Из стеного шкафа вытащила все три платья и пальто с кроликовым воротником, положила пальто на кровать, накрутила платья на плечики и тоже закинула в чемодан.

Алиса не могла пошевелиться. Она смотрела на Норму, поворачивая голову вслед за всеми ее перемещениями. В мозгу у Нормы звучал безмолвный крик торжества. Она взяла верх. После того как ее всю жизнь шпыняли, она взяла верх — и она безмолвствовала. Ей это нравилось. Она не сказала ни слова и не скажет ни слова. Она кинула в чемодан две пары туфель, захлопнула его и заперла.

— Ты прямо сейчас уходишь? — спросила Алиса.

Норма не ответила. Она не нарушит своего торжества. Ничто ее не заставит.

— Я не хотела ничего плохого, — сказала Алиса.

Норма не посмотрела на нее.

— Ты лучше помалкивай, не то я тебе устрою, — неуверенно пообещала Алиса.

Норма все равно не ответила. Она подошла к кровати и надела черное пальто с кроликом. Потом подняла чемодан и вышла из комнаты. Она сопела. Она прошла за стойкой к кассовому аппарату и нажала кнопку «Касса». Вынула десять долларов: пятерку, четыре по одному, полдоллара и две четвертушки. Сунула деньги в боковой карман черного пальто. Ее слабый рот был плотно сжат. Хуан сказал:

— Что здесь происходит?

— Я еду с вами в Сан-Хуан, — сказала Норма.

— А кто будет помогать Алисе? Она одна не управится.

— Я уволилась, — сказала Норма.

Огибая край стойки, она увидела, что блондинка наблюдает за ней. Норма вышла за сетчатую дверь. Она подошла с чемоданом к автобусу, влезла и заняла место ближе к задку. Чемодан поставила рядом с собой на попа. Она сидела очень прямо.

Хуан проводил ее взглядом до двери. Он пожал плечами.

— Что бы это значило? — спросил он, не обращаясь ни к кому в особенности.

Эрнест Хортон смотрел хмуро. Он ненавидел Алису Чикой. Он сказал:

— Когда вы думаете выехать?

— В десять тридцать, — сказал Хуан. — Сейчас десять минут одиннадцатого. — Он взглянул на Причардов. — Так, мне надо переодеться. Если захотите кофе или еще чего-нибудь, заходите и берите сами.

Он ушел в спальню. Он сбросил лямки комбинезона и спустил комбинезон на пол. На нем были трусы в узкую синюю полоску. Он стянул через голову синюю рубашку, скинул мокасины и вышел из комбинезона, оставив и туфли, и носки, и комбинезон кучей на полу. Тело у Хуана было твердое и коричневое, чем он обязан был не солнцу, а коричневым предкам. Он подошел к ванной и постучался. Алиса спустила воду в унитазе и открыла дверь. Она опять мыла лицо, и мокрая прядь волос прилипла к щеке. Губы у нее оттопырились, глаза припухли и покраснели.

— Что происходит? — спросил Хуан. — Черт знает как сегодня развлекаешься, а?

— Зуб болит, — сказала Алиса. — Что я могу сделать? Дергает прямо вот тут.

— А с Нормой что? — спросил Хуан.

— Пусть уезжает, — сказала Алиса. — Я так и знала, что когда-нибудь она попадет.

— Да что она сделала-то?

— Руку запустила куда не следует, — сказала Алиса.

— Что она взяла?

— Я подумала: надо проверить. Помнишь, ты подарил мне на рождество флакон «Беллоджии»? Так вот он пропал, и я нашла у нее в чемодане. И как раз когда нашла, она сама явилась — тут же, конечно, в амбицию, а я ей сказала, что она свободна.

Взгляд Хуана стал рассеянным. Попахивало враньем, но что там на самом деле, его не очень занимало. Женские свары его не касались. Он стал в ванну и задернул непромокаемую занавеску.

— С самого утра куролесишь,— сказал он.— Что с тобой творится?

— У меня это дело,— сказала Алиса,— и еще зуб болит.

Хуан знал, что первое — неправда. А что второе ложь, только подозревал.

— Вышей, когда уедем. Поможет с обеих сторон,— сказал он.

Алиса была довольна. Она и хотела, чтобы он сам предложил.

— Придется тебе побыть за всех,— продолжал Хуан.— Прыщ тоже уезжает.

В Алисе все взвырало. Она останется одна, совсем одна. Но нельзя показывать Хуану, что она этого хочет.

— А Прыщ зачем едет? — спросила она.

— Хочет кое-чего поискать в Сан-Хуане. Слушай, а может, вообще закроем? Сходишь в Сан-Хуане к зубному врачу.

— Нет,— сказала Алиса.— Не стоит. Завтра или послезавтра съезжу в Сан-Исидро. Не стоит закрывать закусочную.

— Как хочешь. У тебя болит,— сказал Хуан и включил воду. Он высунул голову из-за занавески.— Иди туда, подай пассажирам.

К тому времени, когда появилась Алиса, Эрнест Хортон уже присоединился к блондинке.

— Ну что, нальете нам две чашки кофе? — сказал он. И блондинке: — Или вам кока-колы?

— Нет. Кофе. От кока-колы я толстею.

Эрнест ухаживал. Он уже спросил, как ее зовут, и блондинка сказала, что Камиллой Дубс. Сказала, конечно, неправду. Это было быстрое объединение рекламы «Кемела» на стене — неременная блондинка с воздухоплавательными грудями — и дерева за окном. Но отныне она — Камилла Дубс, по крайней мере до конца поездки.

— Я недавно где-то слышал ваше имя,— сказал Эрнест. Он учтиво передал ей сахарницу.

Нога мистера Причарда слегка подергивалась в воздухе, миссис Причард наблюдала за мужем. Она видела, что мистер Причард чем-то раздражен, но чем — не понимала. Она не имела опыта в таких делах. Ее подруги были не того типа, чтобы мистер Причард стал дергать ногой. А о жизни мужа за пределами своего круга она не знала ничего.

Он спустил ногу на пол, встал и подошел к стойке.

— Вам пришел на память процесс об убийстве Дубс,— сказал он Эрнесту.— Я убежден, что нашу молодую даму не убили и обратно — она никого не убила,— пошутил он.— Будьте добры, еще кофе,— любезно обратился он к Алисе.

Дочь посмотрела на него, оттянув уголок правого глаза. Она услышала в его голосе что-то незнакомое. Тон был несколько величественным. Он растягивал «а» и изъяснялся с ненатуральной церемонностью. Это поразило его дочь. Она присмотрелась к блондинке и вдруг поняла. Мистер Причард реагировал на Камиллу Дубс. Он с нею заигрывал — как бы по-отечески. Дочери это не понравилось.

Мистер Причард сказал:

— У меня такое впечатление, что мы с вами встречались. Это могло быть?

Миддред мысленно передразнила его: «Кажись, я тебя где-то видел?»

Камилла посмотрела на лицо мистера Причарда, потом скользнула взглядом по клубному значку у него на лацкане. Она-то знала, где он ее видел. Когда она сидела нагишом в бокале, она очень старалась не смотреть на лица мужчин. В их влажных выпученных глазах и вислогубых улыбках было что-то пугающее. Казалось, стоит взглянуть на кого-нибудь прямо, и он на нее кинется. Публика была для нее — розовые мячи лиц и сотни белых воротничков с аккуратными галстуками. В клубах «Двух с половиной — трех тысяч» обычно — смокинги. Она сказала:

— Не помню.

— Бывали на Среднем Западе? — не отставал мистер Причард.

— Я работала в Чикаго,— сказала она.

— Где? — спросил мистер Причард.— Едва ли я мог ошибиться.

— У зубного врача.

Глаза мистера Причарда оживились за очками.

— Ну как же, конечно. У доктора Хораса Липхольца, моего зубного врача в Чикаго.

— Нет,— сказала она,— нет, у него не работала. Последнее мое место — у доктора Ч. Т. Честерфильда.— Это она тоже взяла с плаката — и неосмотрительно. Камилла надеялась, что он не заметит у себя за плечом надпись: «Честный табак — Честерфильд».

К отвращению дочери, мистер Причард весело произнес:

— Ничего, рано или поздно вспомню. Я не забываю ни одного лица.

Миссис Причард перехватила взгляд дочери и уловила ее неприязнь. Она опять взглянула на мужа. Он вел себя странно.

— Элиот,— сказала она,— можешь принести мне кофе?

Мистер Причард встрепенулся.

— А?.. Да, сейчас,— сказал он уже своим обычным голосом. Правда, вернулось и раздражение.

Сетчатая дверь открылась и громко захлопнулась. Вошел Прыщ Карсон, но Прыщ преображенный. Он сильно напудрил лицо, пытаясь скрыть нарывчики, и добился того, что из красных они превратились в фиолетовые. Волосы, залитые назад, слиплись от помады. На нем была рубашка с очень тесным воротничком, пристегнутым на горле золотой запонкой, и зеленый галстук с маленьким узелком. Воротник причинял Прыщу легкое удушье. Когда он глотал, воротник и галстук при- вставали. Костюм на нем был шоколадный, из ворсистой материи: на одной штанине угадывались отпечатки кроватных пружин. Туфли — белые с коричневым, шерстяные носки в красную и зеленую клетку.

Алиса изумилась его виду.

— Нет, вы посмотрите, каков явился! — сказала она.

Прыщ ее ненавидел. Он сел на табурет, от которого только что отошел мистер Причард с чашкой кофе для жены.

— Мне бы кусочек свежего пирога с малиной.— Он боязливо поглядел на Камиллу и чуть сдавленным голосом сказал: — Девушка, вам надо попробовать этого пирога.

Камилла посмотрела на него, и ее взгляд оттаял. Она понимала, когда человеку не по себе.

— Нет, спасибо,— мягко ответила она.— Я позавтракала в Сан-Исидро.

— Я плачу,— шалея объявил Прыщ.

— Нет, правда, спасибо. Не могу.

— Зато он может,— вмешалась Алиса.— Он может есть их вверх ногами в ванне с пивом в вербное воскресенье.— Она крутанула пирог и взяла нож.

— Двойную, пожалуйста,— попросил Прыщ.

— По-моему, получки у тебя не будет,— безжалостно сказала Алиса.— Сlopал целиком весь недельный заработок.

Прыщ дернулся. Господи, до чего он ненавидел Алису! Алиса наблюдала за блондинкой. Она почувствовала, в чем дело. Все мужчины в комнате сделали стойку и сосредоточились на приезжей. Алису это встревожило. Хуан войдет — все будет ясно. Минуту назад ей хотелось поскорее спровадить автобус и как следует выпить. Но сейчас — сейчас она встревожилась.

Эрнест Хортон сказал Камилле:

— Если мне удастся добраться до чемодана, я вам покажу, какими смешными штучками я торгую. Новинки. Ужасно забавные.

Она спросила:

— Давно вы вернулись из армии?

— Пять месяцев.

Она перевела взгляд на его лацкан с голубой планкой и белыми звездочками.

— Это хороший,— сказала она.— Он у нас какой-то главный. Да?

— Говорят, что да,— сказал Эрнест.— Хотя поесть на него не купишь.

Они вместе рассмеялись.

— Большой начальник вам его надевал?

— У-у,— ответил Эрнест.

Мистер Причард подался вперед. Его раздражало, что он не понимает их разговора.

Прыщ сказал:

— Вам надо попробовать пирога с малиной.

— Не могу,— сказала Камилла.

Алиса сказала:

— Только найди в нем мужу — так и надену весь на морду.

Камилла разбиралась в симптомах. Эта уже готова ее возненавидеть. Она настороженно взглянула на остальных двух женщин. От миссис Причард беспокойства не будет. А вот молодая, что очки носить не хочет... Камилла только понадеялась, что им нечего будет делить. Может оказаться тем еще фруктом. Она мысленно крикнула: «О господи, Лорейн, развяжись ты со своим придурком, и опять будем жить вместе». На нее навалились усталость и страшное одиночество. Она прикинула: а как-то это, быть замужем за мистером Причардом? Примерно о таком мужчине она и думала. Наверно, это не очень трудно. По жене его непохоже, чтобы с ним было много хлопот.

Бернис Причард ничего не подозревала. Она не испытывала неприязни к Камилле. Она лишь смутно ощущала какую-то перемену в воздухе, но какую именно — не улавливала.

— Не мешало бы нам собрать вещи,— жизнерадостно сказала она дочери. Между тем вещи уже были собраны.

Из спальни вышел Хуан. Он надел чистые вельветовые брюки, чистую синюю рубашку и кожаную куртку. Его густые волосы были зачесаны назад, а лицо лоснилось после бритья.

— Все готовы? — спросил он.

Алиса наблюдала за ним, пока он огибал стойку. Он даже не взглянул на Камиллу. В Алисе шевельнулась тревога. Хуан смотрел на всех девушек. А раз не посмотрел, значит, что-то не так. Алисе это не понравилось.

Ван Брант, старик с согнутой шеей, вошел со двора и остановился, придерживая сетчатую дверь.

— Опять дождь собирается,— сказал он.

Хуан был краток:

— Уедете со следующим «борзым» в Сан-Исидро.

— Я передумал,— объявил Ван Брант.— Я еду с вами. Хочу посмотреть на этот мост. Но говорю вам, дождь собирается.

— Я думал, вы не хотите ехать.

— Могу я передумать, нет? Почему вы не позвоните еще раз насчет моста?

— Сказали, что он цел.

— Это когда было,— сказал Ван Брант.— Вы нездешний. Не знаете, какие быстрые бывают паводки на Сан-Исидро. А я видел, как она поднимается за три часа на метр, когда холмы сбрасывают воду. Лучше позвоните.

Хуан рассердился.

— Слушайте,— сказал он,— я водитель автобуса. Не первый день. Вам не нравится? Либо езжайте и положитесь на меня, либо оставайтесь, но позвольте мне его вести.

Ван Брант нагнул голову набок и холодно посмотрел на Хуана.

— Не знаю, поеду я с вами или нет. А может, напишу на вас в транспортную комиссию. Вы, между прочим, общественный транспорт. Прошу не забывать.

— Ну что, поехали? — сказал Хуан.

Алиса исподтишка наблюдала за ним: он не смотрел на Камиллу, не предложил поднести ее чемодан. Скверно. Алисе это не нравилось. Не похоже на Хуана.

Камилла подняла чемодан и заторопилась к автобусу. Ей не хотелось сидеть рядом с мужчиной. Она устала. Она быстро перебрала варианты. Милдред Причард без спутника, но Милдред ее уже невзлюбила.

Зато девушка, которая уволилась, давно в автобусе. Камилла торопливо пере-

секала двор и влезла. Эрнест Хортон и мистер Причард не мешкая устремились за ней, но Камилла уже стояла в проходе. Норма сидела не шевелясь. Взгляд ее был враждебным, а нос красным и блестящим. Норма была крайне напугана своим поступком.

Камилла сказала ей:

— Можно с тобой сесть, детка?

Норма чопорно повернула голову и оглядела блондинку.

— Свободных мест много,— ответила она.

— А все-таки — можно? Я потом тебе объясню.

— Располагайтесь где вам угодно,— важно сказала Норма.

Видно было, что вещи на блондинке дорогие. И это сбивало с толку. Люди обычно не хотели сидеть рядом с Нормой. Но тут должна быть причина. Может быть, таинственная причина. Что-то, а фильмы Норма знала. Такое могло вылиться в полнометражный упонительный сюжет. Она подвинулась к окну и освободила место.

— Далеко вы едете? — спросила Норма.

— В Лос-Анджелес.

— Ну! И я туда! Вы там живете?

— Наездами,— сказала Камилла.

Она взглянула в окно: мужчины, выскочив из закуской, увидели, что она села с Нормой. Их стремительность упала. Забег отменяется. Они столпились позади автобуса, чтобы погрузить вещи в багажник.

Хуан задержался у двери закуской; Алиса смотрела на него через сетку.

— Угомонись,— сказал он.— С самого утра черт знает что творится. Постарайся привести себя в порядок до моего приезда.

Лицо у Алисы стало жестче. Она готова была ответить. Хуан продолжал:

— А то я однажды не приеду.

У нее захватило дух.

— Мне просто нездоровится,— захныкала она.

— Так давай выздоравливай, не перегибай палку. С хворьми, знаешь, долго ютиться никто не будет. Никто. Поняла? — Глаза Хуана смотрели не на нее, а сквозь нее и мимо, и Алису охватила паника. Хуан повернулся и пошел к автобусу.

Алиса облокотилась на поперечину сетчатой двери. В глазах собирались большие теплые слезы. «Я толстая,— тихо сказала она,— и старая. Старая, боже мой!» Слезы побежали носом. Она втянула их обратно. Она сказала: «Ты можешь найти молоденькую, а я что могу? Ничего. Старая галоша». Она тихо хлопала носом за сеткой.

Мистер Причард был бы не прочь устроиться позади блондинки, чтобы на нее смотреть, но миссис Причард заняла место впереди, и ему пришлось сесть рядом. Милдред сидела отдельно, с другой стороны и позади них. Потом влез Прыщ и сел на место, облюбованное мистером Причардом, а рядом с ним расположился Эрнест Хортон.

К огорчению Хуана, Ван Брант уселся прямо за креслом водителя. Хуан нервничал. Он не выспался, а в доме с раннего утра творилось черт те что. Он аккуратно сложил чемоданы в заднем багажнике, покрыл брезентом и захлопнул дверь. Потом помахал Алисе — она стояла в закуской, прислонившись к сетке. Судя по ее позе, она плакала, и это отвечало его намерениям. Отбилась от рук. Он сам не понимал, почему ее не бросит. От самой обыкновенной лени, подумалось ему. Уход от нее означал душевные пертурбации, которых он не желал. Помимо воли он будет беспокоиться о ней, и вообще — маета. Ему сразу понадобится другая женщина, а это опять споры, разговоры, уговоры. Одно дело — найти с кем переспать, а ему нужна женщина на все время, и это большая разница. Когда привыкаешь к одной, хлопот меньше. Вдобавок после Мексики Хуан не встречал ни одной женщины, кроме Алисы, чтобы умела готовить бобы. Непонятно. В Мексике любая индианка умеет готовить бобы как следует, а здесь — никто, кроме Алисы: чтобы соусу сколько надо, чтобы дух был бобов, а не приправы. Здесь чего только не кладут — и помидоры, и красный перец, и чеснок, — а бобы надо готовить ради них самих, сами по себе, отдельно. Хуан усмехнулся. «Потому что умеет готовить бобы», — сказал он себе.

Но была еще одна причина. Алиса его любила. На самом деле. И он это знал. А этим не бросаются. Это — здание, в нем есть единство, и ты не можешь оставить его, не оторвав кусок от себя. Так что, если хочешь быть целым, ты остаешься, как бы мало тебе это ни нравилось. Хуан был не из тех, кто долго себя морочит.

Уже перед дверью автобуса он повернулся и быстро пошел к закуской.

— Ты полечись все-таки,— сказал он Алисе. Взгляд у него был теплый.— Глотни — от зуба.

Он повернулся и зашагал к автобусу. Когда он придет, Алиса будет пьяная в дым, но ничего — может, промоет систему и ей станет легче. А если она завалится, он переночует на кровати Нормы. Хуан не переносил ее запаха, когда она напивалась. Запах был кислый, резкий.

Хуан посмотрел на небо. Воздух был неподвижен, но в вышине дул ветер, собирая над горами новые полчища облаков, и облака были плоские, они соединялись и влезали друг в друга в стремительном движении по небу. С больших дубов еще капало, и на листьях герани тоже блестели посерединке капли. На земле в затишье кипела деятельность.

Как ни противно было ему соглашаться с Ван Брантом, Хуан тоже боялся, что опять будет дождь — и скоро. Он поднялся по ступеням автобуса. Ван Брант цеплялся к нему, не дав даже сесть.

— Знаете, откуда ветер дует? С юго-запада. Знаете, откуда облака натягивает? С юго-запада. А знаете, откуда к нам дожди приходят? — торжествующе спросил он. — С юго-запада.

— Ладно, и так и так когда-нибудь умрем,— сказал Хуан.— И кое-кто — довольно жуткой смертью. Трактор, например, тебя задавит. Не видали, как трактор давит?

— С чего вы это взяли? — спросил Ван Брант.

— Дождь так дождь,— сказал Хуан.

— Нет у меня трактора,— сказал Ван Брант.— У меня четыре пары лошадей, лучшие в штате. Откуда вы взяли про трактор?

Хуан нажал стартер. Он заработал с тонким скрипучим подвыванием, но мотор завелся почти сразу и звучал хорошо. Звук был ровный и чистый. Хуан обернулся.

— Кит,— позвал он,— ты там слушай задний мост.

— Ладно,— сказал Прыщ. Ему было приятно доверие Хуана.

Хуан махнул Алисе и закрыл рычагом дверь. За сеткой не видно было, что она делает. Подождет, пока они не скроются из виду, и только тогда возьмет бутылку. Он надеялся, что она ничего не натворит.

Хуан проехал мимо фасада закуской и свернул направо на асфальтовую дорогу в Сан-Хуан-де-ла-Крус. Дорога была не очень широкая, но ровная и с выпуклым профилем, так что вода на ней не застаивалась. По долине и холмам были разбросаны пятна солнечного света, разгороженные подвижными тенями облаков, летевших по небу. И солнечные места и тени были пасмурно-серые, змурые и угрожающие.

«Любимая» подпрыгивала на скорости шестьдесят пять километров. Это был хороший автобус, и задний мост тоже звучал хорошо.

— Никогда не любил тракторы,— сказал Ван Брант.

— Я тоже,— согласился Хуан. У него вдруг сделалось прекрасное настроение. Ван Брант не мог успокоиться. Хуан преуспел сверх ожидания. Ван Брант повернул к нему голову на согнутой шее.

— Слушайте, а вы не из этих — предсказателей или как их там?

— Нет,— сказал Хуан.

— А то ведь я во всякую эту ерунду не верю,— сказал Ван Брант.

— Я тоже,— сказал Хуан.

— А трактор ни за что бы не стал держать.

У Хуана язык чесался сказать: «У меня брат был, так его лошадь копытом убила». Но он подумал: «Тыфу ты, нашел с кем тягаться. Интересно, отчего он так напуган».

Глава 9

Дорога на Сан-Хуан-де-ла-Крус была асфальтовая. В двадцатые годы в Калифорнии проложили сотни километров бетонных шоссе, и люди, развалившись поудобнее, говорили: «Ну, это — вечное. Это проживет, сколько римские дороги и дольше, — никакая трава сквозь бетон не прорастет, не пробьется». Но они ошибались. Обутые в резину грузовики, тяжело подсакивающие машины били бетон, и он со временем терял крепость, начинал крошиться. Там обломится бровка, тут появится выбоина или трещина пробежит, а зимой ее еще льдом разопрет, и вот стойкий цемент сдается под ударами резины и ломается.

Потом ремонтные бригады заливали трещины гудроном, чтобы преградить путь воде, но — без толку, и в конце концов бетон стали покрывать асфальтом. Этот оказался живучим, потому что не так упрямо встречал удары шин. Он слегка поддавался, потом слегка выравнивался. Летом размякал, зимой твердел. И постепенно все дороги покрылись лоснящейся черной одеждой, которая отликает вдалеке серебром.

Дорога на Сан-Хуан долго бежала ровными полями, и поля были не разгорожены, потому что скот здесь больше не гулял. Земля была слишком дорога для выпаса. Поля подходили к самому шоссе. Они заканчивались кюветами. В кюветах буйно росла полевая горчица и местная сурепка с лиловыми цветочками. Вдоль канав тянулся синий люпин. Маки стояли в бутонах, потому что раскрывшиеся цветы обил ливень.

Дорога бежала прямо к предгорью — округлым, женственным холмикам, мягким и притягательным, как тело. И облежавшая их зеленая травка казалась бархатистой, как молодая кожа. От дождя холмы стали яркими, сочными, и по ровной красивой дороге катился автобус «Любимая». Отражались в воде канав его отмытые блестящие бока. Качались перед стеклом талисманы — крохотные боксерские перчатки, детские башмачки. С лунного серпа над приборной доской ласково смотрела на пассажиров Дева Гвадалупская.

Из заднего моста не слышалось грубого или нехорошего звука, только коробка скоростей тихо подвывала. Хуан уселся поудобнее, предвкушая приятную езду. Перед ним было большое зеркало, где он мог видеть пассажиров, а за окном другое — дальнее, в нем отражалась дорога сзади. Дорога была пустынная. Его обогнали несколько легковых машин, но ни одной не попалось навстречу. Сперва он был смутно озадачен этим, потом забеспокоился всерьез. А вдруг мост вышел из строя? Ну что ж, тогда придется ехать назад. Он отвезет их всех в Сан-Исидро и там высажит. Если мост снесло, автобус ходить не будет, пока его не восстановят. Он увидел в зеркале, что Эрнест Хортон раскрыл чемодан с образцами и показывает Прыщу какую-то игрушку, которая завертелась, блеснула и исчезла. Заметил, что Норма с блондинкой наклонились друг к другу и разговаривают. Он чуть прибавил скорость.

Он не собирался ухаживать за блондинкой. Подступить к ней не было никакой возможности. А Хуан уже достаточно пожил, чтобы не страдать из-за того, что недоступно. Конечно, подвернись ему случай, он бы и задумываться не стал, что делать. У него заняло под ложечкой, едва он ее увидел.

До сих пор Норма держалась с Камиллой чопорно. Она взяла такой холодный тон, что просто не могла сразу оттаять. Но Камилле она нужна была как щит, да и ехали они в одно место.

— Я ни разу не была в Лос-Анджелесе и Голливуде, — призналась Норма потихоньку, чтобы не услышал Эрнест. — Ни куда пойти не знаю, ничего.

— А что ты собираешься делать? — спросила Камилла.

— Устроюсь на работу, наверно. Официанткой или еще где-нибудь. Хотелось бы устроиться в кино.

Губы Камиллы растянулись в сухой улыбке.

— Сперва все-таки устройся официанткой, — сказала она. — Кино — лихая лавочка.

— Вы актриса? — спросила Норма. — Вы похожи на актрису.

— Нет, — сказала Камилла. — Я работаю сестрой. У зубных врачей.

— Вы живете в гостинице или у вас дом, комната?

— Жить мне негде,— сказала Камилла.— До того как уехала работать в Чикаго, мы с подружкой снимали квартиру.

Взгляд у Нормы оживился.

— Я скопила немного,— сказала она.— Может быть, снимем вместе? Слушайте, если я устроюсь в ресторан, на еду тратить почти не придется. И домой могла бы приносить.— Глаза у Нормы разгорались.— Да ведь если снимать вдвоем, это не так дорого. И чаевые, наверное, будут.

Камилла расположилась к девушке. Она взглянула на красный нос, землистые щеки и маленькие бесцветные глаза.

— Посмотрим, как получится,— сказала она.

Норма наклонилась поближе.

— Я знаю, что волосы у вас не крашенные,— сказала она.— Но, может, вы научите, как мне мои подкрасить. А то — как мышь. Прямо мышь.

Камилла рассмеялась.

— Ты бы удивилась, если бы узнала, какие они у меня на самом деле,— сказала она.— А ну-ка посиди спокойно.

Она разглядывала лицо Нормы, прикидывая, что могут сделать здесь крем, пудра и тушь, пытаясь представить себе, как будут выглядеть блестящие и завитые волосы, как увеличит глаза тень на веках, как переиначит рот губная помада. Насчет красоты Камилла не питала иллюзий. Без грима Лорейн была линиялой кошкой — а вот же, обходилась. Поработать над этой девушкой и вселить в нее немного уверенности — и интересно и, опять же, напарница будет. И, может быть, даже лучше, чем Лорейн.

— Это надо обдумать,— сказала она.— Красивые здесь места. Хотела бы я когда-нибудь поселиться за городом.

В голове у нее возникла картина, прообраз того, что у них получится. Норму можно улучшить. Она будет даже хорошенькая, если будет за собой следить. А потом Норма познакомится с парнем и, конечно, приведет домой, чтобы им похвастаться, а парень станет подкатываться к Камилле, и Норма ее возненавидит. Вот так все и будет. Так уже бывало. Но какого черта! — до тех пор-то им будет хорошо. Да и предупредить это можно: уходить заранее, когда Норма вздумает привести его. Дружелюбное чувство согрело Камиллу.

— Это надо обдумать,— сказала она.

Хуан увидел впереди раздавленного зайца. Многим доставляет удовольствие переехать какого-нибудь зверька, а Хуан этого не любил. Он чуть повернул руль, расплюснутая тушка прошла промеж колес и под шиной не хрустнула. Он держал скорость чуть-чуть за семьдесят. Большие автобусы на шоссе часто гнали под сто, Хуану же спешить было некуда. Еще три километра дорога будет прямой, а потом начнет петлять между круглых холмов. Хуан снял одну руку с баранки и потянулся.

Пролетавшие телеграфные столбы похлестывали по глазам Милдред Причард. Очки она все же надела. Она следила за лицом Хуана в зеркале. С ее места оно было видно чуть больше, чем в профиль. Милдред заметила, что он то и дело поднимает голову — взглянуть на блондинку, — и ее разбирала злость. Ее до сих пор смущало то, что произошло в закусочной. Никто об этом, конечно, не знал — разве что Хуан Чикой догадался. Она до сих пор ощущала тепло и легкий зуд. И в голове крутилась одна и та же фраза. Не блондинка она, не сестра и никакая не Камилла Дубс. Фраза выскакивала и выскакивала раз за разом. Милдред усмехнулась про себя. «Ага, пытаемся ее истребить,— подумала она.— Какая глупость. Почему не признаться прямо, что ревную? Я ревную. Хорошо. Ну и что же, меньше я ревную оттого, что призналась? Нет, не меньше. Но отец из-за нее выглядел дураком. Хорошо. Не все ли мне равно, дурак он или нет? Нет, не все равно, когда мы вместе. Стесняюсь перед людьми, что я его дочь, и только. Нет, это тоже неправда. Не хочу ехать с ним в Мексику. Прямо слышу все, что он скажет». Ей было не уютно, и тряска тоже не улучшала самочувствия. «Баскетбол,— подумала она,— это дело». Она напрягла мускулы бедер и подумала о стриженном под ежик студенте-инженерного факультета. Она стала вспоминать их роман.

Мистер Причард уже устал и соскучился. Соскучившись, он бывал вполне несносен. Он егозил.

— Края, кажется, богатые,— сказал он жене.— Ты знаешь, большую часть овощей для Соединенных Штатов выращивает Калифорния.

Миссис Причард уже слышала, как она будет рассказывать дома о путешествии.

«Потом мы ехали и ехали по зеленым полям, поросшим люпином и маками, прямо как в саду. В каком-то странном местечке к нам подседа молодая блондинка, и мужчины вели себя нелепо, даже Элиот. Я потом потешалась над ним неделю». Она напишет об этом в письме. «Но я совершенно уверена, что это бедное размалеванное создание — милейшее и очаровательное существо. Она назвалась медицинской сестрой, но я думаю, что она, вероятно, актриса — знаете, на маленькие роли. В Голливуде их масса. Тридцать восемь тысяч зарегистрированных. У них большое агентство по найму. Тридцать восемь тысяч». Она слегка кивала. Ей хотелось спать и есть. «Интересно, какие еще нас ждут приключения», — думала она.

Когда миссис Причард погружалась в мечтания, от мужа это не ускользало. Они достаточно пожили вместе, поэтому он сразу улавливал, что жена не слушает его, и обычно продолжал говорить. Он часто уточнял свои мысли о делах или о политике, излагая их жене, когда она не слушала. У него была цепкая память на цифры и факты. Он знал, сколько приблизительно тонн сахарной свеклы производит долина Салинас. Он где-то прочел об этом и запомнил, хотя цифра была ему совершенно ни к чему. Он считал, что такие сведения полезны, и никогда не задавался вопросом, насколько они полезны и почему. Но сейчас его не тянуло к положительным знаниям. Мощный магнит воздействовал на него сзади. Хотелось обернуться и поглядеть на блондинку. Хотелось сидеть там, откуда ее видно. Позади находились Хортон и Прыщ. Нельзя же просто сесть напротив и глазеть на нее.

Миссис Причард спросила:

— Сколько ей, по-твоему, лет?

Вопрос ошеломил его, потому что он размышлял как раз о том же.

— Кому сколько лет? — спросил он.

— Этой молодой женщине. Молодой блондинке.

— А-а, ей. Почему я знаю? — Ответ прозвучал так грубо, что жена немного растерялась и обиделась. Он увидел это и попытался прикрыть промашку.— Девочки больше понимают про девочек,— сказал он.— Тебе легче угадать, чем мне.

— Почему? Нет, не знаю. При такой косметике и крашенных волосах... трудно сказать. Мне просто интересно. Думаю, что-нибудь от двадцати пяти до тридцати.

— А я совершенно себе не представляю,— сказал мистер Причард. Он посмотрел в окно на приближавшиеся холмы. Ладони у него слегка взмокли, магнит сзади притягивал его. Хотелось оглянуться.— Просто не представляю,— сказал мистер Причард.— А вот этот молодой, Хортон, меня заинтересовал. Он молод, у него есть хватка и мысли есть. Нет, этот человек мне по душе. Знаешь, такому нашлось бы место в нашей компании.— Речь ушла о коммерции.

Бернис тоже умела оградить себя магическим кругом — материнства, или, скажем, менструации, или темы в этом роде, и ни один мужчина не мог или не захотел бы вступить внутрь. А у мужа таким магическим кругом была коммерция. Когда дело касалось коммерции, она не смела к нему приблизиться. В коммерции она ничего не понимала и не интересовалась ею. Это была его территория, и жена ее уважала.

— Кажется, приятный молодой человек,— сказала она.— Его речь и манеры...

— Помилуй, Бернис! — раздраженно перебил он.— Коммерция — это не речь и манеры. Коммерция — это чего ты стоишь в деле. Это самое демократичное занятие на свете. На что ты годишься в деле — все остальное не в счет.

Он пытался вспомнить, какие у блондинки губы. Он был убежден, что женщины с полными губами сладострастны.

— Хотелось бы немного поговорить с Хортоном, пока он здесь,— сказал мистер Причард.

Бернис знала, что он неспокоен.

— Почему вам не поговорить сейчас? — предложила она.

— Да не знаю. Он сидит с мальчиком.

— Я уверена, что мальчик пересядет, если ты его мило попросишь.

Она была уверена, что любой человек окажет тебе любую услугу, если его мило попросить. И у нее это действительно получалось. Она обращалась с самыми нескромными просьбами к незнакомым людям и получала желаемое исключительно благодаря тому, что обращалась мило. Она просила посыльного в гостинице отнести ее чемоданы на станцию за четыре квартала — не брать же такси из-за такого пустяка, — а потом мило благодарила его и давала десять центов.

Сейчас она знала, что помогает мужу сделать что-то нужное. Что именно, она не совсем понимала. Ей хотелось вернуться к сочинению воображаемого письма о путешествии. «Элиот так всем интересуется. Со всеми подолгу разговаривает. Поэтому, наверно, он столько и добился. Ему все интересно. И он такой тактичный. Там был мальчик с большими прыщами, и Элиоту не хотелось его беспокоить, но я ему сказала, что надо только мило попросить. Людям нравится, когда с ними лютбезны».

Мистер Причард опять чистил ногти золотым инструментом, который носил на часовой цепочке.

Взгляд Прыща был прикован к затылку Камиллы. Сев. он первым делом проверил, не видно ли под сиденьем ее ног, хотя бы щиколоток. Время от времени она поворачивалась к окну, и тогда он видел ее профиль, длинные, начерненные, загнутые ресницы, прямой напудренный нос с чуть потемневшими от табачного дыма и дорожной пыли ноздрями. Четко очерченная верхняя губа чуть выдавалась вперед, вспухая тяжелым красным лепестком, и Прыщ видел над ней зачаточный пушок. Почему-то это его мучительно возбуждало. Когда ее голова была повернута прямо, он видел в открывшемся между прядями просвете одно ее ухо. Видел тяжелую мочку и складку в глубине, где ухо плотно прилегалo к голове. Край раковины заворачивался желобком. Когда он стал смотреть на ее ухо, она, словно почувствовав его взгляд, вскинула голову и тряхнула волосами, так что просвет исчез и ухо скрылось. Она достала из сумки гребень, потому что волосы сдвинулись и открыли глубокий шрам от зажимов под ухом. Прыщ увидел уродливый шрам впервые. Ему пришлось наклониться в сторону, чтобы разглядеть, и в грудь у него закололо. Он ощутил глубокую и бессмысленную печаль, но печаль тоже была плотоядной. Он вообразил, как держит ее голову и гладит пальцем бедный шрам. Он несколько раз сглотнул.

Камилла тихо говорила Норме:

— А еще там есть Маленькая Церковь на Вереске. Наверно, самое красивое кладбище на свете. Знаешь, туда пускают по билетам. Я люблю там просто гулять. Так красиво, и почти все время играет орган, а кругом похоронены люди, которых ты видела в кино. Я всегда говорю: вот где я бы хотела, чтобы меня похоронили.

— Не люблю таких разговоров, — сказала Норма. — Плохая примета.

Прыщ рассежно беседовал с Эрнестом Хортоном об армии.

— Говорят, можно получить специальность и повсюду ездить. Не знаю. Я записался на радарные курсы. Начинаются со следующей недели, заочные. По-моему, радар сейчас входит в силу. А в армии можно пройти настоящий, основательный курс радиолокации.

Эрнест сказал:

— Не знаю, как в мирное время. На войне можешь учиться сколько влезет.

— А вы бывали в настоящих боях?

— Побывал, хотя и не напрашивался.

— А где вы служили? — спросил Прыщ.

— Да по всему пеклу, — сказал Эрнест.

— Может, осмотрюсь немного, а там устроюсь, как вы, по торговой части, — предположил Прыщ.

— А это — просто положить зубы на полку, пока не наладишь связи, — сказал Эрнест. — У меня пять лет ушло на то, чтобы завязать связи, и тут меня призвали.

Я только-только поднимаюсь на ноги. В это нельзя вот так просто взять и войти, надо поработать. Кажется, и не работа вовсе — а еще какая. Если бы я начинал все снова, я бы получил специальность, чтобы хоть дом иметь. Как хорошо, когда есть жена и пара ребятшек.

Эрнест всегда так говорил. А выпивши — и верил. Дом ему был не нужен. Он любил ездить и видеть разных людей. Из дома он сбежал бы сразу. Однажды он был женат и ушел на второй день, бросив вконец перепуганную и разгневанную жену, после чего больше ее не видел и не писал ей. Но как-то раз увидел ее фотографию. Ее забрали: вышла замуж за пятерых и за каждого получала армейское пособие. Вот это невеста. Ничего не скажешь, обернулась. Эрнест даже восхищался ею. С такого оборота и прибыль настоящая.

— А почему дальше не хочешь учиться? — спросил он Прыща.

— Да ну их с их премудростью, — сказал Прыщ. — Эти студенты все равно как барышни. А я хочу жить как мужчина.

Камилла наклонилась к Норме и шептала ей на ухо. Обе трясались от смеха. Автобус на скорости вписался в поворот, и его обступили холмы. Дорога шла между крутыми склонами, почва на откосах была темной, сочилась водой. Короткие золотоспичные папоротники цеплялись за гравий, и с них тоже капало. Хуан положил правую руку на руль и свободно свесил оба локтя. Теперь пятнадцать минут дорога будет петлять между холмами без единого прямого участка. Он взглянул в зеркальце на блондинку. Вокруг глаз у нее собрались морщинки от смеха, и она прикрывала рот растопыренными пальцами, как девочка.

Мистер Причард, отправившись назад, был неосмотрителен, и на выраже его кинуло в сторону. Он хотел схватиться за спинку, промахнулся и рухнул на колени Камиллы. Правой рукой, пытаясь задержать падение, он задрал ее короткую юбку, и его рука попала ей между колен. Юбка треснула. Камила помогла ему подняться и одернула юбку. Мистер Причард густо покраснел.

— Я очень виноват, — сказал он.

— Ничего страшного.

— Но я порвал вам юбку.

— Я почию.

— Но я должен заплатить за починку.

— Я сама зашью. Тут немного. — Она посмотрела на его лицо и поняла, что он изо всех сил старается растянуть объяснение. «Сейчас захочет узнать, по какому адресу выслать деньги», — подумала она.

Миссис Причард окликнула мужа:

— Элиот, ты решил посидеть у дамы на коленях?

Тут даже Хуан рассмеялся. И вдруг люди в автобусе перестали быть чужими. Произошла какая-то химическая реакция. Норма хохотала истерически. Все напряжение утра разрядилось в этом хохоте. Мистер Причард сказал:

— Должен заметить, вы вели себя мужественно. Я шел сюда не затем, чтобы сидеть у вас на коленях. Я хотел обменяться несколькими словами с этим джентльменом. Дружок, — сказал он Прыщу, — ты не мог бы пересесть на минуту? Мне надо обсудить одно дело с мистером... я, по-моему, не знаю вашей фамилии?

— Хортон, — сказал Эрнест, — Эрнест Хортон.

Мистер Причард владел самыми разными приемами обращения с людьми. Он никогда не забывал имя человека более богатого или влиятельного, чем он, и никогда не знал имени человека менее влиятельного. Он обнаружил, что, вынудив человека назваться, ты ставишь его в невыигрышное положение. Когда человек называет себя, он чувствует себя несколько оголенным и незащищенным.

Камилла смотрела на порванную юбку и тихо разговаривала с Нормой.

— Мне всегда хотелось жить на холме, — говорила она. — Я люблю холмы. Люблю гулять по холмам.

— Все это очень хорошо, когда ты богатая и знаменитая, — решительно сказала Норма. — Я знаю людей в кино: чуть выдастся свободный час — и, представляете, идут охотиться или удить рыбу, наденут старье и курят трубку.

Норма раскрывалась перед Камиллой. Никогда в жизни она не ощущала такой приподнятости и свободы. Она могла говорить все что заблагорассудится. Она тихонько посмеивалась.

— Куда приятнее носить старые грязные платья, если у тебя полон шкаф красивых, чистых, новых,— сказала она.— А у меня только старые и есть, и они мне до смерти надоели.

Норма взглянула на Камиллу: как она отнесется к такой откровенности? Та кивнула.

— Верно говоришь, детка.

Что-то очень сильное и родственное все больше сближало их. Мистер Причард пытался подслушать их разговор, но не мог.

Вода, бежавшая в долину, наполнила кюветы до краев. Тяжелые гучи накапливались для новой атаки.

— Дождь собирается,— радостно предупредил Ван Брант.

Хуан закричал.

— У меня шурин лошадь копытом убила,— буркнул он.

— Значит, совсем бестолковый,— сказал Ван Брант.— Если лошадь человека лягнула, чаще всего сам виноват.

— Сам или не сам, а убила,— сказал Хуан и умолк.

Вершина подъема была уже близко, и выражи делались все круче и круче.

— Мне показался очень интересным наш короткий утренний разговор, мистер Хортон. Приятно поговорить с человеком, у которого есть хватка и сметка. Я постоянно присматриваю таких людей для моей компании.

— Благодарю,— сказал Эрнест.

— Как раз сейчас у нас много хлопот с этими демобилизованными,— сказал мистер Причард.— Понимаете — хорошие люди. И я считаю, что для них должно быть сделано все-все. Но они отстали от жизни. Устарели. А в нашем деле надо все время идти в ногу. Кто шел в ногу, стоит двоих, которые, так сказать, выбрались из мясорубки.— Он посмотрел на Эрнеста, ожидая одобрения. Но вместо этого увидел в глазах Эрнеста какую-то колючую насмешку.

— Понял вас,— сказал Эрнест.— Я четыре года был в армии.

— О! — сказал мистер Причард.— О, ну да, вы, я вижу, не носите увольнительного значка.

— У меня есть работа,— сказал Эрнест.

Мысли у мистера Причарда путались. Какая грубая оплошность с его стороны. Он не мог сообразить, что это за штука у Эрнеста в петлице. Что-то знакомое. Ведь знает он ее.

— Они отличные ребята,— сказал он,— надеюсь только, мы все же обзаведемся правительством, которое сумеет о них позаботиться.

— Как после той войны? — спросил Эрнест.

Это был двойной укол, и мистер Причард усомнился, прав ли он был в своем расположении к Хортону. Была в Хортоне какая-то грубость. Какая-то развязность и сумасбродство, заметные у многих бывших солдат. Врачи говорят, что это у них пройдет, когда они поживут немного нормальной, пристойной жизнью. Они выбиты из колеи. Надо обязательно что-то сделать.

— Я всегда первым готов встать на защиту наших ветеранов,— сказал мистер Причард. Боже, как ему хотелось отделаться от этой темы. Эрнест глядел на него с кривоватой усмешкой, которую ему уже приходилось замечать у претендентов на место.— Я просто подумал, что стоит порасспросить человека с вашей хваткой и сметкой,— смущенно сказал мистер Причард.— Я был бы очень рад, если бы вы зашли ко мне после отпуска. У нас всегда найдется место для человека с такими качествами.

— Ну что ж,— сказал Эрнест,— по правде, мне осточертело без конца мотаться по стране. Я часто думаю: неплохо было бы обзавестись домом, женой и парой ребят-тишек. Это — жизнь. Приходишь вечером домой, затворился от всего мира, а тут у тебя, к примеру, мальчик и девочка. А ночевки в отелях — разве житье?

Мистер Причард кивнул.

— Вы правы на все сто,— сказал он с большим облегчением.— Кому-кому, а мне это объяснять не надо. Двадцать один год женат и не хочу ничего другого.

— Вам повезло,— сказал Эрнест.— Ваша жена прекрасно выглядит.

— Она и жена прекрасная,— сказал мистер Причард.— Самый заботливый человек на свете. Я часто думаю, что бы я делал без нее...

— Я тоже был женат,— сказал Эрнест.— Она умерла.— Лицо у него стало грустным.

— Сочувствую,— сказал мистер Причард.— Извините, конечно, за банальность. Но время залечивает раны. И может быть, вы еще... словом, я бы не терял надежды.

— Нет, я не теряю.

— Не хочу совать нос в чужие дела,— сказал мистер Причард,— но я тут подумал о вашей идее насчет чехлов на лацканы, чтобы превратить темный костюм в смокинг. Если вы ни с кем не связаны, я подумал, что мы могли бы... ну, обсудить это в деловом плане.

— Я ведь вам объяснил положение. Фирмы готового платья не потерпят того, что потеснит их с рынка. Я пока не вижу никакого подступа.

Мистер Причард сказал:

— Я забыл, вы, кажется, подавали заявку на патент?

— Да нет. Я вам говорил. Я только зарегистрировал идею.

— Что значит зарегистрировали?

— Ну, составил описание с чертежами, положил в конверт и отправил по почте себе заказным. Этим засвидетельствовано, когда я придумал, потому что конверт запечатан.

— Понимаю,— сказал мистер Причард и спросил себя, действителен ли такой способ юридически. Неизвестно. Но всегда лучше принять изобретателя в пай. Только самым крупным людям по карману взять изобретение на корню. Крупным людям по карману долгая драка. Они рассчитали, что это дешевле, чем войти с изобретателем в долю, и цифры показывают, что они правы. Но фирма мистера Причарда была не настолько крупна, а кроме того, он всегда считал, что великодушнее окупается.— У меня есть две-три дельные мысли,— сказал он.— Конечно, тут нужна какая-то организация. А что если нам с вами заключить сделку? Все это пока предположительно, понимаете, надеюсь? Я обеспечиваю организацию, а прибыли мы делим.

— Но никому это не нужно,— сказал Эрнест.— Я уже поспрашивал.

Мистер Причард положил руку ему на колено. В груди сосало: надо замолчать,— но он помнил усмешку в глазах Эрнеста, и ему хотелось понравиться Эрнесту, вызвать восхищение. Он не мог замолчать.

— Предположим, мы организовали компанию и защитили идею,— сказал он.— То есть запатентовали. Теперь мы готовимся к производству этого продукта, даем рекламу по всей стране...

— Одну минутку,— перебил Эрнест.

Но мистера Причарда несло.

— Теперь предположим, что наши планы как-то попали в руки, скажем, ну, Харта, Шафнера и Маркса или какого-нибудь другого крупного фабриканта или же акционерного общества. Конечно, они попадают туда по чистой случайности. И нас захотят откупить.

Эрнест заинтересовался:

— Откупить патент?

— Не только патент, а всю компанию.

— Но если они купят патент, они смогут похоронить идею,— сказал Эрнест.

Глаза у мистера Причарда сузились и поблескивали за очками, в углах рта приоткрылась улыбка. Он впервые забыл о Камилле с тех пор, как она вышла из автобуса на Мятёжном углу.

— Загляните немного дальше,— сказал он.— Когда мы продаем и ликвидируем компанию, мы платим только налог с прибыли.

— Толково,— в возбуждении сказал Эрнест.— Да, сэр, очень толково. Это шантаж, и шантаж высочайшего класса. Да, сэр, тут под нас не подкопаешься.

Улыбка сошла с губ мистера Причарда.

— В каком смысле шантаж? Мы собирались развернуть производство. Мы могли даже заказать оборудование.

— Именно в этом смысле,— сказал Эрнест.— Высокий класс. Ажурная работа. Вы толковый человек.

Мистер Причард сказал:

— Надеюсь, вы не считаете это непорядочным. Я занимаюсь коммерцией тридцать пять лет и поднялся в моей компании на самый верх. Я могу гордиться моей репутацией.

— Я вас не критикую,— сказал Эрнест.— Эта ваша мысль мне кажется очень дельной. Я — за, только...

— Что — только? — спросил мистер Причард.

— С деньгой у меня слабовато,— сказал Эрнест,— а мне надо по-быстрому зашибить. Перехватить на худой конец.

— Зачем вам деньги? Может быть, я вам ссужу...

— Нет,— сказал Эрнест,— сам достану.

— Что, придумали новый поворотик? — спросил мистер Причард.

— Да,— сказал Эрнест,— послать мою идейку в патентное бюро с почтовым голубем.

— Надеюсь, у вас и в мыслях нет...

— Конечно нет,— сказал Эрнест.— Боже упаси. Но у меня будет веселее на душе, если этот конверт прилетит в Вашингтон в одиночку.

Мистер Причард откинулся на спинку и улыбнулся. Дорога впереди вилась и петляла и промеж двух громадных уступов ныряла в следующую долину.

— Молодой человек, не волнуйтесь. Мне кажется, мы с вами столкнемся. Только не думайте, пожалуйста, что я хочу вас обойти. Моя репутация говорит сама за себя.

— Да я не думаю,— сказал Эрнест.— Не думаю.— Он искоса взглянул на мистера Причарда.— Дело-то в том, что у меня в Лос-Анджелесе пара роскошных дамочек и я боюсь забраться в их квартиру и обо всем на свете забыть.— Реакция была та, на какую он рассчитывал.

— Я пробуду два дня в Голливуде,— сказал мистер Причард.— Можем обговорить там наши дела.

— К примеру, у дам на квартире?

— Надо же время от времени слегка расслабиться. Я остановлюсь в «Бевебли Уилшир». Позвоните мне туда.

— Обязательно,— сказал Эрнест.— Вы какой масти дам предпочитаете?

— Поймите меня правильно,— сказал мистер Причард.— Просто посидеть и выпить виски с содовой — все-таки у меня определенное положение. Так что прошу понять меня правильно.

— Ну как же,— сказал Эрнест.— Если желаете, попробуем подобрать эту блондинку.

— Не глупите,— сказал мистер Причард.

Прыщ пересел вперед. Под подбородком он ощущал жгучий зуд и знал, что образуется новый вулкан. Он сел наискосок от Милдред Причард. Он не хотел трогать новообразование, но руки не подчинялись. Правая поднялась, и указательный палец потер шишечку под подбородком. До чего болела шишечка. Этот будет — зверь. Прыщ уже знал, каков он будет с виду. Хотелось выдавить его, расцарапать, содрать. Нервы были натянуты. Он загнал руку в карман пиджака и сжал кулак.

Милдред рассеянно смотрела в окно.

— И мне охота в Мексику,— сказал Прыщ.

Милдред удивленно обернулась к нему. Очки отразили свет из окна и уставились на него бельмами бликов.

Прыщ сглотнул.

— Никогда там не был,— сказал он слабым голосом.

— Я тоже.— сказала Милдред.

— Да вы-то едете.

Она кивнула. Она не хотела смотреть на него, потому что не могла отвести глаз от прыщей, а он стеснялся.

— Может быть, и вы скоро съездаете, — смущенно сказала она.

— Угу, я поеду, — сказал Прыщ. — Я всюду поезжу. Я любитель путешествовать. Для меня лучше нет, чем путешествовать. Так жизнь узнаешь.

Она опять кивнула и сняла очки, чтобы отгородиться от него. Теперь она видела его не так ясно.

— Я думал, хорошо бы стать миссионером, как Спенсер Трейси, уехать в Китай и лечить их от всяких болезней. Вы были в Китае?

— Нет, — сказала Милдред. Она была зачарована ходом его мыслей.

Большинство своих мыслей Прыщ черпал из кинофильмов, остальные — из радиопередач.

— А народ в Китае очень бедный, — сказал он, — есть такие бедные, что умирают с голоду прямо у тебя под окном, если какой-нибудь миссионер не выйдет помочь. А помог ты им — ну, они тебя любят, и пусть только япощка какой-нибудь сунется — они его сразу ножом. — Он мрачно кивнул. — Я думаю, они такие же, как мы с вами, не хуже, — сказал он. — А Спенсер Трейси приехал и стал их лечить — и они его полюбили... И знаете, что еще он сделал? Он нашел себя. А там была девушка, и он сомневался, то ли жениться на ней, то ли нет, потому что она была с прошлым. Ну, конечно, оказалось, что она в этом не виновата и вообще это неправда — все старуха на нее наговорила. — Глаза у Прыща блестели от жалости и воодушевления. — Но Спенсер Трейси не поверил этой клевете, он жил в старом дворце с тайными коридорами и подземными ходами и... Ну, а потом пришли япощки.

— Я видела картину, — сказала Милдред.

Автобус на второй скорости брал последний подъем. Но вот расселась впереди вершина, и распахнулось пространство, и с крутого левого поворота открылась внизу хмурая под серыми тучами долина, и тусклой сталью блеснула в грозном свете широкая излучина реки Сан-Исидро. Хуан включил верхнюю передачу и поехал под уклон.

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

(Продолжение следует)



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КСЕНИЯ НЕКРАСОВА



БАЛЛАДА О ПРЕКРАСНОМ

У метельщицы в подвале
я осталась ночевать —
в ту пору я писала о цветах,
и синие думы,
как утренний снег,
дымились в словах моих.
Проснулась ночью —
лампочка в потолке...
Стоит у стены кровать,
под красным одеялом
старуха сидит:
в кофте зеленой,
в заплатанном платке,
руки, как бурые корни женьшеня,
лежат на красном одеяле.
«Бабушка,—
говорю я,—
а цветы похожи на ребят,
но ребята с возрастом грубеют,
а цветы остаются как были,
и не потому ли люди смотрят долго
в чашечки цветов, о детстве вспоминая?»
Утром
я в мятежности вставала:
ночью что
метельщице наговорила,
где в стихах ей белых разбираться,
просмеет с подружками меня,
скажет — ненормальная пришла.
Но
вошла тут с улицы старуха,
и в руках у нее букет
солнечных, желтеющих шаров,
по-крестьянски сжатый в кулаке.
«Вот тебе,—
метельщица сказала,—
за твои хорошие слова».
Я взяла цветы —
из глаз слеза упала...
Это новое —
решила я.

* * *

...И тише, генералы и адмиралы,
пробуйте ваши бомбы,
ваши запаянные в сталь Везувии!

Вы мешаете думать,
как вырастить лучше
высокие кроны,
и прочные корни,
и нежные чаши
на тонких стеблях.

* * *

Ты любишь, женщина,
и не таи глаза
в прохладности ресниц,
не каждый одарен
талантами любви.
О, как странны мы
без счастья твоего —
в молчании сердец
и в очерствлении крови,—
ни неба вечного,
ни взлета птиц,
мы смертны все,
когда любовь молчит.

БУДНИ

С утра я целый день стирала,
а в сумерки пошла к колодцу за водой,
от долгого стоянья у корыта
чуть-чуть покалывало поясницу,
и руки от движения в воде
ломило от ладоней до плеча.
На улице лежала тишина...
Такая тишина,
что звук слетающих снежинок
был слышен мне...
Напротив домики в снегах стояли.
И ягоды краснеющей рябины
клевали снегири на ветках.
В середине улицы косматая собака
валялась на спине.
Я цепь к ведру веревкой привязала
и стала медленно спускать ведро...
И все.
И надо всем стояла тишина...

* * *

Не пропускай, читатель,
мимо глаз
людей, чей рысий взгляд
меж лиц, покоем осененных,
вдруг промелькнет —
как острие клыка.

Публикация Л. Е. РУБИНШТЕЙНА.



О ЧИ Е Р К И И Н Ж Е Н Е Р Д И Н Е Й

АЛЬФРЕД КОЦ



КОМАНДИРОВКА НА ЗАПАДНЫЙ БАМ

Записки инженера

Двенадцать лет я, инженер по технической информации в системе института Оргтрансстрой, езжу на стройки, встречаюсь с транспортными строителями. Со многими сложились неформальные отношения. Но тут совершенно незнакомая мне трасса. И крайне интересный трест — Запбамстроймеханизация. Командировка виделась нерядовой.

Мне предстояло разобраться в почине двадцатитысячников. Слово звучало знакомо, хотя, как я знал, почин родился только что. Двадцатитысячниками окрестили бригады механизаторов, которые довели месячную выработку экскаватора до 20 тысяч кубометров.

20 тысяч кубометров — это очень много. Почти вдвое больше нормы. Вообще-то директивные нормы божеские. И, если взяться за дело с умом, их при известных условиях можно перекрыть вдвое.

По предварительным данным, на Западном участке БАМа уже 50 бригад двадцатитысячников. Но я по опыту знал, что не стоит спешить с выводами. Это показано 50. А на деле их может оказаться меньше. Или больше. И вообще — бывают почины и «почины».

Прикидывая и так и этак, обкатывая в голове задание, я не давал себе заранее настраиваться на скептический или на мажорный лад. Но еще до вылета из Свердловска возникли первые сомнения. Настораживала загадочная универсальность показателя — именно 20 тысяч. Судя по всему, задача мне досталась нелегкая.

Из-за стола поднялся некрупный жилистый мужчина средних лет, в цветастой украинской рубашке:

— Евтушенко.

Обветренное энергичное лицо с острыми, внимательными глазами. Губы кажутся вывернутыми — так сильно натянута кожа на скулах.

Кое-что я уже знал о нем. Василий Владимирович Евтушенко окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. На строительстве железной дороги Абакан — Тайшет работал главным инженером мехколонны, потом заместителем управляющего трестом Сибстроймеханизация, а полтора года назад назначен управляющим трестом Запбамстроймеханизация и перебрался сюда, в Усть-Кут.

Евтушенко сразу мне понравился своей азартностью, цепкостью, редким умением мгновенно ориентироваться в обстановке. Мы с ним быстро обо всем договорились. Условия соревнования двадцатитысячников действительно нуждаются в серьезной корректировке. Но движение ширится и главное в нем — живой, практический опыт бригад механизаторов. Поэтому решение выбираться на трассу единственно правильное.

Еще накануне отдел труда и зарплаты сделал выборку. Определелись лучшие бригады двадцатитысячников, а следовательно, и мехколонны, в коих следовало побы-

вать. Так сложился маршрут поездки: Усть-Кут — Звездный — Магистральный — Улькан. Но было неясно, как попасть на трассу.

Не повезло мне. Как раз накануне моего приезда взорвали ледовую переправу через Лену и наледи в сопках. Путь вперед оказался отрезанным. Эти жесткие меры в дни весенней распутицы здесь неизбежны. Шоферы — народ настырный, их дорожными знаками либо словесными запретами не проймешь, а Лена не шутит. Провалилась в польню двадцатилетняя девушка. Неделей раньше ушел под лед груженный самосвал.

Факт оставался фактом: зимника больше нет.

— Задача разрешима, если перевернуть маршрут.— Василий Владимирович хитро улыбнулся.— Вы летите в крайнюю точку, а оттуда пятитесь к Усть-Куту.— Для наглядности он тут же набросал на клочке бумаги: Улькан — Магистральный — Звездный — Усть-Кут.— Есть регулярный рейс Аэрофлота до Юхты. Это рядом с Ульканом. С вами полетит наш фотограф Мансур. Я дам рекомендательное письмо, чтобы оказывали содействие начальники мехколонн.

На трассе с письмом Евтушенко случился казус. Когда его читал начальник МК-142 А. А. Тимошенко, я засмотрелся в окно. И этих мгновений оказалось достаточно, чтобы всю бумагу нанкошь пересекла надпись: «Тов.! Работа! Выполнить!» Так и пришлось потом всюду показывать письмо с этой размашистой резолюцией, вызывавшей улыбку.

Самолет шел над трассой, и я почти неотрывно смотрел в иллюминатор, а Мансур Тухватуллин, русобородый, высоченный, общительный человек и страстный фотограф, кричал мне в ухо, комментируя видеоряд.

Я увидел петлю таежной речки Таюра, а рядом дома и вагончики — поселок Звездный. Потом остатки подтаявшего зимника на станцию Небель.

— Карьер Петра Чумаченко! — кричал Мансур.

Это имя было мне уже знакомо. Читал в «Гудке» его напористую статью. Да и в списке двадцатитысячников треста значилась его фамилия.

Внизу копошились игрушечные экскаваторы, расплозились от них самосвалы, мерцало голубое свечение электросварки.

— Киренга! — кричал Мансур.— Лед уже сошел, придется форсировать врукопашную. Вон там, на берегу, будет наша мотгала! — Тыча пальцем в иллюминатор, он показывал, где именно.

А я под монотонный рокот мотора, откинувшись в кресле, стал суммировать впечатления последних дней, проведенных в Усть-Куте. Начиная с приезда.

...Поезд тихо шел в узком коридоре между сопками. Сгиснутым между сопками оказался и Усть-Кут. Некогда скромный казацкий поселок разросся и превратился в небольшой городишко, слившийся с бамовским поселком Якурим и растянувшийся по левобережью Лены на добрых три десятка километров.

Крошечный вокзал станции Лена забит людьми. Поезд только что прибыл, до отправления еще далеко, касса, разумеется, закрыта. Но до лета поезд здесь один, многие уезжают впервые, не знают, что места всегда есть, и томятся в очереди, справедливо полагая, что с билетом в кармане как-то оно спокойнее. Нашелся было нетерпеливый пассажир, предположивший открыть кассу пораньше. Дежурная по станции только лениво усмехнулась:

— Ничего, постойте.— Завязанные сверху концы ее головного платка торчали, как рожки.— Если хотите знать, у нас московские профессора по три часа стоят в очереди за билетом в общий вагон.

В ее тоне не было ничего вызывающего. Я думаю даже, что она просто похвасталась.

Перед входом на пятачке, который язык не поворачивается назвать привокзальной площадью, стояли, прохаживались, курили, сидя на чемоданах, понурые люди в ватниках или мятых плащах. Потрепанные старомодные чемоданчики красноречивее всяких слов говорили, что их хозяевам некогда, негде или не на что купить новые. По обрывкам разговоров я понял, что это те, кто не прижился на трассе и кого не принял Западный БАМ.

— Кадры сильно роятся, — сказал лобастый парень в кожаной куртке. — Четвертый разряд не берут. Совсем заелись.

Ну, это ты зря, думал я, направляясь к берегу Лены. Видать, не туда сунулся. Знаю я наших кадровиков. Механизатора четвертого разряда в любом строительном тресте с руками оторвут.

Я вышел на крутой берег и увидел незаконченную скульптуру. В густеющих сумерках проступала многометровая, еще не детализированная женская фигура с бесфамильной пока мемориальной плитой в изножье. А внизу лежала Лена, затянутая серым ноздреватым льдом. Почерневшие избы на противоположном пологом берегу почти вровень с рекой. И что-то непохоже, чтобы они подтоплялись. Однако река здесь судоходна, а дальше к северу, говорят, водится рыба. Осетров, правда, давно нет. Сразу за почерневшими избами выгнулись крутые спины сопок. Узкий ручеек городских улиц казался хилым и невзрачным рядом с этими мощными волнами безымянных холмов. Впрочем, один из них местные жители окрестили Сопкой любви.

Это впечатление заброшенности с удивительной силой передает попавшая мне в руки значительно позже фотография Мансура «Устье Куты». Над Леной четко прорисовываются ажурные конструкции строящегося железнодорожного моста. Так сказать, современный индустриальный ландшафт. А на переднем плане в устье Куты остановились на берегу две понурые клячи, впряженные в телегу. Все еще впереди для этого закутка...

Три дороги идут рядом — железная, автомобильная (она же городская улица) и река. В микрорайоне Лена железнодорожный вокзал прямо напротив речного. Их разделяют небольшой пустырь и горстка домов, в том числе единственная в городе гостиница. Город Усть-Кут, станция Лена, порт Осетрово — все это, оказывается, одно и то же. Здесь я прожил несколько дней.

На станции Лена установлен нулевой пикет БАМа, и первые свои шаги Байкало-Амурская магистраль делает в черте города. Точнее, первые пятнадцать километров. Правда, строители жалуются на неопределенность трассы участка Усть-Кут — Якурим. Пока неясно, как она пройдет. Но рельсы уже давно лежат на полотне и путь основательно забит товарными составами. Составы тянутся до самого моста через Лену. Во время поездок в Якурим и обратно эта грандиозная многокилометровая пробка ежедневно мозолила мне глаза. Катастрофические последствия нехватки путей.

И опять приходит на память работа Мансура Тухватуллина, лаконичная, как плакат: перед нами уже опорожненный экскаваторный ковш на свежееотсыпанной насыпи, а на заднем плане — поезд на действующем железнодорожном пути. По закону перспективы масштабы смещены, и ковш больше поезда. Но в том-то и прелесть фотографии «Вторые пути», что она открывает глаза на диалектику жизни. Нисколько не насилуя своего воображения, мы видим, сколь емок этот ковшище, как много поездов он способен вместить. А ведь в каждом вагоне каждого поезда можно перевезти десятки таких ковшей. Вещи, дотоле самоочевидные, вдруг обретают силу парадокса и останавливают воображение.

...Гигантская пробка из товарных составов, забивших железнодорожный путь, еще продолжалась, она тянулась за Якуримом почти до моста через Лену, а служебный автобус сворачивает налево, огibtает большую лужу и подкатывает к зеленому вагончику. Сразу за ними — деревянное здание треста Запбамстроймеханизация, длинный барак, поднятый на специально отсыпанную площадку.

Пассажиры выходили из автобуса и шли к лохани с водой у крыльца. Вот легко наклонилась за тряпкой на палке и моет сапожки обаятельная русококая женщина. Это Валентина Павловна Костомарова, старший инженер отдела труда и заработной платы. Человек крайне щепетильный и добросовестный, она держалась со мной несколько настороженно, и мне оставалось только строить догадки на этот счет. Быть может, ей казалось, что я хочу во что бы то ни стало поднять на щит двадцатитысячников — даже вопреки фактам, если таковые не подтвердят заслуг этого движения. Хвастуны, сверх всякой меры расхваливающие строителей, ставят их в неловкое положение и вредят делу.

Следом за Костомаровой вышла из автобуса ее начальница Санникова. Вырази-

тельное лицо этой жизнерадостной женщины дышало энергией и силой. Как я скоро понял, победительная внешность Любови Степановны вполне отвечала ее характеру.

Близилось начало рабочего дня, и вместе с пассажирами служебного автобуса поднимались на крыльцо сотрудники треста, прибывшие кто на «газике», кто на попутной машине, а кто и на своих двоих. Мы тоже поднялись на крыльцо и вошли в здание. Особенности нравственного микроклимата в тресте ощущаешь, даже когда тебя просто угощают круто заваренным чаем с печеньем.

Здесь я стал невольным свидетелем полусутоливого разговора двух сотрудниц треста с посетителем. Посетитель, мужчина могучего телосложения, был явно чем-то взволнован. Он старался этого не показывать, но его выдавали красные пятна на лице и нервные, порывистые движения. Он шутил, угощал сотрудниц конфетами и всячески их обхаживал. «Ну пожалуйста,— говорил он,— я же не первый раз к вам обращаюсь, имейте меня в виду, как только чертежи освободятся. Ведь мы уже заканчиваем планировку станционной площадки, а все еще не знаем рабочих отметок». Сотрудницы тоже пошучивали, улыбались, ели конфеты и отвечали, что да, что конечно, как только чертежи освободятся, они их непременно вышлют в мехколону. И можете не беспокоиться на этот счет. А едва за посетителем закрылась дверь, оживление как рукой сняло, улыбки погасли. Женщины отодвинули недоеденные конфеты и признались, что рабочих чертежей станции пока и в природе не существует, над ними еще только работает проектный институт. Главный инженер треста уже не раз слал туда телеграммы, а секретарь почти каждый день звонит, чтобы узнать, скоро ли их вышлют.

Возмущенный таким лицедейством, я сдержанно спросил сотрудниц, зачем они морочили голову человеку, который, вернувшись на трассу, напрасно обнадежит других. Но оказывается, того они и добивались. Женщины не хотели бить строителей по рукам и горькой правде предпочли ложь во спасение. Ведь одно дело ждать реально существующие чертежи, лишь на пару дней застрявшие у заказчика либо в каком-то отделе треста, и совсем другое — знать, что их вообще нет.

Я вовсе не уверен, что стоило уклоняться от истины. Скорее напротив. Стоило ударить по рукам, чтоб не понуждали строить до получения полного комплекта рабочих чертежей. Но меня взволновали добрые побуждения этих милых женщин. Ведь еще совсем недавно никому бы и в голову не пришло считаться с такими тонкостями. Расстроятся, видите ли, что не готовы чертежи. Что за нежности телячьи.

Щадят друг друга не только рядовые сотрудники. Я видел, как управляющий трестом довольно резко отказал своему секретарю. Дудко хотела отпроситься на несколько дней в Братск навестить больную сестру. Женщина, конечно, расстроилась. Но часа через полтора, внезапно прервав важное совещание, Евтушенко вышел в приемную и сказал: «Я передумал. Пожалуйста, поезжайте». У Лидии Арсентьевны просияли глаза. Ведь если передумал, значит, помнил, значит, не давала покоя мысль, что поступает несправедливо и что эту несправедливость необходимо исправить. А человеку легче жить, если он видит, что с ним считаются. И скверно, если нет.

Дудко местная, усть-кутская. После десятилетки окончила долгосрочные курсы секретарей. Все делопроизводство у нее поставлено по науке. За годы работы в Минтрансстрое я перевидал всяких секретарей, в том числе весьма опытных. Но секретаря с серьезной профессиональной подготовкой в строительном тресте я встретил впервые. И потому с любопытством наблюдал, как Лидия Арсентьевна регулирует прием, вызывает людей по телефону, контролирует одновременно несколько списков, регистрирует корреспонденцию, распределяет по отделам деловые бумаги. Четкость ее действий сберегает людям бездну времени и сил. Впрочем, что же тут удивительного: профессионализм обладает несомненными преимуществами перед дилетантизмом. Правда, и платят здесь секретарю неплохо. Лидия Арсентьевна зарабатывает вдвое больше, чем на Большой земле иные инженеры.

Мой путь на Западный БАМ еще только начинался и потому рано было сравнивать здешние мехколонны с мехколоннами треста Уралстроймеханизация. Но одно отличие я уловил сразу. В уральских мехколоннах раньше не было бригад, каждый

экскаваторщик или шофер пнал свои кубы и за них получал. Когда там начали внедрять бригадный хозрасчет, пришлось прежде создавать бригады. А это оказалось не просто. Кто говорил «хочу», а кто и «не хочу». Потом все утряслось и мощные земельные комплексы, работающие в три смены по бригадному или участковому подряду, вывели трест в число передовых. Но на ранних этапах перестройки отсутствие бригад порождало дополнительные трудности. На Западном БАМе человеку еще в отделе кадров объясняют, что он войдет в бригаду и потому его заработок будет зависеть от результатов общих усилий. Договариваются на берегу.

Бригады эти, хозрасчетные и нехозрасчетные, различной численности и оснащенности, работают в самых разнообразных условиях (отсюда разноречивой в оценке результатов соревнования двадцатитысячников). И они ежедневно обрушивают на трест лавину каверзных вопросов, острых конфликтов и сложнейших производственных проблем. Львиная доля этих забот ложится на плечи отдела труда и заработной платы — на женские плечи, потому что в отделе только женщины. Когда ни придешь, в комнате полно народу, не утихают споры, и только Валентине Павловне, у которой взрывной темперамент удивительным образом сочетается с врожденной деликатностью, удается примирить враждующие стороны. Все сотрудницы чрезвычайно загружены и отрываются от бумаг лишь в краткие минуты чаепития. Если надо, задерживаются после работы, что в Усть-Куте вдвойне тяжело, поскольку рискуешь опоздать на последний автобус и тогда придется месить грязь от Якурима до дома, а это километров десять.

Так уж сложилось, что отдел труда стал сердцем треста и потянул громадную организаторскую работу. Будничную, черновую, незаметную и обычно незамечаемую, без которой, однако же, немислмы координированные усилия многотысячных коллективов, выпускающих морские суда и космические корабли, строящих города и железные дороги.

Начальник отдела Санников — незаурядная личность. Она работает напористо и увлеченно. Еще когда Любовь Степановна была рядовым инженером, ее имя занесли в областную книгу почета. Редкая честь. Ведь что греха таить — в наградные списки у нас чаще всего попадают рабочие и руководители. Или, по крайней мере, представители так называемых престижных профессий — ученые, артисты. Работников управленческого труда обычно обходят. И совершенно напрасно.

Когда мы подрулили к фанерной зебре, на посадочной полосе крутились снежные вихри. Но одно из колес самолета оказалось в воде, и перед входом в диспетчерскую тоже стояли лужи.

Мы с Мансуром шли по обледеневшему снежному насту, почти ежеминутно проваливаясь в воду. Но очень скоро показались веселые цветные домики Улькана. Еще никогда мне не доводилось видеть такого красивого поселка строителей. Он построен на сухом и ровном месте, прямо в хвойном лесу. Деревьев нет только на проезжей части улиц. Воздух чист и насыщен ароматами леса, дышится вольно и легко. Широкие прямые улицы и щедрые интервалы между домами рождают ощущение простора. Чувствуешь себя так, будто сбросил какую-то тяжесть, неосознанно утнетающую человека в скученном поселке, в тесной комнате, на узкой городской улице, подобной ущелью. Конечно, даже самая удачная планировка не компенсирует отсутствия элементарных бытовых удобств. Ведь Улькан застроен все теми же сборно-щитовыми домами, которые давным-давно морально устарели. А все же голубые и зеленые одноэтажные домики просто великолепно смотрятся среди медных стволов сосен. Я насколько не удивился, когда узнал, что Улькану присуждено первое место на всесоюзном конкурсе временных поселков транспортных строителей.

Бог весть откуда налетевший снежный заряд окутал все вокруг молочной мглой. Не зря все же крутила поземка на посадочной площадке. Мокрый снег летил в лицо, и мы почти ощупью брели от дома к дому, безуспешно пытаясь кого-нибудь найти. Главное, двери открыты, а никого нет.

Угадали как раз в субботник. Погода зло посмеялась над работниками мехколонны. Весь снег, который они убрали во время субботника, она шутя вернула им обратно за каких-нибудь двадцать минут.

Пока добрались до дома главного инженера Юрия Сергеевича Савлова, все стихло. Скоро он сам затопал сапогами на крыльце, отряхиваясь и сбрасывая горстями ледяную кашу, набившуюся под воротник полушубка.

Юрий Сергеевич, инженер-электрик по образованию, на БАМ попал случайно. Больше того, он считает, что по сравнению с электротехникой «земля» — занятие несложное. Забавно было бы лет этак через десять встретить его в роли главного энергетика завода. Встал бы из-за стола и пошел навстречу стройный блондин в черных ботинках. «Вы знаете, — сказал бы он, радушно улыбаясь, — электротехника давно освоена. А земляное полотно — вот это действительно работа!»

Едва зашла речь о делах 145-й мехколонны, Савлов сказал:

— Главная наша ставка — трехсменное использование экскаваторов и самосвалов.

Он начертил прямоугольник, отделил три смены по вертикали. С интересом следя за его карандашом, я сразу уловил знакомое чередование полос отдыха и работы. Несомненно, это был скользящий график инженера А. П. Романова. В свое время Романов внедрял его в мехколоннах треста Уралстроймеханизация. Трехсменка прогремела на всю страну в газетных и журнальных статьях, дошла до коллегии Минтрансстроя, превратилась по ее решению в брошюру.

Я открыл портфель, нащупал гладкую малиновую обложку только что выпущенной брошюры о трехсменке, открыл ее на нужной странице и, ни слова не говоря, выложил на стол. Юрий Сергеевич оторопело переводил взгляд с графика в книжке на свой и обратно. Довольный произведенным эффектом, я прикинул, что означает трехсменка для Западного БАМа. Даже если каждый экскаватор проработает дополнительно только 800 часов в год, в целом по тресту это даст не меньше трех миллионов кубометров грунта. Прибавка солидная.

Савлов попросил у меня брошюру. Но, к обоюдному нашему огорчению, я не мог этого сделать, потому что уже обещал ее Евтушенко. Тогда Юрий Сергеевич снова присел к столу, попросил, чтобы его не отвлекали, и углубился в чтение.

В конторе мехколонны Савлов начал рассказывать о Корниенко. Опытный машинист экскаватора. Помня о служебном задании, я попросил сразу уточнить, двадцатитысячник Корниенко или нет. И мы вернулись к истокам. Вспомнили, что изначально двадцатитысячниками называли тех, кто поставил своей целью довести среднемесячную выработку двухсменного экскаватора с емкостью ковша куб с четвертью до 20 тысяч кубометров. Корниенко такого обязательства, оказывается, не брал. Да и не мог взять. Ведь емкость ковша его экскаватора 0,65 кубометра, то есть вдвое меньше, чем у инициаторов почина.

С полным основанием можно считать двадцатитысячниками тех, кто безо всяких предварительных обязательств фактически достиг двадцатитысячного рубежа. Был такой разговор в тресте. Но и по этому признаку Корниенко «не проходит», что, впрочем, совершенно естественно. За год его бригада уложила в насыпь 159 тысяч кубометров грунта. Это больше двух норм для экскаваторов такого типа. Но по 20 тысяч в месяц никак не получается.

А почему, собственно, непременно 20 тысяч? Как в таком случае быть с экскаваторами других марок? С другой емкостью ковша? При разработке скального грунта? Или, наоборот, более легкого? Один экскаватор используется только в дневную смену, другой работает круглые сутки; один грузит грунт в автосамосвалы, а другой копает водоотводную канаву. И все равно — вынь да положь 20 тысяч? Да это же просто абсурд!

Мы с Юрием Сергеевичем молча посмотрели друг на друга и рассмеялись. Общим было ясно, что принимать всерьез такой критерий нельзя. Но ждать, пока в тресте разберутся до конца, я, конечно, тоже не мог. И потому решил, что грубо приближенно могу причислить к лику двадцатитысячников любую бригаду, чья среднемесячная выработка на экскаватор любого типа вдвое выше директивной нормы.

Только как-то определившись в этом отношении, мы вновь обратились к делам бригады Корниенко. Корниенковцы взяли подряд сдать под укладку пути трехкилометровый участок железнодорожной насыпи.

Почти сразу после перехода на хозрасчет производительность бригады возросла. Пытаемся без предвзятости разобраться в этом и потому в первую очередь учитываем объективные факторы. Один из них очевиден — переход на трехсменку. А еще? Дальность возки грунта у них невелика — километра полтора. Два экскаватора позволяют быстро нагружать грунтом самосвалы в карьере и вести интенсивную отсыпку одновременно на двух захватах. В случае поломки одного из экскаваторов оставшийся берет все самосвалы на себя, а те возят грунт подальше, чтобы не скапливаться на погрузке. Если же требуется особо интенсивная отсыпка на одном участке, например сдаточном, оба экскаватора и все самосвалы переключаются на него. Такое гибкое варьирование схемы организации работ практически исключает простои при любых обстоятельствах. Началась, допустим, передислокация. На здоровье. Пока основная техника и люди в пути, экскаватор и часть самосвалов завершают отсыпку на старом месте.

В наши дни успех идет от ума, а не от силы или ловкости. Хотя и то и другое тоже необходимы механизатору. Но главное все же зависит от уровня инженерного мышления рабочего. Корниенковцы скорее всего тем и берут.

Немало любопытных вещей порассказал главный механик Анатолий Николаевич Гапликов. Этот коренастый светлоглазый крепыш поражал редкой в его возрасте основательностью суждений и к тому же был явно равнодушен к бригаде. Корниенковцы нарастили выхлопную трубу и завели ее среднюю часть в кабину экскаватора. Теперь в любой мороз у них плюс двадцать пять. А шоферы «КРАЗов» создали тепловой комфорт, установив в кабинах списанные радиаторы, подключенные к действующим. Дельную штуку предложил сам бригадир. Стрела экскаватора деформировалась на скручивание. Корниенко говорит: давайте усилим с боков. Посчитали — должно получиться. Приварили к стреле стальные полосы. Предложение рабочих одобрил Донецкий экскаваторный завод.

И потом, когда мы осматривали ремонтную базу мехколонны, Гапликов нет-нет да и возвращался мыслями к бригаде. Поднял изношенный откосник бульдозера и объяснил:

— Тоже их идея. Реставрируем затупившиеся наконечники рыхлителей и зубья экскаваторных ковшей. Сварщик часа полтора поработает — и наконечник как новый. А новый, между прочим, денег стоит...

На стене гаража у входа в диспетчерскую висел прижатый кнопками листок бумаги с поблекшими от дождя и вебра машинописными строчками. Приглядевшись, я вспомнил, что уже видел его в конторе, но не обратил внимания, приняв за обычную благодарность шоферам. Но приказ был необычным. Ни звука о кубатуре или выполнении норм выработки. В нем говорилось, что специальная комиссия под председательством главного механика А. Н. Гапликова отмечает отличное техническое состояние автомобиля «КРАЗ-256Б» после пробега 56 тысяч километров в течение полутора лет эксплуатации, за что и объявляется благодарность М. Д. Карпенко и Н. Б. Сидко.

И вот тут вдруг до меня дошло. Связались воедино хозяйская обстоятельность Гапликова, умная находчивость механизаторов и савловская жадность к новому (ведь чуть ли не вырвал у меня из рук брошюру!). Я вдруг так явственно ощутил атмосферу интеллигентности и высокой инженерной культуры, будто сам год проработал в 145-й.

Володя, шофер 145-й, уже сигналил у крыльца. Он хотел подбросить нас на берег Киренги до наступления сумерек. В последний раз мы ехали по широкой, обсаженной соснами улканской улице. За голубым штакетником детского сада мигало оранжевое закатное солнце и угадывались забавные фигуры жирафов и слонов, искусно сделанных из бревен.

К шестидесятилетию Октябрьской революции близ разноцветных домиков поселка, у подножья медных сосен легли рельсы Байкало-Амурской магистрали. А тогда рельсов не было еще и в помине, проезд по льду запрещен, и Володя, как условились, высадил нас у реки. Развернувшись, он приветственно вскинул руку и дал газ.

Как и предсказывал Мансур еще в самолете, пришлось нам форсировать Ки-ренгу «врукопашную». В одном он ошибся — лед еще не сошел, а только подтаял сверху, так что вместе с замороженными в него досками оказался местами над водой. Мы в этом убедились, когда с того берега осторожно съехал самосвал с распахнутой дверцей — соображают, черти! Все ускоряя ход, он проскочил Киренгу, и вода нигде не поднималась выше ступицы колеса. Мы подняли отогнутые голенища резиновых сапог, спокойно пересекли Киренгу и вышли на другой берег. А еще через полчаса тряслись в автобусе мостоотряда, который шел в Магистральный.

Потом-то уж, днем, я разглядел, какое красивое место выбрали проектировщики для станции. В широкой котловине, меж поросших лесом сопок. А пока раскинулись на холмах поселки строителей. Обширный пустырь между поселками со временем застроится девятиэтажными домами.

Автобус мостовиков доставил нас в основной поселок, и уже в сумерках мы отправились пешком в поселок 131-й мехколонны, чьи щитовые дома чернели на соседнем холме.

Загнувшись за корягу, я едва не сбил с ног человека. Василий Петрович! Вот так встреча! Уже который год мы с ним неожиданно где-нибудь сталкиваемся — в коридорах министерства, на свердловской улице и вот теперь на Западном БАМе. Непоседа и умница, он променял просторный ленинградский кабинет на суровую кочевую судьбу изыскателя железных дорог.

Мансур ушел вперед договариваться о ночлеге, а мы принялись обстреливать друг друга новостями и вопросами. В темноте только блестели белки его глаз и едва угадывались зачесанные набок жесткие седые волосы. Чиркнув спичкой, я увидел, как он улыбается.

— И опять спешим,— сказал он.— А встречаемся раз в кои-то веки.

— Надолго сюда?

— Да я не сюда. Завтра придет вертолет — и на Восточный БАМ. Предстоит серьезный разговор... с гидролаколитами.

Зная Василия Петровича как человека с ироническим складом ума, я думал, что он станет вышучивать цель моей командировки. Однако он сверх всяких ожиданий отнесся к моей задаче с пониманием.

— Да плюнь ты на форму,— сказал Василий Петрович.— Условия без тебя уточнят. Влезай в суть. Суть-то хорошая: люди соревнуются за наивысшую выработку круглый год. Не штучный рекорд...

Наутро я и Мансур познакомились с Анатолием Парменовичем Гребеньковым. Мне уже говорил о нем Евтушенко, и, здороваясь, я с интересом охватил взглядом плотно сбитую, коренастую фигуру популярного на трассе человека. Один из инициаторов движения двадцатитысячников. Член Казачинско-Ленского райкома партии. Фронтвик; надень он все свои награды — и грудь засверкает: орден Отечественной войны первой степени, орден Славы третьей, восемь медалей.

Но Анатолий Парменович явился без наград, и Мансору вообще стоило большого труда уговорить его сфотографироваться. Отнекивался он не только из отвращения к показухе. Снять хотели непременно на рабочем месте, а свой экскаватор он недавно перегонял через болото и теперь поставил на ремонт. Пришлось для фотографирования садиться за рычаги чужой машины. А это не очень-то приятно.

Но мои надежды подробно поговорить с ним не оправдались. У Гребенькова, оказывается, сильно разболелся зуб. На встречу с нами он пришел с флюсом, который мы с Мансуром принимали за волевой желвак на лице. Поэтому разговор шел в основном с начальником 131-й мехколонны М. С. Боровковым и с В. Г. Васильевым, главным инженером. Они в чем-то дополняли друг друга. Васильев — открытый, разговорчивый. Боровков, напротив, сдержан, нетороплив. Щуплый и подбористый, с крепкими узловатыми пальцами, он, говорят, необычайно вынослив. Неутомимый охотник.

Бригада Гребенькова самая малочисленная из тех, с работой которых я познакомился на Западном БАМе. Всего десять человек: два машиниста экскаватора (в том

числе бригадир) и два помощника (в том числе сын бригадира Валерий Анатольевич), два бульдозериста и четыре шофера. А результаты совершенно сенсационные: за четырнадцать месяцев — 210 тысяч кубометров грунта, то есть три годовых нормы. Пятилетку взялись выполнить за два с половиной года.

Боровков и Васильев довольно буднично истолковали гребеньковское «чудо» — объяснили успех профессионализмом и добросовестностью механизаторов. Оба машиниста давно работают по шестому разряду. Анатолий Парменович к тому же учился в техникуме. Оба великолепные операторы.

Очень похоже на то, что бригада действительно берет хорошим отношением к труду. И дай-то бог, чтобы все честно и осмысленно выполняли свои прямые обязанности, соблюдали должностные инструкции и правила технической эксплуатации. Большинство этих правил тоже не просто так придумано, в них спрессован многолетний опыт сотен тысяч рабочих. Добросовестность дает солидный экономический эффект.

В Звездном несколько мехколонн. Меня тянуло в 135-ю: там работает П. А. Чумаченко. Но с годами выработалась привычка в первую очередь браться за самое сложное, откладывая приятное на потом. И мы пошли в 132-ю. Именно в ней зародилось движение двадцатитысячников. А несколько месяцев спустя разразился скандал.

Тему такого рода журналисты обычно обходят. Есть тому и довольно основательная причина, с которой приходится считаться. Участники конфликта реально существуют, у них дети, родственники, друзья. И просто нельзя резать по живому. Поэтому я ограничусь лишь краткими пояснениями в интересах истины.

Один из двадцатитысячников не оправдал доверия товарищей. Он противопоставил себя бригаде, вступил в конфликт с шоферами. По требованию рабочих он был от должности бригадира отстранен, и ему пришлось уехать из мехколонны. Сложность положения была не в том, что ошиблись в человеке, — с кем не случается. Но о нем, а точнее об опыте его бригады, успели выпустить плакат. И вот это последнее обстоятельство вызывало неловкость и порождало новые конфликты. Оставалось только посочувствовать недавно сменившемуся руководству мехколонны, которому пришлось расхлебывать эту кашу.

С другим двадцатитысячником, Алексеем Ивановичем Кубраком, мы познакомились в кабинете главного инженера Анатолия Григорьевича Дергачева.

Стоял невысокий мужчина в шапке пирожком. Он просил нажать на взрывников, и при этом его маленькое лицо досадливо морщилось. Анатолий Григорьевич понимающе слушал его и кивал, соглашаясь. Однако я не слышал металла в голосе главного и начал догадываться, что он сам не очень-то верит в возможную расторопность взрывников. Очевидно, это почувствовал и Кубрак. Во всяком случае, я поймал грустный взгляд его карих глаз. А вопрос был острый, бригаду, видать, сильно припекало, в приемной толпились шоферы, ждали, с чем выйдет бригадир.

— Со взрывниками просто замучились, — развел руками Дергачев, когда мы остались одни. — Не справляются. Рыхлителей бы еще...

Но в известной мере и сам Кубрак был виноват в создавшемся положении. Обрадованная первым успехом, его бригада сторяча приняла нереальные обязательства. А инженерно-технические работники мехколонны их вовремя не поправили. Во всяком случае, никто не сказал им об этом достаточно убедительно. Нашлись и такие, что твердили бригадиру: «Берись! Поддержим, поможем!» Вот и взялся, как привык раньше, когда участвовал в строительстве КамАЗа, а потом Билибинской атомной.

Еще до встречи с Петром Александровичем Чумаченко мы с Мансуром обсуждали, как его сфотографировать. Хотели даже изобразить его в наполеоновской позе. Пусть стоит возле своего самосвала с распахнутой дверцей, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Хозяин жизни. Современный рабочий, которому все подвластно. Одухотворенное лицо обращено к поросшим лесом сопкам со снежными шапками гольцов. А у подножья сопки мчится поезд Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Даже заголовок напрашивается: «Чумаченко и БАМ».

Однако Чумаченко резонно заметил, что такой сюжет не может служить заголовочным снимком для очерка, потому что заменяет собою очерк.

— Причем, конечно, очерк... — тут Петр Александрович остро взглянул на меня, коротко рассмеялся и решительно закончил фразу, — очерк упрощенный. Без характеристики личности. Без проблем.

Такой очерк мне писать не хотелось. Тем более о столь остром и интересном собеседнике.

Он осторожно расхаживал по кухне, стараясь не скрипнуть половицей — в соседней комнате спала дочь. Весь день провел за рулем, вечером выступал с докладом на партийном собрании, а на лице ни малейших следов усталости. Сдержан. Ировичен. Очень точно формулирует свои мысли. Время от времени взбрасывает на собеседника умные глаза, чтобы убедиться, верно ли его поняли. Чувствовалось, что привык отдавать отчет каждому своему слову.

Мы говорили главным образом о стройке, и Петр Александрович прямо-таки завораживал меня кристаллической ясностью и мужской определенностью суждений. Он убежден, что формула «страна — БАМу» не может оставаться односторонней и должна быть дополнена формулой «БАМ — стране». Строить быстрее и лучше, чтобы стало дешевле. Чтобы ни рубля государственных средств не растранижировалось попусту, а все шло в дело. Вот почему двадцатитысячникам необходим бригадный подряд. Ведь стране нужны не просто 20 тысяч кубометров, а 20 тысяч в теле насыпи, готовой к укладке главного пути Байкало-Амурской магистрали. Чумаченко явно бил в одну точку, почти дословно повторяя свою статью в «Гудке». И вот что удивительно: говорит человек самоочевидные вещи, а ты поражаешься как открытию. Прирожденный пропагандист.

Значение бригадного подряда, конечно, не было для меня новостью. Но я ни на минуту не забывал, что слышу об этом от руководителя самой крупной на Западном БАМе хозрасчетной бригады двадцатитысячников. И что свою правоту он подтверждает не только словами. Его бригада сдает земляное полотно с первого предъявления на хорошо и отлично.

В бригаде 83 человека. 20 экскаваторщиков (в том числе инженер-наладчик), 32 шофера. Есть даже повара и комендант поселка. А вот их техника: 5 экскаваторов, 15 автомобилей-самосвалов, бортовой автомобиль, топливозаправщик, автогрейдер, 5 бульдозеров-рыхлителей, пневмокаток и котлопункт.

По своей численности и насыщенности техникой это целый прорабский участок. Руководство столь мощным комплексом требует организаторских способностей и специальных знаний. Такими качествами бесспорно обладает Чумаченко.

В его бригаде тот же творческий поиск, что и во всех бригадах двадцатитысячников. Но сверх того еще ищущий взгляд вокруг, еще стремление втянуть в свою орбиту всех, кто может помочь делу. На языке экономистов это называется развитием и усилением производственных связей. Вот примеры из жизни бригады. Механизаторы заключили договор о взаимной помощи со взрывниками — и проблема разрыхления мерзлых грунтов взрывным способом потеряла для них свою остроту. Узнав, что на трассу прилетел начальник Главстроймеханизации К. А. Соколов, Чумаченко встретился с ним и заручился обещанием, что главк поможет запчастями. Поможет не только бригаде — тресту. Прилетев в Москву в качестве делегата XVI съезда профсоюзов и получив орден «Знак Почета», Чумаченко на приеме у министра рассказал о нуждах механизаторов...

Больше всего меня интересовал состав бригады. Я понимал, что многое, если не все, зависит от профессионального и культурно-технического уровня людей, от социальной зрелости коллектива. Во-первых, квалификация. Почти все экскаваторщики имеют пятый или шестой разряд, а шоферы — первый или второй класс. Шоферы окончили курсы в Иркутске по эксплуатации зарубежной техники. Многие прошли школу трасс Абакан — Тайшет и Хребтовая — Усть-Илимская. Подавляющее большинство на БАМе с начала строительства. Пятеро имеют высшее образование. Шоферы В. А. Берген и А. Т. Лысак здесь, в Звездном, окончили школу рабочей молодежи. Учетчица Т. А. Лопалева учится в строительном техникуме Минтрансстроя. Экскаваторщик Д. С. Жуков — студент-заочник Иркутского политехнического института. В. А. Берген — депутат Усть-

Кутского горсовета. Входит в депутатскую группу, которая здесь, в Звездном, регулярно ведет прием трудящихся, решает нелегкие вопросы труда и быта.

Заметив, что я подробно записываю состав бригады, Чумаченко запротестовал:

— Зря вы это делаете. Еще подумают, что переманиваю к себе лучших людей.

Но я его успокоил. Состав бригады П. А. Чумаченко не исключителен, а как раз характерен для двадцатитысячников Западного БАМа. Например, в бригаде П. А. Загрина из 145-й тоже многие учатся в школе рабочей молодежи, двое в техникуме, а четверо студенты-заочники Иркутского политехнического института. В бригаде А. И. Литвиненко из 83-й пятеро (!) занимают выборные должности в профсоюзных органах. В шести мехколоннах Улькана, Магистрального, Звездного и Якурима в бригадах двадцатитысячников почти нет людей с образованием ниже восьми классов и квалификацией ниже пятого разряда. Да и вообще в мехколоннах почти нет механизаторов низкой квалификации.

Тресту Уралстроймеханизация, отличному тресту, о таких кадрах остается только мечтать. То есть и там, конечно, работают опытные механизаторы-профессионалы. Они то и образуют основное ядро каждой мехколонны. Но только ядро. То есть часть. А тут сплошь.

На Большой земле кадровикам транспортных строителей особенно привередничать не приходится. Опытные механизаторы постепенно выходят на пенсию, а то и просто оседают в городах, стосковавшись за годы скитаний по налаженному быту. То, что дают ГПТУ и курсы, это капля в море. Вся надежда на оргнабор и самотек. А у кадровиков Западного БАМа широкий выбор. Могут снимать сливки. Вот когда я вспомнил фразу, услышанную в день приезда на вокзале станции Лена: «Кадры сильно рожутся. Четвертый разряд не берут». Он сказал правду, лобастый парень в кожаной куртке, встреченный мною в вокзальной сутолоке.

Хлопнула дверь в сених, и, приветливо поздоровавшись, прошла жена Чумаченко, женщина редкой красоты. Пока она шла через кухню, я увидел, какая это хорошая пара: он — рослый, оливково-смуглый, с гордо посаженной головой и она — стройная, чернوبرовая, с мгновенно возникающей ослепительной улыбкой. И оба молодые, жизнерадостные, уверенные в себе.

Мне хотелось расспросить Петра Александровича, как он попал на БАМ. Но время шло к полуночи, хозяевам рано вставать, да и у нас с Мансуром хватит забот. А на потом откладывать бесполезно. Я уже знал по опыту, что здесь, в Звездном, по-столичному напряженный темп жизни и выделить еще раз время для разговора попросту не удастся. Поэтому я не возражал, когда Чумаченко вызвался нас проводить.

В темноте белел модный свитер, обтягивающий его атлетическую фигуру. Он размахисто шагал по дороге и говорил о работе:

— Бригадный подряд и движение двадцатитысячников хорошо дополняют друг друга. Подряд дает цель, то есть готовый объект, а движение — средства, то есть максимальную выработку круглый год при минимальных затратах времени и труда.

Я слушал его не перебивая и думал, что столь удобная формулировка, пусть даже верная по существу, все же не заменит условий. Без четких условий недостижима сравнимость результатов — основа любого соревнования.

А Чумаченко тем временем продолжал развивать свою мысль. И только когда мы подошли к вагончику, в котором ночевали, он заговорил о себе.

Петру Александровичу тридцать лет. В шестнадцать он пришел в Краснодаргидрострой и стал механизатором-гидростроителем. Потом служил в армии шофером. После армии как комсомолец его направили на строительство Краснодарского водохранилища — это была Всесоюзная ударная стройка. А по окончании строительства уже как коммуниста Краснодарский горком партии направил его на БАМ.

Работает шофером. Бригадир-двадцатитысячник. Депутат поселкового Совета Звездного. Секретарь парторганизации мехколонны. Кандидат в члены Иркутского обкома партии.

Чумаченко рассказывал о себе скупой и точно. Без хвастовства и без ложной скромности. Он сказал «двадцатитысячники», и я вдруг подумал о том, почему это слово звучит так знакомо. Двадцатитысячниками в 30-е годы называли рабочих,

прибывших в деревню поднимать сельское хозяйство. А в трудные послевоенные годы на укрепление колхозов из города приехали тридцатитысячники...

Мы стояли на окраине Звездного; вдали тарыхтел движок временной электростанции, а звезды мигали в черном небе. И я думал о нескончаемой веренице сильных и работающих людей, которые жили раньше и придут потом. Рабочий, стоявший рядом со мной в эту ночь, жил размахисто и ярко. Он хотел во всем быть первым. Лучше других работать. Умнее руководить. Скорее и дешевле строить БАМ.

Конечно, такая наполненная жизнь требует суровых самоограничений. Он всегда на людях, в постоянном напряжении, вечно занят. То ведет прием трудящихся как депутат, то спешит на занятия в школу рабочей молодежи, которую нынче заканчивает. Год спустя я узнал, что Петр Александрович успешно сдал вступительные экзамены и утвержден слушателем-заочником Высшей партийной школы при ЦК КПСС. А его МК-135 награждена переходящим Красным знаменем Минтрансстроя.

А рядом с Чумаченко — жизнь его жены и дочери. Лилия Денисовна работает маляром и делает это с удовольствием. Дочь Лена заканчивает шестой класс. У девочки хороший слух, и она учится по классу фортепиано в музыкальной школе (есть такая в Звездном). Пошла в отца — Петр Александрович играет на саксофоне. В армии он руководил эстрадным оркестром. Музыкальность Петра Александровича мне пришлось по душе, тем более что поначалу он показался несколько суховатым, сугубо деловым человеком. И уже вовсе приятной неожиданностью явилось его пристрастие к Джеку Лондону. Прежде всего потому, что сам я с детства люблю этого удивительного американца, а «Мартина Идена» вообще считаю шедевром. И потом, что бы там ни говорили, а есть какая-то колдовская связь между читателем и его любимыми героями. Он любит сильных духом, мужественных и открытых людей, потому что сам такой. Или, во всяком случае, ему внутренне близок такой тип человеческого поведения.

Довелось мне однажды услышать и другое мнение: дескать, Чумаченко карьерист. Что можно сказать по этому поводу? Достаточно вспомнить его послужной список. Всю свою сознательную жизнь он там, где труднее. Так ведь и фронтовика, первым ринувшегося в атаку, недолго объявить карьеристом! Дескать, хотел выдвинуться. Считать Чумаченко карьеристом можно разве лишь на том основании, что он работает в карьере.

Вообще говоря, наделенный организаторским талантом рабочий должен становиться руководителем с минимальным отрывом от своей среды и без рассчитанного на десятилетия последовательного преодоления всех ступеней иерархической лестницы. Но конкретных жизненных планов Чумаченко я не знаю и судить о них не берусь.

По дороге прошла машина, и полосатый свет автомобильных фар скользнул по атлетической фигуре Чумаченко. Глядя на выхваченное из тьмы узкое волевое лицо с решительным разлетом бровей, я подумал, что Мансур все-таки был прав, когда хотел сфотографировать Петра Александровича на фоне мохнатых сопок. Пусть снимает. И пусть даже новая его работа называется «Чумаченко и БАМ».

Итак, пора итожить. Что ж, поначалу идея с двадцатитысячниками походила на заурядную кабинетную выдумку. Но, возникнув в условиях БАМа, среди квалифицированных и творческих людей, она быстро трансформировалась. И поскольку по сути она отвечала стремлениям рабочих и им выгодна, то легко прижилась на трассе и быстро, как снежный ком, обросла живым опытом. Я подчеркиваю: поскольку была выгодна. И, право, не стоит здесь проявлять снобизм. Ведь такая выгодность означает, что интересы общества и личности совпали. (А в скором времени были выработаны достаточно универсальные условия соревнования двадцатитысячников, и люди, работающие на разных машинах, получили возможность сравнивать свои результаты.)

В тресте я узнал, что Евтушенко после телефонного звонка из Тынды увезли на «скорой помощи» с острым приступом панкреатита. Я не знаю, о чем был разговор. Когда Евтушенко выписался из больницы, мы смогли с ним обсудить проблемы двадцатитысячников. Правда, наспех, между другими делами, скопившимися за время болезни и обрушившимися на него в одночасье.

В трудных случаях он молчит, Евтушенко, и на сжатом в кулак кирпичном лице с покрасневшими от внутреннего напряжения скулами проступает упрямство. Да, в Усть-Куте — грозные телефонные звонки из Тынды и трест, наглухо отрезанный от

своих мехколонн в период распутицы. Однако, выступая на коллегии Минтрансстроя, Евтушенко прямо сказал: тресту спускают заведомо заниженный план и он значительную часть своей работы выполняет в счет социалистических обязательств. Эти слова — поступок зрелого человека.

И мое знакомство с двадцатитысячниками на трассе подтвердило еще раз: здесь не «почин» возносит человека в глазах окружающих, в своем собственном мнении. Сама сущность работающих на БАМе людей, природа их требовательных взаимоотношений рождает ту или иную инициативу. Причем с инициатора и спрос строже. Он должен быть не только более умелым и изобретательным, но и более точным в перспективных расчетах, в знании своих ресурсов и потенциальных возможностей своего коллектива. Короче говоря, он должен как бы социально укрупниться. А такой рост — дело нелегкое. Даже для видевших виды механизаторов БАМа.

Те, с кем мне пришлось встретиться,— транспортные строители. Их путь на Западный БАМ был совершенно естественным, это их работа. Пока я писал этот очерк, они проложили рельсы до Улькана и двинулись дальше, к Нижнеангарску. БАМ для них не просто очередной этап в нелегкой кочевой судьбе. Он закалил их, определил отношение к себе и к другим.

Нет, я вовсе не думаю, будто смысл жизни этих людей целиком сводится к тому, что они строят БАМ. Я даже считаю, что их путь на Западный БАМ важнее самого БАМа, то есть той рельсовой колеи, по которой потекут грузы к Тихому океану. Ведь самое интересное путешествие — это путешествие к самому себе.

Западный БАМ — Свердловск.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

РАФАИЛ ХИГЕРОВИЧ



БОЙЦОВ НЕ ОПЛАКИВАЮТ*

Тринадцатого мая 1925 года помещение палаты депутатов было переполнено: прошел слух, что ожидается выступление лидера коммунистической фракции. Речи очередных ораторов слушали невнимательно, Муссолини, сидящий в окружении депутатов-фашистов, просматривал какие-то бумаги. Наконец председатель объявил:

— Слово предоставляется депутату Грамши.

Он поднялся на трибуну, вынул листок с тезисами речи, обвел глазами зал. Враждебно-настороженные и внимательно-дружественные лица. Последних меньше. Муссолини оторвался от своих бумаг. Ждут и его подручные... Только не позволить сбить себя выкриками, сказать все, что нужно сказать. Может быть, даже наверняка, это последняя легальная возможность сказать правду народу Италии.

Грамши. Проект закона против тайных обществ был представлен как проект закона против масонства. Почему же фашистская партия против масонства?..

(Нарушая все ораторские каноны, Грамши спокойно беседовал с аудиторией. История итальянского масонства, из которой нельзя исключить участие масонов в битве за объединение Италии,— привлекательная тема для лектора. Сейчас он не лектор. Не усложнять. Логика фашистов в этом вопросе довольно примитивна.)

...Фашизм борется против единственной хорошо организованной силы, которую буржуазия имеет в Италии, чтобы вытеснить ее и передать своим чиновникам административные посты...

(В зале движение. Некоторые депутаты приблизились к трибуне, чтобы лучше слышать тихий голос оратора. Муссолини приставил ладонь к уху (снимок слушавшего дуче появился затем в газетах многих стран). Ораторская манера Грамши была чужда Муссолини, но фашистский лидер, сам многоопытный полемист, сразу уловил умелое построение речи и наступательность мыслей коммунистического депутата.)

...Так называемая фашистская революция — это только замена одного административного персонала другим.

(Вскочил Фариначчи, секретарь фашистской партии. Муссолини жестом остановил его.)

Муссолини. Замена одного класса другим, как произошло в России, как обычно происходит во всех революциях, что и мы методично осуществляем.

Грамши. Революция только тогда революция, когда она опирается на новый класс. Фашизм не опирается на новый класс. Фашизм не опирается ни на один класс, который раньше уже не был бы у власти...

(«Что выкрикивает этот бородатый? Только не позволить им увести меня от главного...»)

...Парадоксальность ситуации в том, что закон против масонства направлен вовсе не против масонства, с масонами фашизм легко достигнет компромисса.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Муссолини. Фашисты сожгли масонскую ложу, прежде чем подготовить этот закон.

(«Дуче в ярости и способен сморозить любую глупость».)

Грамши. В действительности закон направлен против рабочих организаций. Мы спрашиваем, почему вот уже несколько месяцев коммунистическая партия преследуется? Почему государственный полицейский аппарат уже считает коммунистическую партию подпольной организацией?

Муссолини. Неправда!

Грамши. Тем не менее арестовывается без всякого повода каждый, которого застают в обществе более трех человек!

Муссолини. Но их быстро освобождают... Мы их ловим, просто чтобы выявить.

(«Боже мой, какие нелепости...»)

Грамши. Что же касается рабочих масс, то вы, фашисты, пытаетесь здесь применить тактику, испытанную на буржуазных партиях: сперва создаете фашистское ядро внутри партии, затем извлекаете из партии то, что вам выгодно...

Фариваччи. И после этого вы называете нас глупцами!

(«Этот «теоретик» пытается иронизировать, не подозревая, что помогает мне перебросить мостик к главному».)

Грамши. Вы не были бы глупцами, если бы оказались способны разрешить проблемы итальянской ситуации.

Муссолини. Мы их разрешим и многие уже разрешили...

(«Вы не способны ничего разрешить, и я это сейчас докажу на примере итальянского юга».)

Грамши. Возьмем хотя бы вопрос юга...

Голоса справа. Вы не знаете юга!

Грамши. Я с юга... вопрос, тесно связанный с проблемой эмиграции. На национальной территории остаются старики, женщины, дети, инвалиды... Государство, которое не может прокормить себя, — никчемное государство.

Голос из зала. Говорите о масонстве!

Грамши. Хотите, чтобы я говорил о масонстве? Но в самом названии закона не упоминается о масонстве, речь идет вообще об организациях. Масонство лишь флаг, под которым хотят протащить реакционный антипролетарский товар!.. Закон должен послужить средством борьбы против рабочих и крестьян. Но рабочие и крестьяне поймут это очень скоро, несмотря на всю вашу демагогию... Вы, фашисты, не преодолели еще до вас возникших глубоких противоречий итальянского общества; напротив, вы заставили народные массы почувствовать их еще сильнее... Вы подлили масла в огонь, заженный всем предшествующим ходом развития капитализма...

(Шум. Крики: «Долой! Дайте ему говорить! Заткните ему глотку! Говори, Антонио!») Казалось, даже кожей он ощущал раскаленную атмосферу зала.)

...Вы можете «завоевать государство», вы можете изменить законы, вы можете попытаться запретить организациям существовать в той форме, в которой они существовали до сих пор, но вы не можете стать сильнее объективных условий, в которых вынуждены действовать. Вы только заставите пролетариат искать новые пути борьбы... С этой трибуны, обращаясь к пролетариату и итальянским крестьянским массам, мы хотим сказать: революционные силы Италии не позволят раздавить себя!..

(Зал шумел. Депутаты-фашисты вскочили со своих мест, некоторые бросились к трибуне. Коммунисты окружили Грамши.)

Председатель. Не перебивайте! Дайте ему говорить. Однако вы, депутат Грамши, говорите о законе.

Грамши. Этот закон против рабочих и крестьян, которые хорошо поймут все, когда увидят, как закон будет применяться. Фашистам не удастся осуществить свои грязные замыслы, не удастся препятствовать росту революционного движения. Против вас все развитие итальянского общества.

Председатель. Депутат Грамши, эту мысль вы повторили три или четыре раза. Мы не присяжные заседатели, которым нужно много раз повторять одно и то же.

Грамши. Нужно повторять, нужно, чтобы слушали все... Революционное движение побеждает фашизм!

(Зал шумел. Грамши спокойно сошел с трибуны.)

Итальянский биограф Грамши Джузеппе Фиори приводит следующую деталь:

«Рассказывают, но не имеется по этому поводу прямых свидетельств, что Муссолини сразу после речи депутата-коммуниста увидел Грамши в буфете парламента, подошел к нему с протянутой рукой, поздравляя с удачным выступлением. Грамши равнодушно продолжал пить кофе, игнорируя руку, которую ему протягивали».

Он пишет о выступлении в парламенте жене, пишет шуточно и вместе с тем очень серьезно. Пишет о своей беспокойной жизни, дает короткие, но точные оценки политической ситуации.

«(Рим), 25.V.1925 г.

...Трудности возрастают — теперь у нас имеется закон об организациях (то есть против них), прелюдия планомерной полицейской деятельности, направленной к уничтожению нашей партии. Этому закону был посвящен мой дебют в парламенте. Фашисты обошлись со мной милостиво на этот раз, следовательно, с революционной точки зрения, я начал неудачно. Они собрались вокруг меня и дали мне сказать то, что я хотел...

Очень-очень люблю тебя, больше, чем прежде, потому что могу думать о тебе, как о маленькой маме, и представлять себе тебя с нашим ребенком...»

«(Рим), 1.VI.1925 г.

...Внешне моя жизнь протекает спокойно, то есть не заметно никаких крупных, драматических перемен. Однако события развиваются неумолимо, и надо сосредоточить все внимание, чтобы следить за ними, понимать их и пытаться руководить ими. Реально значимые социальные силы все больше группируются либо вокруг фашистов, либо вокруг нас, промежуточные партии медленно умирают. Кризис захватывает всех. В некоторых кругах интеллигенции, куда, казалось, мы никак не могли проникнуть, начинают раздаваться голоса, требующие единого фронта с революционными рабочими... Мы слишком сильны, чтобы не брать на себя инициативу в отдельных столкновениях, но еще слишком слабы, чтобы идти на открытую, решающую схватку.

Поэтому кажущееся спокойствие насыщено постоянной тревогой и напряжением...»

«(Рим), 12.VII.1925 г.

Дорогая Юлька,
я был далеко от Рима и упустил две возможности написать тебе. Я путешествовал: ездил в Венецию и в Триест, чтобы обсудить с тамошними товарищами внутреннее положение в партии, которое оказалось очень хорошим, несравненно лучше, чем я думал. На съезде мы получили подавляющее большинство: партия оказалась более большевистской, чем можно было предполагать, и очень энергично реагировала на фракционизм бордигианских экстремистов. Наша политическая линия уже одержала победу внутри партии, поскольку экстремистское течение раскололось, и большинство ответственных его участников примкнуло к платформе Интернационала, а также среди трудящихся масс, поскольку наша партия завоевала большое влияние и руководит извне массой других партий.

Г.»

Вышел из тюрьмы Тольятти: по случаю двадцатипятилетия вступления короля на престол была объявлена широкая амнистия. Тольятти дал знать Грамши, где его можно найти.

Встреча старых друзей была сердечной и оптимистичной, несмотря на окружающие их опасности. Договорились о следующей встрече для составления тезисов очередного съезда партии. Спустя некоторое время Грамши, сообщив хозяевам о своем отъезде на два-три дня, ночью вышел из дома с маленьким чемоданчиком, удачно оторвался от своего хвоста, благополучно добрался до квартиры Тольятти.

— В моем распоряжении двое суток, — сказал Грамши. — Спать, видимо, не придется. Точка зрения руководящего ядра партии известна. Оговорив основное, наметим разделы, запишем вчерне, потом ты сформулируешь все. Не возражаешь?

— Нет.

— Тогда сварил кофе, и приступим... Как в наши добрые студенческие времена... Истекло двое суток.

— Все,— устало сказал Грамши, положив последний исписанный листок на кипу черновиков.— Проверь, Пальми.

Он поднялся и подошел к окну, осторожно приоткрыл уголок шторы. За окном серело. Улица казалась пустынной.

Тольятти методично раскладывал листки черновиков, вслух называя разделы:

— «Анализ общественного строя Италии»... Это сюда и это... «Политика итальянской буржуазии»... Где-то у нас была вставка?.. «Движущие силы и перспективы революции»... Не хватает страницы... Ах, вот она.

— Не кажется ли тебе, Пальми, что в этом разделе действительно недостает страницы?— задумчиво сказал Грамши.— Страницы о стратегии революции в обозримом, стремительно изменчивом будущем... Впрочем, вопрос носит риторический характер: сегодня мы еще не готовы написать эту страницу... Прощай, Пальми. Береги себя.

Высунувшись из окна, Тольятти наблюдал, как удаляется друг. Похоже, что слезки нет.

За окном просыпалась улица. Прогромыхала тележка молочника.

Как было условлено, Татьяна Аполлоновна зашла за Грамши. До прибытия поезда, с которым приезжали Юлия Аполлоновна с сестрой Евгенией и маленьким сыном, оставалась уйма времени, но Грамши встретил свояченицу, нетерпеливо рассказывая по комнате, время от времени поглядывая на часы.

— Я вас так ждал, Татьяна. Пора.

— Я думала еще переписать на машинке ваши письма.

— Никаких писем. Вдруг поезд придет раньше. Конечно, это маловероятно, но все же. Пошли.

— Ох, Антонио, Антонио...

Но Грамши ее уже не слушал, и Татьяне Аполлоновне не оставалось ничего иного как догонять его, стремительно сбегающего вниз по лестнице.

У цветочницы на углу купили великолепные розы. На следующем углу розы оказались еще красивее. Букет увеличился. На вокзал Термини Грамши пришел с целой охапкой цветов.

До прибытия поезда оставалось еще минут тридцать. Это были длинные минуты. Наконец поезд подошел к перрону. Толпа встречающих хлынула к вагонам, смешалась с выходящими пассажирами. Грамши увидел Юлию. На этот раз у нее на руках был годовалый Делько. По ступенькам вагона спускалась Евгения Аполлоновна.

С вокзала ехали на извозчике. На перекрестке пришлось подождать, пока не пройдет отряд марширующих мужчин. Нет, маршировали не солдаты, не карабинеры — такой отряд их не удивил бы. Люди шагали в боевой выкладке, с винтовками, перепоясанные ремнями, черные рубахи, солдатские штаны, заправленные в сапоги, на головах фески, как у турок, молодые и немолодые, тощие и пузатые, со свисающими на грудь тройными подбородками. Странное и страшное зрелище.

Чуть дальше они увидели выставленный на балконе, видимо, какого-то учреждения гигантский портрет Муссолини. В генеральском мундире, с султаном, гримасничающий дуче показался похожим на ярмарочного факира. Но впереди маячила спина извозчика, и сестры сочли за благо не делиться своими впечатлениями. И еще раз в конце пути наткнулись они на марширующих чернорубашечников. А портреты дуче — поясные, во весь рост — и считать перестали.

Это были внешние приметы фашизма, опутавшего своей паутиной Рим и всю Италию.

В квартире, снятой для дорогих приезжих, было уютно. И разговоры-воспоминания с сестрой, с которой не виделись более десяти лет, были такими домашними... И Антонио... Но где же Антонио? А Грамши исчез. Никому ничего не сказал и исчез. Вернулся он через два часа, когда все уже начали беспокоиться, с огромным плюшевым медвежонком. На хор укоризненных женских голосов Грамши ответил извиняю-

щейся улыбкой и непонятной фразой, что дети очень быстро растут. Делио обрадовался подарку, обнял медвежонка, так в обнимку и улегся с ним спать.

Когда волнения утихли, Грамши пояснил, что был поражен переменой, происшедшей в ребенке за полгода, и купленный заранее подарок показался неинтересным для годовалого «мужчины». Так в семье Грамши воцарился большой добродушный плюшевый мишка — реликвия, переходящая из поколения в поколение. Сегодня бывалым мишкой играют внуки Грамши.

В один из первых по приезде дней отправились на Яникульский холм. Двенадцать лет назад отсюда сестры Шухт перед отъездом в Россию прощались с Римом. Как и тогда, с высоты смотрел на город конный Гарибальди, как и тогда, либеччо — теплый ветер с Тирренского моря — шелестел листвою молодого дубка, посаженного взамен уничтоженного временем дуба Торквато Тассо. Дубок вытянулся, крона его сгустилась, но, как и прежде, это было еще совсем молодое дерево. Что значат для дубов каких-нибудь двенадцать лет...

Казалось, что срок ничтожен и для Вечного города. Однако Рим стал другим, совсем другим. Евгения и Юлия почти физически ощущали перемену.

Последующие одиннадцать—двенадцать месяцев стали, наверное, самым счастливым временем в жизни Грамши. Это было счастье совместной борьбы, о котором он мечтал. Попечение над Делио на это время взяла на себя Евгения Аполлоновна. Юлия пошла работать переводчицей.

Иногда они не виделись по целым неделям. Грамши разъезжал по областным организациям. В декабре в Милане состоялась партийная конференция, на которой Грамши выступил с докладом Центрального Комитета КПИ. Конференция собралась нелегально. Грамши понадобилось множество уловок, чтобы избавиться от двух постоянно сопровождавших его полицейских. В затерянной среди полей хижине 50 делегатов, сгрудившись вокруг тусклого огонька, всю ночь слушали Грамши. На рассвете делегаты покинули хижину.

Грамши вернулся в Рим уставший, но возбужденный. Юлия сказала:

— От тебя пахнет порохом.

Он напоминал солдата после тяжелого боя.

«Необходимость, которая встала перед нами в самой грубой, самой резкой форме, превратилась в вопрос жизни и смерти, скрепляя наши секции кровью самых преданных товарищей: мы должны были в самом процессе создания и формирования наших групп превратить их в отряды, приспособленные к ведению гражданской войны, самой свирепой и трудной гражданской войны, которую когда-либо должен был вести рабочий класс. И тем не менее мы сумели это сделать. Партия была создана, и создана прочно: это стальная когорта» (А. Грамши).

НАДО СПЕШИТЬ!

31 декабря, в последний день уходящего 1925 года, фашистское правительство приняло один из серии «чрезвычайных законов» — закон об уничтожении свободы печати.

Как никогда Грамши ощущал цену времени. За короткий срок центральные руководящие органы партии были реорганизованы; подпольный секретариат надежно укрыт от фашистов и полиции, при секретариате создан технический отдел, в его ведении находились явки, курьеры и прочие средства связи.

Надо спешить!..

16 февраля умер Гобетти. Светловолосый, голубоглазый Пьерро Гобетти, любимец туринских рабочих. Фашисты подстерегли его на улице. Как они били, мерзавцы! Недолго он прожил после этого. Ему было всего двадцать пять лет.

Три месяца спустя еще одна тяжелейшая утрата. 11 мая в Капанна Маре собрался Центральный Комитет партии. Уже приехали почти все. Ждали Серрати и еще нескольких товарищей. Вбежал один из членов ЦК, не отвечая на приветствия, бросился к Грамши и что-то прошептал ему на ухо. Грамши побледнел и после короткой

паузы, которая собравшимся показалась длинной-предлинной (ведь можно было ждать любой неожиданности), произнес:

— Случилось ужасное. Товарищ Серрати умер, поднимаясь в Капанна... Он скончался сразу.

На несколько мгновений все как бы окаменело. Может быть, сильнее всех переживал эту потерю Грамши, но он первый пришел в себя.

— Необходимо немедленно по группам разойтись подальше отсюда. Полицию известят о том, где и с кем был Серрати в момент смерти...

Потеря за потерей. И все же год складывался результативно. Летом на одном из заседаний Политбюро КПИ Грамши отметил рост партии (около 30 тысяч человек), активизацию ее деятельности на заводах и в деревне.

Хронология деятельности Грамши в 1926 году поражает. Трудно представить, что не очень здоровый человек в условиях полицейской слежки мог столько успеть.

Надо спешить!

Но и противник спешил. Фашизация страны находилась в тесной взаимосвязи с внешней политикой Италии. Муссолини готовился к войне. «Восемь миллионов итальянцев готовы броситься в бой!», «Война — это огонь очистительный, она исцеляет дух наций», «Наши взоры обращены на восток». Подобные лозунги пестрели на страницах газет. Еще в начале года Муссолини заявил в парламенте, что считает итальянскую нацию в состоянии перманентной войны. Эту мысль дуче всячески развивал на многочисленных митингах. Средиземное море — итальянское море, повторял Муссолини на разные лады, иногда осторожно, потому что английская дипломатия не прочь была сделать Средиземноморье своим, но чаще открыто и со свойственной ему аффектацией.

В 1926 году подготовка к войне стала официальной программой фашистской партии и итальянского правительства.

2 августа Грамши выступил перед руководством партии с докладом о тактике, применимой к рабочему классу и средним слоям населения в условиях действия чрезвычайных законов. Он призвал укреплять уже имеющиеся связи между партией и трудящимися на предприятиях, предупреждал от неосторожных действий, могущих вызвать напрасные жертвы. Обстановка, сказал Грамши, требует перехода к еще более строгой конспирации. Весь следующий день участники совещания обсуждали доклад Грамши, намечали конкретные планы подпольной борьбы, затем представители областных организаций разъехались. На сей раз все обошлось благополучно, хотя вокруг шныряли агенты полиции.

Вернулся на виа Марганья поздно вечером. Утром поспешил на квартиру, где жили сестры. Сейчас в Риме была одна Юлия, Евгению Аполлонову с Делио отправили на летнее время в горы. Женя пишет, что малышу там хорошо. Пусть набирается силенок перед дальней дорогой, скоро придется отправлять их в Москву. И Юльку. Ее еще раньше. Она ждет второго ребенка. Врачи говорят, что все идет нормально, но задерживаться нельзя. Надо бы ее отправить раньше, но она упиралась: работа попала интересная, все жалела бросать. А у него не хватило характера настоять — когда еще доведется пожить вместе! Но теперь более чем пора. И срок родов приближается, и уж очень в Италии горячо, беспокойно. Все может быть...

Проводив Юлию Аполлонову в Москву, Грамши сумел на короткое время приехать к сыну в горы, в местечко Трафои. Это были счастливые дни, их не портил даже хвост, без которого не обходилось теперь ни одно его передвижение. Грамши доказывал, что мужчине, каковым является Делио, нужно мужское общество. К сожалению, «мужчине» было всего два года. Но за время пребывания в Италии он привык к отцу, несмотря на его частые отлучки, и, кажется, тоже находил удовольствие в «мужском обществе». Иногда папа задумывался и вдруг переставал слышать сына. Делько громко выражал свое неодобрение. Грамши виновато спохватывался, добрые отношения отца и сына восстанавливались. Через некоторое время все повторялось, хотя Грамши давал себе слово в эти последние дни перед отъездом ребенка (внутреннее чувство тревожно подсказывало: счастливые часы общения с сыном могут никогда не повториться) не думать ни о чем постороннем. Давал слово и... продолжал думать о делах, потому что политическая борьба и связанная с нею напряженная работа мысли были частью его

существа. Гуляя с сыном в горах, Грамши обдумывал письмо советским товарищам. Письмо должно было выразить братскую озабоченность итальянских коммунистов поведением оппозиции в ВКП(б) и остротой возникшей полемики...

Из Трафои вернулся в Рим. Он написал это письмо. «Только твердое единство и твердая дисциплина в партии, которая руководит рабочим государством, может обеспечить гегемонию пролетариата...— писал Грамши.— Но единство и дисциплина должны быть лояльными и убедительными...»

Грамши понимал, что, находясь в отдалении от эпицентра политической борьбы в братской партии, он многого не знает или знает из вторых рук. Однако не мог не написать такое письмо!

Руководство Коминтерна решило послать в Италию одного из членов секретариата для подробного сообщения.

Дома сразу стало пусто. Делио уже у мамы в Москве. Со дня на день Юлия Аполлоновна ждет рождения второго ребенка.

«Рим, 14.X.1926 г.

Моя дорогая Юлька,
не получал никаких вестей от тебя после 14 сентября, то есть ровно месяц. Поэтому я несколько озабочен и опечален. Последнее время мне удается делать гораздо больше, чем удавалось в прошлом. Я опять стал довольно много писать для наших газет, преодолев некое умственное оцепенение, овладевшее мною с некоторых пор: мне казалось, что я уже неспособен написать что-нибудь интересное и литературно сносное, и это ощущение стало прямо-таки болезненным. Я постарался так или иначе перебороть его, хотя и убежден, что пройдет немало времени, прежде чем я опять буду в полной форме. Добиться этого мне во многом помогли постоянные, упорные мысли о тебе и о наших детях. Знаешь, бывают минуты, когда я буквально места не могу себе найти от беспокойства; когда я думаю о том, что ты до сих пор одна несешь бремя забот о двух детях — не говоря уже о лежащей на тебе всякой другой ответственности, мне обидно и грустно... Но не хочу больше говорить тебе об этом, чтобы ты не думала, будто я всегда мрачен и угрюм. Напротив, я чувствую себя довольно хорошо. Я хочу говорить с тобой о чем-нибудь серьезном и в то же время веселом: например, об анкете газеты «Пикколо» на тему о счастливых женах, которую ты, конечно, припомнишь... Удалось ли мне заставить тебя улыбнуться? Тогда я хочу крепко-крепко обнять тебя именно сейчас, пока ты улыбаешься, вместе с обоими нашими детьми (первенцем и вторым сыном, можем мы сказать сейчас весьма торжественно).

Ант.

Только что получил твои письма от 26/9. Очень люблю тебя, обнимаю.

А.».

На секретариате партии в отсутствие Грамши обсуждался вопрос о выезде его из Италии. Грамши уезжать отказался и привел множество аргументов против этого предложения.

Но он со всей серьезностью относился к опасности ареста или нападения на любого из руководителей партии. На очередном заседании Политбюро было решено создать в Швейцарии заграничный центр, непосредственно связанный с внутренним центром. И еще одно важное решение принято Политбюро на том же заседании: все руководящие органы будут иметь полностью законспирированные и менее многочисленные дублирующие составы.

24 октября на квартире Грамши на виа Марганья был тщательный обыск. Ничего компрометирующего не нашли и даже извинились перед оноревале депутатом и кипящими от возмущения добропорядочными супругами Пассарж. Но сигнал прозвучал, и сигнал более чем тревожный. Было принято решение о немедленном выезде Грамши за границу.

— Это коллективное решение, Антонио, и ты обязан его выполнить.

Неохотно согласился. Но потребовал, чтобы план нелегального перехода границы был реализован после заседания ЦК, на котором предполагалось выступление предста-

вителя Коминтерна. После заседания Грамши рассчитывал попасть в Москву на расширенный пленум ИККИ. Он сообщает жене (это письмо, как и многие предыдущие, посылалось, разумеется, не по обычной почте):

«Рим, 27.X.1926 г.

Дорогая Юлька,

на этой неделе я опять не получил никаких известий от тебя. 30, то есть через три дня, я выеду из Рима и попытаюсь выбраться из страны, чтобы попасть на расширенный Пленум ИККИ. Не вполне уверен, удастся ли мне это, но, кажется, есть кое-какие благоприятные возможности. Как только попаду на советскую территорию, протелеграфирую тебе, но, как и в прошлый раз, прошу тебя, приходи на вокзал только в случае хорошей погоды и если ты будешь абсолютно свободна. Таким образом, для меня наступает период, может быть долгий, когда я ничего о тебе не буду знать и не смогу писать тебе. Но меня несколько утешает надежда увидеть всех вас.

Обнимаю тебя и детей.

Антонио».

И еще через неделю:

«Рим, 4.XI.1926 г.

Моя дорогая Юлька,

получил твое письмо от 26 октября и могу еще ответить тебе, так как в связи с одним случайным обстоятельством мне пришлось вернуться в Рим. Однако мое последнее письмо в основном остается в силе.

Как мне хотелось бы приласкать тебя, крепко-крепко прижать к себе твою бедную голову. И успокоить тебя — неправда, будто во мне зародились и продолжают укореняться одни лишь мрачные мысли... Я был бы просто несчастен, если бы мне не удалось добиться того, чтобы ты понимала меня, чтобы ты чувствовала, даже за холодной броней моих фраз, всю безмерность моей любви и моего непоколебимого доверия.

Может быть, я опять был неловок. Но мне хотелось бы помочь тебе стать еще сильнее, чем ты есть, чтобы ты сохранила спокойствие в гуще событий и поэтому могла подчинить их себе. Надеюсь, что к моменту, когда ты будешь читать эти слова, Делько уже поправится и Женя тоже, и ты сможешь ждать моего приезда не в такой тревоге. Я хотел бы увидеть всех вас спокойными — может быть, из эгоизма, из-за неудержимого желания время от времени получать свою долю радости. Обнимаю крепко, либушама, тебя и детей.

Ант.».

Но «случайное обстоятельство» было далеко не случайным.

Место для подпольного заседания ЦК было выбрано вблизи Генуи. Точно по заранее составленному расписанию участники заседания разными поездами прибывали в Геную, где в заранее назначенный час их встречал «сопровождающий» технического отдела ЦК и провожал в Вальпольчеверу — место, выбранное для заседания.

Был уже поздний вечер. Собравшиеся с тревогой ждали остальных членов ЦК. Многих не было, не прибыл еще и докладчик. Наконец он появился, подошли и некоторые другие товарищи. Они сообщили: в поездах фашисты обыскивают пассажиров; подозрительных с их точки зрения избивают дубинками.

Неужели фашисты напали на след ЦК? Непохоже, слезкой за компартией занимается тайная политическая полиция — ОВРА. Здесь что-то другое. Но что? Беспокоило отсутствие Грамши; ведь он считал свое присутствие на заседании необходимым.

Последние опоздавшие смогли пояснить причину фашистских бесчинств. Именно в этот день 31 октября — одно из совпадений, которыми так изобилует история, — на Муссолини в Болонье было совершено очередное покушение. По выражению старого Турати, дуче «любил, когда на него покушаются». Что имел в виду Турати? Роль ОВРА в этих покушениях? Или склонность дуче к театральным эффектам? Или и то и другое? В назначенное место Грамши так и не прибыл. Заседание состоялось, в связи с чрезвычайными обстоятельствами оно было недолгим.

Что же случилось с Грамши? В Милане прямо в поезде он был задержан агентами полиции. Его протест и ссылка на депутатскую неприкосновенность ничего не

изменили — «ради вашей безопасности, синьор депутат, только ради вашей безопасности, видите, что творится!».

— Вежливые были до упомомачения, подозрительно вежливые,— мрачно заметил он товарищу на другой день.— Судя по всему, готовят крупные пакости.

5 ноября совет министров принял решение о роспуске всех партий и организаций, враждебных фашистскому режиму, о закрытии всех оппозиционных газет. Был подготовлен законопроект об учреждении «особого трибунала по защите безопасности государства».

6 ноября фашистская газета «Тевере» («Тибр») опубликовала призыв секретаря фашистской партии Р. Фариначчи лишить депутатов Авентинской оппозиции их мандатов. В поименном списке исключаемых не было фамилий депутатов-коммунистов; к тому времени они уже вышли из «Авентина», по-видимому, эта репрессивная мера на них не распространялась.

8 ноября парламентская группа коммунистов собралась во дворце Монтечиторио. Грамши пришел с уже ставшим привычным эскортом. Уединившись в одной из комнат, коммунисты наметили программу действий на завтра. Грамши поручил Рибольди выступить при обсуждении чрезвычайных законов и против предложения Фариначчи.

— Создается впечатление, что Муссолини не хочет скандального резонанса за границей и хотя бы формально сохранит парламентский иммунитет,— с надеждой сказал Рибольди.

Грамши покачал головой:

— Вряд ли. Нужно быть готовым ко всему... даже самому худшему.

Худшее последовало в вечер того же дня. Муссолини предложил Фариначчи добавить к списку депутатов-коммунистов. Фариначчи заметил, что принцип списка — отказ авентинцев участвовать в работе парламента. Коммунисты же не отказываются.

— Такова воля короны,— коротко ответил Муссолини.

С этого момента участь Грамши и других депутатов-коммунистов, избранных народом, была решена вопреки всем правовым нормам и традициям итальянского парламентаризма. Срок их пребывания на свободе ограничился часами.

В половине одиннадцатого на лестнице дома, где жил Грамши, послышались тяжелые шаги карабинеров.

Проводив вторую сестру и племянника, маленького Делько, Татьяна Аполлоновна затосковала. Италия казалась чужой, неприветливой. К тому же нездоровилось. Лето 1926 года выдалось прохладным. Татьяна Аполлоновна зябко куталась в шерстяную шаль. Познабливало. Поднималась температура. Родные неоднократно настойчиво приглашали в Москву повидаться, отдохнуть. На этот раз ответила согласием. Стала готовиться к отъезду.

Принесли телеграмму: Юлия родила мальчика. В той же телеграмме сообщили, что Женя и Делько благополучно приехали в Москву. Татьяна Аполлоновна зримо представляет себе картину большой дружной семьи, и ей становится еще тоскливее в Риме. В письмах она спрашивает: на кого похож новорожденный, как к нему относятся «наш шалунчик-бегунчик» Делько, как чувствует себя Юля — мама двоих сыновей?

Татьяна Аполлоновна считает дни до отъезда. Москва, встреча с отцом, матерью: Уже немолдая женщина чувствует себя девочкой, возвращающейся под отчий кров. «Мамусенька, дорогая,— пишет она Юлии Григорьевне,— скоро Татанька-каратанька к тебе приедет».

Почти каждый вечер на полчаса заходит Грамши. Они говорят о Юле, о детях. Грамши очень озабочен, но к концу этого получаса, по выражению Татьяны Аполлоновны, оттаивает, начинает смеяться, шутить. Затем смотрит на циферблат будильника, верного спутника Татьяны Аполлоновны в ее кочевой жизни, и стремительно встает. Татьяна Аполлоновна успокаивает Грамши: будильник «с вычислением», он всегда спешит, нужно учесть поправку. Тем не менее пора. Они прощаются до следующего дня.

8 ноября Татьяна Аполлоновна после работы не пошла домой, а отправилась покупать подарки в Москву. Выбирая различные мелочи, она представляла удовольствие, которое подарки доставят родным, и ей становилось радостно и легко на душе. Даже ненавистная магазинная толча сегодня не раздражала.

Возбужденная, нагруженная свертками, Татьяна Аполлоновна пришла домой и тут только почувствовала страшную усталость. Не раздеваясь прилегла на постель и провалилась в тяжелое забытие. Очнулась от настойчивого стука в дверь:

— Синьора, синьора, проснитесь!... К вам пришли.

Узнала голос синьоры Онории. Торопливо зажгла свет, взглянула на часы. Было около двенадцати ночи.

— Войдите, пожалуйста... Синьора Пассарж?! Ради бога, что случилось?!

В дверях стояла квартирная хозяйка Грамши. Чинная, благопристойная немка была неузнаваема. Шляпа сбилась набок, пальто расстегнуто, ботинки забрызганы грязью. Боязливо оглянувшись, синьора Пассарж прошептала:

— Они арестовали его!..

Безумно заколотилось сердце. Подступило удушье.

— Вам плохо, синьора?

— Нет, нет...

Привычно нащупала пузырек с лекарством. Накапала в рюмку, выпила. Стало легче. Усилив воли заставила себя говорить спокойно:

— Спасибо, синьора Пассарж. Сейчас я отправлюсь к его друзьям, а завтра утром приду и помогу вам убрать квартиру.

— Не беспокойтесь, прошу вас. Я справлюсь сама. Только помогите бедному профессору. Мы полюбили его как родного.

— Сделаю все что могу, синьора Пассарж.

«Сделаю все что могу». А что, собственно, может сделать хрупкая, болезненная женщина в чужой стране? Одна против жестокой силы!.. Нет, нет, только не падать духом. Действовать немедленно, сейчас же!.. Темные улицы ночного города. Один адрес... другой... третий... Никого... Все товарищи Грамши, депутаты парламентской фракции, находившиеся в Риме для участия в завтрашнем парламентском заседании, арестованы.

Рано утром Татьяна Аполлоновна отправилась во Дворец правосудия. Сколько раз ей еще придется ходить в это огромное трехэтажное здание на берегу Тибра, часами выстаивать в очередях и выслушивать стереотипные ответы: «Не знаем», «Нет сведений», «Ничего не можем сообщить».

В этот первый раз равнодушный отказ был особенно тревожен и горек.

В вечерних газетах она прочитала отчет о сегодняшнем заседании парламента. Депутатов-коммунистов лишили мандатов. Татьяна Аполлоновна вспомнила, как недавно Грамши показал ей карикатуру в одной зарубежной газете: зал заседаний, из боковых лож и со сцены на сидящих направлены пулеметы. Подпись гласила: «Итальянский парламент при Муссолини». Очень похоже.

Пришло письмо из Москвы, ласковое, солнечное, пронизанное счастьем материнства. Там уже маленькие беды остались позади. Делио в дороге заразился скарлатиной и приехал в Москву больным. Его поместили в больницу. Неожиданно захворала Евгения Аполлоновна, хотя она в детстве и перенесла скарлатину. А тут родился Джулиано. Был установлен строгий семейный карантин. Евгения Аполлоновна поправилась, а Делио еще продолжал находиться в больнице. Навещать его опасались, чтобы не заразить грудного ребенка, о здоровье справлялись по телефону. Наконец, к общей радости, врачи разрешили забрать его домой. В больницу отправились втроем: Юлия Аполлоновна, Юлия Григорьевна и Евгения Аполлоновна. Дежурная сестра с некоторым подозрением посмотрела на женщин, которых она видела впервые. Привели Делио. Сестра спросила у него, указывая на Евгению Аполлоновну: «Ты знаешь эту тетю? Кто она?» «Маммина»,— произнося по-итальянски «мамочка» (так он привык называть тетю в Италии), ответил ребенок. «А эта?» — указывая на Юлию Аполлоновну. «Мама Джу». «А эта?» «Мамочка»,— объявил Делио, называя бабушку так, как к ней обращались ее дети. «Сколько же у тебя мам?» «Три: маммина, мама Джу и мамочка»,— радостно повторил мальчик.

Татьяна Аполлоновна читала эту милую болтовню, а из ее глаз неудержимо капали слезы. Так отличался безмятежный тон письма от того, что произошло в Риме.

В это время Грамши находился в тюрьме Реджина Чёли в одиночной камере, в условиях самой строгой изоляции.

...Всю ночь в камере горела электрическая лампочка. Он ворочался с боку на бок, чтобы как-то уберечь глаза от света. Надо привыкать. Это наголо. Надо привыкать к тюрьме. К лязганью запоров, тяжелым шагам надзирателей, крикам и грубым голосам, доносящимся из коридора, к обходам и проверке решеток ударами железного молотка трижды в сутки — в три часа дня, в десять вечера, в три утра, — к жизни по сигналам: сигнал — встать и произвести уборку, сигнал — принимать пищу, сигнал — больные могут посетить лазарет, сигнал — к заключенному направляется священник.

Надо привыкать к неизменно похожим один на другой дням, к грузу мельчайших событий и дел, которые механически повторяются из месяца в месяц, из года в год — все те же, все в том же ритме, с монотонностью гигантских песочных часов.

Надо привыкать!..

БОЙЦОВ НЕ ОПЛАКИВАЮТ

Из уст в уста передавалось последнее слово обвиняемого Грамши, обращенное к фашизму: «Вы приведете Италию к катастрофе; мы ее спасем!»

Народы слагают легенды о героях и мучениках, вкладывая в их уста свои надежды. Но как свидетельствуют материалы Большого процесса, 30 мая 1928 года в угрюмом зале римского Дворца правосудия были произнесены именно эти слова, ставшие пророческими:

— Мы ее спасем!

4 июня особый трибунал по охране безопасности государства приговорил Антонио Грамши к 20 годам, 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения.

В последний раз — под строгой охраной — он идет по гулким коридорам Дворца правосудия. У подъезда ждет тюремный фургон. Машина трогается, сворачивает на мост Умберто. Последний взгляд на Тибр. Путь до тюрьмы Реджина Чёли недлинен. Узник жадно смотрит через оконце в фургоне. На светлом прямоугольнике, вдоль и поперек перечеркнутом решеткой, как на экране возникают и исчезают кусочки жизни большого города: каменщик на строительных лесах, уличный торговец, дети, играющие у фонтанов...

Римская тюрьма Реджина Чёли. Переезд по этапу тяжело больного Грамши (в одной из тюрем врач сказал заключенному, что у него антонов огонь и помочь ничем нельзя; врач, к счастью, ошибся) из Рима в Тури — небольшой городок на юге Италии.

Снова камера. Четыре стены, койка, которую полагалось убирать на день, стол, табурет, глиняный таз для умывания, металлическая миска для супа, глиняная кружка для воды. И деревянная ложка. Вилки не полагалось, ножа тем более.

Лучшее время суток — прогулка. Один час из двадцати четырех. Двор, разделенный на секторы. Между секторами — высокие стены. На башенке — караульный. У наружной решетки — два надзирателя.

В январе 1929 года Грамши добился права писать. 8 февраля он заносит первые заметки в тетрадь, которую нумерует: № 1. Это первая из всемирно известных ныне «Тюремных тетрадей». Их будет 21, когда Грамши покинет Тури. Но пока только начала первая.

В конце февраля уже повеяло весной. Ведь Тури (провинция Бари) — юг Италии. В марте в Тури приезжает Татьяна Шухт. Ей разрешают периодически посещать заключенного. Свидания происходят во дворике тюрьмы, под наблюдением тюремной охраны, продолжаются примерно полчаса. Несмотря на присутствие стражника, Татьяна Аполлоновне удается сообщать Грамши некоторые политические новости (по возвращении в Рим она запишет содержание этих бесед и через верных людей отошлет свой доклад заграничному центру Коммунистической партии Италии). Ей нет нужды говорить о деятельности Муссолини, об этом ежедневно кричат правительственные газеты, чтение которых заключенным разрешается.

21 января Муссолини распустил палату депутатов. Большой фашистский совет подготовил список 400 кандидатов. Состоялись «выборы» на основе нового избирательного закона. Новая фашистская палата депутатов — декорация тоталитарного режи-

ма,— послушно одобрила уже изданные правительственные декреты. Процесс фашизации итальянского государства фактически завершился.

От Татьяны Шухт Грамши ждет других новостей, так сказать, новостей из противостоящего фашизму лагеря. Но как мало — Татьяна Аполлоновна это понимает — она может ему дать. Впрочем, и это «мало» для него очень существенно. От Татьяны Аполлоновны Грамши требует новостей и... цветочных семян — крупинок живой природы. В час прогулки на тюремном дворике можно кое-что посеять...

Время от времени Татьяна приезжает в Тури, добивается свидания. Но она часто болеет. Остаются письма. Каждое письмо — праздник.

...Листок бумаги, исписанный таким знакомым почерком, прочитан. В конверте есть еще что-то. Небольшой кусочек плотной бумаги, любительская фотография: Юлия со своим отцом и младшим сыном Юликом!

В камере быстро темнело. Через зарешеченный прямоугольник окна скупо проникали остатки угасающего дня. Грамши подошел к окну и поднес снимок к глазам. От близости снимка, колеблющегося в напряженно-дрожавшей руке, дорогие лица на фотографии ожили... Юля, Юлька, любимая!.

Заглась лампочка под потолком (мучительница узника в долгие бессонные ночи). Холодный электрический свет нарушил иллюзию близости, лица на фотографии отодвинулись. Уже спокойнее продолжал ее рассматривать. Фотограф-любитель выбрал удачный момент — маленькая группа выглядела удивительно естественно. Опираясь спиной на ствол дерева, полулежал седобородый Аполлон Александрович. Рядом на хвое, темной по контрасту с ее белым платьем, сидела Юлия с такой знакомой грустновато-загадочной улыбкой. К коленям матери привалился голенький загорелый Юлик. Заранее зная, что он увидит, Грамши перевернул фотографию. На обороте стояла круглая тюремная печать и неразборчивая завитушка начальника тюрьмы. Фото, как и письма, цензуровались, Грамши это знал. И все же каждый раз испытывал неприятное чувство: свободные и вольные фотографии вдруг как бы становились тюремными узниками. Цензура, тюремная цензура; приходилось думать о ней, когда, склонившись над листом бумаги, узник на минуту чувствовал себя наедине с близкими; то же требовалось и в ответных письмах. Самые безобидные вещи могли быть истолкованы превратно. Грамши просил Юлию быть осторожнее, а сам писал, по его собственному выражению, «тюремным языком» и сетовал на то, что вряд ли когда-нибудь сумеет от него избавиться. Написанные «тюремным языком» письма-раздумья, письма-собеседники и даже письма-монологи были единственной связью с женой и детьми.

«Тюрьма в Тури, 30 июля 1929 г.

Дорогая Юлька,

получил твое письмо от 7-го. Фотографии еще не дошли; надеюсь, что среди них будет и твоя. Мне, конечно, хочется видеть и тебя хотя бы раз в год, чтобы иметь немного более ясное представление о том, как ты выглядишь... хотелось бы видеть тебя вместе с детьми, как на прошлогодней фотографии, так как в групповом снимке есть какое-то движение, что-то живое; угадываются взаимоотношения, которые можно развить в своем воображении, представляя их себе в другой обстановке, в какие-то конкретные моменты жизни, когда нет направленного на тебя объектива фотоаппарата. Ну, а затем, мне думается, я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы представить тебя в самой различной обстановке, а вот представить реакцию и поведение по отношению к тебе детей я не могу... к тому же теперь, я думаю, все должно быть по-иному; иным стал мир чувств, да ведь и разница в два поколения (пожалуй, даже больше, так как между ребенком, воспитанным в сардинской деревне, и ребенком, выросшим в большом современном городе, уже в силу одного этого обстоятельства разница минимум в два поколения)... Меня, естественно, очень часто преследует мысль, что на твои плечи легло самое тяжкое бремя нашего союза (самое тяжкое в силу объективных причин, пусть так, но это не меняет сути). Потому я не могу уже думать о твоей силе, которой я так часто восхищался, хотя и не говорил тебе об этом, а думаю о том, что тебя, наверное, одолевают порой и слабость и усталость; и думаю об этом с огромной, почти мучительной нежностью, которую можно выразить в ласке, но нельзя выразить словами. А потом я все еще очень завидую тебе, потому что я ведь лишен возможности наслаж-

даться первыми, самыми свежими впечатлениями, связанными с жизнью наших детей, и не могу помогать тебе направлять и воспитывать их...

Дорогая, обнимаю тебя.

Антонио».

Письма разрешается посылать два раза в месяц, да еще по одному дополнительно на пасху и на рождество. Письма — как вехи на длинном тюремном пути, вехи времени; «... время представляется мне как нечто телесное с тех пор, как для меня более не существует пространства».

Но объективно пространство — огромный мир за стенами тюрьмы — существует и напоминает о себе...

— Дженнаро! — воскликнул Антонио Грамши, входя в сопровождении надзирателя в помещение для свиданий. Его опухшее лицо осветилось улыбкой. — Какими ветрами тебя принесло?

— В отпуск приехал. Надо же повидаться. Дочка растет. Надо же повидаться, — повторял Дженнаро, удрученный видом брата.

Когда Антонио улыбнулся, Дженнаро с испугом заметил, что у брата выпали почти все зубы. Улыбка на опухшем, измученном лице сжимала сердце. Что эти негодяи сделали с Нино за четыре года! Что они с ним сделали!.. В детстве, когда Нино ушибался, Дженнаро утешал младшего братишку: «Ничего, вырастешь, станешь мужчиной — и все пройдет». Чем же его утешить сейчас? Но, взглянув в глаза брата, Дженнаро понял: утешать не надо.

— Из Гиларцы писали — нашел работу в Париже? — спросил Грамши.

— Работа — не соскучишься, таксистом. И воздух во Франции.. чистый.

Вмешался надзиратель.

— Поаккуратнее, земляк, понятно?

— Понятно. Ты что — сардинец?

— Из Паулилатино, слышал? — оживился надзиратель.

— Даже бывал.

— Ну, бывал? — обрадовался надзиратель. — Хорошо у нас, правда? Не то что здесь?

— Еще бы! — с энтузиазмом воскликнул Дженнаро, хотя в памяти всплыло захолустное сардинское местечко, по сравнению с которым городок Тури выглядел столицей.

— Жаль, времени мало. Ты в следующий раз приходи пораньше. Я тебе кое-что про Паулилатино расскажу. Бывать-то ты бывал, а не все видел, это уж точно... Покурю-ка я за дверью. Братьям, считаю, есть о чем потолковать, — подмигнул надзиратель. — Только на часы поглядывайте. Тридцать минут. Вперед, Сардиния!

Надзиратель вышел. Братья остались одни. Несколько секунд стояли молча, потом одновременно бросились друг к другу и обнялись. Одни, без посторонних глаз. Как бывало в прошлом, не часто, но бывало, оба привыкли сдерживать свои чувства.

Убедившись, что нет посторонних ушей, Дженнаро передал брату поручение Пальмиро Тольятти. Тольятти просил проинформировать Грамши о новой линии в международном рабочем движении и дискуссии в ЦК Коммунистической партии Италии. Грамши слушал с огромным интересом и волнением. Направление главного удара против левых элементов социал-демократии в реальных исторических условиях, казалось ему, сделает невозможным завоевание большинства рабочего класса в борьбе с фашизмом.

Время свидания истекло. Грамши сказал, что он обдумает услышанное и изложит свою точку зрения Дженнаро при новой встрече.

Дженнаро поехал в Гиларцу, а в июле снова был в Тури. То ли в прошлый раз не было слежки, то ли в ожидании встречи с братом он ее просто не заметил, но сейчас агенты полиции буквально наступали на пятки. Их было человек пять, а может быть, и больше. В трактире, где Дженнаро и Татьяна обедали, трое полицейских в штатском устроились за соседним столиком, остальные ждали у входа. Так, с эскортом, Дженнаро добрался до тюрьмы. Его ждал неприятный сюрприз: на свидании вместо надзирателя из Паулилатино присутствовал заменяющий директора тюрьмы бухгалтер.

Свидание превратилось в пытку. Подозрительность бухгалтера не позволяла спокойно говорить даже о делах семейных. Фотографии матери и дочери Меи, которые привез Дженнaro, бухгалтер пока отобрал, обещая вернуть после цензуры. Время истекло. Пристально глядя в глаза брату, Грамши сказал:

— Прощай, Дженнaro. Передай дома, что новый курс воспитания может привести к самым пагубным последствиям.

— Разговоры на посторонние темы воспрещаются,— нервно вмешался бухгалтер.

— Какие же это посторонние темы, синьор бухгалтер?— пожал плечами Грамши.— Уверю вас, для меня тема воспитания— самая важная.

— Свидание окончено,— буркнул бухгалтер и нажал кнопку звонка.

Вошел надзиратель, другой, незнакомый.

— Заключенного в камеру. И пусть кто-нибудь проводит посетителя к выходу.

По просьбе политических заключенных Грамши в течение пятнадцати дней проводил своеобразный цикл бесед, некоторые называли его курсом лекций. И в этом определении нет преувеличения. Да, курс лекций, наверное, один из самых необыкновенных лекционных курсов в истории науки. В час утренней прогулки лектор и его аудитория непрерывно двигались по внутреннему тюремному дворику, огороженному стеной из нештукатуренного кирпича высотой примерно в рост человека. На этой стене под навесом, потому что летом в Тури солнце жжет немилосердно, стоит надзиратель, наблюдающий за порядком во время прогулки.

Грамши вынес на обсуждение товарищей основные тактические принципы, которыми, с его точки зрения, следовало руководствоваться партии в нынешней обстановке. Принципы эти он излагал так:

фашизм уничтожил сильнейшие кадры партии, в лучшем случае партия может рассчитывать на 5—6 тысяч активистов;

наиболее подходящая тактика— не сектантская изоляция, а поиски классовых союзников;

нужно привлечь к союзу с рабочим классом отсталых крестьян и мелкую буржуазию, недовольную своим положением и готовую бороться за осуществление промежуточной (для пролетариата) стадии, то есть за восстановление свобод, ликвидированных фашизмом. Надо поощрять широкое народное антифашистское движение. Партия, заключил Грамши, должна найти такой лозунг, который способен мобилизовать все антифашистские силы для создания этого движения.

Отведенное время кончилось, свисток надзирателя, заключенные нехотя покидают дворик. Тяжелые казенные башмаки топаят по гулким коридорам.

Коллективное обсуждение в условиях тюрьмы жизненно важного и очень сложного для партии вопроса проходило болезненно. Об этом свидетельствует Джованни Лаи, молодой сардинский коммунист:

«Правда то, что в действительности споры среди товарищей по тюрьме не всегда имели характер политический. Часто, слишком часто по моему мнению, они докатывались до уровня сплетен или даже клеветы, а иногда личная оценка Грамши доходила до очернения. Я тогда был в одной камере с Бруно Спадони и Анджелло Скуккией. Скуккия иногда даже утверждал, что позиции Грамши социал-демократические, что Грамши больше не коммунист, что он встал на путь оппортунизма и примкнул к крошечанству, что надо заявить партии о его разлагающем действии, исключить его из коллектива, лишить прогулок по тюремному двору. Спадони и я вначале терпели в надежде образумить этого товарища, но решительно говорили, что не позволим продолжать его недостойное поведение. Когда стало ясно, что мы с ним ничего не сможем поделать, сказали Грамши. Он ответил, что в других камерах дискуссии тоже часто вырождались и вели только к расколу или раздору...»

Грамши прекратил коллективные беседы с товарищами по заключению.

В монотонность заключения вторгся внешний мир.

Уже много лет— наверное, с момента, когда по лестнице дома на виа Марганья застучали шаги карабинеров,— его воля стала волей к сопротивлению, свобода, одно из самых прекрасных и емких слов в тысячелетней истории человечества, стала лишь

свободой его внутренней жизни. Этой свободы он не отдаст! Только не позволять мыслям мельчать, чувствам притупляться!

Открыта тетрадь, одна из нескольких, привезенных Татьяной, с этикеткой канцелярского магазина в Бари. Хороший магазин, как-то он покупал там писчую бумагу... Сейчас бумагу привозит заботливая Таня.

В последних письмах Таня настойчиво возвращается к взглядам Бенедетто Кроче. Кроче — серьезный противник. Именно сейчас, в разгар фашистской диктатуры, идеалистическая философия Кроче с его «религией свободы» способствует отходу интеллигенции от политической борьбы. Огромная разница между либеральной и демократической философскими концепциями свободы. Революционный класс создает государство, в котором само понятие демократии приобретает новое содержание.

Тесные строчки заполняют листок за листком. Директор тюрьмы заявил, что ему надоело разбирать мелкий почерк заключенного, и поручил миссию цензора священнику. Прочитает ли кто-нибудь, кроме недалекого тюремного прелата, его тетради? Кто знает. Только не позволять горечи сомнений отравлять радость общения с людьми, общения через мысли!.. Тонкая невидимая нить, в любой момент эта нить может оборваться. Склонившись над тетрадью, узник мучительно ищет истину, яростно спорит, мыслит. Мыслить — значит жить!

Через частую решетку из толстых прутьев в камеру проникал скупой свет. Дорог каждый час...

Буржуазные философы оплакивают мир. Нет ничего беспощадней истории, утверждают они. История не стесняется в средствах, она несоизмерима с судьбой человека. Никогда еще человек не был так беззащитен перед фатумом истории...

Человек и история. Вопрос, переходящий из поколения в поколение. Прошла, кажется, целая вечность с той короткой апрельской ночи, когда молодой туринский социалист в своей камерке на пьядца Карлина дал на него ответ в статье для первого номера «Ордине нуово». Как смело в молодости мы вершим судьбы мира!.. Уже светало, когда он написал тогда: «История — это вечность; зло не может взять верх, беспорядок и варварство не могут взять верх, пропасть не поглотит людей. Мир спасает себя сам своими собственными силами; рождаясь среди горя и отчаяния, люди несут в себе нравственные богатства и способность к жертвам и неслыханным подвигам».

Статья называлась «Разложение и генезис», вышла она 1 мая 1919 года с многочисленными цензурными купюрами. Грамши отчетливо помнил, что перед этим абзацем и после него цензура выкинула десятки строк. А рассуждения о вечности не тронула: какое дело цензуре до вечности!

Да, молодость смела, подчас дерзка, но и сегодня в одиночной камере он готов повторить слово в слово то, что сказал 1 мая 1919 года. Люди, захлестнутые хаосом истории (фашистские диктатуры в Италии и Германии — частное выражение этого хаоса), проявят свою волю. Люди, несущие в себе не соизмеримые ни с чем нравственные сокровища, вооруженные нетленным богатством мысли.

На бумагу ложатся строки, выношенные долгими ночами, когда затихает тюрьма. ...Философия истории, философия новой наступавшей эпохи. Новое возникает в диалектическом процессе развития, строится подчас в муках. И все-таки историку, вооруженному всей необходимой перспективой, удастся понять и установить, что первые камни нового мира, пусть еще грубые и неотесанные, прекраснее заката агонизирующего мира и его лебединых песен.

Маркс является интеллектуальным родоначальником исторической эпохи, которая, вероятно, продлится века, то есть до тех пор, пока не исчезнет «политическое общество» и установится общество упорядоченное. Только тогда его мировоззрение будет превзойдено (концепция необходимости, превзойденная концепцией свободы).

На столике тонкая стопка книжек. На каждой штамп и подпись начальника тюрьмы. Такой же штамп ляжет на страницы его рукописи. У тюремщиков не должно возникнуть подозрение, что записи имеют политическую цель. Не договаривать до конца — те, для которых это написано, поймут. И шифр, несложный, но он тоже помо-

гает: марксизм — философия практики, партия — современный государь (этот термин когда-то употребил Лабриола), Ленин — Ильич, Вилчи...

Ильич, Ленин. Он заставил мыслить иначе, чем мыслили раньше, заставил по-иному понять движение истории. Мыслить по Ленину значит развивать его учение, значит применять ленинизм для разрешения проблем современного мира. В различных исторических условиях возможны и необходимы разнообразные пути революционного движения.

В стопке на столике нет книг Ленина, доступ в тюрьму им категорически запрещен. Ссылки на труды Ленина он делает по памяти (подлинная мука для исследователя)... Кажется, Ильич понял необходимость превратить маневренную войну, победоносно примененную на Востоке в 1917 году, в войну позиционную... Ильич только не имел времени, чтобы углубить свою формулу... На Востоке государство было всем, «гражданское общество» находилось в первичном, аморфном состоянии. На Западе государство — «политическое общество» — лишь передовая траншея, позади которой прочная цепь крепостей и казематов, то есть разветвленная система «гражданского общества».

Бегут, тесно прижимаясь друг к другу, строчки, надо торопиться...

Рабочий класс — единственный класс, способный стать «национальным классом». Борьбаться за гегемонию рабочего класса во всех звеньях «гражданского общества», бороться внутри капиталистической системы еще до свершения социалистической революции, добиваться перевеса сил на решающих участках. «Коллективный разум» класса — партия. С высокой организацией, твердой дисциплиной, с такой дисциплиной, которая не подавляет личность, не лишает ее свободы.

...Загребели запоры. Стражник остался в коридоре. В камеру вошел разносчик пищи. Громко топая тяжелыми башмаками, он приблизился к столику, поставил на него металлическую миску с похлебкой, швырнул кусок хлеба и, оглянувшись на дверь, сунул в руку Грамши бумажку. Одновременно Грамши протянул ему сигарету. Разносчик кивнул, сунул сигарету в карман и, громко топая, вышел.

Не разжимая руки, Грамши ждал и думал: дойдет ли до адресата его записка — крохотный клочок бумаги, всунутый вместо табака в сигаретную гильзу? В записке он обращал внимание партии на движение фабрично-заводских уполномоченных в созданных фашистами профсоюзах. Нужно проникать изнутри в массовые организации фашистов.

Стражник справился с замком и отошел. Став спиной к двери, чтобы тюремщики ничего не увидели через волчок, Грамши осторожно развернул скомканную бумажку. Это была листовка партии, обращенная к итальянским безработным. Грубыми, но точными штрихами был нарисован изможденный мускулистый человек со знаменем в руках, за ним толпы людей. И надпись: «Хлеба и работы! Вперед за хлеб и свободу!» Внизу карандашом приписано: «Мы — боремся! Береги себя, Антонио!»

«Мы — боремся!» Коммунистическая партия оказалась единственной партией Италии, которая не была сломлена. На драконовские законы фашистов партия ответила непримиримой борьбой. Он гордился этим. И как он хотел быть вместе с ними!..

Зажглась тусклая электрическая лампочка. До вечерней поверки и осмотра решеток еще почти час. Грамши съел кусочек хлеба, отодвинул миску с холодной похлебкой и раскрыл тетрадь. Снова побежали строчки. В четырех каменных стенах, за тюремной решеткой одиночки теснятся люди, события, целые эпохи...

«...не хочу, чтобы меня оплакивали; я — боец, которому не повезло в битве сегодняшнего дня, а бойцов нельзя и не следует оплакивать...»

Слышите? Бойцов не оплакивают!.. Слышите?..

ВЫСТОЯТЫ

Утром, вставая с постели, он упал. Долго лежал на каменном полу. Наконец пришел тюремщик, уложил его на койку и оставил в покое. Грамши с трудом открыл тяжелые веки. Знакомая серая стена камеры наклонилась вперед. Сейчас... сейчас она рухнет. Подняться нет сил... Стена выпрямилась, качнулась назад и заколебалась в не-

торопливым волнообразном ритме. Пытаясь остановить ее, протянул руку. Рука беспомощно дернулась и осталась лежать вытянутой вдоль туловища. Тело пронзила острая боль. Рядом лежала чужая рука, руки были скованы цепью. Ускользающим сознанием понял, что начинает бредить. Впрочем, все это было...

Как мучительно болит голова... Кто-то подошел к изголовью, прохладная рука легла на лоб. Стало легче... Юлия? Ты здесь, любимая? Как хорошо!.. Куда же ты уходишь?.. Кто это? Вон!.. Пусть убирается! Слышите? Я вас не звал!..

— Успокойся, Антонио, он ушел.

— Кто здесь? Тромбетти... Где я?

— Где? В тюрьме Тури, разумеется. Лежи спокойно, Антонио. Тебе надо лежать. Хочешь спросить, как я сюда попал? Начальник тюрьмы разрешил перебраться в твою камеру. Принимаешь квартиранта? Все-таки помогу, если что... Хочешь пить? Лежи, лежи... Вот так. Что с тобой было? Ты бредил, Антонио, стонал, смеялся, говорил с женой, с детьми, хорошо говорил, ласково. Потом явился святой отец... Не в бреду. Вполне натуральный поп, от него за версту разило святостью и подгорелым луком. Ты его выгнал... Дай-ка оботру тебе лицо.

— Если вздумают причащать меня, не позволяй, Густаво.

— Не позволю, будь спокоен.

— Наверное, я очень болен, Густаво. Я разучился подсмеиваться над самим собой. Плохой признак.

— Ерунда, Антонио. Ты еще им покажешь.

— Обещай мне, Густаво... Когда ты выйдешь из тюрьмы...

— Еще сколько ждать!..

— ...расскажешь моей жене и детям, все расскажешь.

— Антонио, да ты сам...

— Обещаешь?..

— Обещаю.

Грамши метался на койке.

В стену постучали. Это сосед-араб, пожизненный узник, несчастная жертва судебной ошибки, беспокоился о здоровье Грамши. Осторожно, чтобы на разбудить забывшего больного, Тромбетти стукнул три раза. Так было условлено. Араб затих.

Выражение боли на лице Грамши исчезло. Губы зашевелились, на них появилась слабая улыбка... Наверное, привиделось что-нибудь хорошее. Быть может, красные знамена над заводами Италии в 1920 году...

Снова постучал беспокойный араб. Бедный невежественный человек, которому Грамши отдал частицу своего тепла.

«Ночь длилась бесконечно, — вспоминал позднее Тромбетти. — Временами Грамши терял сознание, а в минуты просветления говорил о бессмертии души в реальном и историческом смысле, о бессмертии полезных и необходимых для человека дел, которые переживут его самого и будут жить после смерти в окружающем его мире».

Грамши умирал. Комитет по освобождению Грамши — Ромен Роллан, Анри Барбюс, Максим Горький и многие другие — обратился к людям всех стран с призывом бороться за жизнь Грамши. Призыв был поддержан на многотысячных митингах. Мир требовал спасения Грамши. Муссолини вынужден был сделать какой-то жест.

В Тури приехал знаменитый профессор Умберто Арканджели. Он тщательно осмотрел больного. Затем пожелал поговорить с его близкими. С профессором встретились Татьяна Шухт и старый друг Грамши Пьеро Сраффа, бросивший все свои дела и прибывший из Кембриджа. Арканджели показал свое заключение. Оно было кратким и категоричным: больной умрет, если не выйдет на свободу. Необходимо удовлетворить просьбу о помиловании. Арканджели добавил, что ручается за быстрое и благоприятное решение вопроса, если... если узник подаст такую просьбу. С осени прошлого года различные представители властей выдвигали этот вариант, настаивали на нем. Но сейчас слова «просьба о помиловании» произнес опытный врач. Было над чем задуматься. Татьяна Аполлоновна и Пьеро Сраффа решили сделать попытку повлиять на Грамши.

Надзиратель впустил их в камеру и ушел (это устроил Арканджели). Больной неподвижно лежал на койке. Они сказали Грамши, что многолетнее строгое тюремное

заключение дает право на такую просьбу, что, выздоровев, Грамши принесет огромную пользу своей стране и всему человечеству, что это, в конце концов, пустая формальность. Больной лежал неподвижно. Казалось, он не слушает. Однако когда Пьеро Сраффа умолк, в камере раздался тихий, но твердый голос:

— Нет.

Татьяна Аполлоновна и Сраффа продолжали уговоры. Сраффа приводил разные исторические примеры, когда интеллект по необходимости отступает перед грубой силой. Ответом было одно слово:

— Нет.

Надзиратель приоткрыл дверь и сказал, что время истекло. Подавленные, не глядя друг на друга, словно стыдясь своей слабости, самые близкие друзья Грамши вышли в коридор, и в ушах звучало: «Нет!»

Им удалось упросить профессора Арканджели не упоминать в заключении о возможности подачи просьбы о помиловании. Профессор неохотно согласился и написал: «В настоящих условиях Грамши не сможет долго прожить; я считаю необходимым перевести его в больницу или клинику, если невозможно предоставить ему условную свободу». В таком виде заключение профессора Арканджели было опубликовано в «Юманите» и других газетах. На него сослался Ромен Роллан в своей знаменитой статье «За тех, кто умирает в тюрьмах Муссолини» в защиту того, кто «велик душою... велик мыслью. Ибо он стал в Италии предвестником нового социального строя». Прекрасные и вещие слова!

Волна возмущения и протеста захватила даже придавленную фашизмом Италию, и Муссолини отступил. В Тури пришло распоряжение о переводе узника в другое место.

Физическое состояние Грамши было ужасным. Татьяна Аполлоновна поехала в Рим, добилась приема у директора итальянских тюрем и получила разрешение сопровождать заключенного.

— Гуманность — мой принцип, синьора, — любезно улыбаясь, сказал высокопоставленный чиновник, — когда возможно, я руководствуюсь этим принципом. Вы сможете поехать тем же поездом, а быть может, в одном вагоне.

Очередная ложь!..

В одиночной камере на койке, которая в нарушение тюремных правил не убиралась на день, неподвижно лежал Грамши. Около него бесшумно дежурил верный Тромбетти.

Еще раз послушаем его рассказ. «Отъезд Грамши из Тури произошел неожиданно. В сопровождении стражника мы отправились на склад и там собрали вещи Антонио. Пока он, заранее условившись со мной, занимал разговорами стражника, я засунул в чемодан и спрятал среди вещей 18 полностью исписанных тетрадей Грамши... Вернувшись в камеру, Грамши сказал, что он не будет ложиться спать, добавив, что до утра недолго ждать, а новой встречи мы не скоро дождемся. Он поручил мне сообщить на «волю» о том, как он жил в тюрьме, о том, как здесь с ним обращались... Около шести часов утра следующего дня, когда было еще темно, пришли вооруженные конвойные. Антонио отпорол от арестантского халата номер, который он носил в течение пяти лет, и оставил его мне на память... Его посадили в тюремный фургон, я поставил рядом с ним его чемодан, мы обнялись, фургон тронулся и вскоре исчез в сумраке... Я плакал так, как не плакал уже много лет».

Маленькая железнодорожная станция. Пассажирский поезд. Полузабытые узником звуки: фырканье паровоза, свистки кондуктора, голоса людей, которые могут разговаривать, петь, кричать, если ни хочется, не боясь, что их посадят в карцер. Гудок. Поезд медленно набирает скорость.

«...Какое сильное волнение охватило меня в поезде, — чуть позднее напишет Грамши, — когда после шести лет, в течение которых я видел только одни и те же крыши, одни и те же каменные стены, одни и те же мрачные лица, я вдруг обнаружил, что все это время необъятный мир — луга, леса, обыкновенные люди, дети, деревья, огороды — все продолжало существовать по-прежнему. И я был еще более потрясен, когда после столь долгих лет увидел себя в зеркале...»

Обнадеженная высокопоставленным лжецом, Татьяна Аполлоновна помчалась в Тури. В дирекции тюрьмы ничего узнать не удалось. Целый день просидела она на скамейке против тюремных ворот, на «своей скамейке». Мимо проходили жители городка, вежливо кланялись, некоторые спрашивали о здоровье «достопочтенного профессора», просили пожелать ему счастливого пути (удивительно, как любые вести просачиваются сквозь толстые тюремные стены). Сидела до глубокой ночи, вернулась на расвете.

Узника № 7047 уже не было в Тури. Татьяна Аполлоновна нашла Грамши в Чивитавеккии: заключенный находился там временно. Через восемнадцать дней, ранним утром 7 декабря, он покинул Чивитавеккию и, сопровождаемый стражей, был перевезен в Формию (неподалеку от Неаполя) в клинику доктора Кусумано. Он болен, тяжело болен. Прикованного к постели человека охраняет специальная команда. Все же кое в чем положение Грамши улучшилось. Окно комнаты выходит прямо на море. Держать окно открытым не запрещается, частые решетки не мешают солончатому и холодному⁴⁶ это время года воздуху проникать в комнату, наполняя ее дурманящим дыханием свободы. Узник надеется, что его будут лечить и тогда он сможет вернуться к своей работе.

Гнетет одиночество. В Тури были товарищи по заключению, не говоря уж о верном Тромбетти, который последнее время ухаживал за ним как нянька, с неиссякаемым оптимизмом уверяя: «Ты еще им всем покажешь!»

14 декабря Татьяне Шухт разрешили навестить узника в Формии. Первое впечатление обрадовало: клиника мало напоминала тюрьму. На краю залива стояло старинное громоздкое здание. И хотя на окнах были решетки, они не мешали видеть море. С радостной улыбкой Татьяна Аполлоновна вошла в комнату Грамши. Он сидел у открытого окна и, как ей показалось, дремал. В комнате было холодно. Татьяна хотела тихонько опустить раму, но услышала его голос:

— Не закрывай, Танечка. Какой вкусный воздух...

Она ответила, что воздух действительно отличный, но можно простудиться. К следующему разу сошьет ему телогрейку на меху, и тогда можно будет сколько угодно сидеть у открытого окна, даже работать, вкусного воздуха теперь у него будет сколько угодно. При слове «работать» по лицу Грамши скользнула болезненная гримаса. Татьяна Аполлоновна стала говорить, что теперь все будет хорошо, ведь клиника не тюрьма, как вдруг дверь распахнулась, вошел здоровый детина с бегающими глазками на толстой физиономии и спокойно уселся на стул. Это был бригадир карабинеров, под его командой находились 15 человек, свидания будут происходить при бригадире или его помощнике.

А затем выяснилось, что в клинике доктора Кусумано не лечат, во всяком случае Грамши никто лечить не собирается.

...И снова в Москву, в дом по переулку у Садового кольца регулярно приходят весточки-отчеты.

Год 1934. 15 февраля. «С ноября 1933 года Антонио не написал ни строчки... Письмо Делько, где он спрашивает у отца, когда он придет, я не могла переслать Антонио, ведь никто в министерстве не поверит, что дети не знают о заключении отца... вопрос этот может показаться подозрительным».

«С ноября 1933 года Антонио не написал ни строчки...» Исправим маленькую неточность: не с ноября, а с начала декабря — 4 декабря датировано письмо Грамши Татьяне Аполлоновне. Это 378 письмо, написанное Грамши за семь с половиной лет пребывания в тюрьме, то есть с 20 ноября 1926 года по 4 декабря 1933 года. Все это время Грамши полностью использовал свое право писать раз в месяц, два раза в месяц, еженедельно, в отдельные периоды два раза в неделю. За период с 4 декабря 1933 года по 8 апреля 1935 года до нас дошло лишь одно письмо и, видимо, было написано только одно письмо о. Оно адресовано матери и датировано 8 марта 1934 года. Уже четырнадцать месяцев Джузеппины Марчис не было в живых, она умерла 30 декабря 1932 года.

Физическое состояние Грамши ухудшается, но интерес к внешнему миру неизменен. Источники информации те же, что и раньше: Татьяна и официальная пресса. Как бы ни изображали газеты февральские события во Франции, было очевидно, что попыт-

ка фашистов захватить власть потерпела неудачу. Коммунисты призвали рабочих всех партий выйти на улицу и преградить путь фашистским бандам. 12 февраля в стране забастовало 4,5 миллиона человек. Коммунисты и социалисты шли вместе против общего врага.

— Какие молодцы! Какой пример для международного рабочего движения! — возбужденно сказал Грамши Татьяне, когда дежуривший в комнате карабинер на минуту оставил их одних. — Попробуй, Танечка, узнать о событиях во Франции подробнее.

Татьяна Аполлоновна смотрела на Антонио со смешанным чувством боли и радости — давно она не видела его таким оживленным. Кое-какие подробности удалось узнать, но как трудно передать их заключенному...

16 апреля. «В условиях, при которых происходят наши с ним свидания, не часто можно иметь возможность что-нибудь сказать... Антонио намеком высказывает какую-нибудь свою мысль... Вчера как раз был хороший бригадир, тот, который так хорошо к Антонио относится... Этот бригадир действительно друг, Антонио, когда тот отлучился из комнаты во время обеда (другие не выходят ни на минуту), сказал мне, чтобы я не показывала виду, что он друг...

...Значительно увеличилась бдительность полицейского отделения, и письмо мое, например, последнее пришло к нему чуть ли не наполовину сожженным, меня вызывали расспросить, что значит, когда ты пишешь про «апельсин, который растет на окне»?..»

Уже не в первый раз появилась надежда на обмен Грамши. Переговоры между СССР и Италией идут по дипломатическим каналам. Татьяна Аполлоновна регулярно сообщает новости сестре в Москву:

26 марта. «Антонио спросил у меня насчет того, как идет дело... об обмене его или о высылке в СССР...»;

19 мая. «Не знаю, писала ли я тебе, что здешний посол писал своевременно в Москву по этому поводу, и даже не раз, что было получено утвердительное обещание и заявлено... что имеются для этого все элементы»;

5 июля. «Посол сказал, что с этой почтой еще раз напишет в Москву по делу Антонио. Писал он уже несколько раз, и был своевременно получен ответ... что это можно сделать и что для этого есть все элементы...»

В письмах Татьяны Аполлоновны упоминаются и «переговоры с итальянским посольством в Москве относительно Антонио Грамши». Складывается впечатление, что реален благоприятный исход. Все это словно не касается местной полиции, наоборот — рвение ее усиливается, возможно по приказу сверху.

25 июля. «Он живет надеждой, что с минуты на минуту положение может измениться хотя бы в том смысле, что он сможет свободно писать, без контроля здешней полиции, копящейся в душе».

12 ноября. «Остался в самой клинике, как и был раньше, пост карабинеров на часах, не говоря о полицейских в штатском и в форме, которые всегда находятся в клинике. Здешняя полиция боится похищения Антонио... это у них *idée fixe*. Так что надзор, если можно так выразиться, еще как бы усилился».

Неожиданно приехал из Англии с новостями старый друг профессор Пьеро Сраффа.

17 августа 1934 года в Париже был подписан Пакт о единстве действий коммунистической и социалистической партий Италии. Делегации обеих партий отметили, что разногласия по вопросам теории, методов работы и тактики препятствуют организационному слиянию партий, однако эти разногласия не могут быть помехой сплочению и единству народных сил в борьбе против фашизма и войны. Сраффа в общих чертах рассказал о подготовке к VII конгрессу Коминтерна, о наметившейся ориентации на создание широкого антифашистского народного фронта.

— Наконец-то! — воскликнул Грамши. На его изжелта-бледном лице выступил румянец.

15 декабря 1934 года полномочный представитель СССР в Италии В. П. Потемкин посетил Муссолини. Это был традиционный прощальный визит главе правительства перед отъездом аккредитованного дипломата в другую страну: Потемкина назначили

полпредом СССР во Франции. Потемкин твердо решил использовать визит для разговора о судьбе Грамши и примерно за неделю до этого передал Татьяне Аполлоновне просьбу срочно зайти к нему.

— Уезжаю, Татьяна Аполлоновна. Сожалею, что не довел наше дело до конца.

— Я уже слышала о вашем отъезде,— грустно сказала Татьяна Аполлоновна.— И Грамши знает. От меня. Он вам так доверял.

— Не оправдал доверия,— невесело усмехнулся Потемкин.— Если бы зависело от меня... Обещаю, как бы ни сложилась прощальная беседа с Муссолини, напомнить ему о Грамши, решительно напомнить. Поэтому и пригласил вас зайти. Посвятите, пожалуйста, в детали сегодняшней обстановки. Нужно быть во всеоружии. Муссолини любит ловить на мелочах, подчеркивая свою осведомленность... Но прежде о предшествующих попытках обмена Грамши на, скажем, подходящих разных лиц. В аппарате полпредства мне подготовили соответствующую справку. Не исключено, однако, что какие-нибудь детали упущены. Поэтому прошу вас, Татьяна Аполлоновна, рассказать все, что вам известно по данному вопросу.

— Я затрудняюсь, Владимир Петрович, о многом я только слышала... Но если вы считаете, что это нужно... Первая попытка улучшить положение Антонио, как мне рассказывали, была сделана в июле двадцать восьмого года. После спасения генерала Нобиле советские моряки были очень популярны в Италии. Экипаж ледокола... этого знаменитого...

— «Красина»?

— Да, да, «Красина». Антонио рассказывал, что он был немного знаком с ним... Боже, какая я бестолковая — не с ледоколом, конечно.

Потемкин улынулся.

— Я знаю, что Грамши встречался с покойным Леонидом Борисовичем. Так что же экипаж ледокола?

— Кажется, обратился к Нобиле с просьбой, чтобы он ходатайствовал перед Муссолини об освобождении Грамши, ибо Грамши очень болен и может умереть в тюрьме. Но момент был неподходящий: после катастрофы с дирижаблем Муссолини и слышать не хотел имени Нобиле. Потом были еще две-три попытки, в том числе и через Ватикан... Ничего не вышло, вы знаете. Наконец, последние переговоры с итальянским посольством в Москве.

— Да. Боюсь, Муссолини не желает выпускать Грамши из своих рук. Перейдем к сегодняшнему дню. Как здоровье товарища Грамши и какова, на ваш взгляд, наша программа-минимум? Программа-максимум, разумеется,— полное освобождение, на котором я и буду настаивать. Нужно подготовить несколько вариантов в зависимости от того, как сложится беседа. Ну-ну, успокойтесь, дорогая Татьяна Аполлоновна. Все-таки кое-чего мы добились и добьемся еще, не сомневаюсь.

Последние месяцы Татьяна Аполлоновна находилась в непрерывном нервном напряжении. Известие об отъезде Потемкина, который сделал несколько реальных попыток, чтобы облегчить судьбу Грамши, ее очень расстроило. Но она взяла себя в руки.

— Постараюсь возможно короче ответить на ваш вопрос, Владимир Петрович. Месяц назад Антонио получил так называемую условную свободу. Это произошло на основании статьи сто семьдесят шестой уголовного кодекса и статьи сто девяносто первой тюремного устава. Видите, какая я стала законница,— попыталась улыбнуться Татьяна Аполлоновна.— Мы очень ждали условной свободы, но оказалось... Жизнь Грамши не стала легче, Владимир Петрович. В клинике установлен пост карабинеров. Полицейские в форме и в штатском не спускают с него глаз. Полиция боится похищения Антонио в автомобиле с митральезами¹...

— Даже с митральезами? — усмехнулся Потемкин.

— Это у них идея фикс, Владимир Петрович. Так что надзор еще как бы усилился. А он едва может ходить, не в состоянии писать. Он очень, очень болен. Я ведь врач, плохонький, но врач—и вижу. Если бы вы знали, Владимир Петрович, как Антонио хочет поправиться, чтобы работать, бороться. Как он страстно мечтает попасть в Москву

¹ Митральеза — французское название пулемета (в прошлом веке митральеза — многоствольное скорострельное оружие).

и даже строит планы на будущее, хотя и не верит, что будущее придет. Не верит, но заставляет себя верить. А в клинике Кусумано... в клинике его не лечат, а если не лечат, это значит медленно убивают, не берусь судить по чьей воле, но убивают... Извините, я говорю путано, повторяюсь.

15 декабря во время прощального визита, воспользовавшись поворотом разговора, Потемкин напомнил Муссолини о том, что в одной из предыдущих встреч он обратился к премьер-министру с заявлением о Грамши.

— Я по своей инициативе ставил перед вами вопрос о возможности освобождения Антонио Грамши из тюрьмы,— сказал Потемкин.

— А... вот о чем,— отозвался Муссолини.— Должен сказать, что эта птица залета в клетку на много лет.

— Мне известно, что Грамши тяжело болен.

— Если это верно, я попрошу прокурора перевести осужденного в тюремную больницу.

Потемкин, не выдавая своего недоумения, внимательно посмотрел на Муссолини. Зачем дуче этот странный тактический ход? Ведь он отлично знает о переводе Грамши в тюремную клинику, но почему-то делает вид, что не знает. «Только не дать Муссолини уклониться от темы разговора»,— подумал Потемкин и твердо сказал:

— Мы могли бы обменять Грамши... По вашей личной просьбе мы освободили из-под ареста одного чиновника вашего посольства в Москве, занимавшегося деятельностью, мягко говоря, несовместимой с его служебным положением.

— Не будем вспоминать, господин посол, дела давно минувших дней.

Потемкин видел, что Муссолини всячески уходит от ответа на прямо поставленный вопрос, и все же продолжал настаивать.

— Антонио Грамши как мыслитель, выдающийся литератор-публицист, как борец за свободу и патриот известен не только в Италии. Он представлял в Коминтерне коммунистическую партию своей страны, легальную партию.

— Нет! — сказал с раздражением Муссолини.— Нет! Я бессилен перед законом. Осужденный опасен своими идеями коммунизма, чуждыми и несовместимыми с основами фашизма.

— Мне кажется,— сдержанно заметил Потемкин,— что для вас Грамши как политический узник, привлекающий к себе внимание общественного мнения, представляет большую опасность, чем если бы он был на свободе.

— Когда вы уезжаете, господин посол? — спросил Муссолини, вставая.

— Дня через два после вручения своих отзывных грамот, господин председатель.

Аудиенция заканчивалась, Муссолини явно дал понять, что не намерен продолжать разговор о Грамши. Но всегда корректный Потемкин, даже нарушая дипломатический этикет, решил быть максимально настойчивым.

— У этой проблемы есть, если так можно выразиться, еще один аспект. Жена Грамши, русская женщина, со своими двумя маленькими сыновьями Делио и Джулио живет в Москве. Дважды обращалась она к итальянским властям с просьбой разрешить ей свидание с мужем и дважды получала отказ.

— Возможно,— сухо ответил Муссолини.— Находясь во Франции, господин посол, не забывайте Италию. И не верьте французам. О, это нация хитрецов. Ваше правительство делает ошибку, идя на сближение с Францией.

По дороге в полпредство Потемкин обдумывал только что закончившуюся беседу. О судьбе Грамши он напомнил достаточно твердо и решительно, это не должно пройти бесследно. Что касается эскапа дуче в адрес Франции, то Потемкин не придавал им значения, имея точную информацию о франко-итальянских переговорах, которые действительно через несколько месяцев завершились подписанием соглашения Лавалья—Муссолини. Это соглашение разделило сферу влияния двух государств в Африке и было предвестником разбойничьей войны Италии с Эфиопией.

Атмосфера в фашистской Италии накалялась. В обстановке военного психоза узник, неподвижно лежащий на тюремной койке, был причиной постоянного беспокойства властей, о чем свидетельствует Татьяна Шухт.

Год 1935. 15 февраля. «Вот уж около трех недель как среди служащих полиции, как местной, так и в полицейском отделении министерства внутренних дел, чувствуется

какое-то сильное волнение в смысле появления особой бдительности в надзоре: различного рода бесед комиссара полиции с лицами, содержащими клинику, приезда два раза из Рима главного инспектора полиции... два приезда за три дня... Установление нового караула карабинеров, увеличенного в два раза (не считая экстренных приходов начальства), количество полицейских и установление ночного присутствия двух агентов.

Задавали вопросы директору клиники, нельзя ли подплыть на подводной лодке к берегу, или прилететь на аэроплане, или подъехать с пулеметами на автомобиле и увезти Антонио? Все это разговоры, конечно... Но факт тот, что надзор, можно сказать, удешевляли, и так как это дело обходится очень дорого, то можно ожидать и того, что решат без всякого суда, просто административным порядком вновь водворить Антонио... в тюрьму. В последний раз из Формии в Рим до самого дома меня провожал полицейский и провел в Риме целых три дня, следя неусыпно за всеми моими движениями... Антонио просил написать тебе, что со всем этим мое положение тоже становится трудным и меня могут выслать в двадцать четыре часа, а ведь я единственное его звено с внешним миром.

25 мая. «Антонио стало хуже... Пришел отрицательный ответ из министерства насчет перевода в другую больницу... Я стала плакать, так что ему пришлось меня успокаивать.

Сам он молчит, читает и всегда готов вести беседу на какую бы то ни было политическую, научную или историческую тему, при этом он действительно живет. Как он был огорчен, если бы знали, несчастьем с «Максимом Горьким»². Я была потрясена его отзывчивостью. Я ему, конечно, передам постановление ЦК о постройке других трех великанов, думаю этим его сильно порадовать...

Иногда случается, что он свистит или мурлыкает какую-нибудь песенку. Он знает также кое-какие русские песни...»

Осенью 1935 года начались военные действия против Эфиопии. К концу года в итальянской армии было почти полмиллиона человек. Но еще несколько месяцев инициатива находилась в руках эфиопских войск. Только 5 мая 1936 года итальянские войска заняли столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

Все эти новости дошли до Грамши уже в клинике «Куисисана» в Риме, куда его перевели в августе 1935 года.

Еще одно известие, и известие волнующее, привез в «Куисисану» верный друг Пьеро Сраффа. С трибуны недавно завершившегося VII конгресса Коминтерна прозвучало и имя Грамши. «Братья по оружию! — сказал основной докладчик Георгий Димитров, обращаясь к А. Грамши, Э. Тельману и другим узникам фашистских тюрем. — Вы не забыты. Мы с вами.

Грамши ничего не сказал, но в его глазах мелькнул свет, которого Пьеро Сраффа и Татьяна у него давно не видели.

Утром в клинику пришли двое электромонтеров с мотками тонкой проволоки.

— Проводят радио,— объяснил карабинер.— Приказ. Завтра в Риме дуче скажет речь.

К утру 5 мая на стене его комнаты висела большая черная тарелка репродуктора. Довольно долго тарелка извергала невнятные шумы и хрипы, затем, словно репродуктор прочистил глоток, отчетливо прозвучал мужской голос. Грамши прислушался. Нет, это еще не Муссолини. Торжественно, с пафосом говорил диктор:

«Сегодня мы празднуем взятие Аддис-Абебы — столицы Эфиопии. Этой победы мы ждали сорок лет. И вот она, великая победа!.. В эти минуты на главные площади итальянских городов идут колонны людей, торопясь занять предназначенное им место до сигнала... Слышите, сигнал! Он требует тишины... Дуче выходит на балкон палатцо Венеция...»

Из репродуктора раздался рев толпы. Затем воцарилась тишина.

«Я заявляю итальянскому народу и всему человечеству, что мир восстановлен!..»

² Имеется в виду авиационная катастрофа, происшедшая над Центральным аэродромом в Москве. Во время демонстрационного полета многомоторный самолет-гигант «АНТ-20» «Максим Горький» столкнулся с истребителем.

Вот это уже сам Муссолини. Грамши слушал не без любопытства, отчетливо представляя гримасничающего оратора.

«Речь идет о нашем мире, римском мире, который заключается в простом и необратимом утверждении: Эфиопия принадлежит Италии!»

Снова оглушающий рев толпы...

Еще несколько дней висела черная тарелка, извергая ликование...

Король Виктор Эммануил срочно наградил Муссолини большим военным орденом Савойи — высшей военной наградой — за то, что он «подготовил и выиграл самую крупную колониальную войну, которую знает история». Это было явным преувеличением, но фашизму требовались «масштабы».

9 мая заседал большой фашистский совет. Сразу после заседания Муссолини вышел на балкон и зачитал декрет о превращении Италии в империю и добавлении к титулу итальянского короля титула императора Эфиопии. Закончил свою речь Муссолини так: «Поднимите ввысь, о легионеры, ваши знамена, ваше оружие, ваши сердца, чтобы приветствовать через пятнадцать веков восстановление империи на указанных судьбою холмах Рима».

Через недолгое время Лига Наций приняла решение о прекращении экономических санкций против Италии, что де-факто означало признание капиталистическими державами захвата Эфиопии.

Казалось, фашистский режим прочно держит в руках все нити управления государством. Но именно в момент кажущегося громогласного успеха в Италии все отчетливее стали проявляться признаки общественного протеста, который позднее привел к мощному движению Сопротивления. Даже весьма ограниченная и профильтрованная информация, поступавшая к Грамши в тюрьму, позволяла воспроизвести общую картину. Мог ли Муссолини представить, что в дни его триумфа где-то в жалкой тюремной клинике человек, в котором едва теплится жизнь, трезво, как опытный шахматист, анализирует и взвешивает возможные варианты, видит в, казалось бы, неприступной позиции роковые слабости, неизбежно ведущие к краху фашизма?

Демагогия может оглушить, усыпить, загипнотизировать, но рано или поздно приходит усталость от трескучих фраз, приходят сомнения и в конечном итоге прозрение.

После клиники Татьяна Аполлоновна зашла еще в лабораторию за результатами медицински~~х~~ анализов и только потом направилась домой. Кончался холодный ясный день, какие нередко бывают зимой в Риме; в сгущающихся сумерках голые ветви платанов казались множеством узловатых рук, воздетых в горестной жалобе к небу. Татьяна Аполлоновна смертельно устала, с трудом поднималась по лестнице в свою комнату, мечтала лишь лечь и уснуть. Посидев с четверть часа бездумно, не двигаясь, встала, зажгла спиртовку, поставила на нее кофейник и, прежде чем сесть за письмо родным в Москву, попыталась собраться с мыслями.

Ожидание приезда в Рим Юлии с детьми сменилось недоумением и горечью. Недавно наконец выяснила, какова истинная, а не выдуманная причина неопределенных, уклончивых ответов сестры. Недомолвки между горячо любящими людьми были желанием уберечь друг друга от лишней боли, а в результате причиняли обоим сторонам душевную травму.

О недомогании Юлии она знала давно. Естественно, знал и Грамши. Эта тема затрагивалась в письмах многих лет. Но речь шла о нервном истощении — состоянии более чем понятном и объяснимом психическим напряжением, которое возникло у молодой женщины после ареста мужа и не ослабевало с годами его заключения. Грамши в письмах осторожно пыгается помочь Юлии Аполлоновне преодолеть своеобразный психологический барьер, ласково и настойчиво внушает жене уверенность в ее внутренней силе. «...ты всегда была гораздо сильнее, чем сама предполагаешь... ты недооцениваешь своей собственной силы».

На исходе 1936 года из Москвы пришло подробное письмо. Врачи категорически запрещают Юлии поездку, нервное напряжение неминуемо спровоцирует приступ болезни.

Татьяна Аполлоновна попыталась смягчить грустную новость. Грамши молча выслушал ее сбивчивую речь, потом попросил:

— Прочитай письмо вслух, Танечка.

Она растерялась, сказала, что забыла письмо дома. Грамши молчал. В следующем письме жене он уже не упоминает о приезде.

Последнее время Татьяна Аполлоновна научилась выносить на волю копии писем Грамши. Это письмо, по-особенному ласковое и нежное, она знала наизусть.

«5 января 1937 г.

Дорогая Юлька..

Твои письма я перечитываю много раз: сначала так, как читаются письма самых дорогих нам людей, так сказать, без определенной цели, то есть лишь с чувством нежности к тебе; затем я их перечитываю «критически», стараясь угадать, как ты себя чувствовала в тот день, когда ты писала мне, и т. д.; я обращаю внимание также и на почерк, на то, насколько уверенно водила пером рука, и т. д. Словом, я стараюсь извлечь из твоих писем все возможные сведения и уловить все, что в них может быть заключено.

Ты прекрасно пишешь о детях, и мои постоянные жалобы объясняются тем, что никакие впечатления, даже твои — Юльки, которую я ощущаю как часть меня самого, — не могут заменить непосредственных, живых впечатлений; если бы я имел возможность видеть детей воочию возле себя, я, несомненно, нашел бы в них что-то новое, другое. Да и сами мальчики были бы, наверное, другими. Ты не находишь? Совершенно «объективно».

Дорогая, я хочу, чтобы ты обняла за меня маму и передала ей вместе с моими добрыми к ней чувствами наилучшие пожелания по случаю дня ее рождения. Мне думается, что ты всегда знала, насколько мне трудно (а мне это очень трудно) выказывать свои чувства, этим ведь и объясняются многие тяжкие недоразумения. В итальянской литературе писали, что если Сардиния — остров, то каждый сардинец — остров на этом острове.

Дорогая, обнимаю тебя со всей нежностью.

Антонио».

Кофейник настойчиво забулькал. Потушила спиртовку, налила в чашку черную, как деготь, жидкость (Татьяна Аполлоновна из-за больного сердца старалась не пить крепкий кофе, но сегодня дело особое — надо побороть усталость), накрыла кофейник цветастой русской бабой (московский подарок), обжигаясь, торопливо сделала несколько глотков и приступила:

«Рим, 16 февраля 1937 г.

Дорогая Юлечка,

мне очень жаль, что с этой почтой Антонио не может написать тебе письмо, вот уже больше трех недель, как он стал чувствовать сильное недомогание, страдает сильными головными болями, бессонницей... И вот уже две недели как он не встает с постели...

Сегодня когда я пришла в клинику в двенадцать часов, Антонио не слышал, как я вошла, и лежал пластом, так прошло около получаса, пока я закашлялась, и он тогда сразу отозвался и очень жалел, что я не позвала сразу, как пришла. У него сегодня страшная головная боль. Когда принесли обед и я стала ему помогать есть, он опять-таки выразил сожаление о том, что я его не позвала раньше. Этим он хотел сказать, что мы должны были вместе сговориться о том, что я должна тебе написать от его имени, так как он не в состоянии это сделать сам.

Во-первых, он просил написать тебе о причине, вследствие которой он сам не написал тебе в этот раз. Его нездоровье. Во-вторых, сообщить... что мы сейчас ожидаем выяснения его юридического положения в связи с амнистией... по случаю рождения наследника у пьемонтского принца. До настоящего дня еще не был напечатан декрет по этому вопросу. Но как бы то ни было, положение Антонио должно измениться. И вот в связи с этой какой бы то ни было переменной своего положения он просил меня написать тебе...»

Предстоит самое трудное — сообщить в письме в Москву о тяжелой болезни Грамши, сообщить всю правду. Более двух лет Грамши не выходит из своей комнаты, малейшее физическое усилие вызывает нарушение сердечной деятельности, почти

всегда держится повышенная температура. Татьяна Аполлоновна не может больше ничего утаивать.

«Теперь о детях. Жаль, что от них нет письма. Антонио... сказал мне, что он все-таки думает, что сможет их увидеть раньше, чем прекратится его жизнь. Он говорит, что убежден, что недолго будет жить...»

Татьяна Аполлоновна пытается оспорить трагическую определенность сказанного: «Эти слова его, конечно, не должны означать, что сейчас жизнь Антонио находится в опасности. Это абсурд», — но сама понимает, что это не абсурд. Надеяться на выздоровление можно только при радикальной перемене в жизни больного. Грамши обдумывает разные варианты, которые могут возникнуть после отбытия срока тюремного заключения. Намечены планы, условно говоря, основной и резервный. Основной — подать прошение о выезде к больной жене в Москву с приложением медицинских заключений советских и итальянских врачей. В случае неудачи Грамши решает заявить о согласии подвергнуться высылке на родину в Сардинию. «Антонио считает, что будет гораздо легче бежать с Сардинии, чем из Италии», — сообщает Татьяна Аполлоновна 24 марта Жене и предупреждает: — Об этом нельзя заикаться, чтобы не началась болтовня».

В этом же письме есть две фразы, очень важные для понимания нечеловеческих усилий, которые делает Грамши в надежде выстоять: «Антонио считает своим долгом сделать все, чтобы восстановить свое здоровье, свою работоспособность. Эта мысль его всегда преследует».

24 марта Татьяна Аполлоновна пишет также и Юлии. Ни слова о поездке в Италию, с этим уже все ясно, основное в письме — сообщение о пребывании в Риме Пьеро Сраффы: «Антонио в эти дни имеет большую радость — приехал его навестить его друг Пьеро... и вот сегодня 3-й день у Антонио визит утром и вечером. Как он счастлив видеть человека, с которым можно беседовать. Меня бесконечно трогает его удовольствие... ему так много хочется рассказать и самому услышать. Беседы эти его, конечно, очень утомляют, но это для него больше, чем воздух, которым он дышит...»

Одной из тем бесед, если не главной, были события в Испании.

Несколько тысяч итальянских добровольцев сражались в рядах республиканских войск. Среди них многие соратники Грамши...

В составе 1-й интернациональной эскадрильи военно-воздушных сил Испанской республики на самолете «Потез-54» воевал внук гарибальдийца, бывший туринский механик Примо Джибелли. 31 декабря 1936 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

После десятидневных боев под Гвадалахарой экспедиционный корпус Муссолини потерпел жестокое поражение. В числе других частей республиканской армии под Гвадалахарой сражалась батарея «Антонио Грамши». До Гвадалахары в послужном списке батареи уже числилось наступление на Теруэль, сражение под Поркуной. Позднее к списку прибавились сражения под Брунете, Вильянуэва-дель-Пардильо и другие.

Сраффа уехал, пообещав скоро снова увидеться. Грамши покачал головой, но ничего не сказал. Сил становится все меньше и меньше. Грамши прощается с женой и сыновьями:

«Дорогой Делио,

чувствую себя немного уставшим и потому не в состоянии писать тебе много. А ты пиши мне по-прежнему обо всем, что тебя интересует в школе. Я полагаю, что и ты любишь историю, как любил ее я в твои годы: ведь история повествует о живых людях, а все то, что касается людей, — возможно большего числа людей, всех людей мира, которые объединяются между собой в общество, и трудятся, и борются, и совершенствуются, — не может не интересоваться тебя прежде всего остального. Но так ли это?

Обнимаю тебя.

Антонио».

Благодаря нескольким амнистиям срок его заключения истек 23 апреля 1937 года.

Днем 25-го Татьяна Аполлоновна принесла в клинику документ об освобождении, подписанный канцелярией надзора римского трибунала.

— Я попрошу полицейского комиссара зайти сюда,— радостно сказала она. Грамши спокойно полистал документ.

— Сначала поужинаем.

Он поужинал как обычно — поел немного вареных фруктов и кусочек булки.

Юридически Грамши был уже свободным человеком. И тогда судьба наносит свой последний удар. Кровоизлияние в мозг, паралич левой стороны тела. Мозг еще продолжает работать, больной в полном сознании. Приходит священник, костенеющим языком Грамши требует, чтобы он удалился.

Последние часы борьбы за жизнь. Окончилась ночь, и окончилась жизнь. Смерть наступила в 4 часа 10 минут 27 апреля 1937 года.

Татьяна и брат Антонио Карло хлопочут о похоронах. У гроба Грамши только они двое и многочисленные агенты полиции. Антонио Грамши стерегут даже после смерти.

Десять лет Татьяна Аполлоновна Шухт самоотверженно пыталась чем возможно облегчить участь узника. Сейчас эта хрупкая, болезненная, но бесконечно мужественная женщина вступила в борьбу за память дорогого человека. Ей удается получить разрешение снять с Грамши посмертную маску. Ей мы обязаны спасением «Тюремных тетрадей» Грамши, драгоценного наследия, оставленного им партией, итальянской культуре, международному рабочему движению.

Итальянские газеты поместили краткое сообщение о смерти Грамши (во всех газетах был одинаковый текст, утвержденный цензурой). Но цензура не была властна над газетой коммунистов, газетой Грамши. Вышел специальный номер «Униты». Со страницы газеты смотрел Грамши, каким он был до тюрьмы, каким он остался в памяти миллионов.

«Дорогая... Ты, запомнившая так много из прошлого,— помнишь ли ты, как я говорил тебе, что «иду на войну»? Быть может, это говорилось не очень серьезно, но по существу это было очень серьезно, я чувствовал, что это именно так. И я тебя очень, очень любил. Будь сильной...»

ЭПИЛОГ

Весной 1972 года автор этих строк жил и работал в писательском Доме творчества под Москвой, почти рядом с санаторием, в котором находилась Юлия Аполлоновна. Часто навещал ее. В один из погожих апрельских дней подошел к знакомому трехэтажному зданию. У подъезда стояла машина, непривычно толпились люди. Распахнулась входная дверь, в сопровождении главного врача вышли корреспондент газеты «Унита» в Советском Союзе Карло Бенедетти и еще двое.

— Товарищ приехал из Италии к Юлии Аполлоновне. С письмом от Луиджи Лонго,— торопливо пояснил Бенедетти.— Извините, пожалуйста, мы очень опаздываем.

— Как фамилия товарища?

— Тромбетти.

Услышав свою фамилию, уже сидевший в машине Тромбетти приветливо помахал рукой. Машина тронулась. Я смотрел вслед и не мог прийти в себя от волнения: Тромбетти, легендарный Густаво Тромбетти, тот самый рабочий, который ухаживал в тюрьме за тяжело больным Грамши, помог спасти «Тюремные тетради», который обещал Грамши передать привет его жене...

Дверь в комнату Юлии Аполлоновны была открыта. На столе в кувшине пламенел огромный букет ярко-красных цветов. Кажется, это были канны, но очень крупные. Похоже, цветы самолетом доставили из Италии. А на кровати сидела счастливая Юлия Аполлоновна.

Через несколько дней газета «Унита» напечатала репортаж о посещении Юлии Аполлоновны с дословным изложением взволнованной речи Тромбетти:

«Дорогая товарищ Джулия!

Я знаю тебя давно. В те долгие дни, когда мы с Грамши сидели в одной тюремной камере, он ежедневно рассказывал мне о тебе, о маленьких Делио и Джулио.

Я был рядом, когда ему не удавалось заснуть и он мучился и страдал от тысячи перенесенных унижений.

Я как мог старался помочь ему, понимал его желания. Он говорил, что ты всегда волновалась за него и за детей, но держалась мужественно как никто.

И вот через столько лет я приехал сюда повидаться с тобой и передать тебе письмо от товарища Лонго и букет красных цветов — скромный подарок от руководства нашей партии.

Я приветствую тебя от имени миллионов и миллионов итальянцев, которые в память об Антонио борются за новую Италию, за социализм».

«После этих слов,— пишет «Унита»,— последовало долгое, взволнованное объятие и крепкое рукопожатие Джулии и товарища Густаво Тромбетти, ветерана нашей партии, который был приговорен специальным трибуналом к 10 годам заключения и прожил с Грамши девять месяцев в тюрьме в Тури».

Густаво Тромбетти обещал узнику передать привет его жене. Долго шел привет. Четыре десятилетия. И все-таки пришел! Привет от Грамши!..

«...обратимся, если можем, душой и стремлениями к примеру этой жизни... Пусть гордятся рабочие, пусть гордится передовая интеллигенция тем, что основателем их партии был один из самых могучих умов современной Италии.

Пусть каждый из нас своим трудом в меру сил способствует успеху дела, которое им было не только начато... пусть ведет нас воспоминание о Великом, который жил в грозу, но сквозь грозу заставлял звучать свой спокойный голос мыслителя, показав высокий пример несокрушимой воли человека действия.

Он оставил самый глубокий след. Семя, брошенное им, уже принесло плоды» (Пальмиро Тольятти).



В МИРЕ НАУКИ

Б. КУЗНЕЦОВ



СХОДЯЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ

Еще об Эйнштейне и Достоевском

В 1955 году, после смерти Эйнштейна, под ее впечатлением хотелось при изложении теории относительности и других фундаментальных физических идей выразить то ощущение утраты, которое почувствовали очень широкие круги людей во всех странах мира. Вспомнилось, как в 1910 году после смерти Толстого Леонид Андреев выразил сходное ощущение в небольшом этюде «Смерть Гулливера»: при жизни Гулливера лилипуты слышали по ночам стук его сердца, который вселял в них какую-то уверенность, исчезнувшую, когда сердце гиганта замолкло. Эйнштейн был первым естествоиспытателем, чья смерть вызвала у человечества подобные ощущения. Но Эйнштейн передал современникам и следующим поколениям очень высокую уверенность в мощи и необратимом движении разума, его идеи принадлежат к числу тех творений интеллекта, которые, как он писал в статье к двухсотлетию смерти Ньютона, «на протяжении веков озаряют мир светом и теплом»¹. И все же факт остается фактом: жизнь Эйнштейна вызвала среди современников беспрецедентный не только интеллектуальный, но и эмоциональный резонанс.

Этот факт как-то связан с основными чертами современной культуры, с современными моральными идеалами, с общественной психологией, со всем внутренним миром нашего современника. В поисках этих связей мысль неизбежно переходит к тому, что соединяет содержание, стиль, темп, применение современной науки с художественной литературой, этим воплощением неотделимых друг от друга разума и совести человечества. Поэтому казалось важным вдуматься в известную фразу Эйнштейна: «Достоевский дал мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс». Что дал Достоевский Эйнштейну? Проблема здесь не столько биографическая, сколько историко-культурная: речь идет о соотношении логико-математического и экспериментального исследования мира, с одной стороны, и его эстетического постижения — с другой.

Сейчас, к столетию со дня рождения Эйнштейна, эта проблема расширилась. Речь идет теперь не только о жизни Эйнштейна и его смерти, но также о его бессмертии, об истоках мировоззрения; о посмертной, можно с уверенностью сказать — бесконечной эволюции идей. Хочется понять, что произошло, чем был Эйнштейн для человеческой культуры, каков — выходящий за рамки науки — вклад его в необратимое развитие цивилизации. Чем был Эйнштейн для космологии, атомной физики, физики элементарных частиц — ответ на этот вопрос, по-видимому, никогда не будет исчерпывающим, в него вносит некоторую новую констатацию чуть ли не каждый номер любого физического или технического журнала. Но Эйнштейн — это не только историко-научный феномен, но и общ исторический. Он изменил не только представления о пространстве, времени, движении, энергии и массе, но также стиль человеческого мышления о мире и методы преобразования мира. За четверть века, прошедшую после смерти Эйнштейна, выросло не только применение его идей, но и их общекультурный резонанс. Поэтому сейчас хотелось бы добавить некоторые соображения к тому, что было

¹ Альберт Эйнштейн. Собрание научных трудов. М. «Наука». 1967, т. IV, стр. 78.

сказано в свое время по поводу приведенной выше фразы Эйнштейна о Достоевском и других его замечаний о писателе². В основном эти соображения — о роли русской художественной литературы в споре рационализма и иррационализма. Одна из книг «Братьев Карамазовых» называется «Pro и contra». По существу, в этой книге ведется спор — pro и contra, за и против, — о рационализме. Что внесла наука, что внес Эйнштейн в спор, который происходил в художественной литературе и до Достоевского и после него? Что вносит в этот спор современная наука?

В 60—70-е годы появилось немало новых стимулов и новых данных, заставляющих вернуться к указанному вопросу. В обширной литературе об Эйнштейне и в литературе, посвященной теории относительности и современной физике в целом, все чаще и шире анализируется значение науки для жизни людей, для конкретных жизненных ситуаций, которые всегда были и всегда будут объектом художественного воспроизведения. Навстречу этой тенденции идет другая, в рамках самой художественной литературы и литературоведения: художественная литература и посвященные ей исследования все чаще и во все более обобщенной форме показывают коллизии научного творчества, поднимаясь от отдельных экскурсов к интегральной демонстрации связи науки, морали и эстетики. И наконец, происходит эволюция представлений об исторической роли творчества Достоевского. Литература о Достоевском все точнее показывает связь его творчества с общим направлением русской и мировой культуры и преемственность всей русской литературы XIX века.

Сопоставление Эйнштейна и Достоевского не может не выявлять современные оценки того и другого. Для Эйнштейна такое сопоставление выводит на авансцену наряду с позитивными результатами нерешенные проблемы — проблемы связи космологии с микромиром, которым мыслитель уделял так много внимания и сил в последние десятилетия своей жизни. Для Достоевского сопоставление с Эйнштейном также выдвигает на первый план не позитивные решения (чаще псевдорешения), которых так много в «Дневнике писателя», а вопросы, на которые писатель не получил ответа и которые содержатся в самой поэтике, в самой художественной ткани произведений. Можно провести некоторую аналогию между этими вопросами. Эйнштейн писал в автобиографическом очерке 1949 года, что недостатком теории относительности представляется то, что ее нельзя вывести из микроструктуры бытия. Творца теории относительности, этой стройной схемы мироздания, не удовлетворяла независимость схемы от того, что происходит в мире элементарных частиц. Основной философский смысл художественного творчества Достоевского состоит в защите человеческой личности от игнорирующих ее судьбу макроскопических законов. Сцена, где Иван Карамазов отказывается от любой вселенской гармонии, если она включает мучения ребенка, это не только ключ к «Братьям Карамазовым», но и ко всем произведениям писателя и к его поэтике, к этому удивительному просвечиванию космических проблем через сугубо локальную, бытовую, приземленную картину.

Что это, простая аналогия: творец теории относительности ищет ее обоснования в поведении отдельных частиц, в микромире, в атомистике, а автор «Братьев Карамазовых» ищет космическую гармонию, которая не игнорировала бы индивидуальные судьбы? Или, может быть, здесь только эмоциональная параллель между Эйнштейном с его тридцатилетними мучительными поисками единой теории космоса и микромира и Достоевским с его трагическим стоном: земля от коры до центра пропитана людскими слезами?

Нет, по-видимому, это гораздо глубже, перед нами два проявления единой и крайне фундаментальной линии духовного развития человечества. Обратим внимание на одну деталь кульминационной сцены, о которой шла речь. Во время встречи с Алейшей Иван Карамазов говорит: «Между тем находились и находят даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее, — все бытие было создано лишь по евклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по

² См.: В. Г. Кузнецов, Эйнштейн. Жизнь, смерть, бессмертие. М. «Наука». 1972, стр. 503—555; В. Г. Кузнецов, «Образы Достоевского и идеи Эйнштейна» («Вопросы литературы», 1968, № 3).

Эвклиду ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет бога: есть ли он или нет? Все это вопросы, совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях».

Откуда здесь неевклидова геометрия? Вопрос, разумеется, не о том, каким путем Достоевский узнал о неевклидовой геометрии. Заметим в скобках, что скорее всего он узнал о ней от московского физика профессора Н. А. Любимова, который еще в те годы говорил о парадоксальных геометрических построениях Лобачевского и Римана как о возможно более точном отображении действительности. Во всяком случае, для Достоевского неевклидова геометрия если и была символом парадокса, то символом не просто математического, но космического парадокса, описанием реальной вселенной, где параллельные линии сходятся, где сумма углов в треугольнике больше двух прямых углов и т. д. Как известно, именно такова геометрия мира Эйнштейна. Все дело в том, что Эйнштейн не был удовлетворен чисто космической, игнорирующей законы микромира схемой. Для Достоевского неевклидова геометрия, то есть самая парадоксальная космическая гармония, неприемлема, если она игнорирует судьбы индивидуумов. И здесь начинается величайший взлет обобщающей мысли, весьма характерный для художественной литературы XIX века.

Это тема человеческого страдания, за которой, как мы вскоре увидим, Эйнштейн увидел еще более фундаментальную проблему — человеческого духовного бытия. В этом отношении полтора десятка лет, с 1866 по 1880 год, когда вышли основные философские романы Достоевского, были временем большого идейного перелома. Человечество стало старше. Оно не сразу могло дать себе отчет в том, что, собственно, произошло. Уже приведенная фраза «земля от коры до центра пропитана людскими слезами» — ведущий мотив романов Достоевского. Это не вывод из статистических таблиц, напротив — он противопоставляется таблицам. Это и не непосредственные впечатления: речь идет не только об отдельных людях, а о человечестве. Но человечество существует в каждом отдельном человеке, социальные и моральные проблемы раскрываются в рамках психологии героя, в образе, в эстетическом обобщении. Итог рационалистической мысли — космическая гармония неприемлема, если она игнорирует индивидуальную судьбу, — мог быть сформулирован именно в эстетическом обобщении, сохраняющем неповторимость, суверенную ценность индивидуального образа.

Романы Достоевского — это страшный крик, который прорезал ночь, и теперь уже никто не может уснуть. Здесь слились как будто все стоны земли, плач детей, подвергающихся истязаниям, бормотание людей, обезумевших от горя, и панические восклицания перед угрожающим безумием. Все это слилось, но мы можем различать каждую ноту в крике отчаяния, каждое всхлипывание плачущего ребенка. Этот крик боли, жажды гармонии, вошел в историю человеческой культуры как вопрос, обращенный к XX столетию.

Вернемся к беседе Ивана Карамазова с Алешей. Отказавшись от «неевклидовых» проблем и от проблемы бытия бога, Иван Карамазов сразу же не удерживается от стремления к такой позиции, говорит о неевклидовой гармонии: «...верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в слово, к которому стремится вселенная и которое само «бе к богу» и которое есть само бог, ну и прочее и прочее, и так далее в бесконечность», — но, допуская ее существование, он отказывается принять ее. Неевклидова космическая гармония не является моральной гармонией.

«Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческого противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнуснейшее измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми. — пусть, пусть все будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять!»

Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу: увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму».

Я уже говорил, что речь пойдет о более глубокой проблеме, которую Эйнштейн увидел за проблемой страдания. Это проблема бытия, непосредственно связывающая художественную литературу XIX века с исторической подготовкой неклассической науки. Возьмем некоторую гармоничную схему, не заполненную какими-то неигнорируемыми индивидуальными событиями. Существует ли реально такая гармония, не является ли она пустым и притом скучным призраком?

У Достоевского есть очень неожиданный и глубокий образ скучной и призрачной вечности. В «Преступлении и наказании» Свидригайлов говорит Раскольникову:

«Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, здак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится».

Целое, где элементы игнорируются, перестает быть реальным. Достоевский постоянно возвращается к распаду целого на не связанные с ним, игнорируемые элементы и к призрачности такого целого. Многочисленные замечания о городе-фантоме, о городе, который кому-то приснился и может вдруг исчезнуть, основаны на подобных констатациях. Целое, лишённое подлинной (то есть не игнорирующей индивидуальную судьбу) гармонии, призрачно.

У Достоевского защита индивидуального бытия человека включает впечатление, что бытие, оторванное от «общей всеобъемлющей мысли», призрачно, и невероятно острый протест против «термодинамического», статистического игнорирования индивидуальных судеб. Такое игнорирование лишает вселенную действительного бытия.

В «Братьях Карамазовых» мы встречаем шедевр характерного для Достоевского письма «просвечивающими красками» — краски яркие и точные, образ наиреальнейший по конкретности, и вдруг он начинает просвечивать и оказывается призрачным. Ивану Карамазову является черт. Это призрак, и Иван знает, что перед ним его собственные мысли, именно те, которые являются наиболее мучительными. Но призрак воплощен очень добротнo, его видит не только Иван Карамазов, но и читатель, видит не менее, а может быть, и более отчетливо, чем реальные персонажи. Это совсем не байроновский собеседник Каина, не величавый дух зла, это такой же конкретный образ, как свидригайловская баня, только еще более бытовой, обычный, пошлый. Черт рассказывает Ивану Карамазову о своем назначении. Его функция — отрицание гармонии. Без такого отрицания все исчезнет. Если бы на земле было все гармонично, то ничего бы и не произошло. Не было бы «происшествий», а без них вообще ничего не было бы. Жизнь, существование, реальность имеют место, когда утверждение «макроскопической» гармонии «происходит через горнило сомнений». Иначе «один бесконечный молебен», святая, бесконечная скука призрачного бытия.

У Достоевского два полюса иллюзорного бытия, каждый из которых не может стать реальным существованием без другого. Один полюс — разрозненные, распавшиеся индивидуальные жизни без объединяющей идеи, без общей «макроскопической» гармонии. Таков Петербург, город, кажущийся призраком из-за распада целого. Другой полюс — гармония целого, не включающая «происшествий», которые меняли бы всю историю вселенной и придавали бы ей некоторый необратимый характер. Подобный вечный круговорот, вечное повторение — тоже «скучища неприличнейшая» и, в сущности, является иллюзорным существованием.

Мысль об иллюзорности индивидуальных событий, не связанных в общее гармоническое целое, и о столь же иллюзорной космической гармонии, игнорирующей индивидуальные судьбы, не исчерпывает основных идей творчества Достоевского. Но, может быть, именно эта мысль в наибольшей мере привлекала Эйнштейна и, может быть, с ней связана хотя бы в некоторой мере фраза: «Достоевский дал мне больше, чем... Гаусс». Такое предположение вытекает из анализа гносеологических позиций Эйнштейна и внутренней логики его физических теорий. Что же касается прямых свидетельств в пользу этого предположения, то нам известно одно замечание Эйнштейна, сделанное в беседе с математиком Салливаном и ирландским писателем

Мэрфи. В этой беседе Салливан упомянул о Достоевском. По его мнению, основной проблемой, которой занимался Достоевский, была проблема страдания. Эйнштейн отвечал: «Я не согласен с Вами. Дело обстоит иначе. Достоевский показал нам жизнь, это верно; но цель его заключалась в том, чтобы обратить наше внимание на загадку духовного бытия и сделать это ясно и без комментариев»³.

Эта реплика бросает свет на самую основную связь идей Эйнштейна и образов Достоевского. У Достоевского во всех его основных произведениях мы находим вопрос: сохраняется ли реальная интеллектуальная и эмоциональная жизнь человека при его изоляции, при его отключении от целого?

У Эйнштейна примирение критериев истины с критериями красоты и добра текло не только и даже, вероятно, не столько из абстрактных философских концепций, сколько из свойственного художественному творчеству эмоционального подъема, сопровождающего непосредственное, чувственное познание мира. Такой подъем неустрашим даже тогда, когда он кажется алогичным. Напомним в этой связи знаменитые «клеякие листочки», о которых говорит Иван Карамзев в начале своего разговора с Алешей:

«Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтить его сердцем».

«Клейкие листочки» не укладываются в логику, но к ним привлечены глаза и сердце Достоевского. Европа, как кажется Достоевскому, — кладбище, но он любит ее той же любовью ко всему сущему, пусть алогичному, но сущему, — подвигу, человеку, голубому небу, клейким весенним листочкам.

Может ли существовать логика, в которую впишутся «клеякие листочки», в которой они потеряют свою алогичность? Может ли существовать универсальная гармония в которой не будет пренебрежения индивидуальными судьбами? Может ли рационалистическая поэтика через конкретное, поэтическое, образное видение «клеяких листочков» раскрыть рациональную мироздания?

Прежде чем перейти к этим вопросам и попытаться ответить на них, хочется вспомнить о фундаментальном разграничении физики XX века. Коллизия «линии Эйнштейна», приведшей к теории относительности, и «линии Бора», приведшей к наиболее признанной «копенгагенской» версии квантовой механики, выразилась не только в достаточно известной дискуссии между Эйнштейном и Бором. Эта дискуссия продолжается и сейчас, в новых формах; современная физика еще не достигла непротиворечивого объединения теории относительности и квантовой механики в рамках некоторой общей и единой картины космоса и микрокосма. Но здесь речь идет не о таком синтезе и не о собственно физических разногласиях, а о связанных с такими разногласиями неясных, но существенных философских и эстетических влияниях на творчество Эйнштейна и Бора. У Эйнштейна акцент стоял на поисках некоторой устойчивой системы, некоторого финала той ломки основных идей, которая началась в XX веке. Бора в значительно большей мере увлекала сама ломка классических устоев. Тут, может быть, сказались художественно-эстетические истоки мировоззрения Эйнштейна и, с другой стороны, собственно философские симпатии Бора. Эти воздействия проходят через область интуитивных ассоциаций, область неосознанных или, во всяком случае, не получивших четкой формы психологических мотиваций. Для Эйнштейна характерна психологическая настроенность, толкающая к позитивному, рационалистическому, но трансформирующемуся логосу. На этой позитивной рационалистической задаче стоит акцент. У Бора акцент стоит на ограничении логики и ее воплощения — схемы мировых линий — неконтролируемым воздействием эмпирического постижения, эксперимента. У обоих только акцент: выражение «грешить против разума» принадлежит Эйнштейну, а Бору и другим создателям квантовой механики принадлежит метод перехода от идеи неконтролируемого воздействия к представлению о рациональном, причинном мире.

³ Альберт Эйнштейн. Собрание научных трудов, т. IV, стр. 164.

Можно ли найти у Бора психологические корни его акцента? Если подойти к этому вопросу с оговорками о сугубо гадательном характере возможных здесь предположений (с оговорками, аналогичными само собой разумеющимся оговоркам при сопоставлении идей Эйнштейна и образов Достоевского), то такие корни можно видеть в философии Кьеркегора. Тогда мы получаем возможность увидеть с новой стороны различие между Кьеркегором и Достоевским и вообще между иррационализмом и «эстетическим ультрарационализмом», связывающим новую науку с искусством.

Констатациям связи идей Бора с идеями Кьеркегора посвящена довольно значительная литература. У Кьеркегора нетрудно найти построения, близкие Бору даже по форме, вплоть до дополнительности. Связь эта состоит не в заимствовании понятий, а скорее в принципиально ненаблюдаемом механизме психологического резонанса. Когда Бор и его товарищи изучали сочинения Кьеркегора, на юношей по преимуществу действовала психологическая сторона иррационализма, некоторая потеря интереса к формальной логике и интерес к ее нарушениям. Когда Леон Розенфельд писал, что «Бора вдохновлял принцип дополнительности все время, начиная с его юношеских размышлений», то здесь следует подчеркнуть слово «вдохновлял». Можно считать весьма вероятным, что размышления Бора были навеяны философией Кьеркегора, то есть философией, отказывающейся от своего многовекового исходного пункта — «любопытства», исходившей из «ужаса и смерти» и проникнутой отрицанием либо ограничением разума. Эта философия не сделала Бора адептом иррационализма. Его основные идеи — это новый, трансформированный рационализм. Но если говорить о психологическом подтексте теории, то явный акцент на негативной стороне неклассической науки, на отрицании или ограничении традиционных канонов разума в какой-то мере отражал юношеские размышления Бора привлекало отличие микромира от макромира, нарушения макроскопических законов в микромире, парадоксальная сторона новой физики. Напротив, основная психологическая направленность Эйнштейна — позитивная; это поиски новой, но единой и непротиворечивой концепции космоса и микрокосма.

Какую роль в такой психологической направленности могла играть эстетика познания? Эстетика, ощущение прекрасного, — это прежде всего постижение бесконечного мира в его локальном, конечном, чувственно воспринимаемом элементе, индивидуальное и сенсуальное постижение внеличного мира. Эстетика науки включает стремление понять мир в его единстве, понять единство бесконечного мира в данном конкретном, видимом и осязаемом элементе мира. Каковы истоки такой психологической настроенности Эйнштейна — это трудно сказать. Но, несомненно, в их числе — Достоевский как итог и воплощение художественной литературы XIX века. «Клейкие листочки» — их несомненная реальность — возвращают познание от неприятия мира и его гармонии к апофеозу мира. Конечно, Достоевский не дошел до признания неевклидовой гармонии мира. Иван Карамзев отринул ее. Но остались «клейкие листочки», которые возвращают мысль и чувство человека к поискам такой гармонии и ведут от «философии ужаса» к «философии удивления». Удивления, направленного на «клейкие листочки», на красоту мироздания, указывающую на реальность космической, парадоксальной, неевклидовой, но реальной гармонии. У Достоевского «клейкие листочки» сочетаются с его глубоким парадоксальным рационализмом, со стремлением к рациональной гармонии, стремлением болезненным, трагическим, наталкивающимся на тяжелые противоречия, но крайне интенсивным. Таким же было стремление Эйнштейна к рациональной неевклидовой гармонии космоса, неотделимо от микрокосма.

Остановимся теперь уже не на весьма условном противопоставлении двух линий в современном рационалистическом мировоззрении неклассической науки, а на вполне отчетливом разграничении рационализма и иррационализма и на роли художественной литературы в генезисе современной, в целом рационалистической науки.

В XVII—XVIII веках множество фактов было логически выведено из единых, претендовавших на неподвижность посылок с помощью единых, претендовавших на неизбежность логических норм. В XIX веке многое изменилось. Начиная с гипотезы первичной туманности, исчезла уверенность в бесконечные повторения движений тех

же планет на тех же орбитах. Была подорвана система неизменных видов живой природы. Но неизменность самого разума, его канонов, его норм оставалась непоколебленной. Разум, который, по словам Лапласа, с большим трудом погружается в самого себя, чем идет вперед, испытывал такие погружения, но выходил из них неизменным. Иррационализм не был попыткой изменить нормы познания, он был попыткой освободить судьбу человека от железной логики познания. В значительной мере безнадежной попыткой с заранее осознанным пессимистическим прогнозом. В нашем столетии новые научные представления, не укладывающиеся в старые логические каноны, преобразовали их довольно легко, человечество без труда рассталось с традиционными логическими нормами и даже со всей презумпцией «железной логики». Но тем самым приобрела новый смысл трагедия XIX столетия, моральное сознание которого с такой безнадежностью билось о непоколебимую стену логической необходимости сущего.

Необратимость бытия исключает примирение со злом. Белинский, выражая это состояние мысли, говорил, что, оказавшись на верхней ступени прогрессивной эволюции, он не примирится бы ни с одной жертвой этого развития. Эта констатация необратимости бытия — ранний вариант отказа Ивана Карамазова от любой игнорирующей личные судьбы вселенской гармонии — очень ясно иллюстрирует роль осознания необратимости бытия для пессимистического иррационализма.

И тут в игру вступает эстетика, постижение красоты бытия, образное мышление о мире. Искусство берет на себя то, что было не под силу науке, пока было не под силу.

В XIX веке то, что можно назвать эмоциональным аккомпанементом познания, его радостным пафосом, было связано не с постижением индивидуальной неповторимости каждого субъекта, каждой локальной ситуации, а с интегральной гармонией систем, где их индивидуальные элементы нивелированы. Классическая наука не была кладбищем индивидуальной неповторимости локальных ситуаций, термодинамика не была кладбищем механики молекул; в пределах науки и (за вычетом абсолютизирующей метафизики) в пределах философии статистическая нивелировка не была отрицанием локального. Но индивидуализация бытия оказалась на заднем плане картины мира.

Художественное творчество выводило ее на первый план. Со времен Аристотеля сущностью эстетического восприятия мира считали познание общего в конкретном. И логическое познание — это тоже познание общего в конкретном, обобщение конкретного, но коренное различие состоит в том, что эстетическое постижение не ликвидирует индивидуальную неповторимость субъекта, а придает ему бессмертие.

Современная наука позволяет несколько по-новому подойти к традиционным определениям прекрасного и к традиционной трактовке красоты в ее отношении к истине. В современной науке понятие истины охватывает не только констатации принадлежности субъекта к тому или иному множеству, например констатации принадлежности состояния движения частицы в данный момент к некоторому множеству состояний, вхождения мировой точки в мировую линию, определенную уравнением движения. Наука выделяет здесь — теперь, проводя через него растущее множество координат. В современной науке отдельный субъект обладает растущим многообразием измерений, рангом сложности, степенью отображения все более сложной реальности. Этому рангу, этой степени соответствует интуитивно постигаемое ощущение бесконечной сложности бытия. Такое ощущение и является основой эмоционального аккомпанеента познания.

В этой связи следует напомнить, что в приведенной реплике Иван Карамазов говорит о «земном евклидовском уме», а через фразу называет земной, «от мира сего» ум созданным «с понятием лишь о трех измерениях». Сейчас мы знаем, что бесконечная сложность единичного физического объекта может быть представлена как бесконечное число включающих этот объект множеств, как точку в бесконечномерном пространстве. Конечно, Достоевский этого не знал. Но он интуитивно связывал представление о многомерных пространствах со сложностью бытия, с вопросами о космосе и микрокосме. Достоевский хотел уйти от этих вопросов, они были мучительны. Но уйти не удалось, ум, созданный с понятием лишь о трех измерениях, не

ограничивался ими, так же как не ограничивался «эвклидовой» традиционной концепцией бытия.

Эстетическое постижение мира включает интуитивное ощущение безграничной мощи познания, проникающего в многомерную сложность мира. Красота и изящество научной теории зависят от такого ощущения. Они подчас кажутся формальным определением доказательства теоремы, независимым от ее содержания, но по существу здесь интуитивное ощущение большей, возрастающей общности и точности, принципиальной возможности доказательства иных теорем, которые возникают в сознании мыслителя, как симфония, о которой говорил Моцарт,— она еще не написана, но уже вся целиком звучит в сознании композитора. Такая симфония, такое интуитивное озарение характеризуют эстетическую ценность не только доказательства математической теоремы, но и любой научной концепции. Важно подчеркнуть, что для неклассической науки интуитивное озарение и эстетика мощи познания — непременные условия творчества. Само название «неклассическая» означает не только отказ от классических устоев Ньютоновой механики, но и принципиальный отказ от раз навсегда данных устоев, экспериментальную и логическую проверку фундаментальных предположений о пространстве, времени, движении, веществе и жизни. Тем самым частные неклассические теории связаны гораздо тесней, чем это было в XIX веке с логически упорядоченным или на первых порах интуитивным интегральным представлением о мире.

Несколько слов о различии упомянутых эстетических критериев науки. Для XIX века основным определением эстетической ценности научной теории было изящество — критерий, достаточно детально описанный в математической литературе. Неклассическая наука видит такое определение скорее в красоте. В чем тут новое? Изящество в математике измеряется естественностью вывода, то есть максимальным исключением дополнительных допущений и общностью дедукции, переносом ее на максимальное многообразие выводов. Пуанкаре сравнивал математическое изящество с изяществом античной колоннады. Для эстетических критериев неклассической науки с характерным для нее стремлением охватить мироздание в целом больше подошло бы сравнение с поддерживающим небосвод Атласом. Критерий красоты теснее связан с переносом выводов на реальные объекты, здесь более явным становится объект познания и его значение для интегральной картины мира. Неклассическая наука, как правило, переносит свои дедукции и на конкретные, экспериментально воспроизводимые ситуации и на картину мира в ее целом. Этим и объясняется некоторая эволюция от изящества к красоте как к критерию истины при переходе к науке XX века, то есть к неклассической науке.

Пространственно-временной мир Эйнштейна — это отнюдь не простое освобождение классической картины мира от абсолютного пространства и абсолютного времени. Здесь есть все более явно звучащий в физике второй половины XX века мотив бесконечно сложной природы вещества. Когда эксперимент и логический анализ выявляют некоторую схему физического процесса, сохраняется интуитивная догадка о более сложной субструктуре мира. Она лишает научное мышление той сухой логической законченности, которая переносилась с научного мышления на человеческое мышление в целом, становилась особенностью культуры в целом и служила истоком свойственной культуре XVIII—XIX веков удовлетворенности, уверенности, исключению противоречий, того, что иногда называют викторианским духом (что появилось, впрочем, задолго до королевы Виктории).

Указанная викторианская тенденция не была ни единственной, ни господствующей. Наука была преимущественной областью ее распространения. Стихи Попа о Ньюtone («Природа и ее законы были покрыты тьмой, бог сказал: «Да будет Ньюtone!» — и все осветилось») соответствуют убеждению о том, что «все осветилось», убеждению, идущему из XVII—XVIII веков в XIX. Но именно в поэзии, да и во всей культуре XIX века существовала противоположная тенденция. До поры до времени она не охватывала науку. Основным истоком сомнений в могуществе разума были не содержание науки и не ее методы, а ее ценность — этическая и эстетическая. Прежде всего подверглась сомнению способность разума гарантировать автономию личности, в защиту которой в XIV—XVI веках выступала культура Возрождения. Ренессансная

апология зримой и красочной конкретной земной жизни, восставшая против средневековой диктатуры абстракций, выдела ослот такой автономии в искусстве, воспроизводящем мир в его немеркнущем конкретном многообразии. Теперь, когда классическая наука грозила обесцветить мир и игнорировать индивидуальное бытие его элементов, на защиту вновь выступило искусство. На этот раз оно противостояло не традиции и догме, а самому разуму в его неподвижной версии. Антирационалистическая фронда XIX века была лишь одним из фарватеров апологии индивидуального, оказавшегося под угрозой игнорирования. И отнюдь не главным фарватером. Гораздо более важным фарватером была эволюция самого философского рационализма, подчинение логических норм эмпирическому изучению мира, осознанный переход от абстрактного к конкретному, философия подвижного и многообразного бытия⁴. Был и еще один фарватер. Он проходил через искусство. В истории философии искусство часто игнорируется и его гносеологическая ценность иллюстрируется лишь философскими экскурсами великих писателей, художников, композиторов. Так получилось, в частности, с русской литературой XIX века. Она была большим идейным движением, изменившим картину мира, продемонстрировавшим единство поисков красоты и поисков истины. Не философские декларации русских писателей, включая «Дневник писателя» Достоевского и вкрапленные в произведения Толстого морально-философские рассуждения (не говоря уж о гоголевских «Выбранных местах из переписки с друзьями»), но сама поэтика художественного творчества имела величайший философский смысл и вошла в подлинную необратимую эволюцию познания мира.

Достоевский и Толстой стоят в конце вереницы великих русских мыслителей XIX века, подошедших к самым фундаментальным проблемам бытия и познания именно потому, что их мысль облеклась в художественную, образную форму. Эта форма раскрыла реальность и неповторимость индивидуального бытия. Вереница русских мыслителей XIX века, вошедших этим путем в историю философии, включает Лермонтова, Гоголя, Тютчева, Достоевского, Толстого, Чехова, а начинается она Пушкиным. Единство и преемственность их отнюдь не очевидны и могут быть показаны лучше всего, если сформулировать общую философскую тенденцию, получившую яркое и явное выражение у Достоевского, но вместе с тем столь же яркое и столь же явное у Пушкина.

В первом приближении то, что можно назвать философией поэтики, очень различно у Достоевского и у Пушкина. Пушкин кажется апологетом разума («Да здравствуют музы, да здравствует разум!» — может быть эпиграфом всего творчества поэта). Мировоззрение Пушкина пронизано рациональной гармонией, мировоззрение Достоевского — ее отрицанием. Был ли Достоевский мисологосом (так Платон называл ненавистников разума, считая это имя позорным)? Нет, он принадлежал к «опозиции его величества» разума. Заметим, что и Пушкин не был ортодоксальным проповедником абстрактного разума: в приведенной строке рядом с разумом — музы. Музы и разум становятся некоторым единым ансамблем (каким они и были в древности, подчиняясь Аполлону Мусagetу); разум эмоционален, поэтичен, а музы рационалистичны, и это именно и делает их символом поэзии. Здесь не разделение сфер, а нечто прямо противоположное. Поэтика Пушкина близка современному рационализму, впитавшему итоги неклассической науки, и сейчас виднее ее связь с классическим рационализмом и вместе с тем виднее глубокая, никогда не исчезающая внутренняя связь его рационализма с чувством и с эстетическим постижением мира.

Константин Паустовский как-то сказал, что Пушкин любил осень, потому что она обнажает в природе ясный и резкий рисунок, близкий его поэзии. Я не знаю, в этом ли корень осенних взлетов пушкинской колоритной поэтики, да и вряд ли кто-нибудь может определенным образом судить об этом. Но, конечно, критерий ясен, столь существенный для Пушкина, средни картезианскому *clarté*. Классическая наука (и ее викторианские и более ранние иллюзии) отдаляла разум от поэзии, вернее, затушевывала их единство. Художественная литература раскрывала это единство и таким путем была подготовкой современного рационализма, отчетливо пронизывающего неклассическую науку.

⁴ См. Б. Г. Кузнецов. Разум и бытие. М. «Наука». 1972, стр. 216—232.

Эту сторону идей неклассической науки, идей Эйнштейна, следует подчеркнуть. Теория относительности дает основу для нового взгляда на весь путь мировой культуры, разработавшей понятия идеи и образа.

У Платона «эйдос» — это и идея и образ. Их единство — очень общая, сквозная тенденция истории философии, науки и искусства, объединяющая эти потоки культуры. К ней примыкает и Эйнштейн: ведь он заменил в картине мира идею принципиально ненаблюдаемого абсолютного пространства образом чувственно постижимых материальных тел отсчета. У Пушкина музы, стоящие рядом с разумом символизируют ту глубокую философию чувства, которая в процессе исторического развития культуры все ярче обнаруживает свою неотделимость от философии разума.

Вкратце остановимся на философском смысле поэтики Пушкина. Это поможет понять итоговый смысл всей русской литературы XIX века, в том числе итоговый смысл поэтики Достоевского и ее роль в подготовке современной картины мира и современного отношения человека к миру.

По справедливому замечанию В. Библера, поэтика Пушкина напоминает кольцо Мебиуса: вы следите за линией, которая прочерчивается по одной стороне кольца, и вдруг замечаете, не сходя с нее, что линия оказалась на другой стороне. Пушкин, как вам кажется, весь тут, на поверхности, все видно сразу, нет никакого перехода на внутреннюю сторону, никакого обобщения, все — в пределах постижимости чувствами. И оказывается, не покидая этой поверхности, вы уже проникли во внутреннюю подоснову явлений, получили воплощенное в конкретном образе глубочайшее обобщение, охватывающее внутреннюю структуру мироздания.

Вспомним песнь Вальсингама в «Пире во время чумы»:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог...

Это царство сенсуса, вы как будто одновременно и видите, и слышите, и ощущаете всеми органами чувств близость бездны и удары урагана в пустыне. И вместе с тем это царство логоса: картина вводит уничтожение, угрозу (то, что казалось Кьеркегору исходным пунктом его пессимистической философии) в рамки оптимистической философии бессмертия. Гибель не иллюзорна, она подчеркивает переходящий характер локального бытия, но угроза гибели, преображенная в эстетический образ, претендует на бессмертие. В таком эстетическом преображении локальное бытие обретает некоторый вневличный или надличный характер.

Преодоление временной ограниченности здесь — теперь так же старо, как и вся поэзия. У Гомера, когда Одиссей на пиру у феаков слышит поэтический рассказ о гибели Трои и плачет, Антиной говорит ему, что плач неуместен:

Ведь для того им послали и смерть и погибельный жребий
Боги, чтоб песней прекрасною стали они для потомков.

Именно песней, именно поэтическим рассказом, сохраняющим конкретную неповторимость каждого эпизода.

Была ли тенденция эстетического оправдания реальности у Достоевского? В философских экскурсах ее не было. В репликах героев почти не было. В художественной ткани произведений она была очень явной. Все, что Иван Карамазов говорит о «клейких листочках», о непреодолимом влечении к миру, к его красоте, все это дополняется поистине страстным любованием, обращенным на конкретную точность каждой реплики, каждого портрета, каждой сцены. Именно это страстное любование

отличает Достоевского от абсолютного пессимизма. Это еще не философия оптимизма — философия преобразования мира, о которой скажем позже. Но это уже и не пессимистический иррационализм.

Вернемся теперь к отношению современной неклассической науки к основному «вопросу Достоевского» — вопросу, который XIX век адресовал нашему столетию. Ответ на этот вопрос связан с применением теории относительности и квантовой механики, с атомной энергетикой, квантовой электроникой, со всем комплексом научно-технических тенденций второй половины XX века. Они ускоряют создание экономической базы такого общества, где личность не игнорируется слепыми, стихийными, статистическими законами. Социальная и моральная гармония вырастает из гармоничных общественных форм, которые соответствуют развитию производительных сил, в частности экономическим последствиям внедрения в производство «эйнштейновских» энергий. Современная наука рисует картину мира, в которой космические процессы неотделимы в своей физической реальности от ультрамикроскопических. Применение современной науки связано с расцветом духовного бытия, с освобождением мысли и практической активности человека от традиционных ограничений, с переходом ко все более общим и фундаментальным проблемам и принципам как главному объекту мысли и действия каждого человека. Современная физика не может говорить об ультрамикроскопических процессах как о реальных процессах без макроскопических понятий, без определений макроскопического поведения частицы. Но и современные представления о моральной гармонии требуют, чтобы индивидуальное бытие было определено его значением для коллективной судьбы. Только воздействуя на судьбу большого коллектива, индивидуальное бытие становится содержательным, приобретает социальный и моральный смысл. Так выявляется связь между мечтой Достоевского о земле, не пропитанной человеческими слезами, и научными идеалами Эйнштейна.

Это общая историко-культурная проблема, но она была взята нами здесь со своей историко-научной стороны. Попробуем в заключение посмотреть на нее с другой стороны и выяснить, что же дала наука классической литературе. Тогда частный вопрос, откуда Достоевский узнал о неевклидовой геометрии, обобщается, распространяется на всю литературу и на всю науку XIX века и становится принципиальным литературоведческим вопросом.

Ответ на него начинается с характеристики «классической» науки XIX века. Когда мы смотрим на нее с позиций науки современной, становится видной вся условность термина «классическая» применительно к науке прошлого века (как, впрочем, и к литературе): здесь можно различить непрерывную линию неразрешимостей и противоречий, «вопрошающую» компоненту познания. Еще у Ньютона наряду с «десницей» (однозначным, рассчитанным на века решением механических задач), наряду с тем, что казалось, а отчасти и было окончательным решением, мы теперь видим «шуйцу» — неоднозначные конструкции, объясняющие происхождение сил и оптические процессы, вопросы, полученные от прошлого, лишь частично решенные и переадресованные в усложненном виде будущему. «Десница» Ньютона была основой викторианского статического оптимизма, «чувства гавани», удовлетворенного ощущения завершенности познания и установившейся социальной и моральной гармонии. Она же была источником логической последовательности, однозначной рациональности повествования, завершенности композиционных и стилевых канонов в искусстве. Напротив, «шуйца» была импульсом для динамического оптимизма, для отказа от сплошной оптимистической оценки того, что Гегель назвал *наличным бытием*, для «чувства курса», радости выхода из гавани.

Нельзя думать, что это ощущение было лишь безотчетным и неясным результатом знакомства с «шуйцей» науки. Для писателей XIX века, в частности (быть может, в особенности) для русских писателей, характерен исчезающий и даже возрастающий интерес к естествознанию, причем не столько к результатам изучения природы, сколько к самому процессу познания. Это относится ко всей европейской литературе (достаточно напомнить о «Фаусте»), а в России существовала длительная традиция: начиная с Ломоносова и Тредиаковского — через естественнонаучные интересы Пушкина — к «неевклидовой гармонии» Достоевского. Эта традиция выражалась в лексике, в неожиданных, но естественных ассоциациях и аналогиях, в репликах героев,

в композиции. И прежде всего в слиянии моральных, эстетических и научных идеалов, в слиянии критериев добра, красоты и истины.

В этом отношении не так существенно то, что Любимов говорил Достоевскому о неевклидовой геометрии (если справедливо предположение о таких рассказах), как интерес Достоевского к такой сложной и абстрактной проблеме, и намного опередившая науку XIX века мысль об индивидуальных процессах как критерии подлинного бытия «неевклидовой гармонии». У ряда ученых XIX века, и в частности у Любимова, неевклидова геометрия перестала быть абстрактно-математической, она стала описанием конкретного бытия. Но самое главное, что наука XIX века дала художественной литературе и всей культуре того же столетия, это ощущение бесконечной и возрастающей (необратимо возрастающей!) сложности бытия.

«Десница» Ньютона, связанный с ней литературный классицизм и викторианский статический оптимизм толкали мироощущение человека ко все более простой картине мира, к разложению представления о мире на элементарные, абсолютно точные связи, на уподобление мира его четкому рисунку. Но уже в XIX веке становились все более явными парадоксы познания (имея в виду роль, которую они сыграют в XX веке, их можно назвать предпарадоксами). Уверенность в нарастающей сложности бытия и познания была уже в XIX веке основой «неевклидовых» тенденций литературы. Поэтому воздействие Достоевского на Эйнштейна было подготовлено воздействием предэйнштейновской парадоксализации науки (получившей столь яркую форму в неевклидовой геометрии, но свойственной науке XIX века в целом) на художественную литературу, на Достоевского. Таким образом, реплика Ивана Карамазова о неевклидовом мире имеет столь же широкий и общий историко-культурный смысл, как и реплика Эйнштейна о воздействии Достоевского на генезис «неклассической» науки.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. ТЕВЕКЕЛЯН



ДЕНЬ ЗАБОТ

Интеллигенция, въ знчи. собр. разумная, образованная, умственно развитая часть жителей.

«Толковый словарь живаго великорускаго языка Владимира Даля».

Иа дворе конец семидесятых годов, расцвет техники и науки. Реальные результаты их развития самоочевидны, даже космические полеты перестали казаться фантастикой, превратились в многотрудную, многомесячную будничную работу. И хотя физики по-прежнему в почете, им самим явно хочется понять собственный человеческий потенциал. Разумный человек не может — да и не захочет — отрицать великого блага, которое принесла с собой НТР: изменились условия труда, быта и продолжительность жизни, сидя дома у телевизоров далеко от центров, люди становятся зрителями и сопереживателями уникальных спектаклей, спортивные передачи собирают у голубых экранов одновременно болельщиков всего мира, любимые поэты и великие ученые общаются с миллионной аудиторией — Шекспиру, Пушкину, даже Толстому это не могло пригрезиться в самом счастливом сне.

Какие бы идиллические воспоминания о патриархальном прошлом ни томили нас, как бы ни сопротивлялись мы внутренне напору этой бескровной революции, мы все пользуемся ее плодами, буквально каждый наш шаг связан с нею, и никакие подсчеты потерь — а они есть несомненно — не обосновывают нас, материалистов, от необходимости объективно понять своего современника во всей многосложности его отношения с миром.

Уже миновало время безудержных восторгов, когда искусство, казалось, признав превосходство над собой науки и тех-

ники, встало на службу НТР и деловые люди «со стороны», прекрасные специалисты конкретного дела, диктовали остальным свою волю, принимая во внимание нужды производства, но забыв при этом о людях, ради которых существует производство. Ощутимые материальные плоды гигантского скачка в развитии науки и техники на какой-то момент показались конечными и наиболее желанными. Слишком приблизился конечный результат деятельности. Если раньше человек за всю жизнь мог поставить один, от силы два дома, теперь он видит кварталы выстроенных его бригадой домов. Стали плодоносными пустыни, появились искусственные моря, не запланированные природой, — вспомните, в каком потрясении писал Довженко свой романтический сценарий «Поэма о море», с какой душевной отдачей приняли фильм зрители.

Могущество техники затуманило не одну голову. Показалось куда как привлекательным судить о человеке по конечному итогу его дела. Это явление не новое, еще в 1856 году К. Маркс в речи на юбилее «Народной газеты» говорил: «Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы».

В суматохе восторгов произошла некоторая подмена, показалось, что герой-прагматик, ясно видящий конечную цель своего дела в материальном воплощении, — это

и есть герой времени, специалист, оснащенный новейшими знаниями в своей области, решительный, свободный от эмоций и сантиментов, функционально соответствующий своему производственному делу. «Литература, воспитай специалиста!» — и такая мысль питала некоторые из наших производственных романов и повестей, и часть литературы добросовестно старалась отражать производственные конфликты. Суета из-за авралов, недостатки планирования, нехватка деталей и материалов и прочее сделали главным содержанием целого ряда вещей — они у нас на памяти. Герои этих произведений вертели, как на горячем сковороде, разрешая то одну, то другую производственную задачу, книги несли с собой бездну специальной информации, журналистика мощным потоком устремилась в литературу, вытесняя вниманием к деловым сторонам специалиста интерес к его личности. На Западе появилась даже теория всеобщей дегуманизации в условиях НТР.

Немалая часть искусства словно бы добровольно пошла на вторые роли при НТР, занимаясь пропагандой передовых методов хозяйствования и критикой методов устаревших, смиренно приняла за аксиому сомнительный тезис о том, что НТР обедняет эмоциональный мир человека, ведет к прагматизму, к массовидности, к стиранию индивидуальности. (Не реакцией ли на такое понимание происходящих в обществе процессов явился мощный взрыв прекрасной литературы «деревенщиков» с ее обостренным вниманием к нравственным ценностям, передающимся из поколения в поколение?) Очень скоро читатель продемонстрировал полное отсутствие интереса к беллетристике, занятой практической разработкой наращивания экономических мощностей. Читателя в литературе по-прежнему волновал вопрос человеческих мощностей, ведь само понятие «функционально соответствовать» претерпело решительные изменения. Прежде всего потому, что неизмеримо повысился уровень ответственности.

Теперьшний рабочий станкостроительного завода обеспечивает обработку деталей с точностью до одного-двух микронов. Директор Каунасского станкостроительного завода рассказывает о том, что значит перейти на серийное производство особо точных станков: «Дело предстояло чрезвычайно сложное: нужно было не только осуще-

ствить конструкторские разработки, но и в сжатые сроки создать производство на принципиально новом качественном уровне»¹. И означает это, оказывается, в первую очередь расцвет творческой инициативы — и инженерной, и рабочей. Социалистическое соревнование на заводе идет под девизом: «Рабочей инициативе — инженерную поддержку». Люди думают о точности и надежности изделий, требуется «большой опережающий задел творческой мысли, проведение научных исследований, опытов. Но для этого нужны высококвалифицированные инженеры, рабочие-исполнители. Причем внимание к их труду более важно даже не столько на финише, сколько на середине, а то и в начале «дистанции». А экономисты говорят: нас это не интересует... Где готовая продукция?»

Как видите, оценка только по результатам кажется недостаточной, формальной вовсе не в плане гуманитарном, а изнутри самого дела, требующего технического творчества. И это рядовые, будничные заботы. Чтобы справиться с ними, мало одного профессионального навыка. Уровень ответственности современного работника требует нравственной мобильности. Современное производство в интересах дела ждет от работника большего, чем четкое выполнение конкретной задачи.

Горизонт расширяется.

Когда-то Чехов писал: «Где многочисленная интеллигенция, там неизбежно существует общественное мнение, которое создает нравственный контроль и предъявляет всякому этические требования, уклониться от которых уже нельзя никому». Для современного работника этические требования, от которых не уклониться, означают прежде всего потребность, способность угадать, понять в конкретном деле его максимальное общественное наполнение. Думающие люди создали современный уровень нашей жизни, творческое начало — истинный признак интеллигенции — никогда в такой степени, как сейчас, не было необходимо обществу.

Современное производство, НТР ставят перед человеком проблемы, которые не имеют однозначных решений. Только при поверхностном взгляде это проблемы чисто технического характера. На самом же деле это социально-нравственные, экономически-нравственные проблемы, в решении кото-

¹ «Правда», 6 октября 1978 года.

рых участвует не узкий специалист, но гражданин, личность. Высокий профессионализм — неременное качество этой личности, таково сегодняшнее требование к работнику, но качество не единственное.

НТР необыкновенно расширила круг людей, приобщенных к творческому труду, изменила сам характер труда, поставила человека, работника перед многочисленностью вариантов свободы выбора. Человек ежедневно сталкивается с необходимостью определять свои возможности, свою долю ответственности, свое отношение к товарищам по труду, по жизни, и все это упирается в жесткую потребность личности осознать самое себя, реализовать себя. А помочь человеку понять, осуществить себя, почувствовать себя не бездумным покорителем жизни, владеющим могучей техникой, но ее защитником и покровителем с помощью все той же техники, понять гуманистические возможности НТР при социализме — это прямое дело искусства.

Добрый десяток лет назад Виль Липатов в «Сказании о директоре Прончатове», опередив драматургию, заставил нас задуматься над тем, что есть деловой человек современности. Писатель, чуткий к процессам происходящим, едва проклевывающимся в нашем обществе, он задумался о необходимости определить эквивалент человека объективной среде его существования, среде, резко изменившейся. Энтузиаст 30-х годов, на ходу усваивающий основы профессии, симпатичный, отзывчивый, беспредельно преданный своему делу, объективно уже не мог бы совладать с современными механизмами, с темпом жизни — тут нужен специалист высокого класса. Однако творческая энергия героев первых пятилеток, их убежденность, напористость, бескорыстие, их умение за гайкой и винтом, то есть за однообразием работы, не требующей высокой квалификации, увидеть судьбу страны, судьбу революции, их понимание человечности и партийности вполне годятся герою эпохи НТР с его повысившейся ответственностью за судьбы мира.

В романе Веры Пановой «Кружилиха» к генерал-директору военного завода приходит секретарь комсомольской организации. Приходит, чтобы спасти от суда пятнадцатилетнего парнишку, прогулявшего неделю, — парень скрывался в деревне от невыносимой домашней обстановки. Саша просит Листопада задним числом дать приказ о недельном отпуске для прогульщика.

«— Этим же не я занимаюсь,— сказал Листопад нарочито ленивым голосом.— Этим начальник цеха занимается.

— Начальник цеха не возьмет на себя такую ответственность.

— А я возьму, вы считаете?

Карие, с голубыми белками глаза взглянули на Листопада смело, горячо и серьезно:

— Да, я считаю, что вы возьмете.

— Вот вы какого обо мне представления,— сказал Листопад.— Считаете, что я народные законы могу обходить?.. Но скажите мне такую вещь...

Он стал закуривать и закуривал очень долго.

— Вы с другой точки зрения — с партийной, комсомольской, государственной — не смотрели на это дело? Вы подумали о том, какой пример будет для остальной нашей молодежи, если мы с вами покроем этот прогул?

Коневский встал.

— Александр Игнатьевич,— сказал он.— Я смотрю на это дело с человеческой точки зрения, и мне кажется, что это самая партийная, самая комсомольская точка зрения и что она больше всего совпадает с духом нашего государства и нашей Конституции.

Он произнес эту маленькую речь сгоряча и, как только кончил, смутился ужасно.

— Как фамилия мальчугана? — спросил Листопад...»

Вот что остается неизменным — эта самая человеческая и человечная, партийная точка зрения, питающаяся истинной и высокой нравственностью.

Технический прогресс имеет конкретные даты, искусство стояло у колыбели человечества. Навеки прекрасна улыбка Джоконды, вечно живы для каждого нового поколения Андрей Болконский и Жюльен Сорель, неизменно «Я помню чудное мгновение». Истинное искусство дискомфортно, его красота не связана с удобством для человека, техника в конечном счете преследует утилитарную цель, несет с собой конкретную пользу. Поэтому человечество с тех пор, как осознало себя, свою тоску по прекрасному воплощает в искусстве.

Недопустимо такое положение вещей, чтобы литература шла в фарватере НТР, расцвечивала ее, делая привлекательной. Литература призвана иначе служить людям, открывая им безбрежность человеческого потенциала. НТР в нашем обществе и ро-

дидась для того, чтобы дать человеку возможность гармонически развиваться, НТР — это средство для развития. И нашему обществу далеко не безразлично, что из себя представляет его гражданин последней четверти двадцатого века, каким он войдет в новый век, какие качества, унаследованные от отцов и дедов и воспитанные революцией, эпохой социализма, будут формировать его нравственное самосознание.

Для эстетики реализма давно аксиома, что верное натуре письмо — неперемное качество искусства, но одного этого мало, чтобы вещь стала не каталогом виденного, но произведением искусства, не навязывала нравственно-моральные догмы, а утверждала мораль и нравственность, делала их желанными. Научно-техническая революция требует перестройки сознания, однако дается нам это нелегко, нам — и обществу в целом, и индивиду. Да и искусство только нащупывает подходы к отражению движущегося, изменяющегося потока жизни. «Перед тем, кто хочет изобразить какое-либо живое явление в его развитии, — писал В. И. Ленин, — неизбежно и необходимо становится дилемма: либо забежать вперед, либо отстать. Середины тут нет»².

Нам понятно стремление художника держать временною дистанцию, дожидаясь, пока утихнет поток жизни. Вот одно из авторитетнейших свидетельств: «Творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и успокоившихся форм жизни, а новая жизнь слишком мала, она трепещет в процессе брожения... невозможно рисовать с жизни еще не сложившейся, где формы еще не устоялись... писать сам процесс брожения нельзя, в нем личности видоизменяются почти каждый день и будут неуловимы для письма...» Это И. А. Гончаров.

Однако и этот уверенный в своем методе художник был вынужден опровергнуть сам себя, говоря о тургеневском Базарове: «Нигилизм обнаружился только, можно сказать, в теории, и на р е з а л с я, как молодой месяц, — но точное чутье автора угадало это явление», — настолько силен интерес к современности, что художник интуитивно стремится нарушить предписанную себе дистанцию.

Если полтора-два десятилетия назад, открывая городскую повесть или роман, мож-

но было почти безошибочно рассчитывать, что тебя ждет взволнованное повествование о поисках молодого человека, полного надежд, максимализма, самоуверенности и инфантильности, то нынче новая вещь нередко посвящена радостям и горестям прежнего героя, переступившего порог зрелости. Он, этот возросший герой, уже заявил себя как личность в своем деле, создал семью и даже готов разрушить ее ради несколько истерического нового чувства — годы идут, а вокруг расцветает чужая молодость, и так не хочется расставаться с надеждой оставаться молодым вечно. Он в меру деятелен, в меру ироничен, нередко он сохраняет следы прежней инфантильности — они просвечивают в сомнительной его мудрости, всех этих парадоксах, которыми он упивается в привычном трепе, во всей приверженности к плодам массовой культуры, которыми он владеет, хотя, как правило, равнодушен к культуре истинной. Этот вполне взрослый человек в курсе новых достижений своей области — все эти инженеры, кандидаты, а то и доктора наук, художники, литераторы давно не идут напролом, умеют точно рассчитать свои силы, владеют искусством общения с начальством и подчиненными, не позволяют эмоциям брать над собой власть, не кидаются сломя голову на защиту справедливости и т. д.

Герой романа латышского писателя З. Скуиня «Мужчина во цвете лет» Альфред Турлав «рано и безошибочно вышел на верную дорогу... На завод пришел с четвертого курса на должность старшего инженера. Заочно получил диплом, стал начальником цеха. Из монтажного цеха перешел в конструкторское бюро — шаг опять же был правильный. Группе, которой он руководил — тогда ему было двадцать шесть лет, — поручили сконструировать новый телефонный аппарат. Созданная ими модель была признана лучшей в Союзе. В тридцать один год он стал начальником конструкторского бюро телефонии. Он с блеском защитил диссертацию, переоценке в ней подвергались важные положения не одной только телефонии, но и всей электроники. Он получал дипломы, почетные звания, золотые медали различных международных выставок. К тому же получал премии и довольно значительную зарплату...».

Автор в самом начале дает эту справку, заполняет за своего героя анкету, торопится

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 322.

предупредить читателя, что работа — оснзное наполнение жизни героя, главное содержание книги. И в самом деле, на протяжении романа мы узнаем, как трудно пришлось Турлаву — в плане завода оказались работы по созданию и внедрению иннервационной телефонной станции, а Турлав, убежденный в неэкономичности и трудностях эксплуатации подобных станций, параллельно, на свой страх и риск преодолевая неодобрение начальства и даже сопротивление тупого и неподготовленного замдиректора, который грозит коллективу КБ страшными карами, работает над своим проектом, доводит его до кондиции и побеждает как в заводской дирекции, так и в министерстве — завод получает плановый заказ на телефонную станцию конструкции Турлава.

История эта в романе рассказана холодно-информационно, подробно, из информации возникает отчетливое представление о прикладном характере науки, которую занимается Турлав, вокруг героя живут его товарищи по КБ, каждый с какой-нибудь запоминающейся черточкой — ерничающий Сашинь, парадоксальный Пашкунг, хозяйственные конструкторские дамы. Автора эти люди не занимают, они вроде опознавательных знаков легко узнаваемой, всем знакомой ситуации, так же как и сцена совещания «работать без брака и потерь», где, обсуждая привычные вопросы дисциплины (почему женщины во время работы бегают в магазин, сколько часов не вставая может просидеть за рабочим столом конструктор, как контролировать кид конструктора и прочее), делают попытку заставить Турлава отказаться от собственного проекта. Опознавательные знаки, надежда на узнаваемость, заменяющие живые характеры и реализм изображения, поджидают нас, впрочем, не только в производственной линии романа.

Турлав — вполне благополучный, преуспевающий человек. Когда он не за рулем своих «Жигулей», он шагает пружинистой походкой, в хорошем темпе, «шагов сто в минуту, что значит — километр за десять, шесть километров в час», он здоров, он в форме — взбежать на пятый этаж даже с чемоданом для него пустяк, — женщина ему желанна, автор сообщает, что после близости с женой он «слышит ее вздох, так недвусмысленно льстивший мужскому самолюбию». Ему сорок шесть, а чувствует он себя как в неполные тридцать, и хотя

сигналы возраста раза три заставляли его призадуматься, все же «скудельный сосуд плоти» (автором цитируется «старина Фирекер») у Турлава в полном порядке. В своих представлениях о верности, о дозволенном он четок и бесстрастен, как ЭВМ: жил двадцать лет с Ливией, ощущал ее необходимой частью самого себя, увлекся сослуживицей Майей — молода, не обременена заботами, порывиста, непостоянна, — решил разойтись с Ливией, и хотя она попала в катастрофу и оказалась, полупарализованная, в больнице, а дочь Вита решилась сказать отцу, что он жесток к матери, Турлав и здесь рационален, целесообразно распределяет свое время между работой, посещением больницы — там жена, посещением санатория — там лежит на сохранении беременности Майя (ведь «носителем Майиной любви была нежность, и это меня сразило. Про себя я сравнивал ее очарование с зеленью первых листьев, с шелком первой травы. Возможно, я впал в сентиментальность, вполне возможно, но меня действительно сразила ее нежность»), визитами к дочери, переживающей медовый месяц, и суетой в связи с устройством нового гнездышка. Впрочем, любовь в сорок шесть лет не та, что двадцать лет назад, она оборачивается мелодрамой, и Турлаву приходится переживать свое поруганное отцовство: рождается семимесячная девочка, но оказывается, что роды вовсе не преждевременные, а Майино прошлое заставляет вспомнить еще об одном немолодом и тоже преуспевающем человеке — главном конструкторе большой телефонии «Электрона», корректном светском Вальтере Салтупе, холостяке, коротающем осенние вечера на превосходной собственной даче, он, этот Салтуп (Сэр, как называют его друзья), не зря прислал в санаторий Майе букет роскошных роз.

Эта история рассказана не без затей: в ней вполне профессионально и потому незаметно для читателя авторское повествование сменяется рассказом героя — от первого лица, среди гостей в доме Турлава появляется сам писатель Зигмунд Скуинь с супругой — «интеллектуальный мусорщик, существовавший собиранием и переработкой подержанных отношений, страстей, ситуаций», нас знакомят с бытом и нравами престарелой оперной примадонны Вилде-Межнице, в самых драматических местах в роман врывается сбивчивый и внешне

бесвязный, ассоциативный внутренний монолог героя и т. п. и т. д.

Этот изыск уже никого не удивляет, сейчас разнообразием формы, монтажом не владеет только ленивый. Может быть, автор решил написать иронический портрет своего современника, захотел показать несостоятельность своего вполне respectable героя — душевную, этическую? Когда читаешь в меру самоироничное жизнеописание героя, начинает казаться, что это так, но автор спешит взять сюжет в свои руки, здесь иронии нет места, идет информация, писатель всерьез настаивает, что хотя в личной жизни герой и дал маху, человек он все же хороший, полезный, а профессионал, работник и вовсе отличный. Перед нами привычная схема производственного романа с той только разницей, что положительного Турлава после недолгих колебаний поддерживает начальство и коллектив на его стороне, схема, одобренная некоторым разнообразием приемов.

Многомерность живой жизни врывается в эту схему — Турлав мечется в устройстве нового быта, пытается как-то регламентировать свои отношения с женщинами, с коллегами и оказывается досадно несостоятельным душевно, неграмотным, пустым в области чувств, однако и это не составляет стержень романа.

Пожалуй, перед нами очередное моделирование — не жизнь современного человека с его проблемами, а модель поведения человека определенного круга, столкнувшегося с известными и практически неизбежными ситуациями — увлечение, приближение критического возраста и прочее. А модель — не предмет художественного исследования. Вот рассуждение писателя Скуиния, к которому пришел в гости Турлав, так сказать, рассуждение автора-героя, дважды автора: «На литературу, как, впрочем, и на жизнь, да, и на жизнь, смотрю в известной мере как на партию в шахматы. Возможно бесчисленное количество комбинаций. Важно осознать ценность фигур, уяснить целенаправленность ходов». Увы, для искусства этого мало.

Мало понять механизм действия, поведения, мало определить, в чем ценность героя. Прием моделирования, естественный и необходимый в науке, технике, перенесенный в литературу, лишает изображение художественной достоверности, упрощает, выпрямляет характер. Очень заманчив этот прием, но почему-то даже в науке открытие не

дается самой совершенной ЭВМ, машина может лишь аккумулировать разнообразную информацию, а человек на базе этой информации способен создать новый материал. Работают многочисленные и многосложные новейшие машины, трудятся большие творческие коллективы, а открытие, принадлежало конкретному человеку. Д. Гранин в своем докладе «НТР, личность, литература» на секретариате правления Союза писателей РСФСР в Новосибирске летом прошлого года очень к месту вспомнил высказывания советского геолога Мейена о том, что есть теоремы Коши, Колмогорова, Пифагора, но нет теорем математического института. А уж в литературе моделирование не приносит успеха, и узнаваемость — окружающего ли мира, характера — не в силах заменить подлинности.

Подмена слишком очевидна. Это герою может казаться, что создание новой телефонной станции — цель его жизни. Более того, на определенном этапе для этого героя все так и есть. Писатель же, если не отдает себе отчета в том, что любое техническое достижение в наш век не цель жизни, а средство реализации личности, реализации профессиональной, духовной, общественной, социальной, при самом добросовестном описании работы и быта своих персонажей не сможет ничего прибавить к нашему пониманию мира и себя в нем.

При моделировании профессиональный успех героя словно призван перекрыть его человеческую несостоятельность. А ведь это как в жизни, так и в литературе вещь невозможная. Творческий успех — это взлет личности, ее способность на рекорд, мобилизация всех резервов, всех систем.

В этом участвует весь человек, и литература не должна забывать об этом, если хочет дать читателю надежду осуществить себя. При том же, что профессиональный успех дается герою автором словно бы в качестве отпущения грехов, невольно происходит оскорбительная недооценка, обесценивание личности. Действительно, НТР, наше время требуют от человека творческой, трудовой активности, но ведь стало так, что в искусстве нередко человеческие качества — верность, отзывчивость, умение разделить чужую боль, способность мучиться, наконец, причинив невольное зло ближнему, преданность и прочее — представляются чуть не второстепенными, прикладными. Куда больше ценится умение пере-

выполнить план, придумать рацпредложение, сконструировать, как в романе Скуиня, новую телефонную систему. Для модели ритмичная работа может стать целью ее существования, для человека в искусстве этого мало. Самый подход к личности — оценка ее только по деловым качествам — уже отдает формализмом, да и по сути такая оценка неточна, ведь профессиональные заботы любого человека вырастают в общие вопросы нравственности и этики.

Мне уже приходилось писать: штольцы никогда не были героями русской литературы, хотя работали вполне результативно, для этого они были слишком эгоистичны, сконцентрированы на себе.

Правда, в последнее время, размышляя об общественном нравственном идеале современной и классической литературы, иные критики договариваются порой либо до возвышения самого принципа активности — и тогда Флягин, например, из повести И. Грековой «Кафедра» с его механическим отношением к жизни становится едва ли не главным двигателем прогресса («Литературная газета», 22 ноября 1978 г.), либо до полного отрицания принципа активности — и тогда Обломов с его «не хочу делать» превращается чуть ли не в идеал гражданственности («Литературная газета», 15 ноября 1978 г.), при этом напрочь забывается, что общественный прогресс — увы! — связан все же с теми, кто делал, жертвовал собой, приближая счастливое будущее, потому что ясно видел перед собой действительную и в высшей степени нравственную задачу — переустройство общества.

Штольцам не хватало человечности. А ныне социологи все настойчивее говорят о возросшем за самые последние годы влиянии наук гуманитарных, призванных объяснять и утверждать в человеке человеческое. Да и сами деятели науки и техники, привычно переводя на «машинный» язык взаимоотношения между людьми, человеческую психологию, все острее чувствуют недостаточность, упрощенность «смоделированного» куцега мира. Это особенно ощущаешь, когда слышишь мнение о той или иной книге в весьма квалифицированной аудитории — в Дубне, на ЗИЛе.

Роман «Яконур» Д. Константиновского³, тесно связанного с новосибирским Академгородком, — одно из свидетельств наступающего отрезвления.

Автор все еще во власти конкретного мышления, в тексте без конца мелькает: «Герасим создал модель Вдовина: его картина мира, его определение момента, его представление о самом себе, люди, на которых он ориентирован; предпосылки его поступков и его образ действия...»; «...образ самого себя, который Карп себе составил, — сохранился в целости»; «Когда-то у Свицкого были три модели самого себя... По мере включения в роль Свицкий терял свои модели... Все чаще его поступки определялись тем, каков, он считал, его стереотип в глазах других...». Автор не может удержаться от подробных, в несколько страниц, описаний лабораторных экспериментов, где все внушительно и непонятно, он и сам экспериментирует: преподносит нам, например, опыт создания схемы-биографии героя — страницы жизни сжигаемого страстью властвовать заместителя директора Института Вдовина (снова, как у Крона, Вдовин — напасть какая-то на эту фамилию!), где читателю на малом отрезке большого романа четко и однозначно объяснены побудительные причины всех малопривлекательных поступков героя, обозначено и его отношение к тому или иному этапу собственной жизни, его самочувствие.

Все объяснено, в каждом герое названы его ведущие черты, сформулированы причины переживаний. Информация поступает к читателю самая разнообразная, существенная, интересная, заставляющая думать, но герой не оживает для читателя, отражение жизни требует более сложных законов, чем законы механики. Да и конструкция романа — не композиция, не сюжет, именно конструкция — не помогает возведению романного здания. Книга смонтирована из эпизодов, в каждом таком блоке свой главный персонаж, героев почти до самого конца различаешь с трудом, хотя авторское «я вижу его» или «я вижу ее» должно, очевидно, помочь созданию у читателя зрительного эффекта.

Устами героя автор признает, что этот метод не лучший для ориентации в реальной жизни. Вот размышления Герасима, пожалуй, все-таки главного героя этого романа (прошу прощения у читателя за длинную цитату, но она как нельзя лучше говорит об архитектонике и строительном материале вещи): «Да, он создал и использовал модель Вдовина, и с нею он мог последовательно достигать нужных результатов, — удобный инструмент современного деятельного мо-

³ «Сибирские огни», 1978, №№ 3—6.

лодого человека... Но механическое обращение с этим образом Вдовина, не с человеком, а с моделью, требовало от Герасима соответствующего подхода, такого, которому не надобно было участие души, да и образ мышления притом оказывался фрагментарный, участвовала в нем только часть ума, не самая усложненная, и операции производились весьма простые, напоминавшие элементарные вычисления... Все это создавало определенную привычку, подход к миру становился более и более законченным и закреплялся в сознании, а взгляд на других людей переносился и на себя самого; так и вся внутренняя жизнь понемногу, однако заметно, упрощалась, приближаясь по характеру своему к операциям вычислительной машины...»

Половина дела сделана: герой, а уж автор и тем паче поняли, что люди живут по своим специфическим людским законам. Поняли, признали, зафиксировали. Однако в сознании читателя так до конца модели не превращаются в романские персонажи, хотя очень утешительно свидетельство Д. Константиновского о том, что наука и искусство нуждаются в разных подходах. Свидетельство тем более ценное, что автор имеет отношение и к тому и к другому.

Автор стремится отразить новый виток общественного сознания, поиск нравственного резерва в привычных, много раз описанных конфликтах. Главное наполнение романа — отношение современного человека, причастного к бурному росту науки и техники, к природе. Мы помним недавние произведения Распутина, Астафьева, испытывали на себе громадную силу эмоциональное влияние этих вещей. В «Яконуре» другое. Нас, вооруженных новейшей техникой, заставляют задуматься (именно задуматься, роман этот не умеет апеллировать к чувствам) о новой роли человека на земле, о новой его обязанности по отношению к нашему шаруку. Нас страстно призывают понять, что психология победителей, завоевателей природы годилась, пока человек не оснастил себя могучей техникой. Теперь другое. Настало время осознать себя защитниками, не забывать, что сами мы — часть природы, но часть, наделенная разумом, способная предвидеть дальние последствия своих нынешних действий для человечества. В истории озера Яконур (на его берегах разместился могучий комбинат, отходы которого изменяют состав воды, губят Яконур) — а эта история и со-

ставляет стержень романа Константиновского — живет спокойное и зрелое чувство уверенности в современных возможностях человека. НТР на то и революция, что ее не повернешь вспять, как бы ни казалось это привлекательным, и комбинаты на наших реках и озерах ликвидировать нельзя, однако та же НТР дает людям возможность вовремя планировать защитные меры. Все как в жизни, так и в искусстве упирается в человека, в его страстность и преданность, в понимание им гражданского своего долга.

Следуя методу Константиновского, можно сказать, что в романе действуют разноплановые модели. Здесь есть модель сорокалетнего ученого, одержимая лаборатория которого занята наукой с глобальным прицелом, с данным результатом. Элэл (так зовут начальника лаборатории) из тех, кто, светя другим, стораец сам, и мы присутствуем при надгробном слове. Есть модель властолюбивого «организатора» науки, стоящего на страже собственного кресла, и рядом — фигура Старика, действительного организатора, но ученого, понимающего, что дальний результат готовится сегодня, а люди — всего лишь люди и их нужно убеждать, воспитывать, заставлять пороку; деятели типа Свирского заняты поддержанием своего авторитета любыми путями, их резинковые решения лишь тормозят прогресс. Жаждет духовной поддержки думающий человек Яков Фомич — и могучим потоком льются действительно существенные мысли, цитаты из трудов классиков марксизма, ученых разных эпох, писателей, из книги Екклезиаста, текст тайной клятвы луддитов... Цитаты подобраны добросовестно, их роль — подкрепить чужим авторитетом правомерность для ученого, потерявшего в будничной суете ориентир, поисков точки опоры.

Наиболее развернуто, пожалуй, написан путь к себе Герасима. Это сложный путь одинокого человека, мечтающего о друзьях-единомышленниках, об ощущении безопасности в их кругу, это разработка темы «человек и обстоятельства», потери и приобретения. Ему пришлось понять, что безоговорочность мужской дружбы имеет некоторый предел, который можно описать в терминах чести, долга, верности; и его случай — «победа недостойными средствами есть тот самый, когда могут покинуть и друзья...» — плата за конформизм, за пони-

мание того, что «нельзя мир Элэл строить вдовинскими методами...».

Типология в романе Д. Константиновского разработана четко, но в искусстве как сказано значит ничуть не меньше, чем что сказано. И когда уже в самом конце романа читаешь об эволюции Герасима: «Сам прошедший долгую и мучительную трансформацию, Герасим анализировал себя как модель большего... Он двигался от того, что происходило с ним и в нем, отдельно взятом, к тому, что происходило с ним как частью целого, в нем как в части целого» — то, разделяя самые благие намерения автора, совершенно с ним соглашаясь: действительно ведь «на каждом лежит ответственность, каждый повинен, каждый должен что-то предпринять», — отчетливо понимаешь, что роман «Яконур» со всеми его наблюдениями, достоверным материалом, четкой типологией — урок не только читателю, но и автору. Урок, преподнесенный НТР, еще раз подтвердивший, что литература не терпит упрощения, у нее свои законы, свои сферы влияния.

Мы знаем в истории литературы произведения, обращенные к мысли читателя, — полнокровные, живущие не один век, их много, но они есть: вспомните «Кандида» Вольтера, «Племянника Рамо» Дидро... Речь идет, разумеется, не о сравнении — о принципе. В романе «Яконур» авторское моделирование воспринимается не как прием, это словно бы подмена художественного анализа с его сложностью, обилием связей, случайностей и прочим простейшими законами чуждого искусства мира. Поэтому совершенно несостоятельны герои в личном: чувстве к женщине, привязанности, дружбе; так мелодраматичны и неестественны женские судьбы — они в романе тоже есть.

Избранная автором манера никогда не бывает безразлична существу вещи. Не случайны нарочитая традиционность «Привычного дела» Белова или обстоятельная достоверность прозы Нилина, несколько вызывающий рационализм лучших вещей Гранина или заземленное описание быта у Пановой, озорство яркой живописи Коновалова или остродраматические ситуации повестей Быкова...

Всего несколько примеров на этот счет — самых разных.

С какой рафинированной иронией, с каким сарказмом, с какой изощренной насмешкой написана, например, вставная гла-

ва «Путешествия дилетантов» Булата Окуджавы — мирные картины вечернего чая в кругу семьи, где все (дед, бабушка Александра Федоровна, сыновья Саша и Костя, невестки, внуки, названные именно так, доверительно, без затей) словно бы связаны узами искренней любви, благоговения перед дедом, своим могущественным главой, исполненным мудрости и доброты. И постепенно вас обволакивает атмосфера невыносимой фальши и лицемерия, порока в маске благопристойности, атмосфера разнужданного культа неограниченной власти, настойчиво стремящейся к самовозвеличению, так что даже житейские мелочи рядятся в одежды великих дел, а всякие сомнения в непогрешимости главы семьи расцениваются как измена, предательство, — таков портрет царствующей семьи Николая I, выполненный без нажима, в пастельных тонах.

И в этой картине нет ни слова о судьбах декабристов, о Пушкине, о реакционнейшей политике тех лет, а все это незримо присутствует в ней, хотя семейство Николая Павловича просто проводит тихий предвечерний час за чаем и каждый в течение этого часа может вести себя свободно, естественно, без котурнов, но получалось это разве что у детей, остальным казаться давно и навечно заменило умение быть.

Маленькая эта глава, действительно вставная, этот прием, повторяющийся и во второй части романа, глава, словно не связанная с вещью сюжетно, — ключ к пониманию романа, его мысли, его поэтики. Само появление такого человека, как князь Мятлев, его социальный и психологический потенциал невозможно понять, не ощутив могущественной, деспотической силы тихого семейства за чайным столом.

И уж совсем безразличен реализации замысла выбор жанра. Небольшой рассказ Г. Семенова «Фригийские васильки»⁴ и повесть Л. Жуховицкого «Только две недели»⁵ по материалу почти двойники: и там и тут молоденькая девушка в здравом уме и твердой памяти по собственной воле отправляется в отпуск с малозначком и немолодым мужчиной, чтобы потом деловито вернуться к своей обычной размеренной жизни, менять которую вовсе не чувствует потребности.

В повести широкая возможность для подробной информации о предыдущей жизни

⁴ «Наш современник», 1977, № 3.

⁵ «Знамя», 1977, № 12.

героя, о том, как укрепился он в своем жестковато-рациональном подходе к людям, событиям — снова деловой человек, превосходный инженер, руководитель, не карьерист какой-нибудь, — отказался от бумажной высокой должности, но с радостью ждет назначения начальником строительства. Встреча с девочкой и две недели на юге, проведенные вместе, будят ненадолго какое-то полузабытое ощущение в его душе, оставляя оттенок сожаления. Целая повесть посвящена только констатации: поглядите, это история, каких много в наш век, когда не хочется давать волю чувству, привязанности, когда люди сознательно делают выбор, посвящая себя делу, а на эти сантименты хватит и отпускных двух недель. Автор не ставит перед собой какой-то сверхзадачи, ему грустно, что это так, повесть его фиксирует внимание читателей на подобной ситуации. Это зафиксированное беспокоество. Автору очевидна душевная инерция и леность героя, однако он объективно и привычно напоминает, что активность героя — в другой сфере, в работе, в профессионализме. Жанр — повесть — выбран ради возможности неторопливого нагнетания подробностей.

Г. Семенов в своем рассказе менее всего занят социологической информацией. Его герой, добрый, не отличающийся чрезмерной волей Борис Красков, тоже прекрасный работник — даже недостатки его характера обращаются во благо для его профессии: «...именно такая неврастеническая, тревожная забота о будущем, боязнь что-то не успеть сделать для этого будущего сегодня, что-то упустить, в чем-то не подготовиться к нему — эта скрупулезная забота помогла ему многого достичь в той науке, которой он занимался. Тем более что наука эта была новая, процветающая, и он, выращивая в лабораторных условиях кристаллы минералов, тоже, можно сказать, процветал, и ему прочили большое будущее».

Г. Семенов сумел передать тоску своего немолодого — ему сильно за сорок — героя по счастью. Занятый делом, постоянно регламентируемый темпом и ритмом современной жизни, Красков, торопясь привычно, живет в ощущении, что нынешнее его существование — черновик, период подготовки к будущей раскованной, полнокровной, счастливой жизни. Любуясь героем, давая нам понять, что идеал праздного счастья на природе — несбыточная мечта сугу-

бо городского человека, который к общению-то с этой природой готовится по-городскому основательно — оснащает дефицитными приспособлениями машину (на протяжении многих лет она будет ему служить только для поездок в пригород к матери и обратно раз в неделю), покупает вместительный рюкзак — и тот пылится в стеном шкафу: «У него было все или почти все, чтобы начать наконец-то жизнь, какую он любил и о которой мечтал: была отличная польская палатка, была надувная лодка и легкая байдарка, были новые болотные сапоги и японский спиннинг, была новая штормовка, были удобные и легкие корзины, были надувные матрасы и шерстяные, деревенской вязки носки и, наконец, была машина, в багажнике которой лежала без дела газовая портативная плитка, железная коробка для копчения рыбы, компактный несессер с набором легкой и удобной в дороге посуды, были чайник и котелок...» — любуясь наивным увлечением героя, мягко иронизирует автор, рассказывая, как мелькают дни, месяцы, годы, одни неотложные дела у Краскова сменяются другими, лабораторные опыты требуют постоянного и неотложного внимания, журналы напоминают о сроках сдачи статей, а трудолюбивый, самоотверженный Борис каждый понедельник дает себе слово, что уж в нынешнюю-то пятницу он непременно закатится на рыбалку, а каждую пятницу новое важное дело приковывает его к письменному столу.

Георгий Семенов пишет не модель героя, а живого человека, в котором деловитость вовсе не рождает прагматика, а профессиональное соответствие не лишает личность своеобразия, не стирает черты единственности, уникальности. Как добр и наивен Красков со своей юной возлюбленной, как верит в ее внезапную к нему любовь, как хочет защитить, оградить ее, выказать свою надежность, постоянство, решимость — извечные мужские качества, как трогателен в своих надеждах, как не умеет понять истинное положение вещей, даже когда видит, как нежное юное существо без запинки, легко, весело врет родителям, Жизнерадостно придумывает правдивые версии того, как провела отпуск — не в Эстонии, не с Борисом, а в Одессе, по путевке, одна, — как артистично вживается в эти версии...

И в повести Жуховицкого и в рассказе Семенова юные девы покидают своих временных возлюбленных, похоже, что покидают навсегда. У Жуховицкого — с болью,

со страданием, однако решительно — девочка не хочет покусаться на свободу любимого, не хочет нарушить договор о временном партнерстве, а сама девочка не пропадет, она чувствует себя в свои восемнадцать лет самостоятельной и независимой. Автор подчеркивает это как знамение времени. В рассказе Семенова живет искательница приключений, авантюристка, искренняя в своем актерстве. Но Семенов не торопится с выводами о том, что наше деловое время способно породить такой и именно такой характер, его интересует скорее трансформация извечных качеств под влиянием обстоятельства времени. Его Борис сохраняет человечность и иллюзии своей молодости, но не выдерживает современных нагрузок — не умеет найти способа гармоничного существования. Семенов убежденно отстаивает вечное представление искусства о человеке как мере всех вещей, это особенно важно сейчас, среди попыток всевозможного моделирования, упования на узнаваемость и прочее. Жанр рассказа использован максимально, работает не многочисленность однотипных подробностей, а выразительность тех немногих, без которых немислимо повествование о героях и ситуации. В повести Л. Жуховицкого приведено множество примет конкретного времени, в рассказе Г. Семенова есть опыт времени, его плотность, есть ощущение историзма, хотя перед нами вроде бы чисто бытовая история.

Мы сами не заметили, как родилась настоятельная потребность глубинно, многомерно понять свое время. Не просто зафиксировать конкретные его приметы, а проследить сплав времен, их трансформацию в настоящее, приблизиться к философии времени, к осознанию себя — нынешнего — продолжателем, последователем и первопроходцем одновременно. Сдвиг в нашем сознании, связанный с НТР, меняющаяся психология предъявляют новые требования даже к литературе о прошлом, о войне — казалось бы, чего же ждать нового в постановке этой темы? А именно в литературе о войне в последние годы ощутимо рождается новое качество.

Вспомните военную молодость пережитую заново зрелым бондаревским Никитиным и не утратившую своей чистоты и веры, неупрощенное понимание героем времени и себя — человека, писателя в нем, философию истинного, не мнимого добра, до-

верия, истинной силы. Подобное восприятие жизни — постоянно в двух измерениях, сейчас и тогда, в дни войны, причем нынешние критерии имеют опору в военной молодости, но становятся куда более сложными, вместившими опыт более четверти века, — присуще и герою повести Н. Евдокимова «Страстная площадь»⁶. Мне довелось уже писать, что в этой повести свой образ времени, и память о войне, не нуждающаяся в напоминаниях, живет в каждой минуте нынешнего бытия, в любом побуждении и поступке героя, он неотступно ощущает себя тогдашнего, двадцатилетнего, в теперешнем отце семейства и докторе, спасшем не одну жизнь.

Время в повести Евдокимова существует не в обычном бытовом измерении, когда в сутках нормально двадцать четыре часа, время здесь лишь то, что прожито активно, с полной отдачей, что дает новое качество состоянию героя, пониманию им смысла человеческого существования. Постоянное присутствие себя тогдашнего, раненного войной, в нынешнем человеке — это не просто символ двухмерной жизни, не элегическая устремленность назад, к юности, а живая тревога, требующая от современника ответственности, ясности, умения быть собой. Исповедь героя «Страстной площади» обращена к духовному началу человека, опыт войны диктует высокую норму нравственного поведения. Реальное время для евдокимовского героя немислимо без напряженной работы души, реальная жизнь — это жизнь на пользу обществу, прожитая с добротой, умением разделить чужую беду, с совестью: «...будьте благословенны первые уроки товарищества, учившие отдавать — не брать, оберегать — не оберегаться...» В отличие от книг с «моделированными» героями автор «Страстной площади» подчеркнуто равнодушен к привычно подробному описанию житейского устройства своего героя, слишком дорогой ценой далась ему жизнь, чтобы измерять ее сиюминутными радостями от сегодняшних личных достижений.

В последней партизанской повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться»⁷, казалось бы, привычная для Быкова эстетика, исследование человеческого характера на разлом в момент наивысшего напряжения, катастрофы. Однако написана повесть через много лет после войны, а проблемы и тревоги

⁶ «Наш современник», 1977, № 6.

⁷ «Нева», 1978, № 5.

нынешнего бытия и живая память войны заставили автора строить главное столкновение повести как столкновение идеального и практического отношения к жизни.

Восемнадцатилетняя Зося Нарейко, партизанка, впервые отправленная на задание в разведку, недавняя пионервожатая в глухой сельской школе, студентка местного подтехникума, свято верила «в усвоенный ею из книг идеал добра и справедливости...». И идеальная, «книжная» вера оказывается такой силы, что рождает решимость и мужество в доброй, мягкой, мечтательной девочке, не расставшейся с поэзией юности, с «вещими» снами, с мечтой о Нем — единственном, и это несмотря на кровь, войну, ежедневную опасность, гибель товарищей, несмотря на детскую тоску по маме...

Антон Голубин — зрелый, тридцатилетний, постигает жизнь «практически», решает свою судьбу в зависимости от обстоятельств. До войны он несколько лет работал в райфо налоговым инспектором и из всего довоенного опыта вынес единственное: охотников озаботиться общим благом найдется много и без него, а вот о нем лично, об Антоне, заботиться, кроме него, никому. Человек не робкого десятка, находчивый, не слабонервный, физически сильный, он в отряде с самого начала. Автор не один раз настаивает: Антон постигает жизнь практически, идеальные понятия совесть, честь, преданность, товарищество — для него «пропаганда», они хороши для безбедной мирной жизни, но когда речь заходит о спасении собственной шкуры, они звук пустой.

Вероятно, они были бы неплохой парой, эти двое, если бы не война. Но война лишает человека права быть просто человеком, жить всем хочется, только девочка Зося, дважды раненная — полицаем и Антоном, — уползает, преодолевая смертельную боль и усталость, к людям, чтобы предупредить товарищей, спасти от предательства отряд, а обстоятельный, рассудительный Антон в заботах о собственной голове станет так и этак прилаживаться к новой, на немецкий лад, жизни и принесет в жертву добрую и доверчивую девочку, готовую понять и простить все — кроме предательства.

Повесть Василя Быкова ставит благородную, живую и поныне проблему. Утверждая личную ответственность каждого за свою жизнь и судьбу страны, она доказывает, что высшая практика постижения жизни — в

нравственном, духовном постоянстве человека, в его интеллигентности. Интеллигентности не по роду занятий, а по сути отношения к действительности, в способности защищать книжные идеалы не на словах — на деле.

Кажется, эта вещь появилась сразу после войны — настолько достоверно описание партизанского края, так деловит и буднично неприкрашенный рассказ об операциях партизан, так реально оживает заснеженный лес и девочка, у которой замирает сердце, она одна в этом лесу, ей страшно, хотя уже ясен ей урок, что бояться-то нужно людных поселков: там полицаи, там немцы, там пытаются навязать «новый порядок»... Но вещь сегодняшняя — прежде всего обостренной постановкой нравственной проблемы, но и определенной слабостью. Нагнетая события и обстановку, поворачивая так и эдак героев, испытывая их на разлом, автор озабочен исследованием скорее не конкретной жизни, а разработкой проблемы. И герой, выверенный в начале повести с лабораторной точностью, удачно иллюстрирует мысль автора, работает на проблему, но проходит через всю вещь в одном качестве.

Излишне жесткая планировка повести заставляла четко расставлять акценты, поэтому, вероятно, разъяснительны, служебны многие мотивировки поведения героя, его поиски того, что выгоднее. Метания его — от решения уйти к немцам, потом вернуться в отряд, выдать Зосю полицаям, убить ее, потом снова встать под ее защиту, потом во что бы то ни стало уничтожить ее, рассчитаться с ней, — все эти метания призваны множественно подтвердить беспринципность героя, полное отсутствие в нем нравственного начала.

Невольно вспоминается «Сотников», захватывающая стихия художественного открытия. Казалось, все уж сказано о войне и о человеке в ней, ан нет, глубины постижения эпохи и характера — вот они, и за Сотниковым, за Рыбаком. За историей верности и предательства вставала — смертию смерть поправ — многомерная пророческая полнота художественного отражения жизни.

В повести «Пойти и не вернуться» интеллектуальная стихия сопротивляется локальному подходу к теме, требует большего, чем психологическая достоверность и определенность. И в этом требовании сказывается

уровень сегодняшней литературы, тяготеющей к философскому осмыслению прошлого, к историзму, не довольствующейся конкретной памятью.

«В деянии начало бытия...» Современная проза исследует человека в его деле, понимая, что преданность делу предполагает сознательное отношение к жизни и к себе, стремление наиболее полно реализовать себя как личность, оправдать свое существование на земле.

Литература, выходящая из-под пера профессионального «технократа» — химика, физика, математика, инженера, — спохватившись, нередко недоумевает: «Мы слишком хорошо знаем, что такое сверхсопряжение в молекулах, и слишком плохо, что на самом деле означают такие слова, как мама, папа, любовь, — слова, о которых нам попросту некогда думать». Это маленькая цитата из повести Александра Русова «Судья». Автор этой книги — доктор химических наук, не бросивший эту свою профессию ради другой, литературной, хотя выпустил уже не одну книгу, — не обойден вниманием критики.

Его герой — тридцатилетний доцент кафедры органической химии одного из московских вузов, как и Турлав у Скуиня, знает и любит свое дело, его доклад на симпозиуме во Львове имеет успех: «...меня хвалили, предлагали сотрудничество. Меня узнали, как если бы безуспешно разыскивали все эти десять лет, а теперь я сам явился — пропавший без вести герой». К нему, Андрею Александровичу Березкину, «знаменитому Березкину», приезжают кандидаты и доктора из других городов на консультацию, под его руководством работает строптивая лаборатория, отстаивающая право науки заниматься общими проблемами, не давая немедленной, сегодня же ощутимой пользы. «Будто отрешенные от практических забот сегодняшнего дня, мы жили, пожалуй, где-то в грядущем пятнадцатилетии, тогда как шеф надежно окопался в своем 1952-м... Еще до поездки во Львов я замечал, как в последнее время что-то происходит с нашим поколением. Будто жили мы каждый сам по себе, растворенные в большом деловом мире, — и вдруг кто-то невидимый протрубил сбор тридцатилетним, мы побежали и стали строиться по росту... К нам приглядывались, нас выдвигали, на нас надеялись. И мы торопились — каждый по-своему. Тем временем, как иные наши друзья бойко взбирались на близлежащие холмы и хол-

мики и укреплялись там, мы лезли на гору по вертикальной стене».

Работа требовала от доцента Березкина не только деловой сметки и профессиональной активности, но и четкой позиции. Защита ее всегда нелегко дается, у администрации, желающей закрыть нерентабельную в обозримом будущем тему, в распоряжении всегда есть приманки: новые должности для сотрудников, повышенная зарплата, интересные и престижные заграничные командировки и прочее. Верность своему делу, профессиональное мастерство для героя Русова не только в удаче лаборатории, но и в отстаивании своего взгляда на задачи науки, своего права на длительный эксперимент с далеким результатом.

Герой умеет видеть не только конкретную задачу, смысл и цель данного опыта, но оказывается способным думать о вещах более общих, для него человек только при деле — гражданин, не выполняющий своей функции. Не думающая ни о чем, кроме конкретного рабочего момента, трудовая активность, столь любезная сердцу некоторых критиков (см., в частности, статью Ю. Андреева, открывшего в «Литературной газете» дискуссию о нравственности в эпоху НТР), в повести Русова явно подвергается сомнению. Как, впрочем, во многих современных романах и повестях, за которыми стоят очереди в библиотеках, — «Берег» Ю. Бондарева, «Живи и помни» В. Распутина, «Маленькие романы» Э. Вэтемаа, «Бессонница» А. Крона, «Однофамилец» Д. Гранина, «Кафедра» И. Грековой, «Другая жизнь» Ю. Трифонова; список их легко умножить, читателей художественной литературы меньше волнуют самоновейшие мысли о синтезе белка и прочих высоких материях, читатели зато остро нуждаются в собеседниках, когда думают о своих отношениях с людьми, о степени ответственности каждого за положение дел в мире.

Стоит ли ломиться в открытую дверь, доказывая, как необходимы нашему обществу люди активные, мастера своего дела, стоящие на четкой гражданской позиции? Нелепо только и недальновидно связывать эту активность, как это сделано в уже упомянутой статье, только с практической сметкой, с житейской мудростью. Нелепо попытку понять самого себя, оценить свои возможности, представить пути своего соприкосновения с миром объявлять рефлексующим интеллигентичаньем.

По подмосткам театров, по экранам кино,

по повестям и романам действительно бродят порой тени инфантильные, нервные, бесплотные, испытывающие рафинированную беспредметную тоску по неясно-туманному, жаждущие единственного успеха — карьерного, но какое отношение они имеют к интеллигенции? Как же сейчас объявлять рефлексией попытку современного трудового человека понять окружающее и себя в нем? Хочу напомнить читателю эпиграф этой статьи, определение понятия «интеллигенция», данное в «Толковом словаре» В. Даля. Рефлексией это можно считать, только если всерьез уверовать, что человек существует при деле, при науке, при технике. А если дело, наука, техника придуманы человеком для человека же, то он прежде всего должен понять самого себя. Д. Гранин в докладе, о котором я уже упоминала, резко и справедливо выступил против бездумности: «Личность — это «я». И открытие своего «я» — процесс важнейший для формирования личности. Особенно в нынешних условиях одинаковости жизни, когда мы смотрим одни и те же передачи, слушаем одну и ту же музыку, когда массовая продукция культуры, искусства и предметов обихода порождает некий стандарт потребности».

Герой А. Русова «чувствовал, что не случайно явился в этот мир, что мое дело — единственно возможная для меня форма общественно полезной жизни», он четко представляет себе, что люди его поколения — образованные, энергичные — мчатся по скоростным автострадам, «ибо какая-то сила сродни той, что мощными толчками сотрясла Россию в начале века, выталкивает нас в жизнь... Но если для одних гонка, в которую человек включается со школьной скамьи, обретает со временем конкретную цель, то для других она лишь ритм». И сохранить в этом ритме устойчивость — значит остаться человеком среди людей, а не машин, сохранить интерес к окружающим ради них, а не только ради себя, оказаться способным на сочувствие, на помощь, если это понадобится, помнить, что ты не на пустом месте родился, что твои близкие из поколения в поколение передавали тебе лучшее из того, чем наградила их природа и собственная воля, что поколения до тебя на горьком собственном опыте шлифовали тот кодекс нравственности, лучшие статьи которого вполне пригодны и теперь.

В повести Русова на нескольких страни-

цах живет студент Новосельцев, фигура вполне эпизодическая. Он уверен в себе, спокоен, выдержан, он знает цель своей жизни и без суеты, не отвлекаясь на посторонние эмоции, движется к этой цели. Он талантлив и еще в институте, в студенческом НСО под руководством Березкина разрабатывает способ получения труднодоступного вещества, послуживший предметом авторской заявки. На предложение Березкина остаться в аспирантуре он ответил не естественной радостью, а раздумчивым и деловым «нужно подумать. Я не уверен, что в учебном институте достаточно современный уровень...». Казалось бы, нормальное зрелое рассуждение, казалось бы, прекрасно, что так раздвинулись рамки свободы выбора и начинающие таланты чувствуют реальную возможность и смелость искать себе наилучшее применение. А все-таки почему этот юноша хотя бы на миг не испытал благодарности к своему шефу, окончил институт и ушел, даже не попрощавшись? Почему, выдержанный и расчетливый, он чувствует себя единственным на земле человеком, который его интересует, почему он свободен от привязанностей, от воспоминаний, почему ни за кого не в ответе, кроме как за самого себя? «Я так мало узнал о нем за два года совместной работы, — признается Андрей Березкин. — У него были молодые сорокалетние родители, и я решил спросить о них, рассчитывая, что, может быть, эта тема способна высечь искру огня. Он не был скрытен. Казалось, ему нечего скрывать, но и рассказывать о себе нечего. Пожалуй, родители не слишком интересовали его: это было видно по лицу, безлично-равнодушному разговору. Словно он и не родился вовсе, не произошел, но как отмершая чешуйка коры отслоился от них».

Такой тип прагматика, пожалуй, больше всего соответствует образцу не задумывающегося, но «активно поступающего героя», который греется иным критикам. Только вот беда — он безразличен к прошлому и равнодушен к любому будущему, кроме своего собственного. И в житейской ситуации, когда от твоего поведения зависят судьбы близких тебе людей, он, как и Турлав у Скуиня, хладнокровно разработает для себя удобную систему отношений, которая сделает несчастными всех. С Андреем Березкиным у Русова мы встречаемся, когда он решает оставить семью и едет к матери и бабушке объявить свое решение. «То, что случилось со мной, может случить-

ся с каждым. Вы влюбляетесь или, не дай бог, попадаете под трамвай. Вы вполне нормальный и не слишком уже молодой человек, знающий правила уличного движения, умеющий контролировать свои поступки, флиртовать, пить вино и неизменно знать меру во всем. Или однажды вы с удивлением отмечаете про себя, что способны летать по воздуху. Это дает поначалу странные, восхитительные ощущения чуда».

В маленькой повести А. Русова сложная образная система. Герой — из думающих, из страдающих, ему ведомо участие к побежденному, он готов тысячу раз перебрать все обстоятельства дела, прежде чем решиться вынести кому-либо приговор. Для него жизнь жертвенная, посвященная другим — не пустой звук. Он способен понять чужой опыт. И старая мудрая бабушка, прошедшая революцию, деятельная, работающая над книгой мемуаров, не напрасно на его глазах отрывается от любимого дела, чтобы помочь внукам, дочери в повседневной бытовой суете, не зря перед мысленным взором Андрея проходит жизнь матери, увлекающейся, артистичной и несчастливой, мечущейся в поисках любви, и радость маленькой сводной сестренки, почти ровесницы его дочери, когда она сообщает, что все приняли брата за ее отца, и неосознанная тоска по отцу, не давшему девочке даже своего имени, — все участвуют в приговоре, который выносит своей любви Андрей Березкин. Он хочет быть объективным. И обостренным чувством понимает, что кругом виворот. Отдалился от матери, а она так нуждается в душевной поддержке и заботе — она слабенькая; поселил тревогу в своем доме, а для жены и дочери он опора, надежность, уверенность. Даже с садом, старым отцовским садом, ему не удалось вступить в дружеское общение, сад не принял его случайного внимания, сад ценил постоянство. Поездка к отцу, давно ушедшему от семьи, к отчиму, с которым расталась мать, воспоминания об отце сестренки — заметьте, ни для кого из этих людей у героя Русова нет готового приговора, — все эти события вовсе не призваны прямолинейно помочь решению проблемы. Они участвуют в мучительном повзрослении героя, в общем укреплении его миропонимания. «Теперь наступил его черед взвешивать, оценивать, выбирать. В русле этих мыслей Андрей Березкин, как ему казалось, должен был и в самом деле исчислять свою родословную от Ноя, от корней гигантского

дерева, которое приснилось когда-то его прадеду, и мысленно вести ее дальше по пути, который обеспечит безопасное плавание. Из тьмы веков ведомое судно было передано теперь ему, его детям и детям детей, и теперь надлежало руководствоваться оставленными учителями картами, совестью и умением, потому что неосторожный поворот руля грозил не столько его, Березкина, жизни, сколько всей истории, прошлой и будущей. Он нес ответственность...»

И возвращаясь мысленно к началу повести, к позиции героя в его занятиях делом, наукой, замечаешь, что с большим уважением и уважением принимаешь его точку зрения, веришь, что она выстрадана, не случайна, что это не дань моде, времени, не надежда на скорый успех. Это не конформизм, а жизненная позиция думающего интеллигента, и он будет последователен, несмотря на сложные житейские обстоятельства, несмотря на искушения. Ему можно доверять — за ним давняя история человеческого разума и воли, история науки и ее будущее, которое он сознательно приближает.

Словно бы сражаясь с многочисленными в литературе последнего времени попытками моделирования героев и обстоятельств жизни, пользуясь расхожей внешней узнаваемостью, серьезная проза стремится выйти на новый виток своего развития. Психология, подлинность чувства, переживания, столь привлекательная сама по себе, во многих вещах становится ступенькой в открытии нового, объемного миропонимания.

Когда В. Панова опубликовала в 1947 году «Кружилиху», один из самых дискуссионных романов в нашей литературе, критики сетовали, что писательница не справилась с объемной задачей изображения человека в индустриальном труде и «пошла в обход: по кварталам, по рабочему поселку, собирая по крохам то, что не решалась узнать и полюбить целиком» («Литературная газета», 14 января 1948 г.). Сейчас невозможно без неловкости читать, что изображение героя во всем объеме его интересов — помеха главному содержанию романа, теперь это непреложное условие существования героя, но вспомнить об этом полезно.

Роман «Кружилиха» изначально действительно задумывался как роман производственный, однако очень скоро в письме к своему другу и редактору С. Д. Разумовской Панова вносит любопытный корректив в понимание авторского замысла: «Я полна раскаянья, но ничего не могу поделать со

своей подлой бабьей натурой: писать производственные очерки мне не интересно. Не пойду на поправки такого рода, если придется отказаться даже от напечатания романа — даже в «Знамени». Проживу, не сдохну...»

Панова пишет характер, для которого успех дела — его личный успех, провал дела — его личный провал. С крупным, сильным характером Листопада, генерал-директора «Кружилых», связаны надежды писательницы на прогресс общества. Панова пишет характер человека одержимого, однако ее интересует не только его поведение на заводе, ей важно знать о нем все, важно понять, как поведет себя такой тип человека, мужчины дома, как сложатся его отношения в семье. Она убеждена — и весь опыт литературы поддерживает ее в этом убеждении, — что за талант, за счастье получать удовлетворение от своего дела, за искру божью человек расплачивается неспособностью на душевную близость с самыми близкими людьми. «За талант надо платить» — эта точка зрения кажется писательнице справедливой.

Панова вполне сознательно останавливает наше внимание на том, к чему долгие годы литература наша была непозволительно глуха и равнодушна, — на невосполнимости потери, когда воспитание чувств представляется пустым и несостоящим делом.

Все критики в один голос обвинили Листопада в равнодушии и черствости по отношению к жене. Панова запальчиво отвечает: «Я на стороне Листопада...» Но это в статье «Несколько мыслей о технологии нашего ремесла», в романе она куда объективнее, и из дневника Клавдии очевидно, что страдала она из-за того, что не было в семье душевной близости, страдала из-за одиночества вдвоем... Однако в статье Панова всячески защищает своего Листопада, а критика вторит ей: «Клашины заветные традиции... приговор тому старому типу женщины, слабой, безликой, одинокой и страдающей, какая уже не вызывает в нас сочувствия, а только снисходительную жалость...» («Литературная газета», 14 января 1948 г.).

Очевидно, проблема эмансипации, весомо заявленная Ф. Гладковым в «Цементе», столь бурно развернувшаяся в наши дни, подспудно волновала умы и в конце 40-х годов. Панову беспокоила эмоциональная сужость и глухота ее героя, неразвитость и прямолинейность его в обла-

сти чувств (кстати, если обратиться к нашей литературе 40—50-х годов, нельзя не заметить, что это, пожалуй, самая обидная ее слабость). Но она пытается снять обвинение с Листопада, полагая, что рядом с героем этого типа должна быть другая женщина. Ведь это в прошлом женское «я» — это мой муж, мои дети, мой дом. Теперь у женщины есть другие возможности самоутверждения, выражения своего «я». И семья — лишь одна из этих возможностей среди прочих равных.

В книге «О моей жизни, книгах и читателях» Панова рассказывает, как трудно дался ей характер Нонны, конструктора, соратника и истинной возлюбленной Листопада. Когда вышла «Кружилых», новизна и необычность этого женского характера, независимого, целеустремленного, волевого, была замечена сразу же литераторами серьезными — Горбатовым, Каверинным, Симоновым, но сама Нонна симпатий не вызывала, а в отношениях с Листопадом писательница, несмотря на все свои старания, не смогла предложить своей самостоятельной героине ничего иного, как занять ту же позицию покорности, какую занимала и Клавдия, разница здесь только в оттенках.

Мне уже приходилось писать — у Пановой поразительная чуткость к нарождающимся в обществе процессам. И не менее поразительная честность в обращении с фактами реальной жизни. Она знала, что рождаются новые отношения в браке, равенство и взаимное уважение двух соединившихся миров кажутся ей нормой, но нормой будущей, пока же ее герои, как и она сама, живут, отчаянно держась за свои предрассудки. Конструкция — любая — сразу дает себя знать в строчке, в тексте, в эпизоде.

Тридцать лет спустя С. Залыгин в своем «Южноамериканском варианте» попробовал представить на суд общества несколько вариантов жизни своей эмансипированной героини; Майя Ганина от повести к повести вынуждена стойко защищать от критики своих раскрепощенных женщин; гусит, подобно смерчу, любое чувство волевая и целеустремленная героиня липатовской «Повести без названия, сюжета и конца...», для которой жажда лидерства — главное в человеческих отношениях... И социологи начали робко, несмело, но публиковать статьи о процессах, происходящих в сегодняшней семье. Но ведь для всего этого должно было пройти тридцать лет!

В «Кружилихе» же только нащупана проблема, а жизненная основа ее кажется чрезвычайно зыбкой, и поэтому главы о любви Листопада и Нонны — явный диссонанс в достоверном и естественном повествовании. Идет разведка, только нащупываются реальные жизненные связи, только взвешиваются возможные приобретения и потери, и появятся «красивости», мелодраматические повороты — сама жизнь пока мало что подсказывает писательнице. В «Кружилихе» поставлен в некотором роде эксперимент, и для него выбраны герои, с которыми крепко связывает Панова свои надежды на близкие духовные сдвиги нашего общества.

И теперь литература несвободна в изучении возможных вариантов той или иной жизни, когда психология играет роль подсобного материала, подсказчика тому или иному узнаваемому, распространенному житейскому повороту, ситуации, и теперь литература, ставшая столь внимательной к семейному кругу, к «частной» жизни человека, подменяет иной раз подлинность изображения похожестью и информативностью. У нас ведь был прямо-таки взрыв интереса к поведению вполне современного занятого человека в любви, в семье, литераторы со страстью неопитов фиксировали внешние проявления любви, страсти, теме мужчина и женщина отдали дань и заслуженные литераторы и новички, усердствовала и женская проза.

Но вот исподволь, словно накопив материал, тема эта стала составной частью сложного и многомерного рассказа о жизни нашего современника. Не подробнейшая информация о приобретениях и потерях современного делового человека — мужчины ли, женщины, — но глубинный рассказ о человеке, в жизни которого дело и чувство тесно переплетены, не прямолинейные дилеммы, может ли герой, полюбив, оставить семью и прочее, а попытка понять, как меняется общее отношение к жизни, к окружающему, — это все чаще становится центром нашей «городской» прозы. Трудно не оценить усилия литературы. В машинный и занятой век, когда темп жизни захватывает человека и не дает ему возможности остановиться на бегу, переварить пережитое, увиденное, прочитанное, когда так силен иску́с упростить сложное, сделать его удобным, необременительным, отношения между людьми, дружество, семья, дети становятся своеобразным заповедником,

где сохраняется лучшее в человеке, приращенная веками нравственность.

В повести «Уличные фонари», в которой мягкий и лиричный Георгий Семенов верен своей наблюдательности и неназойливой пристальности к обыденно и на первый взгляд ничем не примечательной городской нашей жизни, обычнейшая история жизни маленькой семьи становится вдруг центром многих трудных современных проблем.

Скромные, ничего героического не совершившие, стареющие Простяковы, отличающиеся разве что неукоснительной честностью, преданностью друг другу и удивительной доброжелательностью к окружающим, старомодные Простяковы, вызывающие обычно в жизни и в литературе добродушное пренебрежение, а совсем недавно и вовсе наверняка признанные мещанами и обывателями, своей непритязательной жизнью создают вокруг себя микроклимат надежности и постоянства.

Писатель далек от мысли представить своих Простяковых этаким оплотом будущего душевного благоденствия, он не призывает, условно говоря, назад, к старосветским помещикам, он посмеивается над их невольным родительским деспотизмом, чрезмерной чувствительностью, над способностью страдать из-за пустяков. Но при этом, не боясь обвинения в консерватизме и ретроградстве, неукоснительно заставляет читателя вдуматься в те вечные ценности, которые сохраняют эти люди.

Интеллигент в первом поколении Петя Взоров, несостоявшийся муж дочери Простяковых, раздраженный, не уверенный в себе, озлобленно ждущий от жизни признания и наград, уверен, что Простяковы — вчерашний день нашей действительности, старички на отдыхе, доживающие свой век. Ему, современному человеку, вольному неторопливо выбрать свой путь — от профессии до жены, — претит чувствительность и наивность Простяковых, смешна их забота о дочери, страхи за ее судьбу, их приверженность старой замоскворецкой квартире, которую должны снести, смешна увлеченность, с какой они обихаживают маленький и к тому же не свой дачный участок.

Он стыдится своей любви к матери и ее сестрам — его обожаемые «триваннны», «земноводные», недостаточно воспитанны, обходительны, образованны, — хотя готов горло перегрызть каждому, кто косо поглядывает на них, он любит Дяну Простякову, мучает ее и всю семью своей нерешим-

тельностью — он боится продешевить, вы-брать не ту женщину, которая соответству-ет умозрительному его представлению о карьере, об успехе.

Г. Семенов и тут не торопится зафиксиро-вать душевную недостаточность своего ге-роя, психологическая информация ему не-интересна. Он вовсе не конченный человек, этот Петя Взоров, автор полон внимания и сочувствия к нему. В герое подспудно идут глубинные душевные процессы, они-то и ув-лекательны для писателя. Молодой Петя Взоров суетлив и нервозен в стремлении утвердить себя, доказать, что он — свобод-ный человек со своей философией личности, вольной поступать, как ей заблагорассудит-ся, пренебрегать общепринятыми нормаами поведения, личности, не желающей связы-вать себя какими-либо обязательствами. Зрелый Петя Взоров, достигший карьерно-го успеха, отец семейства, в финале вещи признается Дине Простяковой, с которой, оказывается, его связало на всю жизнь неч-то большее, чем обоюдное влечение: «Я, че-стно говоря, не знаю, что лучше: жить с не-любимой женщиной или уйти от нее. Я чертовски устал. У меня нет прошлого с этой женщиной. Я живу от той грани, ко-гда встретил ее, а до этой грани — юность, возмужание, надежды и ты. Я не могу вме-сте с ней уйти в своую молодость, в которой ты. А мне так теперь нужен человек рядом, с которым бы я мог свободно гулять по всей своей жизни, не спотыкаться, не провали-ваться в пустоту, не стукаться лбом о стен-ку... Господи! До чего же я завидую твоим старикам! Я их, честно говоря, только те-перь стал понимать. Они счастливы, пото-му что в любой момент могут свободно пройтись, прогуляться по всей своей жизни, поплавать во времени, не боясь глубины...»

Вот этот виток сознания, это пережитое, понятное обогащение внутреннего мира ге-роя по-настоящему существенны. Разница между фактографической описательностью истории чувства и изображением его глу-бин, которые влияют на всю жизнь чело-века, на все ее аспекты, образно говоря, такая же, как разница между страстью Пье-ра к Элен Безуховой и его любовью к На-таше Ростовой.

Свобода выбора, способность реализации собственной личности, вечные вопросы че-ловеческого духа — для чего я живу?.. С мощным развитием техники эти вечные проблемы не только не утратили остроты,

но, наоборот, утвердились, ведь необычные возможности машины только подтвердили уникальность и неповторимость человека.

Повесть Валентина Тублина, о которой много спорила критика, недаром называет-ся «Доказательства». Мне довелось писать о том, что автор уловил потребность обще-ства в доказательствах человеческого по-тенциала, в широкой, разнообразной карти-не безграничности возможностей каждого, в талантливости, одаренности обыкновен-ного человека: «...он, Игорь Александрович Сычев,— это вы, и я, и наш общий сосед по коммунальной квартире, речь пойдет о са-мом обыкновенном человеке, о самом обыч-ном, о тех, кого в дюжине двенадцать, ну, может быть, одиннадцать...» Тублин настоя-чиво доказывает своему современнику, как много в судьбе каждого и в судьбах мира зависит от самой личности, от страстности и настойчивости поиска своего дела в жи-зни. Каждый осуществляет свое право на свободу выбора: «...если бы на свете был мир, близкий к идеальному, это был бы мир спорта. Там каждый стоит то, что стоит — вот что главное... Человек в мире равных возможностей».

Герой «Доказательств» вполне добросо-вестный работник, и тем выразительнее его бунт против обыденности привычной жи-зни, которая вовсе не поглощает его, потому что не нашлось того единственного дела, ра-ди которого он явился на свет. Обыден-ность—не просто скука, сытая, тупая флег-ма, обыденность — предательство самого себя, тех возможностей, которые таятся в каждом на пути становления личности. По-степенно складывается система дока-зательств, сильная в своей общей части, ар-гументированная множеством исторических примеров всегда к месту, всегда напи-санных с изящной легкостью, мысль о цен-ности личности, активность которой направ-лена во благо общества. Эрудиция автора, его интерес к «вечным» проблемам ведут, как иронизирует он сам, в «эмпирии чисто-го духа», когда всемогущее Время опреде-ляет истинную цену прожитой жизни, и «бумажные знаки достоинства там не име-ют хождения, там рассыпаются в прах зна-ния и должности, происхождения и титулы, там остаются лишь дела, достойные потом-ства, и висельник по имени Франсуа Вийон пьет там нектар бессмертия за одним сто-лом с господином министром Гёте и кавале-ром Глюком...».

Герой повести в своей жажде понять

Смысл собственного существования доходит до крайности, он хочет знать свою пробу. «Требуется Сычев» — хотел бы прочесть он однажды, но требовались только «опытные инженеры». Тублин убежден, что, с точки зрения государства, «выгоднее гораздо, чтобы в конечном итоге каждый занимался тем, к чему лежит его душа». И вот на пути к решению вопроса об избранности и предназначенности мы вместе с героем заходим в стеклянную будку чистильщика. «Старый ассириец сидел там, глаза его были полузакрыты, взгляд обращен вовнутрь. За ним в тесноте стеклянного террариума теснились тысячелетия истории... Сычев видел человека, полного достоинства; человек живет во второй половине двадцатого века: торжество физики, лазеры, черная икра из нефти, синхрофазотрон, век технического прогресса, престиж профессии — а человек сидит и чистит чужую обувь, счищает грязь, наводит блеск... Чистильщик сапог — анахронизм, пережиток, нонсенс, скоро эта профессия исчезнет, но он полон достоинства — откуда и почему?.. Не могло быть, чтобы он не думал об этом, человек не может не думать о том, кем он мог стать и кем он стал... Итог всегда перед нами, итог показывает, что человек остался чистильщиком сапог, и непреложность этого факта, подобный итог прожитой жизни должен бы убивать... если только... все это не есть следствие свободно осознанного выбора. Вот он, ключ. Вот откуда это спокойствие и достоинство».

И это все? Разве свободно осознанный выбор — только панацея, формально освещающая все? А сам выбор — разве не важно, каков он, к чему направлен? Свобода выбора, реализация себя как личности, не освященная идеей общественной пользы, разве об этом шла речь в повести? Стройная логическая система доказательств колеблется от перехлестов: не ради же формально понятого, чисто логического понятия «свобода выбора» автор столько времени потрясал оружием? Человек поставил перед собой минимальную цель, просуществовал в своей будке, обманув себя сознанием свободно выбранной жизни, и это — радостное служение, польза обществу? Скорее наоборот, это лукавая лень, добровольный уход от живого времени.

Впрочем, ведь Сычев — натура ищущая, он все время в интеллектуальном движении, он ищет свой путь, прибегая к авторитетам, отталкиваясь от них. Его напряжен-

ный интеллектуальный поиск, пожалуй, самое сильное, что есть в повести, он продиктован потребностями времени, когда обществу стало важно напомнить человеку, чтобы он не заблуждался, потому что самое сверхразвитое производство — лишь подспорье в деятельности человечества, оно целиком и полностью зависит от личности, сознательно определившей свой путь. Легко, например, увидеть в повести излишества, изыск, демонстрацию стиля, легко оттолкнуться от вездливости анализа, поворачивающего так и эдак вроде бы незначительное психологическое побуждение героя. Но выбор средств, которыми достигается это представление о герое — логическое и эмоциональное, усложненность манеры вполне оправданны; именно привычкой отгораживаться от истины надуманной сложностью понимания мира и себя в нем, этой защитной реакцией, грешат иные наши интеллектуалы. В «Доказательствах» ощущается временами некое перенасыщение, когда слишком густо замешанные краски не дают глубины изображения, гасят его эмоциональность и вольно, широко написанные картины существуют словно бы сами по себе — автор не в силах остановиться. Так, по-видимому, случилось в последнем романе В. Тублина «Покидая Эдем».

Другой ленинградский писатель — В. Мусаханов — строит свою новую вещь, не прибегая к авторитетам древних, его аргументы коренятся в нашей сегодняшней жизни, но от этого нравственный поиск его героев не становится менее напряженным.

Один из главных героев большой повести Валерия Мусаханова «Скорость»⁸ в трудную минуту жизни пытается понять причину вечного недовольства собой. Слесарил раньше в гараже, и не было такой работы, которую не умел бы сделать, водитель классный, автогонщик не из последних. А потом стал конструктором-испытателем автомобилей, жадно учился, изучал прошлое автомобилестроения, неизмеримо расширился профессиональный кругозор — казалось бы, причин для самоуважения стало больше. Ан нет. Что-то стало не так, исчезла прежняя уверенность, любое профессиональное решение разбегалось в множество вполне приемлемых вариантов... «Понял, что теперь я хочу больше, чем могу».

Вот, пожалуй, точная формулировка то-

⁸ «Звезда», 1977. №№ 10—12.

го творческого состояния, которое держит нашего современника, участника этой самой НТР, в постоянном и высоком напряжении. «Хочу больше, чем могу» не от бедности, а от богатства. Богатства накопленного знания, открытий, реально воплощенных в промышленности, технике. Скорость — не только название повести или символ нашей эпохи. Для материалиста время — форма существования материи. Ну, а скорость — это форма существования современного человека, и не нужно быть автогонщиком, чтобы понять это. «Скорость здесь, на кольце... оживала и становилась могущественной силой, стремилась положить машину на выраже, выбросить ее за пределы асфальтовой полосы, перевернуть вверх колесами... Человек может не садиться за руль машины, не надевать шлема и очков гонщика, может заняться собиранием марок, вышиванием гладью или еще чем-то спокойным и безопасным, но почему-то он снова и снова, после успеха и после неудач, напяливает шлем и очки и садится за руль. Никто не принуждает его, он идет на это сам, и значит, скорость — это еще и свобода...»

Любое существенное описание в этой повести, как бы тесно ни было оно связано с конкретным делом жизни героев, вырывается за рамки этого конкретного дела, становится общим для нас всех. Автор рассказывает действительно о скорости на кольце автоиспытаний, но это одновременно и рассказ о состоянии каждого, кто увлечен своим делом, сделал сознательно свой выбор и хочет служить прогрессу. Не техническому прогрессу — человеческому, нравственному, где технический лишь составная часть.

Как и у Константиновского, в повести Мусаханова много страниц отдано описанию эксперимента, модели, гонки — казалось бы, специальным рассуждениям о технических и социальных требованиях к современной малолитражке и прочее. Но если в «Яконуре» подобные страницы должны служить доказательством причастности героев к суперсовременным делам, то в «Скорости» читатель становится — без натяжки — соучастником, с ним, доверяя ему, автор делится своим конкретным опытом. Автор рассказывает, например, о тяжелом недоумении своего героя: почему нужно доводить «до ума», до результата давно провалившуюся техническую идею, загромождать под большой, дорогой автомобиль

среднего класса, хотя ходовая часть и двигатель конструктивно и морально устарели уже в процессе доводки? Автор рассуждает о моде: если к автомобилю пристраивают самолетный хвост или снабжают его устройством для выпечки пончиков — это мода. Если автомобиль становится красивее, комфортабельнее, экономичнее и мощнее — это прогресс. «Мода и технический прогресс не имеют между собой ничего общего: первая — изменение внешности, второй — изменение качества». Но конструкторы тоже люди, и некоторые принимают моду за прогресс...

В повести мы прочтем социальное исследование, каким должен быть современный автомобиль, на кого он рассчитан, что такое метод перспективного конструирования техники и почему без него сейчас нельзя двигаться дальше и т. д., подобных страниц немало, но их вовсе не хочется перелистать, они требуют нашего читательского участия, мнения, и ловишь себя на том, что невольно ищешь примеры из собственного, такого далекого от автомобилестроения опыта. Главное же — в любом из этих описаний ощутима забота о человеке, нигде поиск не становится самоцельным.

Я вовсе не собираюсь петь гимны шестеренкам, просто хочу обратить внимание на редкую удачу, когда конкретное дело героев, специфические его подробности увлекательны для неспециалиста, вызывают ответное размышление, потому что несут в себе — каждый раз — общее представление о жизни. Наша критика порой так страстно хочет увидеть героя в достоверном деле его жизни, что нередко проходит мимо этого изображения. За примерами ходить недалеко — не заметили же в свое время «Скудный материк» А. Рекемчука и рабочего человека Ивана Еремеева, а ведь тоже — тосковали.

В повести Мусаханова живет новое производство с его проблемами, в которых сегодняшней день неотделим от завтрашнего, и нельзя принять решение, руководствуясь только интересами ближайшего будущего — конструкция устареет, еще не сойдя с конвейера. Это новое производство требует высокого профессионализма: техники-механики, водители-испытатели, инженеры работают четко, без суеты, без мелочной опеки руководства. Объясняется задача, а решают ее на месте наиболее разумно и экономно — «почему-то все лаборантки, механики и водители знали, кому и чем за-

яяться». Это современный коллектив думающих людей, сознательно выбравших себе дело, и когда инженер Яковлев в раздражении пытается ускорить темп испытания, поменять местами процессы, он сталкивается не с возмущением своих подчиненных или их нежеланием делать дополнительную работу, а с их дружеским, отрезвляющим недоумением — испытание требует последовательности.

Все эти подробности существенны сами по себе — они рисуют образ современного производства и отношений, которые складываются в теперешние времена, они создают и атмосферу жизни героев. Перед нами профессионалы, соответствующие современному уровню развития производства, люди творческие, не жалеющие ни времени, ни сил на решение своих специфических проблем, осознающие общественные цель и смысл своего труда. Словом, выполнена с лихвой суперзадача прежнего производственного романа. Однако в отличие от него герои «Скорости» живут не только уплотненной деловой жизнью, не менее настойчиво и требовательно они ищут дорогу к самим себе, и этот их поиск, вернее его зыскательная напряженность, делает героев действительно современными людьми. Их двое — людей, составляющих основу повести, один внутренне подводит итог прожитой жизни, хотя еще вовсе не стар, едва за пятьдесят, и его зрелый опыт по-прежнему питает то дело, ради которого прожита жизнь, другой — на пороге зрелости, накануне важнейшего поворота в жизни, когда от силы воли, стойкости, упорства зависит воплощение того, что решено, продумано, на что ушел не один год жизни. Учитель и ученик. Профессор Владимир, директор института, и конструктор-испытатель, бывший слесарь, гонщик Григорий Яковлев.

Как герои многих книг последнего времени, как кроновский Юдин, бондаревский Никитин, Игорь Владимирович Владимир постоянно вспоминает и оценивает прошлое. Как и у других названных персонажей, у Владимира это не ностальгия, не страх надвигающейся старости, не самокопание — попытка понять свою жизнь, опытом пережитого направить будущее. У профессора Владимира — ученики и учебники, кафедра в учебном институте, собственный НИИ, где решается будущее нашего автомобилестроения, и папка неосуществленных замыслов. Игорь Владимирович вместе с друзьями отчаянно счастливых довоенных лет

разработал проект экономичного, легкого в употреблении маленького автомобиля, молодые конструкторы страны, только наращивающей в первых пятилетках уровень технической мысли, предложили решение, обгоняющее конструкторские поиски самых развитых стран. Владимир стал автором общего и важнейшего для техники метода перспективного конструирования — по его учебникам и книгам готовилось впоследствии не одно поколение инженеров и ученых. Во время войны погибли друзья, Владимиру предстояло разрабатывать не их общую модель, а модернизировать плановые, запущенные в производство проекты, он уже привык к размеренной жизни на определенном уровне, привык к признанию коллег, папка с неосуществленными замыслами перекладывалась с места на место, а цветущий, эlegantный и респектабельный профессор стал руководить сначала учебной кафедрой, потом научно-исследовательским институтом.

Объективная общественная польза деятельности Игоря Владимировича весьма существенна, личный его путь от беспризорника во времена гражданской войны до ведущего специалиста в своей области честен, полон труда и забот. «Чего не хватило? Не все ли равно чего — души, сил, смелости... Чего-то не хватило, и все... Он шел по коридору широким упругим шагом и улыбался сослуживцам искренней, открытой улыбкой, но неудовлетворенность собой, своей жизнью, которая близилась к итогу, не покидала его ни на миг даже тогда, когда он не думал об этом».

Мусаханов настойчиво предостерегает читателя: не считите, что герой кокетничает, что это блажь, игра в самолюбие. Ничуть. Настало время зрелости суровой, как сказал поэт. Пришла пора взглянуть на сделанное каждым, исходя из максимальных возможностей данного человека, а Игорю Владимировичу немало дано — талант, обаяние, поддержка общества. Еще и еще раз автор напоминает: Игорь Владимирович многого достиг, польза его жизни неоспорима, но судить его нужно по тем законам, которые он сам применяет к себе. Он заслужил это право именно потому, что сумел сохранить чувство неудовлетворенности собой, несмотря на заслуженно благополучную жизнь.

Оглядываясь на пережитое, герой вспоминает, как постепенно, шаг за шагом приучал себя из возможных решений выбирать то, что не могло нарушить спокойную, бес-

хлопотную жизнь, на которую, казалось, вполне имел право, раз уж остался в живых после такой войны. Нет, не жадность к материальным благам диктовала ему линию поведения, он не стал фанатиком вещей, хотя знал им цену и обладал достаточным вкусом.

Он ценил удобства, но сумел не превратить их в цель жизни, избежать этого ему помогло прошлое — беспризорное детство напоминало о душевной щедрости окружающих, способных поделить последним куском, «двадцатые годы остались в памяти Игоря Владимировича как время особенной открытости и отзывчивости людей; человек, предвещающий счастье, становится добрее», да и уровень нашей жизни вовсе не тянет думающего человека к накопительству.

Нет, не вещи представляли для него высокую ценность, больше всего он дорожил душевным комфортом, в котором признали и е — немаловажная составная часть. Именно тяга к душевному комфорту увела Игоря Владимировича из КБ в учебный институт, именно она превратила его в виртуозного пловца, умеющего огибать водовороты, дипломатично выжидать благоприятной погоды, не лезть на рожон и добиваться того, что важнейшие твои предложения выказывают другие, тебе же остается лишь поддержать их. Эта тяга к душевному комфорту задвинула в дальний ящик старый портфель с графиками, чертежами, эскизами — печальной повестью о поражении и слабости, повестью о несделанном. Оказалось, что он, всегда видевший перспективу, философ перспективы, жил на самом деле интересами минуты, суетой сегодняшнего дня и полагал, что живет хорошо, от удачи к удаче, и уважение, признание людей сопутствуют ему... Игорь Владимирович не стал прятать от себя правду, хотя она резко нарушила столь ценный им душевный комфорт: «...он, Владимир, всегда слишком остро чувствовал вкус дарованного мгновения, всегда был предан ему... потому что не был способен на подвижность и не был способен на самоограничение, без которого невозможно достигнуть цели».

Таким был бы невеселый урок рассказанной Мусахановым жизни, если бы не одно обстоятельство. У героя повести есть один талант, переоценить который невозможно. Он талантлив в отношениях с людьми. Его открытость чужой заботе, доброже-

лательность активны, он умеет не только разглядеть чужую одаренность, почувствовать в другом одержимость, оценить рабочую хватку, но и, не жалея времени и душевного тепла, определить чужую судьбу. Разглядеть в гаражном слесаре настоящего конструктора, заставить учиться, тянуть долгие годы, перетащить инженера, погрязшего в заводской текучке, на научную работу (тот редкостно талантлив и работяга к тому же), наконец, не дать ученику повторить свою судьбу, помочь устоять перед искушением сытым благополучием, не жалея себя открыть перед ним свою беду — старый портфель, свидетеля несостоявшихся надежд, преданных замыслов, — все это естественно для Игоря Владимировича. И эта подлинная доброта возвращает герою утраченную безоглядную решимость, мужество и непререкаемость в делах.

В. Мусаханов ставит существенные проблемы духовной жизни современника, не упуская его психологически, отдавая себе отчет в многомерности каждого.

Замкнутый, угрюмый Григорий Яковлев, ученик Владимирова, работяга, каких мало, успевающий в месяц то, на что другому не хватит многих лет, жадный к знаниям, жестокый в работе к себе и другим, тоже долго живет сегодняшним днем — иначе он просто не умеет. Как и Владимир, он рано осиротел — в блокаде. Детский дом, ремесленное училище, общежития, постоянная жизнь на людях сильно притормозили духовную самостоятельную жизнь. С годами Яковлев все сильнее чувствует это. «Я душевный самоучка», — говорит он о себе, и это не пустая фраза. Он может разобраться в сложном техническом вопросе, принять зрелое конструкторское решение, в своем деле он мастер. И в то же время по душевному опыту он подросток, который смутно ощущает, что с ним творится. Автор несколько раз повторяет, что у Григория «невнятные мысли». При его упорстве, настойчивой воле, уверенности, что ближайший путь — прямая, при его таланте, наконец, может быть, и не нужна душевная сложность, может быть, удачно разработанная модель автомобиля — это и есть оправдание жизни, ее смысл? И может быть, достаточно уметь с первого взгляда оценить новизну и преимущества той или иной модели, а понимать людей, быть им необходимым и чувствовать постоянную тягу к ним — это лишнее?

Автор полемически заостряет эту пробле-

му. Он убежден, что личность обедняет себя, не желая или не умея, не научившись думать, понимать глубинную связь своего существования и жизни общества. Человек в своем деле полноценный работник тогда, когда он, помимо специальных знаний и усилий, несет понимание своего человеческого предназначения. В повести нет примитивной проповеди этого тезиса, нет его общей аргументации. Просто Григорий искренен в своей грусти, достоверен, требует нашего сочувствия, когда рассказывает, как поздно пробудился в нем интерес к пониманию людей и себя, как долго он жил, словно трава растет, без близких людей, товарищей, не задумываясь над тем, ради чего живет, жил интересами текущего дня: «...мне не с кем было сравнивать себя изнутри, я не мог понять, так ли я чувствую, как другие. Словом, я душевный самоучка и учиться-то начал поздно, когда другие уже достигают зрелости...» Но, как писал философ, презрения достоин не тот человек, кто не достиг цели, а тот, кто к ней не стремился. И до тех пор, пока Григорий не научится думать не только о нуждах момента, пока вся многосложность жизни с ее множественностью связей, обязанностей не станет доступна ему, пока нравственная цель его деятельности не заставит его поступать потребностями быта, до тех пор с ним нельзя связывать надежды на общественный прогресс, как бы симпатичен и талантлив он ни был. Времени нужны люди, сознательно сделавшие свой выбор,— и Григорий идет по этому пути.

Сохранилась внутренняя рецензия Н. С. Тихонова, написанная в редакцию журнала «Знамя» по поводу прочитанной им части повести «Санитарный поезд» — будущей повести Веры Пановой «Спутники». В рецензии есть мысль, имеющая непосредственное отношение к предмету наших сегодняшних разговоров:

«Напечатать нужно. Вопрос — дождаться

ли другого куска, где будет больше действия. А если даже его и не будет, а будет действовать внутренний мир героев, то и это уже то, что нам очень нужно. А то у нас пошел странно много действующий герой, без объяснения его социального мира, не говоря о мироощущении».

В стремлении к психологической сложности вкус порой изменяет Мусаханову, в повести немало длинот, любовная линия повести явно залитературена, и все же повесть заставляет задуматься над главным — в чем цель человеческой активности, возможно ли осуществление личности без нравственного идеала, есть ли оправдание душевной лени. Характер и дело, поступок и человечность, ответственность личности перед обществом и перед собой — важнейшие вопросы нашего сегодняшнего бытия, и в повести В. Мусаханова они живут в неординарных людях, занятых своей точно и со знанием написанной увлекательной профессией.

Литература последнего времени, справившись с первым потрясением от размаха и результативности научно-технической революции, возвращается к своим прямым обязанностям объяснять человеку человека.

Искусство от века отстаивает глубинные человеческие возможности, в том числе и интеллектуальные. Но только в том числе. Вспомните Спинозу: самый высокий разум не имеет никаких преимуществ перед великой добротой.

НТР — она еще только начинается. И мы внутри потока мощного развития интеллекта. Но он же и подсказывает нам, что есть нечто более высокое, чем интеллект. Мудрость. Нормальная житейская мудрость, которая и говорит, что все придуманное человеком может обернуться против человека, если вырвется из-под его нравственного контроля.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Галина Трефилова. В поисках судьбы. — Вадим Сикорский. Беловой вариант. — А. Анастасьев. Своей дорогой. — Эрнст Генри. Судьбы западногерманской литературы.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Иг. Бубнов. Родство духа и близость форм.

Литература и искусство

В ПОИСКАХ СУДЬБЫ

Анатолий Ткаченко. Четвертая скорость. Повесть. «Наш современник», 1978, №№ 5—6.

Ветер века: тому лет сорок с лишним пылкость неутомимых сатириков усадила Илью Ильфа и Евгения Петрова в автомобиль, и так обрели они нужный масштаб огромности одноэтажных американских чудес. В преклонных уже годах приручил моторизованную карету Михаил Пришвин. Он уверенно вырулил по направлению к лесу и неожиданно легко примирил тем самым природу с цивилизацией.

Колеса, мотор, скорость. Все едут, летят, мчатся, и психологическое двоение (здесь — там, теперь — тогда) в книгах-путешествиях В. Катаева, Ю. Бондарева, Д. Гранина сродни двоению нынешних средств коммуникации.

Прозаик приметлив. Оседлав автомобиль обиходно-житейски, он увидел вдруг, что и прочее человечество тоже не сплошь ходит пешком, «как Чехов». Некогда неуклюжее техническое нововведение сделалось опасным, вертким и вездесущим, недешевая индивидуальная прихоть — массовой эпидемией, видом социального психоза.

Не удивительно, что гаражные будни автолюбителя-частника находят своих летописцев, обличителей, философов. Почти одновременно вышли в свет повести «Четвертая скорость» А. Ткаченко и «Что почем?» М. Чулаки («Звезда», 1978, № 4): много в

них различий, но сходство изображаемой природы тоже бросается в глаза.

Ленинградский кооперативный гараж у М. Чулаки, куда на временную работу определился сторожем аспирант-математик Вадим, легко поглотил бы менее масштабный подмосковный «Сигнал», где ту же должность занимает в повести А. Ткаченко ее главный герой — пенсионер и литератор по прозвищу Максимилиан Минусов, чем-то созвучному пышноуничжительным фамилиям провинциальных разночинцев Достоевского и горьковских окурковских чудаков.

Житейские передражки напористого Вадима, не так уж долго размышлявшего над новейшей (взамен старинного любовного треугольника) геометрической конфигурацией «машина — женщина — мужчина», сюжетно близки более драматичным испытаниям, выпавшим в «Сигнале» на долю Минусова и двух его гаражных подопечных — рабочего-интеллигента Рудольфа Сергунина, блудного потомка высокоумных родителей, и дизайнера Михаила Гарущенко, назвавшего себя позже «престарелым шалопаем». Известный параллелизм наблюдается и в изображении некоторых женских характеров.

Более однолинейная повесть М. Чулаки умело склоняет действие к слегка фельетонной бытовой развязке. Демиург повест-

вователю слегка трунит над павшим аспирантом Вадимом, остерегая его угрозой суда и следствия за мелкие денежные махинации.

Марьяжные пасьянсы в «Сигнале» обходятся без устрашающего призрака уголовного, зато хроника транспортных происшествий оборачивается для героев А. Ткаченко скрижалями мойр.

Легче всех — лишь небольшой поучительной аварией — откупается от судьбы прагматик Сергунин, заработавший машину «своим горбом» на сибирских стройках. Этот выстраивает и дом, и гараж, и свою биографию с основательностью Наф-Нафа из популярной сказки «Три поросенка». Он и жегу — свежую деревенскую девушку Клаву, испуганную таким зигзагом удачи, — высватывает с тем трезвым расчетом, с каким зажиточный крестьянин, бывало, приценивался к необходимой в хозяйстве рабочей лошади.

Не столь основательно ориентированный Гарущенко круто меняет прожигательский образ жизни чуть позже, пройдя сквозь очистительный пожар, в котором его купленная на левые, шальные деньги любимая машина, соперница юной его подружки Людэ Деевой, сгорает дотла, как жертвенный агнец, возложенный женщиной на алтарь ее проблематичного семейного счастья.

И только Минусов, самый старший из них, бывший учитель, водитель самосвала, совхозный рабочий, одиноким уходит из «Сигнала» на своих двоих, все чаще вспоминая товарища по дальневосточным странствиям шопера Алексея Конькова, затянутого под речной лед вместе с грузовиком, уходит, похоронив после аварии с ее маленьким «Запорожцем» подружку юных лет Олечку-математичку, всю жизнь безответно его любившую.

Стихия уличного движения и транспортных отношений наводит автора на мысль о более общих жизненных закономерностях, об особенностях человеческих характеров.

И если досадные затруднения нетерпеливого Вадима в повести «Что почему?» истолкованы автором как искусы материальных соблазнов, то в «Четвертой скорости» А. Ткаченко сходные проблемы рассмотрены в более широкой социальной перспективе.

Отличие «Четвертой скорости» еще и в том, что эта повесть не ограничивается одной лишь постановкой вопросов, а нащупывает какие-то, пусть и половинчатые, отве-

ты. Их неокончателность сказывается в небывало сложной для этого писателя организации повествования, где продемонстрированы всевозможные способы ввести нас в курс происходящего: автор от себя рассказывает о герое, тот — о себе и других; они размышляют о нем; в несобственно-прямой речи, в форме сказа, письма, диалога, внутреннего монолога, дневниковой записи, мыслей вслух, вмонтированного документа, притчевого обрамления заявлена множественность позиций, не дающая ни одной из них решительного преобладания.

Особенная роль отводится так называемым «Святцам» — вставным дневниковым записям героя от первого лица о местах, где ему пришлось работать, о встреченных людях.

Воспроизводятся эпизоды знакомства и дружбы Минусова с кочевым строителем Антипом Тюриным, их длительных семейных связей с двумя вдовыми хозяйками-сибирячками. Но подробней всего рассказана предшествующая этим событиям история многолетнего минусовского спутника Алексея Конькова, чья жизнь была сознательной, трагической попыткой трудом и собственной нравственной безупречностью искупить в глазах людей незамолимый грех отца — гитлеровского полица и карателя. Исключительность этих личных обстоятельств укрепила в Конькове такие качества (трудолюбивую самоотверженность, бескорыстие и отзывчивость на всякую общую нужду), которые Минусов почитал замечательными чертами русского народного характера и ставил себе в образец.

Записки Минусова вносят немалую лепту в ответственные отношения автора и героя, тем более что хронология «Святцев» охватывает 40—60-е годы и во многом совпадает с хронологией книг А. Ткаченко; да и карты странствий того и другого очерчивают сходную территорию.

Однако стезя процветающего прозаика и безвестного автора неопубликованных дневников совсем не то же самое. Когда говорят «писатель», подразумевают авторитетность имени, убедительный рядок печатных трудов, издательские планы, общественную деятельность, конференции-делегации, критики-полемики, со временем и так называемую творческую лабораторию. Личночная, или «жукольная», стадия того же организма определяется словом «литератор». Она обладает свойством длиться иной раз всю жизнь, оставляя в таком случае труженику

слова все хлопоты ремесла без его преимущества, а стороннему наблюдателю — повод гадать о человеке и так и сяк.

Примерно такова неопределенность перманентного состояния Минусова. Испытываемый им «зуд слова» он и сам расценивает чуть ли не как причуду или хворь, во всяком случае биографический изъян, чем-то схожий с «анкетным неблагополучием» Конькова. Это еще больше объединяет их, вызывая желание Минусова уподобиться другу этически, стать его тенью, его социально-классовым близнецом, а после его смерти найти ему замену в лице Антипа Тюрина. Вечное литературство героя объясняет в нем и перемену профессий, и скитания, и стремление избежать прочных семейных привязанностей, и особую чуткость ко всякого рода неустойчивости человеческих положений. А она-то как раз и характерна для многих персонажей «Четвертой скорости», где можно видеть, как потомственный рабочий становится педагогом, потомственный интеллигент — рабочим, а дипломированный учитель — шофером. Таким образом, «Святцы» дают писателю возможность заострить некоторые сюжетные ситуации, а кроме того, включить в повесть с решительностью, прежде у Ткаченко не наблюдавшейся, проблематику литературно-творческого труда, его места среди прочих видов человеческой деятельности.

«Романные», эпические развороты произведения то и дело увлекают нас на просторы предшествующих литературных опытов автора. До сих пор он привычно воспринимался как знаток и патриот советского Дальнего Востока и Севера, Сахалина и Камчатки, где издревле селились предприимчивые, а порой неприкаянные и окаянные дети России. Сборники А. Ткаченко «За семью ветрами», «Земля среди шторма», «Открытые берега», «Моя окраина» повествуют о том, чем становится этот край океанских широт, вечной мерзлоты, тяжелой работы, во что превращает его труд рыбаков и таежников, как они сами применяются к обычаям малых народов, к укладу, характерному для не слишком обитаемых мест. С течением лет действие в рассказах и повестях писателя распространилось на все четыре стороны света в пределах страны от ее центра до восточной оконечности, от тундр до субтропиков. Но и эта необозримая протяженность не пресытила его репортерской страсти к новым и новым знакомствам с людьми всех возрастов, наций, профессий, как будто вот

только здесь и теперь самый последний из встречных наконец-то откроет ему всю правду о человеке.

«География» и «биография» как фактическая подоснова повествования, да еще непосредственность наблюдения и, желательно, сопричастность происходящему образовали собственную творческую методику писателя. В его книгах с характерной для них атмосферой жизнепрития и любви к человеку читатель дорожил не редкостной оригинальностью художественной фантазии, не драматургией страстей и столкновений, а более всего уравновешенной мудростью много на своем веку испытавшего, бывалого человека с точным, цепким, благожелательным взглядом («Главное — понять любовь. От непонимания много бед. И совсем дико — перестраивать каждого на свой лад...»).

Неустанная погоня за общим смыслом повседневной миимолетности вызывает у повествователя в книгах А. Ткаченко своего рода комплекс неуюта. Истинную цену совместного труда и солидарности, спасительность хитроумных машин, инженерных устройств и сооружений герои писателя собственной кожей, мозолями рук познают на пыльных днищах карьеров и котлованов, на соленой путине, в таежной глубинке. Однако последние рассказы, «сказочки» и притчи А. Ткаченко с их неприятием сонного механического существования и расслабляющей скопидомной оседлости обнаруживают противоречивый настрой, родственный некоторым мотивам «Царь-рыбы» В. Астафьева и ряда других произведений.

Осознавая неизбежность создания все более надежного технического «купола» цивилизации, противостоящего угрозам природных стихий, писатель и в «Четвертой скорости» и в повести для юношества «Озеро беглой воды» присматривается к людям, которым, по его представлению, под силу этот купол укреплять и удерживать.

Но он видит и тех, кого лишь разоружает и расслабляет иллюзия «кнопочного» всемогущества, питаемая размахом современного промышленного развития, между тем как оно совсем не снимает, а, напротив, очень прицельно ставит вопрос о мере индивидуальной закалки человека, о сохранении его многообразных навыков и умений, о его физическом, волевом и духовном потенциале.

Вера в искреннее желание людей заглянуть в будущее, хорошо распорядиться со-

бой и своим земным хозяйством («Люди уже одумались, скоро совсем поуменьют») у писателя порой сменяется сомнениями: «...мы опять говорили о Байкале, омуле, жизни. Согласно удивлялись тому, что человек так неумен, так недружен с природой. Живет в доме, а углы дома на дрова спиливает.

— Спокон веку боролся,— сказал дядя Архип,— вот и остановиться не может».

А эта невозможность остановиться, утрата контроля над самими собой как раз и срывает людей в ту запредельную четвертую скорость, которая в индивидуальных опытах автолюбителей погубила уже столько душ, а в более грандиозных масштабах угрожает существованию целой планеты.

Из всех обольщений прогресса и трудных «опытов быстротекущей жизни» писатель выносит прочное убеждение, что наш бесконечно сложный мир, сам с собой играющий в смертельно опасные игры, все еще стоит на плечах семейственного мужчины — пахаря, создателя, мастера и детской женщины-работницы, что их-то психической и физической выносливостью держится и родовое людское гнездо. Остальное в смысле жизненной «первостепенности» остается на подозрении: оно должно представить доказательство своей подлинности.

Конечно, автор «Четвертой скорости» очень старается быть объективным: каждого из своих героев уразуметь, каждому посочувствовать. Однако, проявивши некоторую бесцеремонность, их можно легко разбить на группы истинно положительных (рабочая кочетка — Коньков, Качуров, Турин, «бабуся» Ирочка и Таисья, вдовы-сибирячки и т. д.), небезнадёжно заблудших в своей отторгнутости от теплого семейного очага (Людадей с подружкой-стюардессой, Мишель с Рудольфом, Ольга-пензионерка), с кучно правильных (полезный, но «неинтересный» отставник Журба) и отпетых; в последней категории даже алкоголик и сумасшедший не заслуживают столь решительного осуждения, какое выпадает на долю сергунинских «предков»-физиков и дорожного лихача («специалиста по астении») — почтенных представителей ученого сословия. Спускаясь по этой пирамиде сверху вниз, мы одновременно перемещаемся и от минусовского прошлого ближе к настоящему.

Вспоминая своих однокашников и напарников, Минусов окружает их образы особой теплотой и уважением. Он скорбит о недоступности для них в прошлые времена мно-

гого, что теперь сделалось если не всеобщим, то массовым достоянием в силу объективных причин, благодаря огромным достояниям целой страны. Подобно тому как ветеранам войны нередко свойственно странное, запечатленное у нас и в прозе и в стихах чувство вины перед погибшими товарищами, вечное стремление мысли туда, где, казалось бы, только ад и смерть, так в душе Минусова неистребимы следы тех лет, когда условия жизни, особенности быта, понятия о дозволенном и недозволенном выработывали в человеке труда, с одной стороны, способность жесткого ограничения потребностей вплоть до аскетического минимума, с другой — способность полной (максимальной) волевой и физической рабочей самоотдачи. Этим внутренним ориентиром остается верен главный герой «Четвертой скорости», что интуитивно улавливает Мишель Гарущенко: он-то в обычной для него фамильярной манере урезает претенциозно длинное имя сторожа до прозвища Максимум.

Ряд структурных особенностей повести «Четвертая скорость» опирается на разделяемую автором концепцию героя, имеющую в нашей литературе давние, хорошо известные истоки. Эта концепция восприняла от русской литературы прошлого века всеобъемлющую идею народности в ее революционно-демократической трактовке, нашедшей для себя почву в стране, где выстоять в исторических испуганиях, дать отпор вражеским силам, преодолеть и нужду, и тяготы, и горести, освободиться от всевозможных видов угнетения можно было, только «навалившись всем народом», не щадя живота своего на каждой пяди земли. Где поэтому человек массы, простой человек-труженик все больше предстал в ореоле носителя высшей добродетели, а правда его героизма и стоического самопожертвования — нравственным ориентиром искусства.

Высота идеала общественной пользы укрепляла стремление литературы стать летописью труда и борьбы масс за свободу и счастье; в революционных горнилах эта устремленность переплавилась и отлилась в агитационную идею служения писателя самой передовой социальной силе (от некрасовского «гражданином быть обязан» к программному лозунгу Маяковского: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс»).

Логическим следствием этих творческих установок стала тенденция множества рус-

ских писателей покидать «небеса поэзии» для деловой журналистики, газетной «низовки», ведомственной и периферийной печати в ее самых популярных формах, ориентируясь на доступность, целенаправленность, фактическую насыщенность публикуемых материалов. Такова у А. Ткаченко судьба повествователя в книге «Тлани-Ла».

Преданность этим профессиональным символам веры сообщает произведениям писателя тот подлинный демократизм, под который поддаться невозможно. Она оставляет отпечаток и на поэтике и даже на грамматике прозы А. Ткаченко: четкое, прозрачное письмо, неуклонное следование нормам литературного языка с умеренной примесью разговорности, «эффект присутствия», точность кратких описаний и характеристик.

Что ж, исходные принципы, которым следовал автор, совсем не требовали углубленного психологизма; они предполагали также и некоторый холодок по отношению к людям «умственных» профессий, то есть, следовательно, и к собратьям автора и к его коллегам по цеху. Теория и практика — все, казалось бы, способствовало формированию достаточно ясных представлений об окружающем мире и о задачах литератора, вот только в самом себе повествователь в книгах А. Ткаченко нужной ясности часто не находил, ища образец в своем рабочем герое (так мальчик Петя в катаевской повести «Белеет парус одинокий» все никак не может дотянуться до умелого и зрелого не по возрасту Гаврика, всюду пытаясь за ним поспеть и путаясь в полах своей гимназической шинели).

Герой «Четвертой скорости» — наследник и восприимчив тот самой концепции, которая, предоставляя словесности статус литературного дела, все же не выводит ее из «теневого» сферы жизненной вторичности. В прозвище Максминус, изобретении Мишеля, содержится еще и такой смысл — пронизательность, насыщенная биография, любовь к литературе и замечаемая окружающими склонность к ней так и не реализуют Минусова как писателя: при максимуме предрасположенности минимум продуктивности — таков его парадокс. Он жизненно-практически воплощает предельный случай старой распри слова и дела.

Если в лирико-патетическом истолковании миссии творца и творения, пришедшем от пушкинского «глаголом жечь сердца людей» к тютчевскому «мысль изреченная есть ложь», запечатлена огромная трудность под-

линного выражения истины, находящейся в слове поэта неточное, приблизительное по отношению к искомой духовной суги обозначение (и тогда ей адекватно в идеале только безмолвие), то в эпико-реалистической традиции слово ищет себя как след жеста, который сам лишь знак поступка, действия (в конечном счете тоже тяготеющего к бессловесности). Русский поэт опасается за судьбу поколения: «...в бездействии состарится оно»; русский романист (Гоголь, Тургенев, Гончаров, Чернышевский) призывает, венчает и славит д е я т е л я, понимая тяжесть его задачи в старой России, сознательно уничтожая свой труд до той почти чудовищной степени сомнения в нем, которая побудила Толстого, общепризнанного литературного корифея, сказать в зрелые годы о главном деле своей жизни: «... у меня есть письменная работа, которая иногда представляется тоже нужной».

В последовательном выражении версия «письменной работы» выглядит вполне самодельской, попросту отменяя художника вообще, и было бы странно, если бы он не искал возможностей активно ей противостоять (сравните отношение к этой проблеме у позднего В. Катаева — «Алмазный мой венец», где друг Гаврик больше уж не приходит Пете на ум).

Автор «Четвертой скорости» находит свои способы согласовать героя-литератора с эпохой. Под сурдинку неспешных, прерывистых, но последовательных дневниковых воспоминаний Минусова, образующих в произведении самостоятельный и очень важный план, в повести А. Ткаченко возникает устойчивое сопоставление двух событийных рядов, контрапункт «прежде и теперь». Постепенно крепнет мотив, который можно определить трифононской метафорой «другая жизнь»: в прошлом героя, совсем еще близком, не было этих щеголеватых и сытых, самоуверенных и нарядных, требовательных и многознающих интеллигентно-рабочих, дельцов-художников, холостых самодеятельных молодцов, состоятельных пенсионеров; иначе, куда суровой, а порой страшнее, решались «вечные женские вопросы»; простое бытовое благополучие (скромный достаток мастера Качурова, полурасширенный двухкомнатный уют математички Олечки, надежное кланово-семейное устройство подполковника Журбы) в минувшие юные и зрелые годы воспринималось бы как определенное исключение.

Изменяются качества общей жизни, повзр-

нудой к людям иными, более приглядными сторонами, а с отдалением прошлого убывают и те, кто нес печать недавно пережитой эпохи в самой сердцевине своей психики. В «земле сырой» спят уже не только «Сергея с Малой Бронной и Витька с Моховой», но и астафьевская «бабушка из Сутыма», и первая любовь рассказчика из повести А. Ткаченко «Тридцать непрожитых лет» — загубленная жестокостью вольных окраинных нравов Тамарка Паттерсон, чья жалостная животная смерть очень напоминает конец многодетной рыбацкой женки, матери Акима из повести «Царь-рыба».

Уходит печаль нужды, все дальше отступает необихожённая окраина, все большей степени досуга и достатка добиваются люди; но и теперь — совсем не от непосильного горя или злой неволи — спивается опустившийся обитатель ближнего бара сторож Кошечкин; и теперь одной лишь любовью «бабуси Ирочки» еще жива какая-никакая душа в крепкой телесной организации Сергунина; и теперь безобидный маньяк Ивановский сходит с ума из-за украденной машины, как Акакий Акакиевич Башмачкин повредился когда-то разумом из-за похищенной шинели...

«Четвертая скорость» А. Ткаченко вместе с другими его книгами («Тридцать непрожитых лет», «И север и юг») — одно из свидетельств «долгого прощания» писателя с героями прежних дней, желания поставить накопленный опыт и мастерство на службу сегодняшним нуждам современников.

Таким образом, и смерть Алексея Конькова приобретает в повести определенный знаменательный смысл. Таеги и редеет ряд прежних спутников Минусова, те же, кто идет ему на смену, не имеют уже перед ним каких-либо этических или социальных преимуществ. Коньковский духовный двойник Минусов какое-то время растается неприкаянным и пребывает в растерянности, пока не набирается мужества «материализоваться» в собственном качестве и осознать свою теперь вполне суверенную роль в обществе, где он сам выступает как «хранитель заветов» и ценностей.

В изменившемся типе поведения героя и в образе жизни, оказавшемся для Минусова наиболее предпочтительным, просвечивают еще полусознанные как им самим, так и его друзьями-приятелями черты добровольного наставника, этакого атеиста-пастора, который помогает окружающим победить и заклясть своих «бесов».

Это еще не сфокусированное представление о собственной роли умудренного советчика, гражданского духовника, расколдовывающего в людях их человеческую сущность, художника-заклинателя, каким начинает видеть себя сам герой, соотносится с более отчетливыми образами и поэтически формулами других современных авторов — М. Слущиса, В. Белова, А. Вознесенского, Н. Матвеевой, где пронизательность художника помогает людям победить начала зла, будь то зеленый змий или пресмыкающиеся каких-нибудь других цветовых тонов.

Замаячившая цель своего рода «светского священнослужения» приносит Минусову внутреннее удовлетворение даже независимо от художественно-эстетических и материальных результатов его «письменной работы», производя впечатление благостности, согласия с самим собой, запечатленного во всем его облике. Недаром Олечка-математичка, подмечая происходящие с ним изменения, говорит где-то к концу повести, что он похож на священника. В наблюдении героини, которая погибает вскоре в автомобильной аварии, несмотря на минусовские упреждения и призывы к осторожности, содержится элемент грустной иронии. Он выражает непрочную убежденность автора в благотворности роли, взятой на себя Минусовым. Эта роль никем не рукоположенного литературного «батюшки» получает со стороны окружающих неполное признание, постоянно долженствующее поведенчески себя подкреплять: фигура прорицателя или пророка снижена в таком граждански полезном, утилитарном, к тому же самозваном служении настолько, что при небольшом желании можно истолковать ее и как шутовскую блажь, сопровождаемую чуть слышным звоном скоморошских бубенчиков.

Разумеется, субъективные представления литератора и гаражного сторожа Минусова совсем не исключают элемента более или менее притягательной утопии. Они могут далеко отлетать от «прозы низкой жизни».

Однако важно, что в них раскрывается вся глубина и сила потребности героя понять окружающих, поддержать в них борьбу за лучшее в самих себе. Важно и то, что узкая, казалось бы, площадка основного сценического действия в повести «Четвертая скорость» не ограничила и не замкнула писательского кругозора и что эволюция героя в книгах А. Ткаченко отразила черты живого лица человека наших дней.

Галина ТРЕФИЛОВА.

БЕЛОВОЙ ВАРИАНТ

Римма Казакова. Набело. Стихи. М. «Советский писатель». 1977. 160 стр.

Книга эта очень цельная. Из мозаики отдельных стихов складывается отчетливый образ поэтессы. Поэтессы глубокой, не идущей ни на какие компромиссы, не дающей себе никаких поэтических поблажек, не терпящей лирических пустот. В ткани поэзии Риммы Казаковой я не нашел ни одной заплаты, призванной залатать отсутствующие чувство или мысль; не обнаружил ни одной строфы-протеза, сделанной пусть даже с благородной целью удержать рушащееся стихотворение, сохранить хотя бы внешне некое внутреннее равновесие.

В книге все от сердца, все наполнено горячей кровью.

В стихотворении, посвященном Б. Ахмадулиной, поэтесса пишет:

...как ты ухитришься, не знаю,
вплыть во все, что за броней и ватой,
быть во всем, что невпопад, впопад
и мою дудочку хриповатую
перестроить на скрипичный лад!

Итак, Казакова считает свою поэзию хриповатой дудочкой. Что ж, автор волен относиться к себе как угодно, но мы должны думать иначе. Не будем скрупулезными и не будем придираться к нюансам и регистрам. Сила поэтессы в абсолютной раскрытости до конца. Эпитетами, метафорически выкрутасами давно уже никого не удивишь. А вот многие внешне простые строки Казаковой впечатляют.

Искусство поэтессы видит в том, чтобы жизнь до читателя «не расплескав донести».

Все проходит — и это пройдет,
от подробностей память разденет.
...Я была одинока в тот год
одиночеством книг и растений.

И особенно жизнь хороша
тем, что все же на ложь не купилась.
Много шума узнала душа.
Много ярости в ней накопилось.

Когда-то критик А. Тарасенков заметил, что разговор о поэзии сводится, в сущности, к «нра» и «не нра» (так он сокращал слово «нравиться»).

Конечно, очень заманчиво вместо рецензии публиковать опросный лист, пустив его предварительно по рукам профессионалов и читателей, где просто подсчитывалось бы, сколько там этих «нра» и «не нра». Но беда именно в том, что встречаются подделки,

порой очень тонко выполненные. Как же тут быть? Ведь стихи надо опознать, отличить. Есть ли такой своеобразный «детектор лжи»? Известно, поэзия — чудо, и вот некое стихотворение, например, тоже вроде бы чудо, но какое-то чересчур точно очерченное, нарочитое, слишком броское. В таких случаях чаще всего оказывается, что это тоже действительно чудо, но только чудо версификации.

Ничего не стоит игру истинно поэтического воображения, скоропись легкого пера, быстро и безошибочно облекающего тяжелые, глубинные откровения в округлые внешне строки, спутать с игрой в поэзию.

Пусть покажется трюизмом сказанное ниже, но я все-таки скажу.

Если увлечешься сравнениями, доказывая, что искусство, в сущности, игра, можно сравнить жизнь с елкой, а стихи с блестящими разноцветными шарами. Но стихи не елочные пустотелые шары, а, если уж использовать это сравнение, шары литые. Отлитые иногда из черного чугуна и только раскрашенные, поэтому они и могут даже весело сверкать. Так вот, мне кажется, у Казаковой стихи литые, никаким в них украшательствам, никаким внешним эффектам места нет.

Надо снова вершить молодые труды,
надо, чтобы нашлась на все чувства управа.
Надо выйти из прошлого, как из воды, —
чуть пошатываясь, тяжело и упрямо.

Все бывает на свете, беда — не беда,
и, чтоб встретить судьбу, не беги за судьбою.
Может, чудо случится: на брюхе вода
собачонкой сама поползет за тобою.

А душа не слепа, и она не слаба,
не раба, не придаток ни к богу, ни к черту.
От судьбы не уйти, а ушел — не судьба
за спиной, а судьба — то, что прямо по борту.

Разве это не литое стихотворение? Так же, например, как стихотворение «Шли дожди...», где есть такие строки:

Мокрой горечью дыша,
с приговором спора,
пробивала путь душа
за пределы горя.

Или такое стихотворение:

Я не могу одушевлять деревья
и добрым сердцем наделять траву.

Но как могу, от нежности дурая,
поверить в то, что я в тебе живу?

Мы в разности своей не виноваты.
Наивно слово, и бессильна власть.
Ты дерево еще, еще трава ты,
а я уже из пены родилась!

В этой книге невозможно провести явственную черту — вот стихи гражданские, а вот личные, эти посвящены общественным темам, а те, например, пейзажные. Это книга об одной большой, многое вместившей в себя, глубоко лирической душе. Здесь есть стихи о трагической любви с мучительным мажором («...пробивала путь душа за пределы горя») и стихи о счастливой любви с таинственным минором. Стихи о добре и борьбе. Стихи о любви к людям:

И в обновленном виде,
хоть горек этот мед,
вдруг к человеку выйти —
как елка в Новый год.

Многие стихи хотелось бы привести целиком: и «Побег», где «шубы, как подвыпившие стражи», и «Дон Жуана», где «я бы тихо свой век доживала, позабыв про убогое зло. Только встретила я Дон Жуана. Поздновато, а все ж повезло! Что сказать вам? Как все это было? Но доступна грамматика всем. Я любила его, я любила! Остальное не важно совсем», и стихотворение «Я четко поняла теперь...», где, «вышрастываясь из потерь, жизнь улыбается живая». И еще другие стихи с не менее запоминающимися строками.

В книге «Набело» есть стихотворения, связанные с поездками по разным странам и по родной стране. Поэтесса много ездила и много повидала: Воркута, Багдад, Кутаиси. Париж, Памир, Помпея, север, юг...

От поездок, экскурсий отдачи не будет никакой, если географические впечатления, встречи с новым и с новыми людьми не помогают решать все те же проклятые вопросы одной напряженной человеческой души. Если это не способствует выяснению, прояснению сакраментальных взаимоотношений новой души со старым вечным миром. У Казаковой не географические и не этнографические, не поверхностные впечатления с надуманными легкими восторгами, дешевыми экзотическими пассажами, мимолетными словесными фотографиями. Если увиденное, постигнутое не вызывает каких-то глубин-

ных сдвигов в душе, не входит в контакт с самым сокровенным, всегдашним, с самыми проклятыми вопросами, она не берется за перо. Увидев, например, в Лувре Нику, поэтесса возвращается к своему больному, глубинному вопросу: «Я, в мире громовых речей — смущенная заика, с тавром неизбранности лоб среди спесивых лбов». В Узбекистане поэтесса узнает о трагической судьбе актрисы Нурхон, сорвавшей с себя паранджу, и этот факт преломляется в ее собственной судьбе.

Одни находят у Казаковой интонации Цветаевой, другие — Ахматовой, но какое это имеет значение, если есть интонация с а м о й Казаковой? Есть звезда. Ею проникнута ткань книги. А что касается влияний, то давно известно: плоха та песня, что не похожа ни на какую другую.

Но пусть критики спорят, на то они и критики. Значительно хуже, когда они вообще ничего не говорят, цепляясь только, как за буксиры, за пароходные имена. И прекрасные поэты трагически оказываются в литературном небытии, как долгое время было с Заболоцким, Кедриним, Сергеем Марковым. И как есть до сих пор, например, с поэтом Леонидом Лавровым. Слава богу, с Казаковой этого не случилось, о ней говорят, и она стала известной. И она этого заслуживает.

Словно специально в помощь рецензенту Казакова написала стихотворение, которое с полным правом и основанием ставишь в завершение разговора:

Как хорошо: в стихах я не лгала!
Как врач, бесстрастно ставила диагноз.
И никуда навек не подевалось
все, чем тогда, в былые дни, была.
Теперь могу я жизнь свою листать,
почти как папку с точным словом «Дело».
В ней — то, чего и вправду я хотела,
чем не смогла и чем сумела стать.
И не вершу сурового суда,
поскольку вижу, строчкам благодарна,
запечатлевшим не совсем бездарно
мгновения надежд, потерь, труда, —
чем ни болела и куда ни шла,
об этом можно вспомнить, не краснея:
есть выходы получше — нет честнее...
Да, было. Да, любила. Да, жила.

Да, так оно и есть в этой книге. Оттого и хочется написать под этим стихотворением, как это принято на документах в папках «Дело»: у до ст о в е р я ю.

Вадим СИКОРСКИЙ.



СВОЕЙ ДОРОГОЙ

Афанасий Салынский. Драммы и комедии. М. «Искусство». 1977. 608 стр.

Книга «Драммы и комедии» представляет собою, по сути дела, собрание сочинений писателя, созданных на протяжении двадцати пяти лет. Я не предполагаю анализировать каждую из десяти пьес, включенных автором в сборник, — в журнальной рецензии это непосильно, да вряд ли и необходимо: о каждом драматическом произведении А. Салынского немало написано; два года назад вышла в свет посвященная его творчеству монография Я. Фельдмана, а книга, о которой идет речь, завершается очерком А. Якубовского «Афанасий Салынский, его пьесы, его герои».

Эти содержательные критические сочинения заключают, как мне кажется, верные суждения о пьесах драматурга. Одним лишь, по-моему, грешат они, и грех этот свойствен многим монографиям, вступительным или заключительным статьям. Вполне естественно, что авторов привлекают прежде всего победы и удачи драматурга, что, проследивая его творческое развитие, они стремятся отгнать поступательное движение художника; нельзя сказать, что авторы чураются критических оценок и размышлений. И все же главенствует в этих сочинениях интонация «похвального слова» писателю. Его действительно смелые замыслы и добрые побуждения часто рассматриваются как художественный результат.

Повторяю: не о каждой пьесе в отдельности мне хочется сказать в связи с выходом книги Афанасия Салынского. Думаю, что наиболее интересно попытаться уловить главную тему драматурга и задержать внимание на тех художественных принципах, которые отличают писателя от его товарищей по профессии и позволяют говорить о тропе Салынского в драматической литературе и в театре.

Во всех своих пьесах Салынский настойчиво утверждает веру в человека. Ему важно, чтобы в пьесе были не только хорошие, но этически и душевно безупречные люди, идеальные (без уничижительных кавычек) герой или героиня. Надо признать, что иногда это желание оборачивается некоторым упрощением человеческого характера, сглаживанием жизненных сложностей. Так, лишь знаком душевной чистоты и энергии оказался Григорий Карпов в «Забывтом друге», фигура откровенно пас-

сивная. Упростил, на мой взгляд, писатель судьбу рабочего-революционера Гавриила Ивушкина в драме «Хлеб и розы»; конечно, его любовь к кулацкой дочери вызывает сопереживание, но уж очень эта любовь идеальна в обстановке кровавой битвы, вражды. Многого мы ждали от первого секретаря крайкома партии Ильи Степановича Кудинова («Мужские беседы»), не желающего мириться с рутинерством и трусостью в решении кардинальных экономических проблем, горячо, гневно сказавшего: «В глаза будущему надо смотреть без всяких шор и чиновного трепета!» Но эти хорошие слова остались лишь благим призывом, и, право же, непонятно, с чем в финале поздравляют Кудинова — ведь дело кончилось только тем, что по его предложению избрали комиссию для подготовки проекта пленума. Многое — причем самое трудное для героя этой драмы — осталось за пределами действия, а строгий выговор, который Кудинов получил, воспринимается как легкое наказание за непослушание. Говорю об этом с горечью, потому что читал ранний вариант пьесы, где жизнь была показана в своей сложности, драматичности.

В лучших пьесах Салынского его любимые герои открываются не только в своих хороших помыслах и суждениях, а в активном действии, в решительных поступках. Вспоминается бесстрашная разведчица Нила Снижко в «Барабанщице» и «Мужской вариант» того же характера — Николай Вережников во «Взорванном аде»; один из первенцев драматурга — инженер Николай Селихов в «Опасном спутнике», появившийся двадцать пять лет назад, и Мария Одинцова, которая насчитывает десять лет сценической жизни.

Это очень разные герои и пьесы, действие происходит в годы войны и мира, но в них с очевидностью проглядывает главная тема писателя, которая роднит и объединяет все его произведения: лейтмотивом проходит настойчивая, выстраданная, убежденная мысль о высокой и неподкупной нравственности человека, о людском доверии и добре как совершенно конкретном, жизненно наполненном, социальном понятии. Да, именно так: речь идет не о каком-то абстрактном, вневременном, надклассовом добре, а о том, без которого жизнь

становится бесплодной и бессмысленной, которое заключает высшую ценность человеческого существования. Более того: добро в представлении писателя не только норма и идеал, но сильное оружие в борьбе со злом во всех его обликах.

Можно сказать — это будет справедливо, — что здесь нет монополии Салынского: разве пафос действенного добра не пронизывает творчество Розова и многих других драматургов? Но тут-то и следует обратиться к творческой индивидуальности Афанасия Салынского, к тем художественным принципам, которые ему наиболее близки, к его драматургической вере. Ведь что и как в искусстве неразделимы.

Нетрудно заметить, что почти во всех пьесах Салынского герои оказываются в острейших жизненных ситуациях, чреватых самыми тяжелыми последствиями. Конечно, давний «Опасный спутник» еще отмечен известной прямолинейностью характеристик. Но писатель обходился соблазнами гладкописи, драма кончается смертью Николая Селихова по вине человека, которому он верил, а смерть героя в драматургии начала 50-х годов — явление редчайшее; в ту пору считалось, что в таком исходе таится опасность пессимизма.

Вряд ли можно представить более сложное, мучительное, истинно драматическое положение, чем то, в котором оказалась Нила Снижко: во имя патриотического долга эта прекрасная советская девушка вынуждена вызывать ненависть и презрение своих соотечественников, она не только не может опровергнуть постыдную кличку «немецкая овчарка», но должна казаться ею, поддерживать эту репутацию. Постоянную и глубоко ненавистную маску изменника своей родины должен носить и разведчик во вражеском логове Николай Вережников, причем его положение осложняется тем, что до поры он не знает, кто из окружающих свой, а кто чужой.

Ненормальные, исключительные ситуации возникают и в тех пьесах Салынского, действие которых протекает в мирное время. Тщетно используя все доводы, все методы убеждения, секретарь райкома Мария Одинцова, дабы спасти драгоценный мрамор, бросается туда, где вот-вот произойдет взрыв, и получает тяжелое ранение. Двадцать лет жил вне родины бежавший в пору войны из фашистского плена советский командир Стеблов в пьесе «Долгожданный», а когда вернулся домой, на не-

го пала тень подозрения, и даже собственный сын боится, стыдится такого родства.

Отчего в большинстве пьес Салынского возникают подобные крайние, исключительные ситуации, почему его герои часто раскрываются в поступках, равных подвигу? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, не учитывая биографию писателя, прошедшего дорогами войны. Недаром даже в произведениях о мирной жизни, о нынешнем времени всегда ощутимы отзвуки прошлой войны — в размышлениях о жизни и смерти, о верности и предательстве, в решительных поступках и критериях ценности человека. Верно замечает Я. Фельдман в книге о Салынском: в подвиге писатель видит эталон возможностей человека.

Но, думается, все же дело не только в проверке человека военной меркой. Ведь и о войне пишут иначе. Просто Афанасий Салынский исповедует резкий, открытый драматизм, ему близко героическое начало в своей обнаженности, подчеркнутости, наглядности. Именно с этим художественным принципом связано суждение писателя об интересности пьесы, ее острой сюжетности, высказанное на съезде писателей в 1970 году. И неспроста, вероятно, наиболее сильные героические лица в пьесах Салынского — женщины: если женщина совершает подвиг (на войне или в мирной жизни), то она испытывает особые трудности и тем самым подымается на самую вершину мужества. Здесь опять-таки сказывается склонность драматурга к крайним, наиболее разительным драматическим положениям.

Исключительные жизненные ситуации обостряются в пьесах Салынского особенно сложными любовными отношениями героев — без испытаний любовью писатель не мыслит драмы. «Хлеб и розы»: любящие друг друга Гавриил Ивушкин и Любаша Тиунова сражаются во вражеских станах. «Барабанщица»: Федор полюбил Нилу, хотя в представлении советских людей она предательница, фашистская потаскуха. «Взорванный ад»: Николай Вережников и Анна Зеехолен далеки по своим убеждениям, социальным идеалам, более того — они не знают, кто есть кто... И даже в комедии «Ложь для узкого круга» на пути любви Андрея и Оли оказался тщеславный вымысел Ольгиной матери о том, что любящие друг друга молодые люди — дети одного отца, героя войны.

И здесь надо сказать еще об одном приметном свойстве писателя: героическая ин-

тонация его произведений сливается с мягким, лирическим началом. Драматург искренне любит своих героев и испытывает боль оттого, что им приходится так трудно, что на их пути неизменно оказываются и сложнейшие обстоятельства, и плохие, по убеждению писателя, опасные люди, лишённые чистоты и добра, без которого для Салынского не существует человека.

Отметим, что действие пьесы Салынского строится на каком-то исключительном обстоятельстве. Салынский особенно ценит случаи, настойчиво ищет крепкий сюжетный узел, который стягивает действие пьесы, охотно идет на острые, эффектные повороты в действии, в судьбе героев. На этом пути иной раз возникает условности, происходящие в пьесе события не всегда выдерживают проверку реальностью, действующие лица поступают психологически неоправданно. Это не недостаток драматургии Салынского, это ее особенность, проявляющаяся и в лучших пьесах, например в «Барабанщице».

В самом деле, если подойти к «Барабанщице» с мерками бытовой или психологической драмы, с критериями, пользуясь добролюбковским определением, «пьесы жизни», то многое в ней окажется идущим вразрез с суровой действительностью войны. Достаточно условна, придуманна не только любовь Федора с первого взгляда, но и то, что он заранее вопреки кажущейся очевидности и реальности отвергает репутацию немецкой овчарки, полагается лишь на честные глаза Нилы, без скольких-нибудь серьезных оснований убеждается в том, что она «благородная и гордая». Мы-то знаем, кто такая Нила Снижко, но Федор, его мать Мария Игнатьевна, мальчик Эдик не знают, однако в согласии с автором уверены в ее честности и чистоте. Прекрасны и для писателя программны слова Нилы: «...чтобы верить, у человека, в общем-то, больше причин, чем для того, чтобы не верить», но ведь действительно были (и есть) люди под маской и, правда же, у ненавистного драматургу, чрезмерно рассудительного и трусливого Чуфарова есть основания не доверять Ниле. В том-то и драма отважной и опытной советской разведчицы!

Впрочем, и здесь писатель не боится отступить от реальности: глубоко любя свою героиню, заботясь о том, чтобы вызвать к ней наше участие и сострадание, он вроде бы вовсе не настаивает на том, что Нила

опытная подпольщица, хотя ей и поручают самые трудные задания. Иначе, наверно, она не пела бы в одиночестве советские песни, зная, что ее могут услышать, и уж, конечно, не забылась бы (как сказано в ремарке), радостно сообщая людям о взятии советскими войсками Белгорода и салюте в Москве.

Но не надо относиться к «Барабанщице» как к бытовой или психологической пьесе — правда и достоинство этого произведения в своеобразном синтезе романтики, лирики и психологического действия. И мы, читатели и зрители, с готовностью подчиняемся писателю, принимаем «условия игры», испытываем искреннее сопереживание ее героям.

Эмоциональная интонация «Барабанщицы», резкие контрасты в ее действии, поступки и чувства героев, такие эпизоды, как эффектный, бравурный танец Нилы, исполненный горечи, интрига с фашистским шпионом, торжествующая любовь, оборванная гибелью Нилы, — все это открывает мелодраматическую природу пьесы. О склонности Салынского к мелодраме уже говорилось в нашей критике, только напрасно в суждениях такого рода нередко слышался упрек писателю. Мелодрама — вполне законный жанр советской драматургии, высоко ценимый, как известно, Луначарским и Горьким. Другое дело, что, как всякий жанр, мелодрама, в частности в творчестве Салынского, претерпевает изменения, устанавливает живые связи с другими жанрами, а главное — служит сильным и действенным средством утверждения социалистической морали, высокого гуманизма.

И в других пьесах Салынского мы ощущаем стремление к занимательной интриге, к гиперболизированному изображению страстей, к ярким и эффектным поступкам героев: драматург не боится в своих пьесах «чувствительности» и морально-дидактической направленности. Разве не в этом ряду находится решительный поступок Марии или любовь-вражда Гавриила и Любаша в «Хлебе и розах»?

Надо признать, что иногда исключительные ситуации, крайние осложнения действия страдают у Салынского некоей рациональной заданностью (так, по-моему, получилось в «Долгожданном»), но в лучших вещах драматическая вера Салынского приносит хорошие плоды. Ведь это очень дорого, если актеры и актрисы любят играть

роли, написанные драматургом. Салынский снискал такую любовь на сцене.

В книге об А. Салынском чуткий к творчеству драматурга, безвременно ушедший из жизни критик Я. С. Фельдман высказывает многие справедливые суждения о поэтике писателя. Но, мне кажется, напрасно критик с такой настойчивостью и категоричностью утверждает мысль о принадлежности Салынского к горьковской драматургической школе. Конечно, верно, что вслед за Горьким наши драматурги — в их числе и Салынский — ведут непримиримую борьбу с мещанством в его новых, современных обличьях, бесспорно, что горьковское вторжение в жизнь и энергичное утверждение гуманизма, человеческой активности свойственны Салынскому. Однако поэтика — а именно о ней речь в этой главе — у автора «Барабанщицы», «Взорванного ада», «Марии» иная. В этих пьесах нет того сплава быта и философии, которым отмечена горьковская драматургия, нет обычного течения жизни в ее повседневности.

Притом что писатель сохраняет верность своим основным художественным принципам и между большинством его произведений ощущимо стилистическое единство, Салынский вовсе не ограничивается уже найденным, проверенным. Так, например, достаточно неожиданным было появление комедии «Ложь для узкого круга». Ошибаются те, кто сближает эту вещь с сатирой — ее нет в комедии, и вообще, думаю, сатирический способ отражения жизни чужд писателю, склонному к романтике, лирике, мелодраме. Эти черты ощутимы и в «Лжи для узкого круга», но на сей раз близкая писателю исключительная ситуация раскрылась в комедийном ключе.

Можно думать, что и в будущем Салынский обратится к комедийному жанру. А вот еще один новый шаг на, казалось бы, сложившемся, устойчивом драматургиче-

ском пути писателя: пьеса «Летние прогулки». Вряд ли справедлива мысль А. Якубовского о том, что «в «Летних прогулках» драматург приобщается к чеховской традиции», но автор послесловия к книге А. Салынского «Драмы и комедии», безусловно, прав, утверждая новизну этой талантливой пьесы. Писателя тревожит, ранит несправедливость, бытующая в жизни, он не приемлет «гордого одиночества», в котором пытаются найти спасение и мнимую свободу, в общем-то, хорошие люди. Автор не скрывает антипатии к унылому существованию благополучного, как будто бы делающего нужное дело, но опасного своим равнодушием профессора Марягина. В «Летних прогулках» писатель верен своей главной теме. Только в этой пьесе он раскрывает ее иначе, чем в прежних вещах. Сложнее стали характеры героев, о них уже не скажешь просто «хороший», «плохой», они раскрываются не в исключительных, эффектных ситуациях, а в повседневном течении жизни, не только в решительных поступках, но в своих нелегких раздумьях, ошибках, постижении истины. Писатель достиг в этой пьесе широты жизни, пошел по пути психологической драмы.

Значит ли это, что «Летние прогулки» обозначили резкий поворот в драматургии Салынского — отказ от романтики, от открытого драматизма? Не думаю. Да, по правде сказать, и не хотелось бы, чтобы это было так. Но то, что пьеса открывает в творческом арсенале писателя нечто новое, несомненно. И наверно, опыт этой драмы скажется в новых сочинениях, продолжающих линию «Барабанщицы», «Взорванного ада», линию «Марии». Книга «Драмы и комедии» воспринимается как первый том сочинений Афанасия Салынского — будем ждать новых пьес, которые сложатся в том второй.

А. АНАСТАСЬЕВ.



СУДЬБЫ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. Стеженский, Л. Черная. Литературная борьба в ФРГ. Поиски. Противоречия. Проблемы. М. «Советский писатель». 1978. 430 стр.

«Дымящиеся развалины, опустошенная, израненная земля и одинокая согбенная фигура матери, которая толкает тачку с жалким домашним скарбом... Миллионы солдатских могил и миллионы калек...»

Такой, говорится в книге «Литературная борьба в ФРГ», представлялась западногерманским писателям их страна на другой день после войны и крушения гитлеризма. А сами они? «Вначале они вообще были

безмолвны. А когда стали говорить, то с их уст срывались либо отрывистые фразы, либо вопли», — пишет один из видных западногерманских литераторов, характеризую тогдашнее положение.

Действительно, с чего было начинать писателям на запад от Эльбы после того, как нацистская Германия не только лежала в развалинах, но и опозорила себя перед всем миром, как раньше никакая другая страна? С чего начинать, когда как будто все было кончено? Тень Гитлера, погубившего и запятнавшего их родину, все еще висела над писателями в ФРГ. Надо было во что бы то ни стало уйти от призраков прошлого. Но куда? С этого момента начинается проверка западногерманской литературы самой историей. Проверка продолжается по сей день. Этой теме, по существу, и посвящена книга В. Стеженского и Л. Черной.

Надо было все передумать, заново взглянуть на человека рядом, на мир, на самого себя. Надо было писать крупные, сильные и честные произведения о пережитом и о настоящем, писать их так, чтобы они навсегда запомнились нынешнему и последующим поколениям, и не только немцам ФРГ. Весь мир смотрел на восстающую из руин Западную Германию и ждал, что она скажет.

Авторы подробно рассказывают, что происходило в литературе на первых и последующих этапах и что происходит сейчас. Пересказывать содержание их интересной и хорошо написанной работы данный рецензент не будет. Его интересует прежде всего один вопрос.

В какой мере литература ФРГ вышла из кризиса, в который была повергнута страшной национальной трагедией 30-х и 40-х годов? В какой мере можно считать, что лучшая ее часть уже оправдывает свое назначение как художественная и общественная сила, идя в ногу с историей?

Думается, что книга «Литературная борьба в ФРГ» дает ответ на этот важный вопрос, важный не только для литературоведов-германистов, но и для широкого круга читателей. За истекшие десятилетия по ту сторону Эльбы действительно появились настоящие талантливые писатели. Нет «великого немца» Томаса Манна, нет всемирно известных Генриха и Клауса Маннов, Бертольта Брехта, Арнольда Цвейга, Лиона Фейхтвангера и многих других. Правда,

крупнейшие прогрессивные деятели искусства Веймарской республики с самого начала сделали выбор — вернулись из эмиграции в ГДР. Но, бесспорно, в ФРГ появились и новые прозаики, поэты и драматурги, создающие большую прогрессивную литературу.

В книге разбираются произведения ряда значительных писателей — Вольфганга Борхерта, Зигфрида Ленца, Вольфганга Кеппена, Мартина Вальзера, Макса фон дер Грюна, Гюнтера Вальфа и других. К крупным величинам, несомненно, принадлежит хорошо известный советским читателям Генрих Бель, представитель критического реализма, находившийся в расцвете сил в 50-х годах. В том же ряду Гюнтер Грасс, Уве Йонзон — всех не перечислить. Большинство шло после войны сложными и противоречивыми путями.

Новое еще далеко не победило окончательно, страстная идейная борьба со старым не утихает, мертвое по-прежнему давит на живое. Трех с лишним десятилетий недостаточно для того, чтобы возродить литературу такой страны и с таким прошлым. И все-таки ростки нового тянутся вверх.

Выдвигаются смелые молодые авторы, которые умеют выигрывать битвы, преодолевать преграды, прислушиваться к народу. Выросла дерзкая документальная литература, продолжающая дело «неистового репортера» 20-х и 30-х годов Эгона Эрвина Киша, отличающая ложь, мещанство, бюрократию, не идущая на сделки с совестью. Написаны романы, в которых люди не просто хронически страдают, непрерывно жалуются и в конце концов гибнут, что так свойственно литературе Запада, а любят жизнь, умеют идти в будущее, не уступают страху и насилию. После всего, что произошло в жизни немцев в нашем веке, это особенно важно.

Надо уйти не только от Гитлера, надо уходить и от Шпенглера и Ницше, от Конрада Аденауэра и Франца Йозефа Штрауса. Роль прогрессивной художественной литературы, театра, кино и телевидения в этой борьбе за психику народа исключительно велика.

Не нам, говоря о делах к западу от Эльбы, рисовать все в розовых красках.

Авторы разбираемой книги этого и не пытаются сделать. Есть в ФРГ и другая литература — та, которая и сегодня восстает против истории, толкая немцев назад.

В. Стеженский и Л. Черная хорошо делают, что уделяют ей большое внимание. Ее нельзя списывать со счетов. Борьба в политике, как всегда, четко отражается в творчестве писателей, хотя они того или нет.

К услугам современной реакционной литературы в ФРГ практически неограниченные материальные средства, мощные издательства, готовая служить пресса. Но до чего беспомощна почти вся эта литература в художественном отношении! Можно смело утверждать, что она не продвинулась ни на сантиметр от тех штампов, которые были сочинены во времена позорного упадка художественного творчества в гитлеровской Германии. Мало того, она стала еще более уродливой и человеконенавистнической. Пример: наиболее даровитый из милитаристских писателей восьмидесятилетний Эрнст Юнгер. Изданное в 1960—1963 годах собрание его сочинений составляет 12 томов, в каждом от 500 до 700 страниц. Посвященных ему самому работ опубликовано несчетное множество. О чем он думает и мечтает?

«Война — отец всего сущего, а также всех нас, война нас создала, закалила и укрепила, — писал он еще до прихода Гитлера к власти. — И война также наше детище; мы создали войну, и она создала нас... Все, что мозг в течение десятилетий избрел во все более острых формах, служило лишь одному — бесконечно усилить мощь кулака». Если нация не хочет войны, «она гибнет». Человек живет по-настоящему только тогда, когда глаза ему застилают «кровавый туман», когда он впадает «в экстаз убийства» и в «оргии ярости» крушит все на своем пути.

Читая такие тирады, написанные много лет назад, но по сию пору печатаемые, нельзя не вспомнить циничные слова известного в свое время и в 60-х годах все еще действовавшего в ФРГ нацистского журналиста Фридриха Зибурга: «Я знаю, мы (немцы. — Э. Г.) самый способный народ в мире, но мы не обладаем даром быть нравственными».

Нет оснований думать, что дух Юнгера выветрился из современной западногерманской литературы. Так, как он, мыслили старые эсэсовцы, так мыслят кандидаты в новые эсэсовцы. Авторы приводят высказывания одного из последователей Юнгера, отставного эсэсовца, живущего ныне в США: нацисты «не выполнили своей вели-

кой исторической миссии: не в том дело, что они проиграли войну, дело в том, что они не уничтожили дотла цивилизацию. В этом преступление наших фюреров... Атомная бомба была, собственно, нашим оружием... Мы атомизировали общество, создавшее атомную бомбу и применившее ее. И это общество должно само себя уничтожить».

С 1955 года Юнгер стал получать в ФРГ одну литературную премию за другой. По словам литературоведа из Западной Германии Формвега, «в Федеративной Республике Конрада Аденауэра... Юнгера почитали как никакого другого писателя».

Змея еще испускает яд. И Юнгером дело не ограничивается. Процветает откровенно реваншистская литература «вечно вчерашних». Публике предлагается, например, роман Э. Керна (эсэсовца Кернмейера) «Великое опьянение», в котором говорится: «Большевизм — наш исконный враг, враг нашего народа, нашего класса, нашей культуры. Тут ничего не изменить... таков вечный закон... Кто уцелел в кошмаре кровавых лет и не понял этого, того надо забить палками до смерти».

Валом валят из типографий книги о Гитлере. Тема «Гитлер», сообщает журнал «Шпигель», переживает «ренессанс» в литературе, кино, на телевидении. В. Стеженский и Л. Черная пишут, что перечислить все публикации 70-х годов о Гитлере в ФРГ не представляется возможным. Одна из них, например, называется «Видели ли вы Гитлера?», другая — «Психограмма Адольфа Гитлера», третья — «Адольф Гитлер. Семейные истоки» и так далее. Фюрер постепенно, со всевозможными хитрыми уловками, но систематически реабилитируется.

Издаются книги Бальдура фон Шираха (бывшего руководителя нацистской молодежи), Альберта Шпеера (гитлеровского министра вооружений), Риббентропа, фельдмаршала Манштейна, адмирала Деница, лейб-фотографа Гитлера Гоффмана. Публикуется сочинение старого нациста Г. Гримма «Почему — Откуда — И куда?», книги гитлеровцев Блунка, Двингера, Руделя и множества других. Во всех крупных городах страны действуют реваншистские издательства. Откуда берутся у них деньги?

Это псевдохудожественное реакционное чтиво до сих пор одурачивает сотни тысяч

немцев. В то же время книжный рынок забрасывается новыми изданиями книг такой, например, вульгарнейшей «писательницы», как умершая в 1950 году Х. Куртс-Малер, любимица немецких мещанок, написавшая за свою жизнь 209 романов одного и того же пошиба. К 1974 году общий тираж ее произведений превысил 30 миллионов экземпляров. Я запомнил самую последнюю фразу в одной из этих книг, в которой говорится о романе строптивой белокурой красавицы с энергичским кавалером эссэвского типа: «О Фриц, как сладостно быть под твоим господством!» Такое и теперь читается взахлеб западногерманскими бюргершами, и это тоже в конечном счете дает политический эффект.

Дышит реваншистская литература, националистская литература, бульварная литература, порнографическая литература. Юношеству к тому же преподносятся написанные еще при кайзере, сделанные не без умения приключенческие романы Карла Мая, уводящие от действительности. Только с 1962 по 1974 год общий тираж его произведений в ФРГ возрос с 18 до 50 миллионов экземпляров, и недавно там вышло полное собрание его сочинений в 74 томах. Солидная литературная критика в ФРГ делает вид, что такого писателя вообще не существует. Писал он при Вильгельме II. Но и дух бывшего кайзера витает по сей день: он тоже нужен «вечно вчерашним».

Литературная борьба в ФРГ продолжается. Авторы книги считают, что лучшие из западногерманских писателей нашли в эти годы твердую веру в будущее, в подлин-

ную демократию, в самих себя, что их позиции в стране постепенно крепнут.

Но, конечно, было бы ошибочно полагать, что это относится к подавляющему большинству даже субъективно честных писателей. Некоторые из способных и интересных литераторов за Эльбой все еще мучительно ищут свою дорогу, мечась из стороны в сторону, сомневаясь в самих себе. Но это неизбежно, иначе таланты не растут. «Несмотря на все препятствия, стоящие на пути демократической литературы ФРГ,—пишут Стеженский и Черная,—несмотря на возникающие порой отдельные кризисные явления, эта литература продолжает расти и набирать силы».

Видимо, они правы. Именно западногерманским писателям нельзя забывать, что им никак не менее, чем другим, надлежит в эти бурные годы создавать гуманные, передовые произведения. Нельзя защищать честь западногерманской литературы, проповедуя ненависть к человеку, культ войны, идею реванша, как это делают последователи школы Эрнста Юнгера и другие реакционные литераторы за Эльбой. Это новое преступление против нации.

После войны прошло почти тридцать четыре года. Проверка историей западногерманской литературы не завершена и, по-видимому, будет длиться еще долго. Хочется верить, что рано или поздно она окончательно выйдет на широкую дорогу, ту, по которой шли Гёте и Гейне, Манн и Брехт, Цвейг и Фаллада, благодаря которой немецкая художественная литература в прошлом завоевала себе всемирную славу.

Эрнст ГЕНРИ.



Политика и наука

РОДСТВО ДУХА И БЛИЗОСТЬ ФОРМ

Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. М. «Советский писатель». Вып. 11—1974 г., 430 стр.; вып. 12—1976 г., 416 стр.; вып. 13—1977 г., 431 стр.; вып. 14—1978 г., 424 стр.

Девятнадцать лет назад вышел первый сборник писательских очерков о науке. Совсем недавно появилась четырнадцатая книжка. Говорить о популярности серии не приходится — сборников этих на прилавках вы не найдете. Согласитесь: дефицит на литературу такого рода не может возникнуть искусственно. Значит, в ней есть потребность.

Итак, рассказывают писатели. Следовательно, литература эта (теоретически по крайней мере) художественная. Рассказывают о науке. Значит, научно-художественная... Стоп! Как-то уж очень легкое получилось определение. Что же такое в действительности научно-художественная литература (в дальнейшем буду применять аббревиатуру НХЛ, надеясь, что никто не запо-

дозрит намек на Национальную хоккейную лигу)? Кажется, в обиходе НХЛ называют жанром... Но нет, лучше обратиться к справочнику. Под рукой оказался «Словарь литературоведческих терминов» (М. «Просвещение». 1974). Тщетно: такое понятие в нем не обнаруживается. Вообще-то говоря, это не страшно. Что ни говорите, но это даже хорошо, что теория литературы несколько отстает от практики (в отличие от теории, скажем, современного естествознания). Представить себе невозможно, что было бы, если сначала формулировался бы, допустим, новый тип или жанр литературы, создавалась его теория и лишь потом брались бы за перья писатели. В жизни, слава богу, все не так (недаром возникают «поиски жанра»). Самой теории (у автора, имеющего некоторое отношение к науке, нет ни малейшего намерения недооценивать ее значение) от этого, наверное, не легче. Разве это дело, что иной новый вид литературы уже существует, весьма распространен и даже процветает, а определение его и типология никак не даются? Так, по-видимому, и обстоит дело с НХЛ.

Раскрываю том 17 БСЭ (год выхода тот же). Есть термин! Об НХЛ здесь говорится (статья В. Ревича) как об «особом роде литературы, рассказывающей о науке, о научных исканиях, «драме идей» в науке и судьбах ее реальных творцов».

«Особый род» — с этим можно было бы согласиться, хотя не совсем ясно отношение его к трем «просто» родам литературы — эпосу, лирике, драме. Однако кажется не слишком убедительным определять этот особый род, исходя лишь из содержания. Уязвимость данного определения легко проверить с помощью такого несложного эксперимента: заменим в нем слова «наука» и «научные» на слова, относящиеся к другим областям человеческой деятельности, например производству, военному делу или спорту. Эффект очевиден: смысл тезиса энциклопедической статьи сохранится едва ли не полностью. Но ведь названные области определяют тематику литературного произведения (а иногда социальный фон), но никак не «особые роды» литературы. Кстати, понятия «военно-художественная» и «спортивно-художественная» литература как будто уже бытуют в практике...

Может быть, уточняет определение следующий тезис той же статьи: «В отличие от собственно научно-популярной литерату-

ры, внимание которой сосредоточено на познавательных и учебно-воспитательных задачах, НХЛ обращается преимущественно к человеческой стороне науки, к духовному облику ее творцов, к психологии научного творчества, к философским истокам и последствиям научных открытий». Но тогда получается, что любой хороший роман об ученых (а таких романов мы знаем немало — скажем, принадлежащие перу Л. Леонова, Д. Гранина, М. Уилсона) — это НХЛ, а не художественная литература «обычного» рода.

Словом, энциклопедическая статья выявить специфику НХЛ не позволяет. Что ж, не удался анализ — попробуем применить синтез. Попытаемся увидеть, из чего складываются сборники серии «Пути в неизвестное». Сразу придется оговориться, что и этот наш эксперимент лишь поисковый и приближенный, на окончательный результат не претендующий. Дело специалистов выяснять до конца, что здесь есть что и что к чему. Тем более в нашем «объекте исследования» нигде — ни на титульных листах, ни в аннотациях — не говорится прямо, что читателя ожидает встреча с НХЛ. Это всего лишь наша исходная, гипотетическая предпосылка.

Попробуем сначала расчленить содержание последних четырех сборников (около 50 статей) по жанровой принадлежности. Разумеется, как обычно в литературе, сделать это непросто. Некоторые материалы типизировать никак не удается, хотя, конечно, это отнюдь не недостаток их. К тому же их распределение по разделам сборника, которых в разных книжках пять или шесть, носит несколько неопределенный, а может быть, не понятый нами характер, причем сами разделы лишь пронумерованы и заголовков не имеют.

Результат синтетического исследования получается прямо-таки поразительный: оказывается, в сборниках представлены по меньшей мере пять прозаических жанров, начиная от короткого эссе и кончая отрывком из документального романа (так, по-видимому, можно определить многоплановое, сложное по замыслу литературное полотно Д. Данина «Нильс Бор»).

Обнаруживается, однако, еще один вполне специфический признак, по которому легко различаются материалы сборников. Признак этот я обозначил бы (не берусь определять его) как взаимоотношение автора и науки. Для одних наука — источник сторонних

впечатлений или повод для размышлений, скажем, социально-философского или этического плана. При этом автор как бы обзревает научную проблему со стороны. Для других основная задача — исследование (художественными средствами!) конкретной научной проблемы. Автор в этом случае сам является творцом нового научного результата. Только не следует понимать это так, что один подход лучше или важнее другого. Речь идет о двух равноправных, но существенно отличных типах НХЛ. При первом подходе мы имеем дело, очевидно, с научной популяризацией и научной публицистикой. А при втором? Рискуем высказать суждение, что с научным исследованием, а точнее — с научно-художественным исследованием.

Помня энциклопедическое «в отличие от собственно научно-популярной...», берусь предположить, что этот самый «научпоп» тоже входит в круг понятия НХЛ. Избегая здесь попыток дать развернутые определения, можно сказать, что научно-популярная литература рассказывает, объясняет; научная публицистика размышляет; научно-художественное исследование, очевидно... исследует. Конечно, границы здесь, как и в жанровой градации, условны.

Разумеется, во всех трех случаях право относиться к НХЛ дает произведению художественность (образность) идеи и формы. Что же не попадает в НХЛ? Очевидно, нехудожественный или малохудожественный «научпоп», с одной стороны, и «просто» художественная литература — с другой.

Чтобы поставить все точки над «и» в наших рассуждениях, заметим, что художественное исследование, как и документальность, не является прерогативой НХЛ, поскольку чисто художественное произведение — это тоже всегда исследование, исследование времени, быта, нравов, характеров и исторических ситуаций. Но сфера НХЛ, как мне представляется, кончается, во всяком случае, там, где становится главенствующим авторский вымысел. (К простому плохой литературе, на мой взгляд, можно отнести попытки соединить документальность с вполне произвольными домыслами — скажем, широко известный «художественный» киносценарий о конструкторах ракет или несколько менее популярные повести о пионерах космонавтики Г. Нагаева.)

Прежде чем перейти к разговору непосредственно о статьях в последних вы-

пусках серии «Пути в неизвестное», хочется — может быть, вопреки общепринятому правилу — именно здесь, а не в конце разбора дать общую оценку качеству материалов. Если говорить о содержательности и глубине постижения проблемы, об «интересности» формы и своеобразии языка, то в целом пропускной ценз для материалов сборников очень высок. К сожалению, и это, по-видимому, неизбежно, качество НХЛ с точки зрения анализа научной проблемы в большинстве случаев могут оценить только специалисты в данной области. Однако относительно того, что близко к моему опыту и пониманию, могу сказать, что это качество высокое. Литературная одаренность авторов и их способность проникнуть в тонкости научной проблемы в некоторых случаях вызывают просто восхищение и даже профессиональную зависть. Вполне выдерживают сборники проверку на то, что называется нижним уровнем: здесь нет опасности встретить еще недавно так распространенный в нашей периодике стиль восторженного захлеба по поводу, скажем, «невероятной сложности» научных установок, «хитрого переплетения» проводов и трубок, «огромного количества» приборов, переключателей и кнопок. Что греха таить, и сейчас еще попадают на глаза такие очерки, посвященные физике, космонавтике или электронике. Но в сборниках «Пути в неизвестное» все достаточно серьезно (иногда, может быть, даже слишком серьезно в смысле нехватки юмора и полного отсутствия, скажем, такого жанра, как научный памфлет) и при этом общеприятно.

Теперь воспользуемся нашей приближенной «типологией» НХЛ для конкретного разговора. Жанр научно-популярного очерка удачно, на мой взгляд, представлен работами Ярослава Голованова «В гости к солнечной семье» (вып. 12) и «Архитектор в мире, где яблоки не падают» (вып. 14). Внешне неприхотливо, но весьма точно и образно рассказано в первом из них о работе американской Лаборатории реактивного движения, занимающейся исследованиями и разработками в области межпланетных автоматических аппаратов. При этом в одной из глав (вот он, риск классификации в литературе!) присутствует элемент исследования: фрагмент истории «главного марсианского вопроса» — есть ли жизнь на этой планете. А резюме совер-

шенно личное: «...я убежден, что жизнь на Марсе существует не только в виде бактерий и спор... И мне очень хочется дожить до того дня, когда я смогу в этом убедиться». Я. Голованова мы уже знаем как писателя-исследователя, каковым он замечательно проявил себя в хронике «Королев». Одну из чисто историко-научных задач (о вероятности встречи К. Э. Циолковского и С. П. Королева) он решил как истинный ученый.

В 14-й книжке выделяется очерк М. Максасова «Два месяца до „дня зет“». Не так уж часто встретишь, если это, конечно, не литзапись, столь интересный и совершенный литературно рассказ непосредственного, а главное, весьма ответственного (главный конструктор!) создателя современной техники. Процесс разработки первой в стране самолетной радиолокационной станции и люди — участники этого процесса выписаны, несмотря на давность лет, ярко, образно и доходчиво.

Одним из самых ярких приверженцев научно-художественной публицистики и жанра эссе был недавно скончавшийся Владимир Орлов. В выпуске 11 опубликовано эссе «Идеи и образы НТР», 11 небольших этюдов о различных достижениях науки и техники. Если идеи — это, так сказать, продукт самой науки, то образы несомненно порождены творчеством автора («Мы вступаем в мир электродвигателей — неутомимых мышц современной техники. Поразительна пластичность этих электромеханических систем, их способность к метаморфозам!»; «Если случится немыслимое чудо и магниты, подобно легендарному Самсону, потеряют силу, то померкнет современная цивилизация»; «...не только получены могучие магнитные кристаллы, но достигнута заветная однодоменная структура (домен — отдельное магнитное вкрапление в куске намагниченного металла. — И. Б.) — высшая форма магнитной солидарности!»). Этюды В. Орлова (несколько их, посвященных 250-летию АН СССР, вошло также в вып. 12) удивительно поэтичны даже там, где речь идет о таких трудных для широкого понимания вещах, как микротехнология или рентгенология, они наполнены искренним удивлением и радостью за современного человека науки, способного создавать чудеса.

Очень интересно и непохоже на других работает в жанре научного эссе Е. Богат.

Его «Письма из Эрмитажа» также окрашены в поэтические тона, но это уже не краткие этюды, а развернутое историко-философское полотно, своего рода поэма. Встречи с искусством разных эпох и разных стран в залах крупнейшего нашего музея наводят автора на размышления, в которых причудливо переплетаются аспекты научные и эстетические, социальные и исторические, а время при всем том остается единым и неразрывным. В зале суровой античности мысль автора идет от Фидия к Сократу и Софоклу, от них к Гёте, далее — совсем не вдруг, а вполне естественно! — к Норберту Винеру. Впечатление от встречи с сочной итальянской живописью XIV—XVI веков создает неожиданное сопоставление — Рафаэль и Эйнштейн: «...разве и Рафаэль не мечтал подняться до «мировых уравнений» красоты?» Исследование глубины взаимосвязей искусства не есть у Е. Богата самоцель, сверхзадача его — воспитание в людях того, что он сам называет «историческим чувством». Совершенно иного плана публицистическую задачу решает Е. Богат в другом своем очерке (вып. 11) — разоблачение модной ныне среди технократов Запада философии Ницше. И здесь писатель верен своему методу — размышления о прошлом помогают ему пристальнее всмотреться в проблемы сегодняшние.

Свои глубокие и острые рассуждения о проблемах и достижениях десятой пятилетки представила в 14-й книжке Маризетта Шагинян. Как и у В. Орлова, в этом блестящем образце научной публицистики проявляется искренняя личная заинтересованность автора в решении актуальных задач страны. Заметим, что сама наука всегда остро нуждалась в таком вот «контроле» со стороны передового общественного мнения, выразителем которого призван быть писатель. Темой публицистического очерка чаще всего оказывается современная наука, ее проблемы, достижения и люди. Ярко написанный материал В. Дорофеевой и В. Дорофеева «Хроника одного эксперимента» (вып. 13) повествует об одной из совместных советско-французских научных работ и о ее участниках — сотрудниках Института электро-сварки имени Е. О. Патона.

Непременное качество практически всех материалов «Путей в неизвестное» — исторический взгляд на науку независимо от степени близости предмета к нашему

времени. При этом, пожалуй, одна из самых популярных здесь тем — сама история, история общественная или история науки. И в таких случаях мы чаще всего встречаемся с формой научно-художественного исследования (в жанре очерка, рассказа или новеллы, повести и даже романа, в отрывках, конечно).

В исследовательском очерке О. Мороза «Заколдованный круг» (отрывок из вышедшей недавно книги «В поисках гармонии») автор выступает как историк науки, он ставит себе задачей постижение природы событий, в данном случае событий из истории теоретической астрономии, через эстетические представления эпохи Возрождения («...истина привлекала Коперника не только сама по себе. Она обладала для него еще неким эстетическим очарованием»; «Кеплер был поэтом... не только в поэзии, но и в астрономии»). Конечно, достоверность и точность не всегда обретали соответствующее эстетическое обрамление, красота и польза нередко входили в конфликт (Кеплер «мечется между «красивой» истинной и истинной как таковой»; «Галилей только и делал, что разрушал красивое»). Но можно предположить, что это всегда лишь переходный этап, этап ломки сложившегося, этап перехода к новой гармонии (подобный конфликт нередок и в искусстве). Можно выразить сожаление, что сегодня наука значительно реже стремится к поиску такой вот гармонии (известны, впрочем, слова крупного авиаконструктора: «Некрасивый самолет не полетит»), в лучшем случае она, наука, соглашается на стремление к красоте «специфической», относительной, то есть доступной восприятию только узкого круга специалистов. И хочется поддержать О. Мороза: действительно, формула может быть красивой. Красивой, если хотите, в своем графическом рисунке. Великие формулы — уравнения Ньютона, Эйнштейна, Циолковского — внутренне совершенны, но представьте себе, насколько легче было бы студенту запомнить даже сложные, «многоэтажные» формулы, если бы вместе с их содержанием он смог постичь и их красоту.

Несомненное украшение 13-го выпуска, на мой взгляд, — исследовательский очерк Сергея Мейена. Автор исследует одну из важных проблем психологии научного творчества — взаимодействие научных школ, направлений и просто суждений как средство поиска новых истин — и выдвигает

в качестве средства оценки интуитивных новаторских идей «принцип сочувствия»: каждый оппонент, прежде чем встать на путь формальных («доказательных») возражений, должен проявить «соинтуицию», то есть оценить идеи с тех же интуитивных позиций. Нет, С. Мейен не обольщается насчет универсальности этого принципа, но вполне убежден в его плодотворности: «Почему можно сочувствовать пусть даже виновному человеку и нельзя сочувствовать пусть даже ошибающемуся ученому?»

Научными исследованиями в художественной форме представляются очерки и рассказы следующих авторов серии: А. Гринчака — о проблеме прогнозов в сейсмологии и прогнозировании вообще («Не кажется ли вам, что опубликование прогноза принесет больше вреда и убытков, чем землетрясение?»; «Знание о будущем никогда не будет полным. И неполнота эта, возможно, будет всегда велика настолько, чтобы сохранить для нас свежесть завтрашнего утра») в 13-й книжке и в 14-й — о Гёте как ученом-естественнике и философе, его влиянии на общественную мысль России начала XIX века («Мнемозина» был гётеанским альманахом. Гёте был богом Кюхельбекера и любомудров»); Ю. Вебера (вып. 12) — о географических исследованиях литовских ученых на Куршской косе («...когда стоишь на вершине больших дюн, не забывай о том, откуда они взялись»); Г. Башкировой (вып. 11) — о проблеме воспитания подрастающего поколения на образцах классической литературы («Даже д'Артаньян, далеко не самый умный из героев, зато самый трезвый из них, не всегда выдерживает историческую логику Дюма-отца»; «Во времена мушкетеров психологов не существовало. Некому было подправить их жизненные установки и „я-концепции“»; «Сколько ни топчись вокруг героев Дюма, нерассуждающая, слепая приверженность к ним сейчас, в конце XX века, — тайна»).

Глубокий интерес авторов к предмету своего исследования, воплощенный в подлинно художественной форме, не может не увлечь читателя независимо от его прежней эрудиции по данной проблеме. Исторические работы М. Шагинян о библиотеке Петра Первого, Н. Молевой о Медном всаднике Фальконе (вып. 11) и Ю. Давыдова о выдающемся русском революционере и писателе Германе Лопатине (вып. 13) чи-

таются как захватывающие литературные произведения. Факты и научная мысль писателя не заслоняются художественностью формы.

Огромное впечатление произвел на меня очерк известного ученого-историка Н. Эйдельмана «После 14 декабря... (Из записной книжки писателя-архивиста)». Нечастое явление, когда предметом изучения оказывается историческая личность далеко не прогрессивного деятеля. В данном случае жанрдармский генерал николаевских времен Л. В. Дубельт, с именем которого связано немало печальных эпизодов истории русской культуры. «...естественное предпочтение, которое отдается, например, Герцену перед Катковым и Пушкину перед Бенкендорфом и Дубельтом, иногда выражается в формах, вредных для изучения Герцена и Пушкина,— пишет Н. Эйдельман.—...противостоящие общественные силы, враждующие деятели существовали не в разных, а в одном мире и времени... абсолютно разделить их столь же трудно, как отломать отрицательный полюс магнита...» Проследившая переписку Дубельта с женой, богатой помещицей-крепостницей, историк обнажает корни, которые питали силы, яростно боровшиеся со светлым будущим России. Активная позиция автора выводит значение очерка далеко за пределы чисто научного. Это и исследование, и публицистика, и научная популяризация одновременно.

Читатель, наверное, заметил, что предложенная мною типология снрва выглядит весьма условной. И все-таки несколько слов о том жанре, который стоит на грани между прозой научно-художественной и просто художественной. Данила Данина принято считать одним из ведущих писателей нашей НХЛ. В сборниках он представлен двумя отрывками из романа «Нильс Бор» (вышел полностью в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия»). Нет смысла пересказывать или цитировать здесь это известное по отрывкам и публикациям в «Науке и жизни» произведение. Хочется только подчеркнуть, однако, важное условие всей творческой работы Д. Данина — строгую документальность. Бережно сохраняются все основные линии знаменитой драмы физических и философских идей первой трети нашего века. При этом в прозе Д. Данина, несомненно вкладе в историю науки, есть все, что позволяет считать ее одновременно истинно художественной,

включая разработку характеров, образное воплощение идейного замысла и богатый, насыщенный язык. В жанре научно-художественной прозы успешно работают и представленные в сборниках Б. Володин, И. Губерман, Г. Башкирова и другие. К сожалению, в сборниках совсем не участвуют некоторые наши замечательные писатели-исследователи, из которых первым я бы назвал И. Андроникова.

Если НХЛ — особый вид литературы, то, вероятно, у нее и особый читатель. Кто он? Вопрос этот непросто и требует особого разговора. Но трудно удержаться и не поделиться некоторыми соображениями, возникшими на проходившей не так давно в московском Доме ученых дискуссии в рамках симпозиума «НТР и развитие художественного творчества». Читают ли НХЛ ученые? Странный вопрос, скажете вы, кому же еще ее и читать как не им? Тогда другой вопрос: а что из этой литературы более всего интересует ученого — то, что так или иначе связано с областью или характером его деятельности, или наоборот? Вроде бы ответ опять напрашивается сам собой — конечно, то, что связано! Но вот писательница И. Грекова (она же — это перестало уже быть секретом — профессор, доктор физико-математических наук Е. С. Вентцель) высказывалась в том роде, что НХЛ не может и не должна быть рассчитана на тех, о ком она пишется, поскольку, мол, специалист, увидев себя и свою проблему в зеркале литературы, непременно схватится за голову и тут же напишет автору гневное письмо, указав на всяческие у него неточности и искажения и обвинив его по меньшей мере в некомпетентности. И это говорит автор интересных романов об ученых, в которых характерна именно точность в описании существа и характера деятельности ученых, Парадокс? Если и парадокс, то, как все парадоксы, чистая иллюзия. И. Грекова говорила все же, по-видимому, не об НХЛ, а о «просто» художественной литературе, тема которой — наука. Да и то в пылу полемики. Едва ли И. Грекова не согласится с тем, что в век НТР и художественная литература должна быть фактологически и исторически предельно точной, а писательский вымысел — неопровержимым. Что же касается именно НХЛ, то мы убеждены: научная и историческая точность — ее непременные качества.

В заключение одно предположение. В бу-

дущем, может быть через несколько десятков лет, произойдет, по всей вероятности, сближение форм вообще научной и художественной литературы (стоит вспомнить, что вторая произошла из первой). Уже сейчас во многих научных сферах (в первую очередь в истории, философии и других общественных науках, включая историю самой науки) ощущается тенденция к литературности стиля и языка в изложении результатов исследований. Можно предположить, что то же будет в ближайшее время и в других сферах науки, включая естествознание и технические науки. Уже сейчас специалисты, способные не только

решать сложные научные проблемы, но и ярко, доходчиво излагать их существо, ценятся больше. А в перспективе, мне кажется, любой научный результат, особенно в плане обобщений, будет публиковаться в виде книг и статей лишь при условии достаточной популярности и даже художественности формы. Все же специфические и тем более формализованные и численные результаты будут размещаться в автоматизированных информационных системах. Развитие современной научно-художественной литературы позволяет, по-видимому, выдвигать такую гипотезу.

Иг. БУБНОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



Р. Г. СКРЫННИКОВ. Борис Годунов. М. «Наука». 1978. 191 стр.

Советские люди проявляют огромный интерес к историческому прошлому своей родины. Высокий образовательный и культурный уровень читателей диктует необходимость создания таких книг, которые удовлетворяли бы этот интерес. В последние годы появились издания такого рода, привлекающие общее внимание. В числе их книга профессора Р. Г. Скрынникова «Борис Годунов», которая служит прямым продолжением его же книги «Иван Грозный», изданной ранее. Названные научно-популярные книги подводят итог двадцатилетним изысканиям автора по истории России в XVI веке. В истории русского общества то было время больших перемен. Страна пережила опричнину, после чего в России восторжествовало крепостное право, роковым образом сказавшееся на положении крестьян, составлявших основную массу населения страны.

Как и в точных науках, новое слово в историографии может сказать лишь тот, кому удастся установить новые факты и, используя совершенные исследовательские приемы, более глубоко интерпретировать известные ранее документы. На этих путях Р. Г. Скрынников и находит оригинальные решения давно поставленных проблем. Новые архивные материалы и новые интерпретации, предложенные автором, способствуют разработке новых концепций политического и социального развития России в XVI веке.

На страницах книг «Борис Годунов» и «Иван Грозный» подлинным героем исторической драмы выступает, как и в замечательной трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов», народ. В середине XVI века, подчеркивает автор, именно мирный труд крестьян подготовил расцвет государства. В критические годы Ливонской войны народные массы вместе с армией приняли участие в отражении вражеского вторжения. В конце века широкий размах приобрела борьба городских низов против социального гнета, ставшая важнейшим фактором политического развития. Анализируя обстоятельства, приведшие к избранию Бориса Годунова на трон в ходе избирательного Земского собора 1598 года, автор справедливо подчеркивает, что Годунов воздвиг трон на вулкане. Дух угнетенного народа не был сломлен. Ответом на закрепощение явилась грандиозная крестьянская война, потрясшая до основания феодальное государство.

Книги Р. Г. Скрынникова являются по существу своему исследовательскими. Но сколь бы сложные исторические события ни затрагивал автор, он неизменно повествует о них живым и образным языком, понятным неспециалисту. Рассказ о поисках и открытиях увлекает одинаково и там, где речь идет об угличской драме или самозванческой интриге, и там, где автор по-новому осмысливает комплекс документов о закрепощении крестьян.

Книги Р. Г. Скрынникова знакомят читателя с новейшими приемами исторического исследования. Мастерство источниковеда и вместе с тем тонкая интуиция позволили автору воссоздать полностью утраченные опричные архивы. Следствием этого явился решительный пересмотр традиционной концепции опричнины. Как бы ни трактовали историки опричную трагедию, они все без исключения рассматривали ее как единую и последовательную политику. Р. Г. Скрынников обнаружил неудовлетворительность такого подхода. С фактами в руках автор доказал, что опричнина заключала в себе периоды, совершенно различные по своим политическим целям и результатам. Сначала это была антикняжеская мера больших масштабов. Затем она быстро утратила свой начальный характер.

Избрав биографический жанр, Р. Г. Скрынников получил возможность в занимательной и популярной форме познакомить читателя с последними достижениями современной исторической науки. Книги Р. Г. Скрынникова отмечены печатью высокой научности. Они проникнуты чувством глубокого патриотизма и народности. В своем анализе автор неизменно руководствуется единственно верным методологическим принципом, оценивая с классовых позиций сложные и драматические события давно минувших лет.

А. Окладников,
академик.



АЛЕКСАНДР ГАНГУС. Тайна земных катастроф (Несколько вступлений к теме геопрогноза). М. «Мысль». 1977. 192 стр.

Выдающийся русский химик Д. И. Менделеев считал основной целью науки предвидение и пользу. Открытый им периодический закон представляет собой один из важнейших инструментов прогнозирования для химиков, геологов, биологов и представителей ряда других научных дисциплин.

Автор, видный специалист в области сейсмологии, посвятивший много лет жизни изучению землетрясений, издавна делеал мечту написать всеобъемлющую книгу о прогнозе в самых различных его аспектах в приложении ко многим явлениям природы: как правильно предсказать погоду, как рассчитывать всевозможные последствия вмешательства человека в природу, как определить потенциальные запасы полезных ископаемых в недрах нашей планеты. А сколь заманчиво предвидение в области генетики! Ведь несомненно интересно знать, как будут изменяться законы эволюции в условиях искусственного отбора и как это может отразиться на самом человеке.. Однако А. Гангнусу пока не удалось осуществить свою мечту. Книги о прогнозе, охватывающем все отрасли знания, не получилось. Поэтому в настоящей работе он ограничился одной лишь ветвью громадного прогнозического дерева — геопрогнозом.

Среди многих ужасных природных катастроф и стихийных бедствий (наводнения, тайфуны, ураганы, цунами, извержения вулканов) землетрясения по причиняемому ими материальному ущербу и количеству человеческих жертв занимают одно из первых мест. Вот как описывает разрушительное ташкентское землетрясение 25 апреля 1966 года один из его очевидцев, сейсмолог В. Уломов:

«В 5 часов 22 минуты утра, когда солнце еще пряталось где-то за горизонтом, из-под земли с шипением вырвался и взвился над крышами ташкентских домов гигантский огненный факел. Довольно четко очерченный по краям и размытый в верхней части, он округло расширился и напоминал по форме пламя колоссальной свечи. Оторвавшись от земли, таинственное предзнаменование растворилось в полыхающем розоватом свете зарницы. Яркая вспышка подобно вражеской ракете осветила силуэты домов, которые через несколько мгновений подземным силам предстояло разрушить».

Электрические вспышки и сияния, предшествующие землетрясениям, неоднократно наблюдались и раньше в разных странах и на разных континентах. Особенно много таких случаев было зарегистрировано в Японии. Японские ученые несколько лет назад даже засняли на цветную пленку подобные проявления подземного электричества.

Автор этой интересной книги полагает, что поскольку заряженные пласты горных пород в недрах Земли представляют собой мощные конденсаторы, способные накапливать и хранить громадные массы электричества, то вполне вероятно, что между «пластинами» подобного конденсатора будут проскакивать «молнии» и, следовательно, они могут служить предупредительными сигналами. В Японии, где землетрясения бывают гораздо чаще, чем в других странах, давно уже оценили их по достоинству. И не только оценили, но и внимательно к ним прислушиваются.

Предвестником землетрясений могут стать и изменения химического состава минерализованных грунтовых вод. Автор приводит

несколько случаев изменения количества радона в целебных водах, предшествовавших землетрясениям в Ташкенте в 1966 году и в Сарыкамыше в 1970 году. Отдает А. Гангнус должное и сейсмической атомистике как неперемому фактору прогноза землетрясений.

Автор пытается проследить также влияние землетрясений на многие процессы, происходящие в недрах Земли и Океана, — образование металлических руд, возникновение новых вулканов, подводных гор и другие.

А. Гангнус достаточно опытный популяризатор, и поэтому все научные понятия, представления и гипотезы излагаются доступно для широкого читателя, даже мало знакомого с основами химии, физики и геологии. Книга читается легко, содержит много познавательного материала и будет с интересом и пользой прочитана всеми, кто желает проникнуть в тайны природы.

Б. Розен.



Н. П. КОЛПАКОВА. Песни и люди. О русской народной песне. Л. «Наука». 1977. 136 стр.

Русь издавна была богата песней. «Покажите мне народ, — восклицал Н. Гоголь, — у которого бы больше было песен». И в то же время устная песня, сохраняемая в памяти поколений, принадлежит к числу тех творений народного гения, которым в наибольшей степени грозит забвение. Это хорошо создавали русские фольклористы и этнографы. Н. Н. Рыбников, замечательный собиратель произведений народного песенного творчества, вспоминая о начальном этапе своей неутомимой деятельности, писал: «Я понимал, что драгоценные сказания могут не нынче-завтра навсегда погибнуть, и торопился записывать уцелевшие».

Особенно интенсивно и целеустремленно эта работа проводится в наше время. Одно из свидетельств тому — книга ленинградской фольклористки Н. П. Колпаковой «Песни и люди». Этот интересный, сжато написанный труд представляет собой удачный синтез теории и практики. Н. Колпакова, посвятившая многие годы собиранию и изучению песенного фольклора, рассказывает о полевой работе, об экспедициях за песней, в которых она участвовала, о незабываемых для нее встречах с певцами. Труд фольклористов-практиков нелегок, в чем-то он напоминает труд геологов, изыскателей. Маршруты путешествий пролегли по глухим районам русского Севера: Печора, Заонежье, Пинега, Мезень. В деревнях фольклористы записывали былины и заговоры, песни и частушки, сказки и причитания.

Весь песенный фольклор автор разделяет на четыре основных жанра — песни лирические, величальные, игровые и заклинательные — и в пределах каждого жанра намечает тематические рубрики, за каждой из которых «стоят десятки, а иногда и сотни

песенных текстов». Но сравнительно легко проводить типологизацию традиционного песенного искусства — песен, пришедших к нам из глубины веков, отразивших душу народа, запечатлевших судьбы людские, боль и страдания, радости и надежды. А как быть с современной песней, которую вряд ли можно еще назвать народной, но которая рождается на наших глазах в деревне и которую можно услышать в сельских клубах, на деревенской улице, за околицей? Н. Колпакова, на мой взгляд, совершенно права, полагая, что эти песни должны записываться наряду с традиционными. Ведь современные песни — «тот новый слой массовой народной песенности, из которого, возможно, немало будет взято для народной песенной культуры будущего».

Нужно дорожить своей национальной песенной культурой. Это наше нетленное духовное богатство, наши народные духовные истоки. Автор книги, много поездившая по стране, естественно, интересовалась тем, как обстоит дело с популяризацией народной песни. Н. Колпакова констатирует, что во многих местах недооценивают традиционную песню, она редко звучит в Домах культуры, в городе и деревне. Тревожит автора и то, что тысячи народных песен, проникновенных и глубоких, неповторимо прекрасных своей музыкально-поэтической образностью, ежегодно привозятся фольклорными экспедициями и подолгу «лежат в разнообразных научных хранилищах неразработанные, невыявленные, доступные в основном только специалистам».

В заключение хотелось бы отметить, что украшением небольшой, но весьма емкой и содержательной книги Н. Колпаковой являются включенные в нее песни, записанные автором во время многочисленных экспедиций, песни, доносящие до нас живую прелесть народного русского слова.

О. Добровольский,
кандидат филологических наук.



ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ. Стихотворения. Перевод с грузинского. М. «Художественная литература». 1978. 383 стр.

Галактиона Табидзе много и часто переводили на русский язык, однако некоторые стороны его творчества до сих пор оставались в тени. В частности, в предыдущих изданиях были как бы отодвинуты в тень символистско-романтические искания поэта. В новом же сборнике творчество Г. Табидзе показано в разных аспектах, тем самым преодолевается упрощенный взгляд на его поэзию.

Помимо известных шедевров грузинского лирика, в сборнике представлены стихи менее «громкие», но позволяющие проследить в подробностях эволюцию поэта. Читатель этих стихотворений увидит, насколько органичным было романтическое начало в поэзии Г. Табидзе. Самые ранние образчики его лирики еще полны символических туманных образов. Здесь и Ведающая Заране,

и Очи Дремляющие. В других стихотворениях, впервые включенных в этот сборник, ярко проявлена чисто романтическая стихия с характерными для нее темами ветра, тумана, ночи, моря, сумрачного неба, любви, окруженной ореолом пламени, с противопоставлением героя и толпы. Из предыдущих стихотворных сборников поэта читатель знал о подчинении романтического хаоса его дореволюционных произведений логике революции. Такие стихи, как «Для молитвы», «Луна чиста до белого каленья...», датированные 1919 годом и впервые включенные в книгу, помогают лучше понять борьбу между хаосом и космосом в мирозерцании поэта. «...созданы сердца прекрасные во испуленные неоправданный роковой вины» — эта мысль об очистительности личной жертвы свидетельствует о стремлении к космосу нового жизненного порядка. В других стихах сборника звучат мощные, воистину космические образы, а деяния, описываемые в них, совершаются «по воле вечности самой».

Среди переводчиков сборника — Ю. Рышенцев и Г. Маргвелашвили, А. Межиров и Е. Николаевская, П. Антокольский и Н. Гребнев. Эти имена говорят сами за себя. В последние годы среди авторов, обратившихся к стихам Г. Табидзе, появились такие яркие переводчики, как В. Леонович, Б. Ахмадулина, Г. Челидзе. Почти все стихотворения, как сказано в аннотации к книге, даны в новых переводах. Их высокое качество позволяет русскому читателю оценить по достоинству талант одного из крупнейших лириков XX века. Русский читатель получил Г. Табидзе пленительно-музыкального и празднично-живописного, новатора образной системы, бесконечно разнообразного в передаче чувств лирического героя.

Удачны комментарии, которыми снабжен сборник. В них, в частности, расшифровываются литературно-мифологические реминисценции, встречающиеся у поэта. Есть уверенность, что книга порадует любителя поэзии и строгим отбором стихов, и высоким качеством переводов, и аппаратом издания.

Т. Кохма.



МАРИНА ТАРАСОВА. Световой день. Стихи и поэма. М. «Современник». 1978. 95 стр.

Имя Марины Тарасовой из тех имен, которые набирают высоту. В ее беспокойной поэзии — жажда движения, зов дорог. Вот почему в небольшой книжке «Световой день» так много географических названий. Это можно было бы поставить в упрек автору, если бы все названные в стихах города и поселки, горы и реки не были фактом биографии жадно заинтересованного, увлеченного и пытливого человека.

По нежным улицам Софии
иду в рассветной тишине,
и воздух осени России —
как птица нежная во мне.

В просторах города чужого,
в славянском шелесте листья

так много голоса родного
Смоленска, Киева, Москвы.

А белокаменные своды,
пространства светлых площадей —
как совесть чистая народа,
как вера и любовь людей.

Марина Тарасова объехала чуть ли не весь Советский Союз, побывала почти на всех значительных новостройках. Любовью к России пронизана ее небольшая, но задуманная книга. Мне кажется, это основная тема «Светового дня». Признаваясь в своем чувстве к родной земле, поэт говорит, что переживает его «светло, как любят в первый раз».

Стремясь создать наиболее полное представление о своей неоглядной родине, автор торопится рассказать обо всем сразу: о поездках, «МАЗах», тягачах, об Усть-Илиме, Толстом Мысе, о шептун-траве, о простых людях, фамилиям которых по триста лет, о Пушкине, Грине, о рабочем духе, о том, как поют дети, о Вологде, о фресках Дионисия, о палешанах, о тюменской нефтяной скважине, о БАМЕ, космосе и том красном трамвайчике, который возвращает ее в далекое детство, и еще о многом, многом. И все это не скороговорка. Каждое стихотворение имеет свой стержень, свое сердце, пульс, законченность.

Поэт в пути. Каждая строчка — это удивление, утверждение, — жизни! У Марины Тарасовой цепкий глаз, образное слово.

Журавль колодезный
с протяжным плачем
качался, словно черные весы.

Самое важное, мне кажется, в новой книге ее стихов — стремление к лаконизму, ясности, графической завершенности стихотворного рисунка.

Знаменательно, что автора волнует недавнее прошлое родины. То героическое и трудное время будто влетело в сегодняшний день ее поэзии, без него немислим световой день нашего современника.

И я, и ты —
мы часть всего живого,
всего, что есть
и будет на земле.

Виктор Гончаров.



МАРАТ КАРТМАЗОВ. Полярный снег.
Стихи. М. «Советский писатель». 1977. 119 стр.

«— Ты любишь рисовать? — спросил взрослый с фальшивой ласковостью.

Мальчик молчал: рисовать он любил, но и фальшь в голосе — слышал.

— Ладно, тогда я сам тебе что-нибудь нарисую, — решил взрослый и придвинул лист бумаги. Он изобразил то, что обычно рисуют все не умеющие рисовать: кривобокий домик, рядом — не то дерево, не то цветок, и — с особой старательностью — кучерявый дым, ползущий из трубы.

— Нравится?

Мальчик тихо, но твердо ответил:

— Нет... Без домика — мне больше нравилось...

— Что тебе больше нравилось? — недоумевая и раздражаясь, переспросил взрослый. — Бумага?

— Да. Она была белая...

Может быть, в каждом настоящем поэте живет такой мальчик — с отвращением к фальши и любовью к белизне.

«Полярный снег» — так назвал свою книгу Марат Картмазов. И, думается, не только в память о том времени, когда он, врач, работал в Арктике. Ощущение белизны изначально жило в его душе, без этого он не увидел бы, как

В соседстве с чистою луной
Вполнеба сплошь воланы светятся.
Большая белая Медведица
Стоит над чашей ледяной.

Чистота и строгость здесь часть души и только потом уже часть пейзажа. Поэт просто придвинул к себе Арктику, как большой белый лист бумаги. Если бы реально существовавшей Арктики не существовало, он открыл бы свою, фантастическую Арктику где угодно. Даже здесь, в Москве, что и делает в «Городском пейзаже со снегом»:

К исходу дня громада МИДа
Безлюдна, словно Антарктида,
Причудлива и холодна,
Как слепок с айсберга. А слева
Стеклянное лекало СЭВа —
Как вертикальная волна.

«Стеклянное лекало» возникает здесь не случайно: эти стихи и впрямь точно не написаны, а вычерчены.

Но перенесемся на мгновение в чертоги снежной королевы: «Холодно, пустынно, мертво!.. Посреди самой большой... снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, ровных и правильных на диво». Среди этих «правильных на диво» ледяных кусков бедный Кай — вы помните — никак не мог сложить слово «вечность»...

А в «Полярной ночи» Марата Картмазова читаем:

Где копошение зверей
В снегах, подсвеченных Селеной,
Там ощущение Вселенной
И чувство вечности острей...

Недоставало нам тепла —
Нас не любили... Что за дело!
Нас Вечность выслушать хотела
И к нам внимательно была.

Поэт — словно нарочно! — первым делом, очутившись в Арктике, в «ледяной исповедальне», складывает из сверкающих льдин именно это «заколдованное» слово «вечность». Конечно, он и не думал о Кае... Но лучшее доказательство — невольное. Нет, значит, в его глазу осколка кривого зеркала. Есть умение любить, даже когда тебя не любят. Есть талант тепла — не того тепла, которое добывают, самодовольно потирая руки в момент удачи, а того, которым спасают других в житейские стужи.

Между прочим, самые страшные холода — привычные, когда постепенно и незаметно леденеют сердца и вымерзает способность любить. Смотрит человек в окно

видит — снежная баба... Повернется и отойдет. И невдомек, что это к нему приходила Снегурочка! До того ли, когда

Едва ушли мы от беды,
А кто-то снова льды уродует,
А кто-то молотом орудует,
Ббивая клинья в наши льды.

И как тут человеку, стремящемуся к гармонии, «с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабевет»? Возможно ли?.. И все-таки:

Дорогие, не надо тревожиться!
Все пройдет, перемелется.
Вон какая счастливая рожица
У весеннего месяца!

Поверим поэту.

Светлана Соложенкина.



ЛЕОНИД РАХМАНОВ. Люди — народ интересный. Л. «Советский писатель». 1978. 495 стр.

Это только на первый взгляд может показаться, что книга Леонида Рахманова составлена из произведений, трудно соединимых под одной обложкой. Половина книги открыто автобиографична; это детство и отрочество автора. Вторая половина — литературные портреты широко известных писателей и деятелей искусства, с которыми он сталкивался.

Прозаик, составляющий сборник своих произведений, обязан думать о совместимости их: при всем непрременном различии вещей они должны иметь словно бы одну и ту же группу крови, иначе не все ткани приживутся и тогда может омертветь весь сборник.

Книга Л. Рахманова построена автором умно. Неторопливые страницы первой части вводят нас в мир уездного городка Котельничка. Провинциальная интеллигентная семья, в ее окружении — самые характерные представители населения городка, люди, о которых автор уже в заглавии своей книги сказал — «народ интересный».

Несмотря на отдаленность Котельничка от центра, огнедышащие события, происходящие в стране, докатывались сюда, преломлялись здесь по-своему, по-захолустному, скрывая в себе собственную меру исторической характерности. Этот мир, увиденный глазами одаренного мальчика, юноши, возникает перед нами не сразу, а так, будто он выстраивается из отдельных деталей. Растет окружающий мир, и растет юноша, познающий его.

Уважение к достоинству людей, душевное благородство автора-героя создают привлекательную для читателя атмосферу повествования, примечательного, на мой взгляд, по вкусу, простоте языка.

Есть и критическое замечание, возникшее у меня при чтении первой части книги: на жилплощади своего котельничского дома автор дал постоянную и временную прописку

множеству людей, однако не все они художественно материализовались — есть фигуры недостаточно выразительные.

Во второй части книги перед нами артисты Николай Черкасов, Игорь Ильинский, режиссер Н. П. Акимов, писатели М. Зощенко, Ю. Тынянов, Е. Шварц, К. Паустовский, Ю. Герман. Интонация авторского рассказа об этих деятелях искусства и литературы остается той же естественной, доверительно-мягкой, что и при описании рядовых жителей заштатного Котельничка. Именно личность Рахманова, выраженный в интонации, стиле органический гуманизм писателя, демократизм его ума и души сообщают внутреннее единство книге. Мальчик из уездного городка, взрослеющий на наших глазах, как мы убеждаемся, ни в чем не изменил себе, своему характеру, хотя сложностей на его пути встречалось предостаточно.

Немалый отрезок бурной эпохи — более полувека — нашел свое отражение в этой книге. Разные же масштабы, в которых представлены здесь лица и события, создают и панорамность и объемность единой картины.

Люди — интересный народ. Эту добрую мысль, вынесенную как формула в заглавие книги, писатель Леонид Рахманов реализовал талантливо и правдиво.

И. Метгер.



ФЕДОР КОЛУНЦЕВ. Утро, день, вечер. Роман. М. «Советский писатель». 1978. 311 стр.

Все, что происходит в этом романе, завершается в течение дня. Обычный день обычной московской семьи: отец, мать, бабушка и сын-юноша. Откуда же при этом ощущение, что ты был свидетелем множества серьезнейших событий?..

Роман Ф. Колунцева посвящен проблемам, которые принято называть вечными. Проблеме бытия, любви, верности, душевного благородства и человеческой низости. А иными словами, роман поднимает проблемы нравственные, затрагивающие самую тонкую и сложную область деятельности человека — его духовную деятельность.

Профессиональная, производственная орбита, по которой вращаются герои ежедневно, едва проглядывает. Но и не возникает желания узнать о ней подробнее. Достаточно простого сообщения: Андрей Александрович Димов — научный редактор в издательстве, Вероника — работница секретариата министерства, расположенного на одной из самых шумных московских улиц, а сын их, юноша со странным именем Аська, готовится в институт... Иной, не производственной меркой меряет своих героев писатель: не чем заняты они, а к а к и е они.

Неразумна, совсем неразумна Вероника Димова перед почти неотвратимым фактом — неизлечимой болезнью мужа. Ей бы в ожидании приговора — анализа из лаборатории — подумать, как подготовить себя и сына к катастрофе... А она, задыхаясь от

горя, бежит спасать свою сотрудницу от пьяного ревнивца-мужа... Неразумын и сам Андрей Александрович, усталый, больной человек, тяжело переживающий последнюю в своей жизни любовь. А поглощен он одной мыслью: добиться оправдания подсудимого, вина которого весьма и весьма сомнительна и судьба которого во многом зависит от него, Димова, народного заседателя.. И совсем уж неразумын неуклюжий силач Аська, выпускающий в квартиру случайного знакомого, которому негде ночевать, а затем принимающий на себя удары хулиганов.

На глазах семейства Димовых хапуга Удочкин — сосед по дачному участку — переносит свой забор едва ли не под самые их окна. Разумеется, они протестуют, грозятся. Но сосед-то изучил Димовых. «Ты человек горячий, но отходчивый, — говорит он Андрею Александровичу. — Покричишь и брошишь. А по судам таскаться тебе твоя интеллигентность не позволит...»

Неразумные, нерасчетливые... И впрямь порой качаешь сокрушено головой, испытывая желание остановить Димовых в их чрезмерной отрешенности от забот о собственном благополучии. Только чем больше вдумываешься в их жизнь, тем слабее становится желание что-то изменить в ней. С каждой страницей романа растет ощущение с и л ы этих людей, силы нравственной, которая вызывает подлинное уважение. Читатель оказывается постоянно вместе с ними. Даже когда они совершают свои неразумные поступки. Потому что и не соглашаясь с Димовыми, он не может не оценить в полной мере ту нравственную позицию, которая составляет их духовную сущность. Она учит добру, человечности, сопереживанию. Ф. Колунцеву удалось избежать опасности представить своих героев в виде неких голубых бесплотных фигур. Димовы — люди со своими страстями, заблуждениями и увлечениями. Перед нами течение жизни в ее реалиях, хорошо знакомых и вместе с тем как бы увиденных заново. Человечность Димовых — лишь одна из черт их характеров, очень не простых, противоречивых. Правда, черта главная, доминирующая.

В новом своем романе Ф. Колунцев показал себя психологом, рисующим многообразные оттенки чувств и взаимоотношений героев. Может быть, именно поэтому мы так верим Димовым и в Димовых.

В. Комиссаров.



УРОКИ ЧИЛИ. М. «Наука». 1977. 408 стр.

Значение опыта трехлетней деятельности правительства Народного единства — первого в истории Чили подлинно народного правительства, поставившего целью покончить с господством империализма, монополий и помещичьей олигархии и приступить к строительству социализма, — выходит далеко за пределы этой небольшой страны у Анд, более того, за пределы латиноамериканского континента.

В. И. Ленин учил, что не только победы,

но и поражения дают «революционным партиям и революционному классу настоящий и полезнейший урок, урок исторической диалектики, урок понимания, умения и искусства вести политическую борьбу». Именно этим — уроками, извлекаемыми для будущей борьбы и для будущих побед, — определяется актуальность изучения опыта чилийских событий марксистской коллективной творческой мыслью. Критический анализ успехов и причин трагедии чилийской революции вносит заметный вклад в дело разработки научно обоснованной стратегии и тактики коммунистических и рабочих партий и других демократических сил капиталистических и развивающихся государств.

Рецензируемая книга создана на основе материалов международного симпозиума об уроках чилийской революции. Перед нами серьезная попытка комплексного, всестороннего исследования проблем чилийской революции — результат сотрудничества ученых-марксистов разных стран.

Придя к власти в результате выборов в сентябре 1970 года, правительство Народного единства осуществило глубокие социально-экономические преобразования в стране: национализовало крупнейшие монополистические предприятия, банки, медные рудники, ускорило проведение аграрной реформы. Чилийская революция на практике доказала возможность взятия власти при определенных условиях рабочим классом и левыми силами мирным путем. Победа правительства президента С. Альенде стала возможной благодаря сплочению всех левых сил в движении Народного единства, где ведущая роль принадлежала коммунистической и социалистической партиям.

Однако антиимпериалистические и антиолигархические силы не завоевали всей полноты политической власти. Развитие революции происходило в рамках буржуазно-демократической законности, что предполагало сохранение свободы политической деятельности для оппозиционных сил. В руках реакции остались крупные предприятия, мощные финансовые источники и средства пропаганды — газеты, журналы, радио и телевидение. С. Альенде и Народное единство рассчитывали, что их политические противники будут придерживаться принципов законности, и проявляли терпимость к провокациям и диверсиям. Но реакция, как только для этого представилась возможность, совершила при поддержке империализма США кровавый фашистский переворот и распотала конституцию.

События в Чили вновь подтвердили, насколько принципиальное значение имеет союз рабочего класса с остальными трудовыми слоями общества. Одной из главных причин поражения правительства Народного единства явилось то, что ему не удалось добиться расширения социального и политического союза трудящихся со средними слоями, что им «была утрачена инициатива в борьбе за завоевание масс. Ее пере

хватила контрреволюция... рабочий класс оказался в изоляции от своих союзников».

Внутри блока и правительства Народного единства не было последовательной и единой стратегии и тактики, четкого плана завоевания всей власти и осуществления социалистических преобразований в стране. Большой ущерб революции причинила деятельность различных леворадикальных и ультрареволюционных партий и групп. Для коммунистов поражение чилийской революции настойчиво напомнило о необходимости проведения последовательной классовой политики в отношении армии, демократизации армии, обуздания и изоляции реакционных течений в ней.

Несмотря на ряд специфических особенностей чилийской революции, весь ход ее развития еще раз убедительно подтвердил верность важнейших основополагающих выводов марксистско-ленинской теории об общих закономерностях революционного процесса. «Трагедия Чили,— сказал Леонид Ильич Брежнев,— отнюдь не перечеркнула вывода коммунистов о возможности различных путей революции, в том числе мирного, если для этого существуют необходимые условия. Но она властно напомнила о том, что революция должна уметь себя защитить».

Временное торжество реакции не в силах сломить непреклонную волю чилийского народа к свободе. В первых рядах мужественных борцов за демократию и социальную справедливость шли и продолжают идти коммунисты. «Наш народ разгромит фашизм,— выражает твердую уверенность Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Луис Корвала, — создаст новый, демократический строй и вновь станет на путь, ведущий к социализму, на порог которого ему удалось вступить при президенте Альенде».

А. Журавлев.



З. И. КИРНОЗЕ. Французский роман XX века. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 1977. 351 стр.

Обратившись к проблемам французского романа XX века, автор ограничивает свое исследование временными и жанровыми рамками. Из всего многообразия французской прозы взяты произведения, созданные в 20—30-е годы и обычно относимые к жанру семейных хроник. В поле зрения З. И. Кирнозе оказались хорошо известные у нас писатели Р. Роллан, М. дю Гар, Ф. Мориак, Ж. Дюамель, а также менее популярные — Ж. Бернаос, М. Жуандо, Ж. Грин и некоторые другие романисты. Каждый из них давно уже стал признанным авторитетом во французской литературе, многие при жизни были возведены в ранг классиков, хотя и не каждому удалось удержать свою славу надолго.

В романах этого круга авторов семья выступает средоточием социальных конфликтов. Ф. Мориак именуется семьей живой тюремной решеткой, Ж. Грин — фамиль-

ным пленом, А. Жид считает брак союзом одиночек, а М. Жуандо изображает семейные отношения как музей памяти. Эти писатели трагуют домашний очаг как микромир, где происходят свои сражения и войны, ибо во всех представленных сюжетах семья состоит из ожесточенных стяжателей. Недаром же Ф. Мориак своему общительному семейному роману дал название «Клубок змей».

Объединив в одной монографии писателей-современников, тяготеющих к сходной форме романа, З. И. Кирнозе внимательно анализирует философию и поэтику, гражданскую позицию и своеобразие проблематики каждого автора, а это в итоге позволяет исследовательнице показать, какие неожиданные модификации обретает традиционное повествование о судьбах поколений, связанных родственными узлами. В качестве двух полюсов выделены А. Жид и Р. Роллан. Автор «Фальшивомонетчиков» воспроизводил не живую реальность, а конструировал ее макет, разрабатывал своего рода пособие по художественному мастерству. Создатель «Очарованной души» замыслил и осуществил в масштабе семейного сюжета социальную эпопею.

З. И. Кирнозе справедливо замечает, что жизнеописание Анетты Ривьер слагается из элементов любовного романа, семейной хроники и даже местами детектива, но они органично включены в фабулу самой истории. «Жанр эпопеи задан Ролланом.— утверждает исследовательница.— Он логически вытекает из волевой авторской установки на рассказ, объединяющий всю много-слобную труднообозримую картину мира».

Наиболее близким союзником Р. Роллана во французской литературе явился М. дю Гар. Главе о творчестве автора «Семьи Тибо» дан подзаголовок «Школа Толстого, а не Пруста». Эта мысль прозвучала в выступлении самого М. дю Гара по случаю вручения ему Нобелевской премии. Действительно, и Р. Роллан и М. дю Гар, отталкиваясь от семейных хроник, поднимались к эпосу, используя традиции «Воины и мира». Для М. дю Гара, завершившего «Семью Тибо» событиями лета 1914 года, опыт Толстого-баталиста был особенно важен.

Сорок четыре дня, прошедших с начала первой мировой войны, воспроизвел М. дю Гар в своем романе, но за это короткое время, как утверждает автор исследования, в судьбах и характерах героев «Семьи Тибо» произошло едва ли не больше изменений, чем за минувшее десятилетие. М. дю Гар обратился к фактам истории, его повествование обрело документальную достоверность, что и способствовало постепенному переходу семейной хроники в хронику социальную.

Таковы некоторые метаморфозы французского романа, рассмотренные на материале семейных циклов.

Монография доцента Горьковского педагогического института иностранных языков З. И. Кирнозе привлекает читателя не только содержательной информацией о мало-

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Доклад о партийной программе на VIII съезде РКП(б) 19 марта 1919 г. 23 стр. Цена 3 к.

Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 9. Июнь 1920 — январь 1921. 744 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. И. Брежнев. Выступление на Пленуме Центрального Комитета КПСС 27 ноября 1978 года. — Постановление Пленума ЦК КПСС. 30 стр. Цена 10 к.

Л. И. Брежнев. Мир социализма — торжество великих идей. Речи. Статьи. Выступления. 656 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. И. Брежнев. Целина. Воспоминания. 199 стр. Цена 60 к.

Г. Шахназаров. Социалистическая судьба человечества. 462 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Василевский. Демобилизации не подлежит... Повести и рассказы. 719 стр. Цена 2 р. 60 к.

Е. Кригер. Дорога к людям. Очерки. 352 стр. Цена 1 р. 40 к.

Ю. Левитанский. Сюжет с вариантами. Книга пародий в 2-х частях с предисловием и послесловием автора. 119 стр. Цена 55 к.

Ю. Нагибин. Берендеев лес. Рассказы и очерки. 512 стр. Цена 2 р.

Л. Озеров. За кадром. Книга лирики. 174 стр. Цена 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Вежинов. Ночью на белых конях. Перевод с болгарского. («Зарубежный роман XX в.») 431 стр. Цена 2 р. 80 к.

Е. Долматовский. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Стихотворения. 574 стр. Цена 2 р. 30 к.

Э. Кипиани. Девятое врата. Роман. повести и рассказы. Перевод с грузинского. 335 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Платонов. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Рассказы. 1921—1934. — Повесть. 542 стр. Цена 2 р. 60 к. Т. 2. Рассказы. 1934—1950. 393 стр. Цена 1 р. 90 к.

А. Рыбаков. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Приключения Кроша. Трилогия. 406 стр. Цена 90 к. Т. 2. Водители. Екатерина Воронина. Романы. — Выстрел. Повесть. 357 стр. Цена 2 р.

Солнечное поле. Узбекские повести. Переводы. 462 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Тендряков. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 1. Повести. 494 стр. Цена 2 р.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Во Куанг. Отчий край. Повесть. Перевод с вьетнамского и предисловие И. Зимониной. 174 стр. Цена 45 к.

Л. Воронкова. Неистовый Хамза. Повесть. 253 стр. Цена 70 к.

Л. Дубенская. Рассказывает Надя Леже. Предисловие Ж. Торез-Вермеерш. 286 стр. Цена 1 р. 80 к.

Б. Заходер. Стихи и сказки. 335 стр. Цена 85 к.

С. Михалков. Тридцать шесть и пять. Стихи. 32 стр. Цена 10 к.

ВОЕНИЗДАТ

П. Автономов. Мой танк — 317. Повести. Перевод с украинского. 237 стр. Цена 95 к.

А. Жадов. Четыре года войны. («Военные мемуары») 334 стр. Цена 1 р. 60 к.

Э. Майер. Однажды орел... Роман. Перевод с английского. 806 стр. Цена 6 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Бахтин. Песни ленинградской области. Записи 1947—1977 гг. Лениздат. 231 стр. Цена 80 к.

А. Кулешов. Скорость. Стихотворения и поэмы. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая літаратура». 206 стр. Цена 95 к.

Р. Мишвеладзе. Заподозренный. Новеллы. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 214 стр. Цена 75 к.

К. Симонов. Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) Роман в трех повестях. «Московский рабочий». 544 стр. Цена 2 р. 50 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резвииченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 26/II 1978 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 12/II 1979 г.
Формат бумаги 70×108^{1/2}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 печ. л.)
А 00871 Тираж 274.000 экз. Зак. 4266.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0673

Цена 70 коп.

70636